

РИХ
МАРИЯ
РЕМАРК

НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач _____

14523-9.09.98

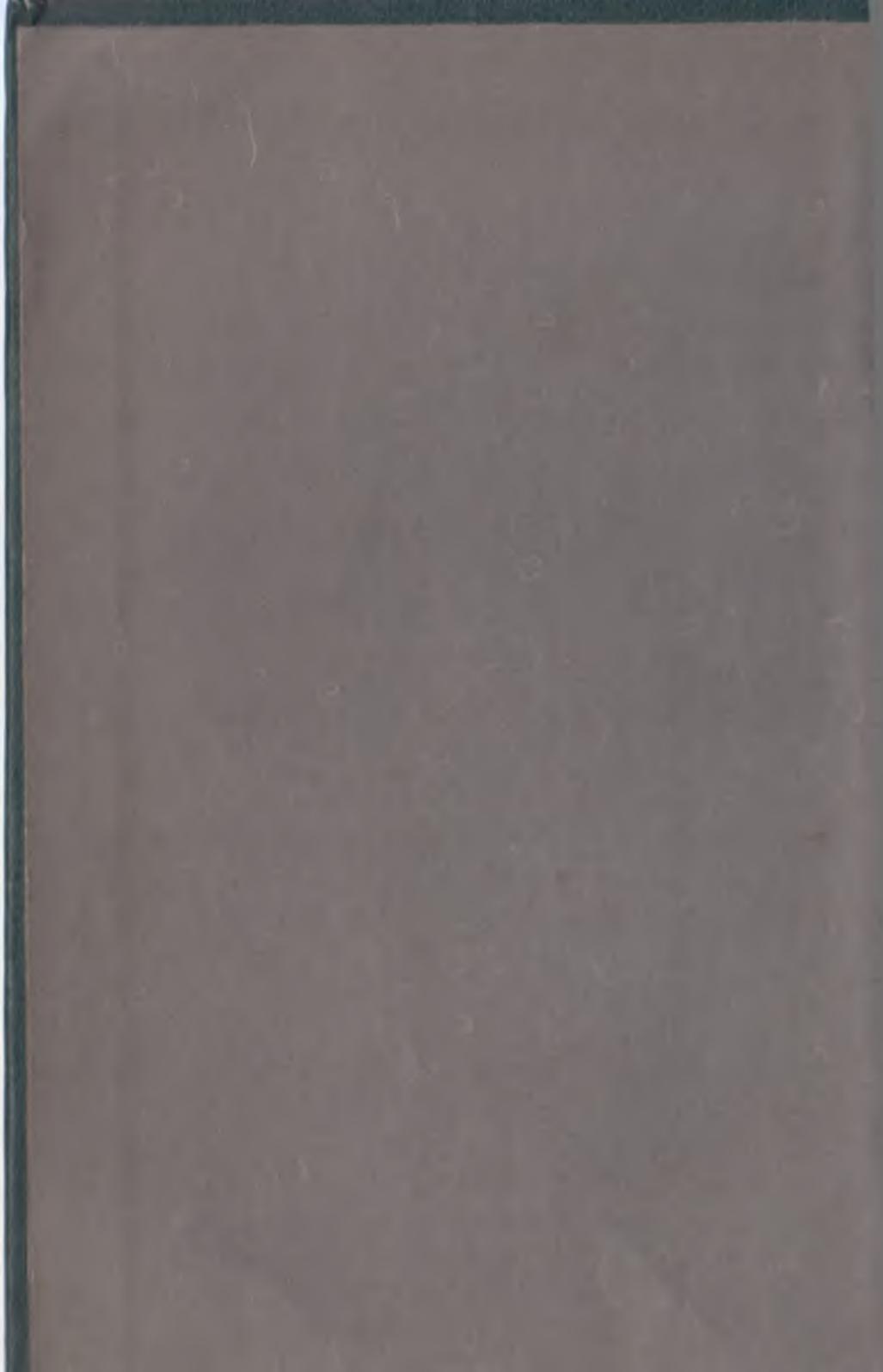
10243. 7.07.95

10913-21.01.2000

10980-27.09.01.

14910-11.10.08

84



ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН
•
ВОЗВРАЩЕНИЕ

РОМАНЫ

Перевод с немецкого



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84.41
P37

Erich Maria Remarque
IM WESTEN NICHTS NEUES
DER WEG ZURÜCK

Предисловие
В. КОНДРАТЬЕВА

Иллюстрации художника
П. ПИНКИСЕВИЧА

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

Р 4703000⁰⁰⁰⁻¹⁴⁴ 147-88
028(01)-88

© Предисловие, оформление, иллюстрации.
Издательство «Художественная литература», 1988 г.

Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» я впервые прочел еще до войны, но не припомню, чтобы он произвел на меня тогда особое впечатление. Во всяком случае, я не вспоминал об этом романе в армии, не вспоминал и после первых своих боев подо Ржевом... И вот неожиданное, казавшееся чудом возвращение в Москву после ранения. Несколько дней счастливой суеты, а потом, когда все устроилось, — взгляд на книжную полку: что бы почитать? Пробежав глазами по корешкам книг, останавливаюсь на романе «На Западном фронте без перемен», вытаскиваю его, начинаю читать и уже не отрываюсь, пока не закрываю последнюю страницу, потрясенный, даже оглушенный той пронзительной правдой изображения войны, которую я неосознанно все время сравнивал с пережитым мною всего несколько дней тому назад. «Ведь и у нас многое так было!» — восклицал я с изумлением почти на каждой странице. Тот же неворотный фронтовой быт, те же ощущения и душевные состояния при арт-обстрелах, в наступлениях, атаках, почти те же окопные разговоры в минуты роздыха о еде, о куреве, о жизни... Видимо, передний край — кусок земли, где противники находятся друг против друга в непосредственной близости, — есть тот особый микромир, где образуются и свой страшный быт, и свои взаимоотношения, и свой язык, и свой образ мыслей и чувств. И оказались вроде бы несущественными те годы, почти четверть века, что разделяли нас и солдат Ремарка; война есть война, а передовая всегда передовая, где люди испытывают одинаковые чувства страха, физической боли, горечи утрат и потерь, солдатской дружбы, неприязни к тыловикам, порой справедливой, недовольства начальством, делающим, на взгляд опытного окопника, вроде бы все не так, и страшные, противоречивые чувства, овладевающие солдатом, впервые убившим врага. Да, многое было удивительно похоже, вплоть до прямых совпадений, на то, что довелось мне пережить подо Ржевом.

Вот такие мысли обуревали меня летом сорок второго, когда уже на рассвете я перевернул последнюю страницу «На Западном фронте без перемен». Конечно, я понимал, что цели войны, в жерле которой один за другим бесславно погибали герои Ремарка, и нашей Великой Отечественной были разные. Мы вели войну справедливую, освободительную, защищали от захватчика свою отчизну. Для любого и каждого из нас это было самим

собой разумеющимся. А герои Ремарка сами являлись захватчиками и складывали свои головы на полях сражений за чуждые им интересы. Но меня поразило сходство реалий этих войн и та жестокая, безусловная правда, которая пронизывает каждую страницу этой книги, что в полной мере может оценить и понять лишь тот, кто сам повидал войну и хлебнул лиха. И вот с тех, теперь уже далеких, дней роман «На Западном фронте без перемен» является для меня примером того, как с такой высокой правдой изображать и нашу войну.

О Ремарке писали много. Было время, когда говорили, что «сущность ремарковского образа войны, так называемого «ремаркизма», — это утонченная идеализация войны, заменившая шовинистическую патетику, ее психологизирование, закрывающее путь к политическим, революционным выводам» (Лит. энциклопедия, 1935 г.), и наряду с «идеализацией войны» Ремарка упрекали в слишком жестоком изображении войны. Ярлык «ремаркизма» нормативная критика пыталась навесить в пятидесятых годах и на нашу военную прозу, в силу чего долгое время некоторые произведения преподавались ею как нечто предосудительное, чуждое нам; тогда же появился и термин «окопная правда», да еще пресловутая, нам, дескать, ненужная. Что там видит солдат из окопа, разве это «точка зрения», с которой можно обозреть войну, это «кочка зрения» — так презрительно и надменно обозначили некоторые критики солдатский взгляд из окопа. Да, возможно, и не много видит пехотинец из своего окопчика: поле с трупами, разбитую, сожженную деревушку, колья проволочных заграждений, иногда блеск оптического снайперского прицела, грозящего смертью, а ночами — небо, расцвеченное иллюминацией из осветительных ракет, но это взгляд большинства народа, это *народный взгляд* на войну, и это ни с чем не сравнимое *знание* войны, цена которому — жизнь.

Мне трудно понять, где нашли «утонченную идеализацию войны» у Ремарка. Быть может, в рассуждениях Пауля Боймера, героя романа «На Западном фронте без перемен», когда он говорит: «У нас не было твердых планов на будущее... зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и наша жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете?»

Такое восприятие войны было вызвано милитаристским духом, насаждаемым в школах кайзеровской Германии (показательна фигура тупого и бездушного школьного наставника Канторека). Но ведь эти размышления читатели встречают лишь на первых страницах романа, то есть когда жестокая и бессмысленная война еще не успела рассеять иллюзий юных добровольцев, еще не обнажила всю фальшь и пустоту высокопарных слов о долге, справедливости, гуманизме. Дальнейшее же повествование развенчивает ложную романтику войны, разрушает все прежние иллюзии. Описывая жестокие будни войны, изображая страшные картины бессмысленной гибели солдат в окопах и госпитальных, Ремарк стремился разветь живую романтизацию войны, присущую многочисленной националистической милитаристской литературе тех лет. И герои его приходят к жестокому выводу: «Мы придаем значение только фактам (разрядка моя. — В. К.), только они для нас важны». А разве у наших мальчишек сороковых «роковых» не было романтических представлений о войне? Конечно, были.

Взять хоть меня. На формировании, на Урале, когда знал, что попал в пехоту и что впереди война настоящая, мечтал все же о подвигах, которые непременно должен совершить. А ведь не школьником был, два года армии за плечами, знал, что война не прогулка, да и немец стоял под Москвой в то время, а все равно — мечтал...

И не уничтожили эти мечтания страшные месяцы Ржева: что-то неповторимо-настоящее, высокое, чистое оказалось в тех полных смерти днях, в которых брал ты выше себя и в которых самым главным, наверно, было *преодоление* духом своей смертной физической сущности, ее слабости и уязвимости. Преодоление ради Великого. Ведь во время войны небывалой высоты достигло гражданское самосознание народа, каждый из нас ощущал свою личную ответственность за судьбы Отчизны. В этом, и только в этом, пафос освободительной, священной войны, названной Великой Отечественной.

Герои Ремарка, охваченные воинственным воодушевлением, поначалу думали, что воюют за родину. Не сразу приходит к ним прозрение, а когда приходит, воевать им становится во сто крат труднее; потерял смысл войны, а противник, казавшийся врагом, перестает таковым казаться. Они начинают постепенно освобождаться от националистической ненависти к солдатам других армий, видя в них таких же несчастных простых людей, рабочих, крестьян, какими являлись сами. В ремарковских мальчишках пробуждается дух интернационализма. Примечательна в этом отношении потрясающая сцена романа, в которой герой Пауль Боймер убивает французского солдата, оказавшегося печатником Жераром Дювалем; это Пауль узнает из солдатской книжки, вынутой из бумажника. Лежа с умирающим солдатом в одной воронке, Пауль вместе с ним переживает последние часы его жизни. На какое-то время он даже забывает, что он солдат, и раскаивается в содеянном.

«Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты прыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал... раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подсказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие: гранаты, штык; теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если б нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли! Прости меня, товарищ: как мог ты быть моим врагом?»

В порыве чувств Пауль даже обещает бороться против войны, если останется жив. Правда, на другой же день он забывает о своем обещании, но потрясение это бесследно не проходит.

Я привел лишь часть из потока смятенных мыслей, овладевших Паулем Боймером. Такие мысли приходили в голову не только ему одному. В результате долгих рассуждений солдаты сходятся на том, что война служит средством обогащения некоторых людей.

Без этого «психологизирования», которое почему-то «закрывает путь к политическим выводам», не могло бы быть *осмысления* несправедливой войны, приведшего героев Ремарка к ее отрицанию:

«Я молод — мне двадцать лет, — размышляет Пауль, — но все, что я видел в жизни, — это отчаяние, смерть, страх и сплетение нелепейшего бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один народ на другой и люди убивают друг друга, в безумном ослеплении покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за собой вины. Я вижу, что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы такое длилось дольше, и находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать все это».

В этом «психологизировании», на мой взгляд, как раз и сила писателя, показавшего живых, чувствующих, мыслящих людей в бесчеловечном крошеве мировой бойни. Кстати, и в лучших произведениях нашей советской военной прозы много «психологии», что является ее неоспоримым достоинством, потому что воевали не «пешки», не «винтики», а личности, каждая со своей судьбой. И до сих пор не пойму, почему некоторым критикам «психологизация» казалась чем-то подозрительным, предосудительным. Почему им хотелось видеть войну без крови и страдания, а людей в ней — бездумных, нерассуждающих и, разумеется, без какой-либо, не дай бог, рефлексии? А посему, к сожалению, наряду с настоящими книгами о войне появлялись у нас — и в большом количестве — книги, состряпанные по рецептам таких вот представлений, где герои почти не думают, почти ничего не чувствуют, они только совершают подвиги. Это лживые книги, извращающие суровую и тяжкую правду войны, умаляющие тем самым действительный, истинный подвиг, совершенный народом. Между прочим, создатели таких книженций особенно рьяно выступали и выступают против «ремаркизма» и самого Ремарка, а также против тех писателей, в произведениях которых усматривают этот самый «ремаркизм».

Роман «На Западном фронте без перемен» вышел в свет в 1929 году, то есть одиннадцать лет спустя после описываемых событий. Надо отметить, что вторая волна так называемой «лейтенантской» военной прозы пришла к читателям примерно через такое же время. Вероятно, такой временной промежуток необходим писателям: еще все свежо в памяти и в то же время уже пришло осмысление прошедшей войны. Но Ремарк создал свой роман в то время, когда на арену политической жизни Германии выступил фашизм с его реваншистскими лозунгами. «На Западном фронте без перемен» явился романом-предупреждением против новой войны. Это было понятно читателям всего мира, поэтому и пользовался этот роман таким необычайным успехом, поэтому в том же 1929 году и был переведен на многие языки мира, в том числе и на русский.

Так уж случилось, что этот роман я не перечитывал с того памятного дня сорок второго года, но впечатления от него были настолько яркие, что он как бы впечатался в память. И наверное, самым важным для меня явилось то, что прочитанный в разгар войны роман помог мне осознать трагедию немецкого народа, свергнутого Гитлером в захватническую войну, помочь сберечь во мне человечность; я четче понимал, что не все немецкие солдаты — фашисты, что это армия не добровольцев, а насильно мобилизованная, что большинство этих солдат обмануты шовинистической пропагандой так же, как и мальчишки Ремарка, брошенные с гимназической скамьи в мясорубку нещадной империалистической бойни. И признаюсь: когда видел трупы

молодых немецких солдат, испытывал к ним порой жалость. И это не какой-то так называемый «абстрактный гуманизм», а обыкновенное человеческое понимание того, что не все рядовые немецкие солдаты повинны в этой навязанной фашизмом войне, что у многих из них, возможно, открылись глаза, быть может, они испытывают такое же отчаяние, как и герои Ремарка. В сорок третьем мне случилось говорить в госпитале с двумя немецкими ранеными, один из них был до войны журналистом, другой — машинистом паровоза; из того разговора стало ясно, что они начинают понимать бессмысленность этой войны, но что могут сделать они, простые солдаты? Я не берусь утверждать, что так рассуждало большинство воюющих немцев, факты доказывают обратное: воевали и сопротивлялись они до конца, даже в обреченном Берлине, но несомненно, что часть из них прозрела, как прозрели и герои Ремарка.

Роман «На Западном фронте без перемен» написан с предельной искренностью; писатель повествует о пережитом, и эта правда, полученная читателем из первых рук, обжигает, заставляет сопереживать, вызывает сочувствие к этим мальчишкам, одетым в солдатские шинели, которых каждодневно, ежечасно убивает война.

«Осень. Нас, старичков, осталось уже немного. Из моих одноклассников — а их было семеро — я здесь последний», — с болью отмечает Пауль Боймер, не зная еще, что скоро, очень скоро, когда на Западном фронте будет относительно спокойно, без перемен, будет убит и сам.

Некоторые критики упрекали Ремарка в том, что он идеализирует фронтную мужскую дружбу, но вот что писал об этом сам Ремарк:

«Все мы — братья, связанные странными узами, в которых есть нечто от воспетого в народных песнях товарищества, от солидарности заключенных, от продиктованной отчаянием сплоченности приговоренных к смертной казни; нас породила та жизнь, которой мы живем, особая форма бытия, порожденная постоянной опасностью, ожиданием смерти и одиночеством и сводящаяся к тому, что человек бездумно присчитывает дарованные ему часы к ранее прожитым, не испытывая при этом абсолютно никаких высоких чувств. Смесь героического с банальным — вот какое определение можно было бы дать нашей жизни, но только кто станет над ней задумываться».

Что-то не видится мне здесь никакой идеализации, пожалуй, скорее констатация факта: да, вот сложилось такое братство по таким-то причинам, и никаких сантиментов. Герои же Ремарка разучились рассуждать отвлеченно. Они придавали «значение только фактам». Но солдаты Ремарка держатся за это товарищество, как за то единственно человеческое, что осталось им в их страшных фронтовых буднях, как за единственную нить, связывающую их с довоенным прошлым, с мирной жизнью. И эта солдатская дружба описана у Ремарка трогательно и очень человечно. Поэтому так понятна печаль героя романа «Возвращение» Эрнста Биркхольца, когда он говорит:

«...Все, что связывало нас, потеряло силу, распалось на мелкие индивидуальные интересишки. Порой как будто и мелькнет что-то от прошлого, когда на всех нас была одинаковая одежда, но мелькнет уже неясно, смутно. Вот передо мной мои боевые товарищи, но они уже не товарищи, и оттого так грустно. Война все разрушила, но в солдатскую дружбу мы верили. А теперь видим: чего не сделала смерть, то довершает жизнь — она разлучает нас».

Вот так сильно, почти трагично выражено это чувство у Ремарка. Думаю, что с нами, вернувшимися с войны, происходило нечто похожее, когда жизнь начала раскидывать нас по разным отсекам. Но, как ни странно, фронтовая дружба вернулась к нам через много, много лет, и сейчас каждый, с кем вместе когда-то воевал, стал опять родным и близким.

Несмотря на страшные и жестокие картины буден войны, написанные Ремарком, несмотря на то что он не скрывает: война опустошает души, превращает в минуты безумных атак солдат в зверей, все же, в основном, герои Ремарка остаются людьми, они осмысливают происходящее, стараясь решить насущные вопросы своего бытия.

«Дни, недели, годы, проведенные здесь, на передовой, еще вернутся к нам, и наши убитые товарищи встанут тогда из-под земли и пойдут с нами, у нас будут ясные головы, у нас будет цель, и мы куда-то пойдём, плечом к плечу с нашими убитыми товарищами, с воспоминаниями о фронтовых годах в сердце. Но куда (разрядка моя. — В. К.) мы пойдём? На какого врага?» (разрядка моя. — В. К.) — рассуждает Пауль Боймер, когда для него уже стало ясно, что в находящихся за «нейтралкой» французских окопах — не враги, а такие же несчастные, обманутые люди, а настоящий враг — это кто-то другой.

Ответы на многие вопросы, мучившие героев Ремарка на фронте, дает отчасти роман «Возвращение», написанный писателем в 1931 году, хотя и в нем вопросов больше, чем ответов.

Этот роман тоже поразил меня, бывшего фронтовика, тем общим, что было в первых восприятиях мирной жизни у героев Ремарка и нас. Вроде бы другое время, другой социальный строй, другая война и мы совсем другие, но сколько совпадений! И в душевном состоянии, и во многих бытовых деталях. Но наше «возвращение» было, разумеется, другим, мы вернулись победителями, хотя почти каждый из нас задавался теми же вопросами, что и герои Ремарка:

«...Но для мирной обстановки? Годимся ли мы для нее? Пригодны ли вообще на что-нибудь другое, кроме солдатчины?»

Может быть, и не так остро стояли эти вопросы, но все же какую-то растерянность перед мирной жизнью мы ощущали, тем более те, кто ушел на фронт школьником или студентом первого курса, а вернулся уже вроде взрослым, но не имеющим никакой специальности. Ну а до окончания войны возвращение тоже представлялось нам началом какого-то вечного праздника, но...

«Мы представляли себе все иначе. Мы думали: мощным аккордом начнется сильное, яркое существование, полновесная радость вновь обретенной жизни. Таким нам рисовалось начало (разрядка моя. — В. К.). Но дни и недели скользят как-то мимо, они проходят в каких-то безразличных, поверхностных делах...» — так с горечью размышляет герой романа Эрнст Бирхольц.

И что-то похожее испытывали и мы... И это, видимо, естественное состояние человека, вернувшегося после войны, потребовавшей полной отдачи всех душевных и физических сил и нечеловеческого перенапряжения психики, после долгих лет, проведенных на грани жизни и смерти.

Всеми этими сопоставлениями мне хочется приблизить сегодняшнего читателя к Ремарку, показать, что солдат первой мировой от нашего поколения отделяют всего двадцать лет, и это два поколения, которые впервые в истории испытали на себе ужасы мировых войн, это два поколения, почти полностью истребленные, понесшие неизмеримые потери, почти выбитые из жизни. Мы близки друг другу и по времени, и по тяжести выпавших на нашу долю испытаний. Первая мировая — не такая уж далекая история, ведь живы еще, хоть их и мало, участники тех событий, а пока жив даже один очевидец — это еще не история, а живое, волнующее нас прошлое.

Как я уже говорил, в «Возвращении» больше вопросов, чем ответов, сам герой этого романа Эрнст говорит: «Все вопросы и вопросы, одни вопросы». Но все-таки один ответ они нашли.

«Мы, сами того не ведая, вели войну против самих себя! И каждый меткий выстрел попадал в одного из нас! Так слушай, — я кричу тебе в самые уши: молодежь всего мира поднялась на борьбу и в каждой стране она верила, что борется за свободу! И в каждой стране ее обманывали и предавали... Есть только один вид борьбы: это борьба против лжи, половинчатости, компромиссов, пережитков!»

Что ж, думается, это немало для двадцатилетних бывших солдат.

В заключительных главах «Возвращения» очень значителен и знаменателен эпизод, когда Эрнст Биркхольц с товарищами встречаются в лесу группу зеленых юнцов, возглавляемую мужчиной с «округлым брюшком», проводящих военную игру. С каким презрением, даже с ненавистью наблюдают они за этими мальчишками с деревянными ружьями и, наконец, изгоняют из лесу это «воинство». Они не хотят больше войны, никаких войн, а потому вскоре и распознают «врага» — обретающий силы фашизм, который и привел человечество к новой мировой бойне. Неясное предчувствие этого есть уже в романе «На Западном фронте без перемен». Помните? «Но куда мы пойдем? На какого врага?»

В «Возвращении» продолжается постижение жизни, идет уяснение процессов, происходящих в ней.

«Чего мы хотим? Если бы это можно было сказать в двух словах! Сильные, но неясные чувства клокочут в нас. Как передать их словами? Эти слова еще не родились в нас. Они, может быть, придут потом».

И к концу романа эти слова к ним приходят: «...избавление явилось тихо и незаметно. Но оно пришло. В то самое время, когда я отчаявался и считал все погибшим, оно неслышно зрело во мне самом. Я думал, что прощание — всегда конец. Ныне я знаю: расти тоже значит прощаться. И расти нередко значит — покидать... А конца не существует».

Это, конечно, еще не полное прозрение, еще не обретение четких и определенных идеалов, но будем снисходительны к героям Ремарка, они хоть и считают себя «стариками», но вернулись-то они двадцатилетними или чуть старше, и не очень-то доверчиво относятся они к тому, что увидели по возвращении. Но они не потеряли человечности, веры в добро, в будущее...

Прошло много лет, как окончилась вторая мировая, не за горами пятидесятилетие нашей Победы, но писатели-фронтовики все пишут и пишут о войне, полагая эту работу своим нравственным долгом не только перед павшими и оставшимися в живых, но и перед будущими поколениями... Да, создаются новые и переиздаются старые книги о войне. В числе их и два, на мой взгляд, лучших романа Ремарка — «На Западном фронте без перемен» и «Возвращение», два произведения о войне далекой от нас, но открывшей счет мировым войнам в нашей истории. Все значительные книги о войне нацелены против войны, а оба вышеназванных романа к тому же и антимилитаристские произведения; они предупреждают человечество об опасности третьей мировой войны, в которой уже не было бы ни победителей, ни побежденных, просто не было бы — *ничего и никого...*

В. Кондратьев



А ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

РОМАН

ЭТА КНИГА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НИ ОБВИНЕНИЕМ, НИ ИСПОВЕДЬЮ. ЭТО ТОЛЬКО ПОПЫТКА РАССКАЗАТЬ О ПОКОЛЕНИИ, КОТОРОЕ ПОГУБИЛА ВОЙНА, О ТЕХ, КТО СТАЛ ЕЕ ЖЕРТВОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ СПАСЯ ОТ СНАРЯДОВ.





ы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, — словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случилось: наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще; он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой «пищемет», и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев — про запас. Тьяден сделал это из обжорства, Мюллер — из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, — для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как селедка.

Но самое главное — курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по десять сигар, двадцать сигарет и по две плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Катчинского его сигареты, итого у меня теперь сорок штук. Один день протянуть можно.

А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло.

Две недели назад нас отправили на передовую, сменить другую часть. На нашем участке было довольно спокойно, поэтому ко дню нашего возвращения каптенармус получил довольствие по обычной раскладке и распорядился варить на роту в сто пятьдесят человек. Но как раз в последний день англичане вдруг подбросили свои тяжелые «мясорубки», пренеприятные штуковины, и так долго били из них по нашим окопам, что мы понесли тяжелые потери, и с передовой вернулось только восемьдесят человек.

Мы прибыли в тыл ночью и тотчас же растянулись на нарах, чтобы первым делом хорошенько выспаться; Катчинский прав: на войне было бы не так скверно, если бы только можно было побольше спать. На передовой ведь никогда толком не поспишь, а две недели тянутся долго.

Когда первые из нас стали выползать из барачных, был уже полдень. Через полчаса мы прихватили наши котелки и собрались

у дорогого нашему сердцу «пищемета», от которого пахло чем-то наваристым и вкусным. Разумеется, первыми в очереди стояли те, у кого всегда самый большой аппетит: коротышка Альберт Кропп, самая светлая голова у нас в роте и, наверно, поэтому лишь недавно произведенный в ефрейторы; Мюллер Пятый, который до сих пор таскает с собой учебники и мечтает сдать льготные экзамены; под ураганным огнем зубрит он законы физики; Леер, который носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров; он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше — брать ванну; четвертый — это я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцати лет, все четверо ушли на фронт из одного класса.

Сразу же за нами стоят наши друзья: Тьяден, слесарь, тщедушный юноша одних лет с нами, самый прожорливый солдат в роте — за еду он садится тонким и стройным, а поев, встает пузатым, как насосавшийся клоп; Хайе Вестхус, тоже наш ровесник, рабочий-торфяник, который свободно может взять в руку буханку хлеба и спросить: «А ну-ка отгадайте, что у меня в кулаке?»; Детеринг, крестьянин, который думает только о своем хозяйстве и о своей жене; и, наконец, Станислав Катчинский, душа нашего отделения, человек с характером, умница и хитрюга, — ему сорок лет, у него землистое лицо, голубые глаза, покатые плечи и необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства.

Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал.

Наконец Катчинский крикнул ему:

— Ну, открывай же свою обжорку, Генрих! И так видно, что фасоль сварилась!

Повар сонно покачал головой:

— Пускай сначала все соберутся.

Тьяден ухмыльнулся:

— А мы все здесь!

Повар все еще ничего не заметил:

— Держи карман шире! Где же остальные?

— Они сегодня не у тебя на довольствии! Кто в лазарете, а кто и в земле!

Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло:

— А я-то сварил на сто пятьдесят человек!

Кропп ткнул его кулаком в бок:

— Значит, мы хоть раз наедемся досыта. А ну давай начинай раздачу!

В эту минуту Тьядена осенила внезапная мысль. Его острое, как мышьяная мордочка, лицо так и засветилось, глаза лукаво сощурились, скулы заиграли, и он подошел поближе:

— Генрих, дружище, так, значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек?

Огорошенный повар рассеянно кивнул.

Тьяден схватил его за грудь:

— И колбасу тоже?

Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядена отвисла челюсть:

— И табак?

— Ну да, все.

Тьяден обернулся к нам, лицо его сияло:

— Черт побери, вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет — обождите! — так и есть, ровно по две порции на нос!

Но тут Помидор снова ожил и заявил:

— Так дело не пойдет.

Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе.

— Эй ты, морковка, почему не выйдет? — спросил Катчинский.

— Да потому, что восемьдесят — это не сто пятьдесят!

— А вот мы тебе покажем, как это сделать, — проворчал Мюллер.

— Суп получите, так и быть, а хлеб и колбасу выдам только на восемьдесят, — продолжал упорствовать Помидор.

Катчинский вышел из себя:

— Послать бы тебя самого разок на передовую! Ты получил продукты не на восемьдесят человек, а на вторую роту, баста. И ты их выдашь! Вторая рота — это мы.

Мы взяли Помидора в оборот. Все его недолюбливали: уже не раз по его вине обед или ужин попадал к нам в окопы остывшим, с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе и нашим подносчикам пицци приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульке из первой роты, тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, но уж если надо было, то тащил свою кухню почти до самой передовой.

Мы были настроены очень воинственно, и, наверно, дело дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только:

— Да, вчера у нас были большие потери...

Затем он заглянул в котел:

— А фасоль, кажется, неплохая.

Помидор кивнул:

— Со смальцем и с говядиной.

Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал — ведь он сам вышел из нашей среды: в роту он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал:

— Принесите и мне тарелочку. А порции раздать на всех. Зачем добру пропадать.

Физиономия Помидора приняла глупое выражение. Тьяден приплясывал вокруг него:

— Ничего, тебя от этого не убудет! Воображает, будто он ведает всей интендантской службой. А теперь начинай, старая крыса, да смотри не просчитайся!..

— Сгинь, висельник! — прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости; все происшедшее не укладывалось в его голове, он не понимал, что творится на белом свете. И как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам роздал еще по полфунта искусственного меду на брата.

* * *

День сегодня и в самом деле выдался хороший. Даже почта пришла; почти каждый получил по несколько писем и газет. Теперь мы не спеша бредем на луг за бараками. Кропп несет под мышкой круглую крышку от бочки с маргарином.

На правом краю луга выстроена большая солдатская уборная — добротное срубленное строение под крышей. Впрочем, она представляет интерес разве что для новобранцев, которые еще не научились из всего извлекать пользу. Для себя мы ищем кое-что получше. Дело в том, что на лугу там и сям стоят одиночные кабины, предназначенные для той же цели. Это четырехугольные ящики, опрятные, сплошь сколоченные из досок, закрытые со всех сторон, с великолепным, очень удобным сиденьем. Сбоку у них есть ручки, так что кабины можно переносить.

Мы сдвигаем три кабины вместе, ставим их в кружок и неторопливо рассаживаемся. Раньше чем через два часа мы со своих мест не поднимемся.

Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом — ведь солдат всегда должен быть под наблюдением.

С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам.

Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях — ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль и если их естественность не была бы для нас в новинку — именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной.

Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный за-

пас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно. Когда мы вернемся домой, наши домашние и наши учителя будут здорово удивлены, но что поделаешь — здесь на этом языке говорят все.

Для нас все эти функции организма вновь приобрели свой невинный характер в силу того, что мы поневоле отправляем их публично. Более того: мы настолько отвыкли видеть в этом нечто зазорное, что возможность справиться свои дела в уютной обстановке рассчитывается у нас, я бы сказал, так же высоко, как красиво проведенная комбинация в скате¹ с верными шансами на выигрыш. Не даром в немецком языке возникло выражение «новости из отхожих мест», которым обозначают всякого рода болтовню; где же еще поболтать солдату, как не в этих уголках, которые заменяют ему его традиционное место за столиком в пивной?

Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем в самом комфортабельном туалете с белыми кафельными стенками. Там может быть чисто — и только; здесь же просто хорошо.

Удивительно бездумные часы... Над нами синее небо. На горизонте повисли ярко освещенные желтые аэростаты и белые облачка — разрывы зенитных снарядов. Порой они взлетают высоким снопом — это зенитчики охотятся за аэропланом.

Приглушенный гул фронта доносится до нас лишь очень слабо, как далекая-далекая гроза. Стоит шмелю прожужжать, и гула этого уже совсем не слышно.

А вокруг нас расстилается цветущий луг. Колеблются нежные метелки трав, порхают капустницы; они плывут в мягком, теплом воздухе позднего лета; мы читаем письма и газеты и курим, мы снимаем фуражки и кладем их рядом с собой, ветер играет нашими волосами, он играет нашими словами и мыслями.

Три будки стоят среди пламенно-красных цветов полевого мака...

Мы кладем на колени крышку от бочки с маргарином. На ней удобно играть в скат. Кропп прихватил с собой карты. Каждый кон ската чередуется с партией в рамс². За такой игрой можно просидеть целую вечность.

От барачков к нам долетают звуки гармоники. Порой мы кладем карты и смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Эх, ребята...» — или: «А ведь еще немного, и нам всем была бы крышка...» — и мы на минуту умолкаем. Мы отдаемся властному, загнанному внутрь чувству, каждый из нас ощущает его присутствие, слова тут

¹ Скат — распространенная в Германии карточная игра. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

² Рамс — карточная игра.



не нужны. Как легко могло бы случиться, что сегодня нам уже не пришлось бы сидеть в этих кабинах, — ведь мы, черт побери, были на волосок от этого. И поэтому все вокруг воспринимается так остро и заново — алые маки и сытная еда, сигареты и летний ветерок.

Кропп спрашивает:

— Кеммериха кто-нибудь из вас видел с тех пор?

— Он в Сен-Жозефе, в лазарете, — говорю я.

— У него сквозное ранение бедра — верный шанс вернуться домой, — замечает Мюллер.

Мы решаем навестить Кеммериха сегодня после обеда.

Кропп вытаскивает какое-то письмо:

— Вам привет от Канторека.

Мы смеемся. Мюллер бросает окурочек и говорит:

— Хотел бы я, чтобы он был здесь.

Канторек, строгий маленький человечек в сером сюртуке, с острым, как мышиная мордочка, личиком, был у нас классным наставником. Он был примерно такого же роста, что и унтер-офицер Химмельштос, «гроза Клостерберга». Кстати, как это ни странно, но всяческие беды и несчастья на этом свете очень часто исходят от людей маленького роста, у них гораздо более энергичный и неуживчивый характер, чем у людей высоких. Я всегда старался не попадать в часть, где ротами командуют офицеры невысокого роста: они всегда ужасно придираются.

На уроках гимнастики Канторек выступал перед нами с речами и в конце концов добился того, что наш класс, строем, под его командой, отправился в окружное военное управление, где мы записались добровольцами.

Помню как сейчас, как он смотрел на нас, поблескивая стеклышками своих очков, и спрашивал задушевым голосом: «Вы, конечно, тоже пойдете вместе со всеми, не так ли, друзья мои?»

У этих воспитателей всегда найдутся высокие чувства, ведь они носят их наготове в своем жилетном кармане и выдают по мере надобности поурочно. Но тогда мы об этом еще не задумывались.

Правда, один из нас все же колебался и не очень-то хотел идти вместе со всеми. Это был Иозеф Бем, толстый, добродушный парень. Но и он все-таки поддался уговорам, иначе он закрыл бы для себя все пути. Быть может, еще кое-кто думал, как он, но остаться в стороне тоже никому не улыбалось, ведь в то время все, даже родители, так легко бросались словом «трус». Никто просто не представлял себе, какой оборот примет дело. В сущности, самыми умными оказались люди бедные и простые — они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил лучше, совсем потеряли голову от радости, хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет.

Катчинский утверждает, что это все от образованности, от нее, мол, люди глупеют. А уж Кат слов на ветер не бросает.

И случилось так, что как раз Бем погиб одним из первых. Во время атаки он был ранен в лицо, и мы сочли его убитым. Взять его с собой мы не могли, так как нам пришлось поспешно отступить. Во второй половине дня мы вдруг услышали его крик; он ползал перед окопами и звал на помощь. Во время боя он только потерял сознание. Слепой и обезумевший от боли, он уже не искал укрытия, и его подстрелили, прежде чем мы успели его подобрать.

Канторека в этом, конечно, не обвинишь — вменять ему в вину то, что он сделал, значило бы заходить очень далеко. Ведь Канторек были тысячи, и все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень утруждая при этом себя.

Но это именно и делает их в наших глазах банкротами.

Они должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать

посредниками между нами и нашим будущим. Иногда мы подтрунивали над ними, могли порой подстроить им какую-нибудь шутку, но в глубине души мы им верили. Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого, это убеждение развеялось в прах. Мы поняли, что их поколение не так честно, как наше; их превосходство заключалось лишь в том, что они умели красиво говорить и обладали известной ловкостью. Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали.

Они все еще писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих; они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом (они ведь так легко бросались этими словами): мы любили родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку; но теперь мы кое-что поняли, мы словно вдруг прозрели. И мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве, и выход из этого одиночества нам предстояло найти самим.

* * *

Прежде чем отправиться к Кеммериху, мы упаковываем его вещи: в пути они ему пригодятся.

Полевой лазарет переполнен; здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом. Тот, кто жил в бараках, ко многому привык, но здесь и привычному человеку станет дурно. Мы расспрашиваем, как пройти к Кеммериху; он лежит в одной из палат и встречает нас слабой улыбкой, выражающей радость и беспомощное волнение. Пока он был без сознания, у него украли часы.

Мюллер осуждающе качает головой:

— Я ведь тебе говорил, такие хорошие часы нельзя брать с собой.

Мюллер не очень хорошо соображает и любит поспорить. Иначе он попридержал бы язык: ведь каждому видно, что Кеммериху уже не выйти из этой палаты. Найдутся ли его часы или нет — это абсолютно безразлично, в лучшем случае их пошлют его родным.

— Ну, как дела, Франц? — спрашивает Кропп.

Кеммерих опускает голову:

— В общем, ничего, только ужасные боли в ступне.

Мы смотрим на его одеяло. Его нога лежит под проволочным каркасом, одеяло вздувается над ним горбом. Я толкаю Мюллера в коленку, а то он, чего доброго, скажет Кеммериху о том, что нам рассказали во дворе санитары: у Кеммериха уже нет ступни — ему ампутировали ногу.

Вид у него ужасный, он изжелта-бледен, на лице проступило выражение отчужденности, те линии, которые нам так хорошо зна-



комы, потому что мы видели их уже сотни раз. Это даже не линии, это скорее знаки. Под кожей не чувствуется больше биения жизни: она отхлынула в дальние уголки тела, изнутри прокладывает себе путь смерть, глазами она уже завладела. Вот лежит Кеммерих, наш боевой товарищ, который еще так недавно вместе с нами жарил конину и лежал в воронке, — это еще он, и все-таки это уже не он; его образ расплылся и стал нечетким, как фотографическая пластинка, на которой сделаны два снимка. Даже голос у него какой-то пепельный.

Вспоминаю, как мы уезжали на фронт. Его мать, толстая, добродушная женщина, провожала его на вокзал. Она плакала беспрерывно, от этого лицо ее обмякло и распухло. Кеммерих стеснялся ее слез, никто вокруг не вел себя так несдержанно, как она, — казалось, весь ее жир растает от сырости. При этом она, как видно, хо-

тела разжалобить меня — то и дело хватала меня за руку, умоляя, чтобы я присматривал на фронте за ее Францем. У него и в самом деле было совсем еще детское лицо и такие мягкие кости, что, потаскав на себе ранец в течение какого-нибудь месяца, он уже нажил себе плоскостопие. Но как прикажете присматривать за человеком, если он на фронте!

— Теперь ты сразу попадешь домой, — говорит Кропп, — а то бы тебе пришлось три-четыре месяца ждать отпуска.

Кеммерих кивает. Я не могу смотреть на его руки — они словно из воска. Под ногтями засела окопная грязь, у нее какой-то ядовитый иссиня-черный цвет. Мне вдруг приходит в голову, что эти ногти не перестанут расти и после того, как Кеммерих умрет, они будут расти еще долго-долго, как белые призрачные грибы в погребке. Я представляю себе эту картину: они свиваются штопором и все растут и растут, и вместе с ними растут волосы на гниющем черепе, как трава на тучной земле, совсем как трава... Неужели и вправду так бывает?..

Мюллер наклоняется за свертком:

— Мы принесли твои вещи, Франц.

Кеммерих делает знак рукой:

— Положите их под кровать.

Мюллер запихивает вещи под кровать. Кеммерих снова заводит разговор о часах. Как бы его успокоить, не вызывая у него подозрений!

Мюллер вылезает из-под кровати с парой летных ботинок. Это великолепные английские ботинки из мягкой желтой кожи, высокие, до колен, со шнуровкой доверху, мечта любого солдата. Их вид приводит Мюллера в восторг, он прикладывает их подошвы к подошвам своих неуклюжих ботинок и спрашивает:

— Так ты хочешь взять их с собой, Франц?

Мы все трое думаем сейчас одно и то же: даже если бы он выздоровел, он все равно смог бы носить только один ботинок, значит, они были бы ему ни к чему. А при нынешнем положении вещей просто ужасно обидно, что они останутся здесь, — ведь как только он умрет, их сразу же заберут себе санитары.

Мюллер спрашивает еще раз:

— А может, ты их оставишь у нас?

Кеммерих не хочет. Эти ботинки — самое лучшее, что у него есть.

— Мы могли бы их обменять на что-нибудь, — снова предлагает Мюллер, — здесь, на фронте, такая вещь всегда пригодится.

Но Кеммерих не поддается на уговоры.

Я наступаю Мюллеру на ногу; он с неохотой ставит чудесные ботинки под кровать.

Некоторое время мы еще продолжаем разговор, затем начинаем прощаться:

— Поправляйся, Франц!

Я обещаю ему зайти завтра еще раз. Мюллер тоже заговаривает об этом; он все время думает о ботинках и поэтому решил их каравить.

Кеммерих застонал. Его лихорадит. Мы выходим во двор, останавливаем там одного из санитаров и уговариваем его сделать Кеммериху укол.

Он отказывается:

— Если каждому давать морфий, нам придется изводить его бочками.

— Ты, наверно, только для офицеров стараешься, — говорит Кропп с неприязнью в голосе.

Я пытаюсь уладить дело, пока не поздно, и для начала предлагаю санитару сигарету. Он берет ее. Затем спрашиваю:

— А ты вообще-то имеешь право давать морфий?

Он воспринимает это как оскорбление:

— Если не верите, зачем тогда спрашивать?..

Я сую ему еще несколько сигарет:

— Будь добр, удружи...

— Ну ладно, — говорит он.

Кропп идет с ним в палату — он не доверяет ему и хочет сам присутствовать при этом. Мы ждем его во дворе.

Мюллер снова заводит речь о ботинках:

— Они бы мне были как раз впору. В моих штиблетах я себе все ноги изотру. Как ты думаешь, он до завтра еще протянет, до того времени, как мы освободимся? Если он помрет ночью, нам ботинок не видать как своих ушей.

Альберт возвращается из палаты.

— Вы о чем? — спрашивает он.

— Да нет, ничего, — отвечает Мюллер.

Мы идем в наши бараки. Я думаю о письме, которое мне надо будет завтра написать матери Кеммериха. Меня знобит, я с удовольствием выпил бы сейчас водки. Мюллер срывает травинки и жует их. Вдруг коротышка Кропп бросает свою сигарету, с остервенением топчет ее ногами, оглядывается с каким-то опустошенным, безумным выражением на лице и бормочет:

— Дерьмо, дерьмо, все вокруг дерьмо проклятое!

Мы идем дальше, идем долго. Кропп успокоился; мы знаем, что с ним сейчас было: это фронтовая истерия, такие припадки бывают у каждого.

Мюллер спрашивает его:

— А что пишет Канторек?

— Он пишет, что мы железная молодежь, — смеется Кропп.

Мы смеемся все трое горьким смехом. Кропп сквернословит; он рад, что в состоянии говорить.

Да, вот как рассуждают они, эти сто тысяч Канторексов! Железная молодежь! Молодежь! Каждому из нас не больше двадцати лет. Но разве мы молоды? Разве мы молодежь? Это было давно. Сейчас мы старики.

Странно вспоминать о том, что у меня дома, в одном из ящиков письменного стола, лежит начатая драма «Саул» и связка стихотворений. Я просидел над своими произведениями не один вечер — ведь почти каждый из нас занимался чем-нибудь в этом роде; но все это стало для меня настолько неправдоподобным, что я уже не могу себе это по-настоящему представить.

С тех пор как мы здесь, наша прежняя жизнь резко прервалась, хотя мы со своей стороны ничего для этого не предпринимали. Порой мы пытаемся припомнить все по порядку и найти объяснение, но у нас это как-то не получается. Особенно неясно все именно нам, двадцатилетним, — Кроппу, Мюллеру, Лееру, мне — всем тем, кого Канторек называет железной молодежью. Люди постарше крепко связаны с прошлым, у них есть почва под ногами, есть жены, дети, профессии и интересы; эти узы уже настолько прочны, что война не может их разорвать. У нас же, двадцатилетних, есть только наши родители, да у некоторых — девушка. Это не так уж много, ведь в нашем возрасте привязанность к родителям особенно ослабевает, а девушки еще не стоят на первом плане. А помимо этого мы почти ничего не знали: у нас были свои мечтания, кой-какие увлечения да школа; больше мы еще ничего не успели пережить. И от этого ничего не осталось.

Канторек сказал бы, что мы стояли на самом пороге жизни. В общем, это верно. Мы еще не успели пустить корни. Война нас смыла. Для других, тех, кто постарше, война — это временный перерыв, они могут ее мысленно перескочить. Нас же война подхватила и понесла, и мы не знаем, чем все это кончится. Пока что мы знаем только одно: мы огрубели, но как-то по-особенному, так что в нашем очерствении есть и тоска, хотя теперь мы даже и грустим-то не так уж часто.

* * *

Если Мюллеру очень хочется получить ботинки Кеммериха, то это вовсе не значит, что он проявляет к нему меньше участия, чем человек, который в своей скорби не решил бы и подумать об этом. Для него это просто разные вещи. Если бы ботинки могли еще принести Кеммериху хоть какую-нибудь пользу, Мюллер предпочел бы ходить босиком по колючей проволоке, чем размышлять о том, как их заполучить. Но сейчас ботинки представляют собой нечто совершенно не относящееся к состоянию Кеммериха, а в то же время Мюллеру они бы оченьгодились. Кеммерих умрет — так не все ли равно, кому они достанутся? И почему бы Мюллеру не охотиться за ними, ведь у него на них больше прав, чем у какого-нибудь санитаря! Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Вот почему Мюллер уже сейчас присматривает за ними.

Мы разучились рассуждать иначе, ибо все другие рассуждения искусственны. Мы придаем значение только фактам, только они для нас важны. А хорошие ботинки не так-то просто найти.

Раньше и это было не так. Когда мы шли в окружное военное управление, мы еще представляли собой школьный класс, двадцать юношей, и, прежде чем переступить порог казармы, вся наша веселая компания отправилась бриться в парикмахерскую, причем многие делали это в первый раз. У нас не было твердых планов на будущее, лишь у очень немногих мысли о карьере и призвании приняли уже настолько определенную форму, чтобы играть какую-то практическую роль в их жизни; зато у нас было множество неясных идеалов, под влиянием которых и жизнь, и даже война представлялись нам в идеализированном, почти романтическом свете.

В течение десяти недель мы проходили военное обучение, и за это время нас успели перевоспитать более основательно, чем за десять школьных лет. Нам внушали, что начисленная пуговица важнее, чем целых четыре тома Шопенгауэра. Мы убедились — сначала с удивлением, затем с горечью и, наконец, с равнодушием — в том, что здесь все решает, как видно, не разум, а сапожная щетка, не мысль, а заведенный некогда распорядок, не свобода, а муштра. Мы стали солдатами по доброй воле, из энтузиазма; но здесь делалось все, чтобы выбить из нас это чувство. Через три недели нам уже не казалось непостижимым, что почтальон с лычками унтера имеет над нами больше власти, чем наши родители, наши школьные наставники и все носители человеческой культуры от Платона до Гете вместе взятые. Мы видели своими молодыми, зоркими глазами, что классический идеал отечества, который нам нарисовали наши учителя, пока что находил здесь реальное воплощение в столь полном отречении от своей личности, какого никто и никогда не вздумал бы потребовать даже от самого последнего слуги. Козырять, стоять навтыжку, заниматься шагистикой, брать «на караул», вертеться направо и налево, щелкать каблуками, терпеть брань и тысячи придирок, — мы мыслили себе нашу задачу совсем иначе и считали, что нас готовят к подвигам, как цирковых лошадей готовят к выступлению. Впрочем, мы скоро привыкли к этому. Мы даже поняли, что кое-что из этого было действительно необходимо, зато все остальное, безусловно, только мешало. На эти вещи у солдата тонкий нюх.

Группами в три-четыре человека наш класс разбросали по отделениям вместе с фрисландскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы вскоре подружились. Кропп, Мюллер, Кеммерих и я попали в девятое отделение, которым командовал унтер-офицер Химмельштос.

Он слыл за самого свирепого тирана в наших казармах и гордился этим. Маленький, коренастый человек, прослуживший двенадцать лет, с ярко-рыжими, подкрученными вверх усами, в прошлом



почтальон. С Кроппом, Тьяденом, Вестхусом и со мной у него были особые счеты, так как он чувствовал наше молчаливое сопротивление.

Однажды утром я четырнадцать раз заправлял его койку. Каждый раз он придирался к чему-нибудь и сбрасывал постель на пол. Проработав двадцать часов, — конечно, с перерывами, — я надраил пару допотопных, твердых, как камень, сапог до такого зеркального блеска, что даже Химмельштосу не к чему было больше придраться. По его приказу я дочиста выскоблил зубной щеткой пол нашей казармы. Вооружившись половой щеткой и совком, мы с Кроппом стали выполнять его задание — очистить от снега казарменный двор — и, наверно, замерзли бы, но не отступились, если бы во двор случайно не заглянул один лейтенант, который отослал нас в казарму и здорово распек Химмельштоса. Увы, после этого Химмельштос только еще более люто возненавидел нас. Четыре недели подряд я нес по воскресеньям караульную службу и к тому же был весь этот месяц дневальным; меня гоняли с полной выкладкой и с винтовкой в руке по раскисшему, мокрому пустырю под команду «ложись!» и «бегом марш!», пока я не стал похож на ком грязи и не свалился от изнеможения; через четыре часа я предъявил Химмельштосу мое безукоризненно вычищенное обмундирование, — правда, после того, как я стер себе руки в кровь. Мы с Кроппом, Вестхусом и Тьяденом разучивали стойку «смирно» в лю-

тую стужу без перчаток, сжимая голыми пальцами ледяной ствол винтовки, а Химмельштос выжидающе петлял вокруг, подкарауливая, не шевельнемся ли мы хоть чуть-чуть, чтобы обвинить нас в невыполнении команды. Я восемь раз должен был сбегать с верхнего этажа казармы во двор, ночью, в два часа, за то, что мои кальсоны свешивались на несколько сантиметров с края скамейки, на которой мы складывали на ночь свою одежду. Рядом со мной, наступая мне на пальцы, бежал дежурный унтер-офицер — это был Химмельштос. На занятиях штыковым боем мне всегда приходилось сражаться с Химмельштосом, причем я ворочал тяжелую железную раму, а у него в руках была легонькая деревянная винтовка, так что ему ничего не стоило наставить мне синяков на руках; однажды, правда, я разозлился, очертя голову бросился на него и нанес ему такой удар в живот, что сбил его с ног. Когда он пошел жаловаться, командир роты поднял его на смех и сказал, что тут надо самому не зевать; он знал своего Химмельштоса и, как видно, ничего не имел против, чтобы тот остался в дураках. Я в совершенстве овладел искусством лазить на шкафчики; через некоторое время и по части приседаний мне тоже не было равных; мы дрожали, едва заслышав голос Химмельштоса, но одолеть нас этой взбесившейся почтовой кляче так и не удалось.

В одно из воскресений мы с Кроппом шли мимо барачков, неся на шесте полные ведра из уборной, которую мы чистили, и



когда проходивший мимо Химмельштос (он собрался пойти в город и был при всем параде), остановившись перед нами, спросил, как нам нравится эта работа, мы сделали вид, что запнулись, и выплеснули ведро ему на ноги. Он был вне себя от ярости, но ведь и нашему терпению пришел конец.

— Я вас укуеу в крепость! — кричал он.

Кропп не выдержал.

— Но сначала будет расследование, и тогда мы выложим все, — сказал он.

— Как вы разговариваете с унтер-офицером? — орал Химмельштос. — Вы что, с ума сошли? Подождите, пока вас спросят! Так что вы там сделаете?

— Выложим все насчет господина унтер-офицера! — сказал Кропп, держа руки по швам.

Тут Химмельштос все-таки почувал, чем это пахнет, и убрался, не говоря ни слова. Правда, уходя, он еще твякнул: «Я вам это припомню!..» — но власть его была подорвана. Он еще раз попытался отыграться, гоняя нас по пустырю и командуя «ложись!» и «встать, бегом марш!». Мы, конечно, каждый раз делали что положено — ведь приказ есть приказ, его надо выполнять. Но мы выполняли его так медленно, что это приводило Химмельштоса в отчаяние. Мы не спеша опускались на колени, затем опирались на руки и так далее; тем временем он уже в ярости подавал другую команду. Прежде чем мы успели вспотеть, он сорвал себе глотку.

Тогда он оставил нас в покое. Правда, он все еще называл нас сукиными детьми. Но в его ругани слышалось уважение.

Были среди унтеров и порядочные люди, которые вели себя благоразумнее; их было немало, они даже составляли большинство. Но все они прежде всего хотели как можно дольше удержаться на своем тепленьком местечке в тылу, а на это мог рассчитывать только тот, кто был строг с новобранцами.

Поэтому мы испытали на себе, пожалуй, все возможные виды казарменной муштры, и нередко нам хотелось выть от ярости. Некоторые из нас подорвали свое здоровье, а Вольф умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя достойными осмеяния, если бы сдались. Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало. Если бы нас послали в окопы, не дав нам пройти эту закалку, большинство из нас наверно сошло бы с ума. А так мы оказались подготовленными к тому, что нас ожидало.

Мы не дали себя сломить, мы приспособились; в этом нам помогли наши двадцать лет, из-за которых многое другое было для нас так трудно. Но самое главное — это то, что в нас проснулось сильное, всегда готовое претвориться в действие чувство взаимной спаянности, и впоследствии, когда мы попали на фронт, оно переросло в единственно хорошее, что породила война, — в товарищество!

Я сижу у кровати Кеммериха. Он все больше сдает. Вокруг нас страшная суматоха. Пришел санитарный поезд, и в палатах отбирают раненых, которые могут выдержать эвакуацию. У кровати Кеммериха врач не останавливается, он даже не смотрит на него.

— В следующий раз, Франц, — говорю я.

Опираясь на локти, он приподнимается над подушками:

— Мне ампутировали ногу.

Значит, он все-таки узнал об этом. Я киваю головой и говорю:

— Будь доволен, что отделался только этим.

Он молчит.

Я заговариваю снова:

— Тебе могли бы отнять обе ноги, Франц. Вот Вегелер потерял правую руку. Это куда хуже. И потом, ты ведь поедешь домой.

Он смотрит на меня:

— Ты думаешь?

— Конечно.

Он спрашивает еще раз:

— Ты думаешь?

— Это точно, Франц. Только сначала тебе надо оправиться после операции.

Он дает мне знак подвинуться поближе. Я наклоняюсь над ним, и он шепчет:

— Я не верю в это.

— Не говори глупостей, Франц; через несколько дней ты сам увидишь. Ну что тут такого особенного? Ну, отняли ногу. Здесь еще и не такое из кусочков сшивают.

Он поднимает руку:

— А вот посмотри-ка сюда; видишь, какие пальцы?

— Это от операции. Лопай как следует, и все будет хорошо.

Кормят здесь прилично?

Он показывает миску: она почти полна. Мне становится тревожно:

— Франц, тебе надо кушать. Это — самое главное. Ведь с едой здесь как будто хорошо.

Он не хочет меня слушать. Помолчав, он говорит с расстановкой:

— Когда-то я хотел стать лесничим.

— Это ты еще успеешь сделать, — утешаю я. — Сейчас придумали такие замечательные протезы, с ними ты и не заметишь, что у тебя не все в порядке. Их соединяют с мускулами. С протезом для руки можно, например, двигать пальцами и работать, даже писать. А кроме того, сейчас все время изобретают что-нибудь новое.

Некоторое время он лежит неподвижно. Потом говорит:

— Можешь взять мои ботинки. Отдай их Мюллеру.

Я киваю головой и соображаю, что бы ему такое сказать, как бы его приободрить. Его губы стерты с лица, рот стал больше, зубы

резко выделяются, как будто они из мела. Его тело тает, лоб становится круче, скулы выпячиваются. Скелет постепенно выступает наружу. Глаза уже начали западать. Через несколько часов все будет кончено.

Кеммерих не первый умирающий, которого я вижу, но тут дело другое: ведь мы с ним вместе росли. Я списывал у него сочинения. В школе он обычно носил коричневый костюм с поясом, до блеска вытертый на локтях. Только он один во всем классе умел крутить «солнце» на турнике. При этом его волосы развевались как шелк и падали ему на лицо. Канторек гордился им. А вот сигарет Кеммерих не выносил. Кожа у него была белая-белая, он чем-то напоминал девочку.

Я смотрю на свои сапоги. Они огромные и неуклюжие, штаны заправлены в голенища; когда стоишь в этих широченных трубах, выглядишь толстым и сильным. Но когда мы идем мыться и раздеваемся, наши бедра и плечи вдруг снова становятся узкими. Тогда мы уже не солдаты, а почти мальчики, никто не поверил бы, что мы можем таскать на себе тяжелые ранцы. Странно глядеть на нас, когда мы голые, — мы тогда не на службе, да и чувствуем себя штатскими.

Раздевшись, Франц Кеммерих становился маленьким и тоненьким, как ребенок. И вот он лежит передо мной — как же так? Надо бы провести мимо этой койки всех, кто живет на белом свете, и сказать: это Франц Кеммерих, ему девятнадцать с половиной лет, он не хочет умирать. Не дайте ему умереть!

Мысли мешаются у меня в голове. От этого воздуха, насыщенного карболокой и гниением, в легких скапливается мокрота, это какое-то тягучее, удушливое месиво.

Наступают сумерки. Лицо Кеммериха блекнет, оно выделяется на фоне подушек, такое бледное, что кажется прозрачным. Губы тихо шевелятся. Я склоняюсь над ним. Он шепчет:

— Если мои часы найдутся, пошлите их домой.

Я не пытаюсь возражать. Теперь это уже бесполезно. Его не убедишь. Мне страшно становится при мысли о том, что я ничем не могу помочь. Этот лоб с провалившимися висками, этот рот, похожий скорее на оскал черепа, этот заострившийся нос! И плачущая толстая женщина там, в нашем городе, которой мне надо написать. Ах, если бы это письмо было уже отослано!

По палатам ходят санитары с ведрами и склянками. Один из них подходит к нам, испытующе смотрит на Кеммериха и снова удаляется. Видно, что он ждет, — наверно, ему нужна койка.

Я придвигаюсь поближе к Францу и начинаю говорить, как будто это может его спасти:

— Послушай, Франц, может быть, ты попадешь в санаторий в Клостерберге, где кругом виллы. Тогда ты будешь смотреть из окна на поля, а вдалеке, на горизонте, увидишь те два дерева. Сейчас самая чудесная пора, хлеба поспевают, по вечерам поля переливаются под солнцем, как перламутр. А тополевая аллея у ручья, где мы

колюшек ловили! Ты снова заведешь себе аквариум и будешь разводить рыб, в город будешь ходить, ни у кого не отпрашиваясь, и даже сможешь играть на рояле, если захочешь.

Я наклоняюсь к его лицу, над которым сгустились тени. Он еще дышит, тихо-тихо. Его лицо влажно, он плачет. Ну и наделал я дел с моими глупыми разговорами!

— Не надо, Франц, — я обнимаю его за плечи и прижимаюсь лицом к его лицу. — Может, поспишь немного?

Он не отвечает. По его щекам текут слезы. Мне хотелось бы их утереть, но мой носовой платок слишком грязен.

Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица, — быть может, он захочет еще что-нибудь сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал! Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах, он вообще ничего не говорит, это для него, как видно, уже позади; теперь он остался наедине со своей коротенькой девятнадцатилетней жизнью и плачет, потому что она уходит от него.

Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь попрощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаяньем, хотя и смерть Тьядена тоже была тяжелым зрелищем: этот здоровый, как бык, парень во весь голос звал свою мать и с выкаченными глазами, в смятении, угрожал врачу штыком, не подпуская его к своей койке, пока наконец не упал как подкошенный.

Вдруг Кеммерих издает стон и начинает хрипеть.

Я вскакиваю, выбегаю, задевая за койки, из палаты и спрашиваю:

— Где врач? Где врач?

Увидев человека в белом халате, я хватаю его за руку и не отпускаю:

— Идите скорей, а то Франц Кеммерих умрет.

Он вырывает руку и спрашивает стоящего рядом с нами санитаря:

— Это еще что такое?

Тот докладывает:

— Двадцать шестая койка, ампутация ноги выше колена.

Врач раздраженно кричит:

— А я почему знаю, я сегодня ампутировал пять ног! — Он отталкивает меня, говорит санитарю: — Посмотрите! — и убегает в операционную.

Я иду за санитаром, и все во мне кипит от злости. Он смотрит на меня и говорит:

— Операция за операцией, с пяти часов утра, просто с ума сойти, вот что я тебе скажу. Только за сегодня опять шестнадцать смертных случаев — твой будет семнадцатый. Сегодня наверняка дойдет до двадцати...

Мне дурно, я вдруг чувствую, что больше не выдержу. Ругаться я уже не стану, это бесполезно, мне хочется свалиться и больше не вставать.

Мы у койки Кеммериха. Он умер. Лицо у него еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты, они пожелтели, как старые костяные пуговицы...

Санитар толкает меня в бок:

— Вещи заберешь?

Я киваю.

Он продолжает:

— Его придется сразу же унести, нам койка нужна. Там уже в тамбуре лежат.

Я забираю вещи и снимаю с Кеммериха опознавательный знак. Санитар спрашивает, где его солдатская книжка. Книжки нет. Я говорю, что она, наверно, в канцелярии, и ухожу. Следом за мной санитары уже тащат Франца и укладывают его на плащ-палатку.

Мне кажется, что темнота и ветер за воротами лазарета приносят избавление. Я вдыхаю воздух как можно глубже, лицо ощущает его прикосновения, небывало теплые и нежные. В голове у меня вдруг начинают мелькать мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Сапоги несут меня вперед, я иду быстрее, я бегу. Мимо меня проходят солдаты, их разговоры волнуют меня, хотя я не понимаю, о чем они говорят. В земле бродят какие-то силы, они вливаются в меня через подошвы. Ночь потрескивает электрическим треском, фронт глухо гроыхает вдали, как целый оркестр из барабанов. Я легко управляю всеми движениями своего тела, я чувствую силу в каждом суставе, я посапываю и отфыркиваюсь. Живет ночь, живу я. Я ощущаю голод, более острый, чем голод в желудке...

Мюллер стоит у барака и ждет меня. Я отдаю ему ботинки. Мы входим, и он примеряет их. Они ему как раз впору...

Он начинает рыться в своих запасах и предлагает мне порядочный кусок колбасы. Мы съедаем ее, запивая горячим чаем с ромом.

III

К нам прибыло пополнение. Пустые места на нарах заполняются, и вскоре в бараках уже нет ни одного свободного тюфяка с соломой. Часть вновь прибывших — старослужащие, но кроме них к нам прислали двадцать пять человек молодняка из фронтовых пересыльных пунктов. Они почти на год моложе нас. Кропп толкает меня:

— Ты уже видел этих младенцев?

Я киваю. Мы принимаем гордый, самодовольный вид, устраиваем бритье во дворе, ходим, сунув руки в карманы, поглядываем на новобранцев и чувствуем себя старыми служаками.

Катчинский присоединяется к нам. Мы разгуливаем по конюшням и подходим к новичкам, которые как раз получают противогазы и кофе на завтрак. Кат спрашивает одного из самых молодых: — Ну что, небось, уж давно ничего дельного не лопали?

Новичок морщится:

— На завтрак — лепешки из брюквы, на обед — винегрет из брюквы, на ужин — котлеты из брюквы с салатом из брюквы.

Катчинский свистит с видом знатока.

— Лепешки из брюквы? Вам повезло, ведь теперь уже делают хлеб из опилок. А что ты скажешь насчет фасоли, не хочешь ли чуток?

Парня бросает в краску:

— Нечего меня разыгрывать.

Катчинский немногословен:

— Бери котелок...

Мы с любопытством идем за ним. Он подводит нас к бочонку, стоящему возле его тюфяка. Бочонок и в самом деле почти заполнен фасолью с говядиной. Катчинский стоит перед ним важный, как генерал, и говорит:

— А ну, налетай! Солдату зевать не годится!

Мы поражены.

— Вот это да, Кат! И где ты только раздобыл такое? — спрашиваю я.

— Помидор рад был, что я его избавил от хлопот. Я ему за это три куска парашютного шелка дал. А что, фасоль и в холодном виде еда что надо, а?

С видом благодетеля он накладывает парнишке порцию и говорит:

— Если заявишься сюда еще раз, в правой руке у тебя будет котелок, а в левой — сигара или горсть табачку. Понятно?

Затем он оборачивается к нам:

— С вас я, конечно, ничего не возьму.

* * *

Катчинский совершенно незаменимый человек — у него есть какое-то шестое чувство. Такие люди, как он, есть везде, но заранее их никогда не распознаешь. В каждой роте есть один, а то и два солдата из этой породы. Катчинский — самый пройдошливый из всех, кого я знаю. По профессии он, кажется, сапожник, но дело не в этом — он знает все ремесла. С ним хорошо дружить. Мы с Кроппом дружим с ним, Хайе Вестхус тоже, можно считать, входит в нашу компанию. Впрочем, он скорее исполнительный орган: когда проворачивается какое-нибудь дельце, для которого нужны крепкие кулаки, он работает по указаниям Ката. За это он получает свою долю.

Вот прибываем мы, например, ночью в совершенно незнакомую местность, в какой-то жалкий городишко, при виде которого сразу становится ясно, что здесь давно уже растащили все, кроме стен. Нам отводят ночлег в неосвещенном здании маленькой фабрики, временно приспособленной под казарму. В нем стоят кровати, вернее, деревянные рамы, на которые натянута проволочная сетка.

Спать на этой сетке жестко. Нам нечего подложить под себя — одеяла нужны нам, чтобы укрываться. Плащ-палатка слишком тонка.

Кат выясняет обстановку и говорит Хайе Вестхусу:

— Ну-ка, пойдем со мной.

Они уходят в город, хотя он им совершенно незнаком. Через какие-нибудь полчаса они возвращаются, в руках у них огромные охапки соломы. Кат нашел конюшню, а в ней была солома. Теперь спать нам будет хорошо, и можно бы уже ложиться, да только животы у нас подводит от голода.

Кропп спрашивает какого-то артиллериста, который давно уже стоит со своей частью здесь:

— Нет ли тут где-нибудь столовой?

Артиллерист смеется:

— Ишь чего захотел! Здесь хоть шаром покати. Здесь ты и корки хлеба не достанешь.

— А что, из местных здесь никто уже не живет?

Артиллерист сплевывает:

— Почему же, кое-кто остался. Только они сами трутся у каждого котла и попрошайничают.

Дело плохо. Видно, придется подтянуть ремень потуже и ждать до утра, когда подбросят продовольствие.

Но вот я вижу, что Кат надевает фуражку, и спрашиваю:

— Куда ты, Кат?

— Разведать местность. Может, выжмем что-нибудь.

Неторопливо выходит он на улицу.

Артиллерист ухмыляется:

— Выжимай, выжимай! Смотри не надорвись!

В полном разочаровании мы заваливаемся на койки и уже подумываем, не слодать ли по кусочку из неприкосновенного запаса. Но это кажется нам слишком рискованным. Тогда мы пытаемся отыгаться на сне.

Кропп переламаывает сигарету и дает мне половину. Тяден рассказывает о бобах с салом — блюде, которое так любят в его родных краях. Он клянет тех, кто готовит их без стручков. Прежде всего варить надо все вместе — картошку, бобы и сало — ни в коем случае не в отдельности. Кто-то ворчливо замечает, что, если Тяден сейчас же не замолчит, он из него самого сделает бобовую кашу. После этого в просторном цеху становится тихо и спокойно. Только несколько свечей мерцают в горлышках бутылок, да время от времени сплевывает артиллерист.

Мы уже начинаем дремать, как вдруг дверь открывается, и на пороге появляется Кат. Сначала мне кажется, что я вижу сон: под мышкой у него два каравай хлеба, а в руке — перепачканный кровью мешок с кониной.

Артиллерист роняет трубку изо рта. Он ощупывает хлеб:

— В самом деле, настоящий хлеб, да еще теплый!

Кат не собирается распространяться на эту тему. Он принес хлеб, а остальное не имеет значения. Я уверен, что, если бы его высадили в пустыне, он через час устроил бы ужин из фиников, жаркого и вина.



Он коротко бросает Хайе:

— Наколи дров!

Затем он вытаскивает из-под куртки сковородку и вынимает из кармана пригоршню соли и даже кусочек жира — он ничего не забыл. Хайе разводит на полу костер. Дрова звонко трещат в пустом цеху. Мы слезаем с коек.

Артиллерист колеблется. Он подумывает, не выразить ли ему свое восхищение, — быть может, тогда и ему что-нибудь перепадет. Но Катчинский даже не смотрит на артиллериста, он для него просто пустое место. Тот уходит, бормоча проклятия.

Кат знает способ жарить конину, чтобы она стала мягкой. Ее нельзя сразу же класть на сковородку, а то она будет жесткой. Сначала ее надо поварить в воде. С ножами в руках мы садимся на корточки вокруг огня и наедаемся до отвала.

Вот какой у нас Кат. Если бы было на свете место, где раздобыть что-нибудь съестное можно было бы только раз в году в течение одного часа, то именно в этот час он, словно по наитию, надел бы фуражку, отправился в путь и, устремившись, как по компасу, прямо к цели, разыскал бы эту снедь.

Он находит все: когда холодно, он найдет печурку и дрова, он отыскивает сено и солому, столы и стулья, но прежде всего — жратву. Это какая-то загадка, он достает все это словно из-под земли, как по волшебству. Он превзошел самого себя, когда достал четыре банки омаров. Впрочем, мы предпочли бы им кусок сала.

* * *

Мы разлеглись у барачков, на солнечной стороне. Пахнет смолой, летом и потными ногами.

Кат сидит возле меня; он никогда не прочь побеседовать. Сегодня нас заставили целый час тренироваться — мы учились отдавать честь, так как Тьяден небрежно откозырял какому-то майору. Кат все никак не может забыть этого. Он заявляет:

— Вот увидите, мы проиграем войну из-за того, что слишком хорошо умеем козырять.

К нам подходит Кропп. Босой, с засученными штанами, он вышагивает, как журавль. Он постирал свои носки и кладет их сушиться на траву. Кат смотрит в небо, испускает громкий звук и задумчиво поясняет:

— Этот вздох издал горox.

Кропп и Кат вступают в дискуссию. Одновременно они заключают пари на бутылку пива об исходе воздушного боя, который сейчас разыгрывается над нами.

Кат твердо придерживается своего мнения, которое он, как старый солдат-балагур, и на этот раз высказывает в стихотворной форме: «Когда бы все были равны, на свете б не было войны».

В противоположность Кату Кропп — философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного праздника, с музыкой и с входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран, в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди.

Предложение Кроппа имеет успех. Затем разговор постепенно переходит на муштру в казармах.

При этом мне вспоминается одна картина. Раскаленный полдень на казарменном дворе. Зной неподвижно висит над плацем. Казармы словно вымерли. Все спят. Слышно только, как тренируются барабанщики; они расположились где-то неподалеку и барабанят неумело, монотонно, тупо. Замечательное трезвучие: полуденный зной, казарменный двор и барабанная дробь!



В окнах казармы пусто и темно. Кое-где на подоконниках сушатся солдатские штаны. На эти окна смотришь с вождедением. В казармах сейчас прохладно.

О, темные, душные казарменные помещения с вашими железными койками, одеялами в клетку, высокими шкафчиками и стоящими перед ними скамейками! Даже и вы можете стать желанными; более того: здесь, на фронте, вы озарены отблеском сказочно далекой родины и дома, вы, чуланы, пропитанные испарениями спящих и их одежды, пропахшие перестоявшейся пищей и табачным дымом!

Катчинский живописует их, не жалея красок и с большим воодушевлением. Чего бы мы не отдали за то, чтобы вернуться туда! Ведь о чем-нибудь большем мы даже и думать не смеем...

А занятия по стрелковому оружию в ранние утренние часы: «Из чего состоит винтовка образца девяносто восьмого года?» А за-

нения по гимнастике после обеда: «Кто играет на рояле — шаг вперед. Правое плечо вперед — шагом марш. Доложите на кухне, что вы прибыли чистить картошку».

Мы упиваемся воспоминаниями. Вдруг Кропп смеется и говорит: — В Лейне пересадка.

Это была любимая игра нашего капрала. Лейне — узловая станция. Чтобы наши отпускники не плутали на ее путях, Химмельштос обучал нас в казарме, как делать пересадку. Мы должны были усвоить, что, если хочешь пересест в Лейне с дальнего поезда на местный, надо пройти через туннель. Каждый из нас становился слева от своей койки, которая изображала этот туннель. Затем подавалась команда: «В Лейне пересадка!» — и все с быстротой молнии пролезали под койками на другую сторону. Мы упражнялись в этом часами...

Тем временем немецкий аэроплан успели сбить. Он падает, как комета, волоча за собой хвост из дыма. Кропп проиграл на этом бутылку пива и с неохотой отсчитывает деньги.

— А когда Химмельштос был почтальоном, он наверняка был скромным человеком, — сказал я, после того как Альберт справился со своим разочарованием, — но стоило ему стать унтер-офицером, как он превратился в живодера. Как это получается?

Этот вопрос растормошил Кроппа:

— Да и не только Химмельштос, это случается с очень многими. Как получают нашивки или саблю, так сразу становятся совсем другими людьми, словно бетону нажрались.

— Все дело в мундире, — высказываю я предположение.

— Да, в общем, примерно так, — говорит Кат, готовясь произнести целую речь, — но причину надо искать не в этом. Видишь ли, если ты приучишь собаку есть картошку, а потом положишь ей кусок мяса, то она все ж таки схватит мясо, потому что это у нее в крови. А если ты дашь человеку кусочек власти, с ним будет то же самое: он за нее ухватится. Это получается само собой, потому что человек как таковой — перво-наперво скотина, и разве только сверху у него бывает слой порядочности, все равно что горбушка хлеба, на которую намазали сала. Вся военная служба в том и состоит, что у одного есть власть над другим. Плохо только то, что у каждого ее слишком много; унтер-офицер может гонять рядового, лейтенант — унтер-офицера, капитан — лейтенанта, да так, что человек с ума сойти может. И так как каждый из них знает, что это его право, то у него и появляются такие вот привычки. Возьми самый простой пример: вот идем мы с учений и устали как собаки. А тут команда: «Запевай!» Конечно, поем мы так, что слушать тошно: каждый рад, что хоть винтовку-то еще тащить может. И вот уже роту повернули кругом и в наказание заставили заниматься еще часок. На обратном пути опять команда: «Запевай!» — и на этот раз мы поем по-настоящему. Какой во всем этом смысл? Да просто командир роты поставил на своем, ведь у него есть власть. Никто ему ничего на это не скажет, наоборот, все считают его настоящим офицером. А ведь это еще мелочь, они еще и не такое выдумывают, чтобы покуражиться над на-

шим братом. И вот я вас спрашиваю: кто, на какой штатской должности, пусть даже в самом высоком чине, может себе позволить что-либо подобное, не рискуя, что ему набьют морду? Такое можно себе позволить только в армии! А это, знаете ли, хоть кому голову вскружит! И чем более мелкой сошкой человек был в штатской жизни, тем больше он задается здесь.

— Ну да, как говорится, дисциплинка нужна, — небрежно вставляет Кропп.

— К чему придраться, они всегда найдут, — ворчит Кат. — Ну что ж, может, так оно и надо. Но только нельзя же издеваться над людьми. А вот попробуй объяснить все это какому-нибудь слесарю, батраку или вообще рабочему человеку, попробуй растолковать это простому пехотинцу — а ведь их здесь больше всего, — он видит только, что с него дерут три шкуры, а потом отправят на фронт, и он прекрасно понимает, что нужно и что не нужно. Если простой солдат здесь на передовых держится так стойко, так это, доложу я вам, просто удивительно! То есть просто удивительно!

Все соглашаются, так как каждый из нас знает, что муштра кончается только в окопах, но уже в нескольких километрах от передовой она начинается снова, причем начинается с самых нелепых вещей — с козыряния и шагистики. Солдата надо во что бы то ни стало чем-нибудь занять, это железный закон.

Но тут появляется Тьяден, на его лице красные пятна. Он так взволнован, что даже заикается. Сияя от радости, он произносит, четко выговаривая каждый слог:

— Химмельштос едет к нам. Его отправили на фронт.

* * *

К Химмельштосу Тьяден питает особую ненависть, так как во время нашего пребывания в барачном лагере Химмельштос «воспитывал» его на свой манер. Тьяден мочится под себя, этот грех случается с ним ночью, во сне. Химмельштос безапелляционно заявил, что это просто лень, и нашел прекрасное, вполне достойное своего изобретателя средство, как исцелить Тьядена.

Химмельштос отыскал в соседнем бараке другого солдата, страдавшего тем же недугом, по фамилии Киндерфатер, и перевел его к Тьядену. В бараках стояли обычные армейские койки, двухъярусные, с проволочной сеткой. Химмельштос разместил Тьядена и Киндерфатера так, что одному из них досталось верхнее место, другому — нижнее. Понятно, что лежащему внизу приходилось несладко. Зато на следующий вечер они должны были меняться местами: лежавший внизу перебирался наверх, и таким образом совершалось возмездие. Химмельштос называл это самовоспитанием.

Это была подлая, хотя и остроумная выдумка. К сожалению, из нее ничего не вышло, так как предпосылка оказалась все же неправильной: в обоих случаях дело объяснялось вовсе не ленью. Для

того чтобы понять это, достаточно было посмотреть на их землистого цвета кожу. Дело кончилось тем, что каждую ночь кто-нибудь из них спал на полу. При этом он мог легко простудиться...

Тем временем Хайе тоже подсел к нам. Он подмигивает мне и любовно потирает свою лапищу. С ним вместе мы пережили прекраснейший день нашей солдатской жизни. Это было накануне нашей отправки на фронт. Мы были прикомандированы к одному из полков с многозначным номером, но сначала нас еще вызвали для экипировки опять в гарнизон, однако послали не на сборный пункт, а в другие казармы. На следующий день рано утром мы должны были выехать. Вечером мы собрались вместе, чтобы расквитаться с Химмельштосом. Уже несколько месяцев тому назад мы поклялись друг другу сделать это. Кропп шел в своих планах даже еще дальше: он решил, что после войны пойдет служить по почтовому ведомству, чтобы впоследствии, когда Химмельштос снова будет почтальоном, стать его начальником. Он с упоением рисовал себе, как будет школить его. Поэтому-то Химмельштос никак не мог сломить нас; мы всегда рассчитывали на то, что рано или поздно он попадетя в наши руки, уж во всяком случае в конце войны.

Пока что мы решили как следует отдубасить его. Что особенного смогут нам за это сделать, если он нас не узнает, а завтра утром мы все равно уедем?

Мы уже знали пивную, в которой он сидел каждый вечер. Когда он возвращался оттуда в казармы, ему приходилось идти по неосвещенной дороге, где не было домов. Там мы и подстерегали его, спрятавшись за грудой камней. Я прихватил с собой постельник. Мы дрожали от нетерпения. А вдруг он будет не один? Наконец слышались его шаги — мы их уже изучили, ведь мы так часто слышали их по утрам, когда дверь казармы распахивалась и дневальные кричали во всю глотку: «Подъем!»

— Один? — шепнул Кропп.

— Один.

Мы с Тьяденом крадучись обошли камни.

Вот уже сверкнула пряжка на ремне Химмельштоса. Как видно, унтер-офицер был немного навеселе: он пел. Ничего не подозревая, он прошел мимо нас.

Мы схватили постельник, набросили его, бесшумно прыгнув сзади, на Химмельштоса, и резко рванули концы так, что тот, стоя в белом мешке, не мог поднять руки. Песня умолкла.

Еще мгновение, и Хайе Вестхус был возле Химмельштоса. Широко расставив локти, он отшвырнул нас — так ему хотелось быть первым. Смакуя каждое движение, он стал в позу, вытянул свою длинную, как семафор, ручищу с огромной, как лопата, ладонью и так двинул по мешку, что этот удар мог бы убить быка.

Химмельштос перекувырнулся, отлетел метров на пять и заорал благим матом. Но и об этом мы подумали заранее: у нас была с собой подушка. Хайе присел, положил подушку себе на колени, схватил Химмельштоса за то место, где должна быть голова, и прижал ее к по-

душке. Голос унтер-офицера тотчас же стал приглушенным. Время от времени Хайе давал ему перевести дух, и тогда мычание на минуту превращалось в великолепный звонкий крик, который тут же вновь ослабевал до писка.

Тут Тьяден отстегнул у Химмельштоса подтяжки и спустил ему штаны. Плетку Тьяден держал в зубах. Затем он поднялся и заработал руками.

Это была дивная картина: лежавший на земле Химмельштос, склонившийся над ним и державший его голову на коленях Хайе, с дьявольской улыбкой на лице и с разинутым от наслаждения ртом, затем вздрагивающие полосатые кальсоны на кривых ногах, выделяющихся под спущенными штанами самые замысловатые движения, а над ними в позе дровосека неумолимый Тьяден. В конце концов нам пришлось силой оттащить его, а то мы бы никогда не дождались своей очереди.

Наконец Хайе снова поставил Химмельштоса на ноги и в заключение исполнил еще один индивидуальный номер. Размахнувшись правой рукой чуть не до неба, словно собираясь захватить пригоршню звезд, он вlepил Химмельштосу оплеуху. Химмельштос опрокинулся навзничь. Хайе снова поднял его, привел в исходное положение и, показав высокий класс точности, закатил ему вторую — на этот раз левой рукой. Химмельштос взвыл и, став на четвереньки, пустился наутек. Его полосатый почталыонский зад светился в лучах луны.

Мы ретировались на рысях.

Хайе еще раз оглянулся и сказал удовлетворенно, злобно и несколько загадочно:

— Кровавая месть — как кровавая колбаса.

В сущности, Химмельштосу следовало бы радоваться: ведь его слова о том, что люди всегда должны взаимно воспитывать друг друга, не остались втуне, они были применены к нему самому. Мы оказались понятливыми учениками и хорошо усвоили его метод.

Он так никогда и не дознался, кто ему устроил этот сюрприз. Правда, при этом он приобрел постельник, которого мы уже не нашли на месте происшествия, когда заглянули туда через несколько часов.

События этого вечера были причиной того, что, отъезжая на следующее утро на фронт, мы держались довольно молодцевато. Какой-то старик с развевающейся окладистой бородой был так тронут нашим видом, что назвал нас юными героями.

IV

Мы едем к передовой на саперные работы. С наступлением темноты к баракам подъезжают грузовые автомобили. Мы влезаем в кузов. Вечер теплый, и сумерки кажутся нам огромным полотнищем, под защитой которого мы чувствуем себя спокойнее. Сумерки сближают нас; даже скуповатый Тьяден протягивает мне сигарету и дает прикурить.

Мы стоим вплотную друг к другу, локоть к локтю, сесть никто не может. Да мы и не привыкли сидеть. Мюллер впервые с давних пор в хорошем настроении: он в новых ботинках.

Моторы завывают, грузовики громыхают и лязгают. Дороги разьежены, на каждом шагу — ухаб, и мы все время ныряем вниз, так что чуть не вылетаем из кузова. Это нас нисколько не тревожит. В самом деле, что может с нами случиться? Сломанная рука лучше, чем простреленный живот, и многие только обрадовались бы такому удобному случаю попасть домой.

Рядом с нами идут длинные колонны машин с боеприпасами. Они спешат, все время обгоняют нас. Мы окликаем сопровождающих, перебрасываемся с ними шутками.

Впереди показалась высокая каменная стена — это ограда дома, стоящего поодаль от дороги. Вдруг я начинаю прислушиваться. Не ошибся ли я? Нет, я снова явственно слышу гоготание гусей. Я гляжу на Катчинского, он глядит на меня, мы сразу же поняли друг друга.

— Кат, я слышу, тут есть кандидат на сковородку...

Он кивает:

— Это мы провернем, когда возвратимся. Я в курсе дела.

Ну конечно же, Кат в курсе дела. Он наверняка знает каждую гусиную ножку в радиусе двадцати километров.

Мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы обсажены кустами, образующими сплошные зеленые беседки, словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. Эти беседки имели бы совсем мирный вид, если бы под их веселыми сводами не скрывались пушки.

От орудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. Выстрелы грохочут так, что наш грузовик ходит ходуном, вслед за ним с ревом катится эхо, все вокруг дрожит. Наши лица незаметно изменяют свое выражение. Правда, мы едем не на передовую, а только на саперные работы, но на каждом лице сейчас написано: это полоса фронта, мы вступили в ее пределы.

Это еще не страх. Тот, кто ездил сюда так часто, как мы, становится толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы. Кат учит их:

— А это тридцатилинейка¹. Слышите, вот она выстрелила, сейчас будет разрыв.

Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле фронта. Кат прислушивается к нему:

— Сегодня ночью нам дадут прикурить.

Мы все тоже прислушиваемся. На фронте неспокойно. Кропп говорит:

— Томми уже стреляют.

С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские

¹ Тридцатилинейная пушка, т. е. орудие калибром в 75 мм. Линия — устаревшая мера длины, равная 2,5 мм.

батареи, справа от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали ровно в десять.

— Ишь чего выдумали, — ворчит Мюллер, — у них, видать, часы идут вперед.

— Я же вам говорю, нам дадут прикурить, у меня перед этим всегда кости ноют.

Кат втягивает голову в плечи.

Рядом с нами ухают три выстрела. Косой луч пламени прорезает туман, стволы режут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра утром снова будем в бараках.

Наши лица не стали бледнее или краснее обычного; нет в них и особенного напряжения или безразличия, но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова; это действительно так. Фронт, сознание, что ты на фронте, — вот что заставляет срабатывать этот контакт. В то мгновение, когда раздается свист первых снарядов, когда выстрелы начинают рвать воздух, в наших жилах, в наших руках, в наших глазах вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности, обостренной чуткости, удивительной восприимчивости всех органов чувств. Все тело разом приходит в состояние полной готовности.

Мне нередко кажется, что это от воздуха: сотрясаемый взрывами, вибрирующий воздух фронта внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью; а может быть, это сам фронт — от него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует какие-то неведомые нервные окончания.

Каждый раз повторяется одно и то же: когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как только мы видим первые оружейные окопы, все, что мы говорим друг другу, звучит уже по-иному...

Вот Кат сказал: «Нам дадут прикурить». Если бы он сказал это, стоя у барakov, то это было бы просто его мнение, и только; но когда он произносит эти слова здесь, в них слышится нечто обнаженно-резкое, как холодный блеск штыка в лунную ночь; они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и вызывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь, — слова эти с их темным, грозным смыслом: «Нам дадут прикурить». Быть может, это наша жизнь содрогается в своих самых сокровенных тайниках и поднимается из глубин, чтобы постоять за себя.

* * *

Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку, медленно, неотвратно, почти полностью парализуя всякое сопротивление.

Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы защищаться, — особенно из земли. Ни для кого на свете

земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он припадает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом, она — его единственный друг, его брат, его мать. Ей, безмолвной надежной заступнице, стоном и криком поверяет он свой страх и свою боль, и она принимает их, и снова отпускает его на десять секунд — десять секунд перебежки, еще десять секунд жизни, — и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда.

Земля, земля, земля!..

Земля! У тебя есть складки, и впадины, и ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забиться, как крот! Земля! Когда мы корчились в предсмертной тоске, под всплесками несущего уничтожение огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей! Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи, и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами, и, безмолвно, боязливо радуясь еще одной пережитой минуте, впивались в тебя губами.

Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия на тысячи лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя — это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности, он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь, как вдруг ты уже лежишь в ямке, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки, а между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое — то похожее на ясновидение чутье, которое есть у всех нас; это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вогезов давно бы уже не было ни одного живого человека.

Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми-полуживотными.

* * *

Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных кухонь. За лесом мы слезаем. Грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами завтра до рассвета.

Над лугами стелется достающий до груди слой тумана и порохового дыма. Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана

выглядывают только головы и винтовки, кивающие головы, колышущиеся стволы.

Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры; солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется, все прямо и прямо, фигуры сливаются в сплошной клин, отдельных людей уже нельзя различить, лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди.

По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете, движения лошадей красивы, они закидывают головы, видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки скользят мимо нас на расплывающемся фоне лунного ландшафта, всадники с их касками кажутся рыцарями давно ушедших времен, в этом есть что-то красивое и трогательное.

Мы идем к саперному складу. Одни взваливают на плечи острые гнутые железные колья, другие насаживают мотки проволоки на гладкие железные бруски, и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело.

Местность становится все более изрытой. Идущие впереди передают по цепи: «Внимание, слева глубокая воронка», «Осторожно, траншея».

Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается; некоторые налетают лицом на моток проволоки, который несут перед нами. Слышится брань.

Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда: «Кончай курить!» Мы подошли вплотную к окопам.

Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами открывается участок передовой.

Весь горизонт, от края до края, светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении, там и сям его пререзают вспышки пламени над стволами батарей. Высоко в небо взлетают осветительные ракеты — серебристые и красные шары; они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от времени в воздух взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг освещено как днем, их свет доходит до нас, мы видим на земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Тотчас же повсюду взлетают новые, и вперемешку с ними — опять зеленые, красные и синие.

— Влипли, — говорит Кат.

Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота, потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Над

нашими головами мчится, воеет, свистит и шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров, но между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных «тяжелых чемоданов», которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый трубный звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь пролегает высоко над воем и свистом обычных снарядов.

Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть подрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй; они скрещиваются, между ними виднеется черное насекомое, оно пытается уйти: это аэроплан. Лучи сбивают его с курса, ослепляют его, и он падает.

* * *

Мы забиваем железные колья в землю, на равном расстоянии друг от друга. Каждый моток держат двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился разматывать ее и расцарапал себе руку.

Через несколько часов мы управились. Но у нас еще есть время до прибытия машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для этого слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря: холод то и дело будит нас.

Один раз мне удается уснуть крепко. Я просыпаюсь, словно от внезапного толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты, и на мгновение мне кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас или вечер, я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-вот должны прозвучать, — слов ласковых, домашних, — уж не плачу ли я? Я подношу руку к глазам — как странно, разве я ребенок? Кожа у меня нежная... Все это длится лишь одно мгновение, затем я узнаю силуэт Катчинского. Он сидит спокойно, как и подобает старому служаке, и курит трубку, — разумеется, трубку с крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит:

— А здорово тебя, однако, передернуло. Это был просто дымовой патрон. Он упал вон в те кусты.

Я сажусь; на душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит в сторону переднего края и говорит:

— Очень неплохой фейерверк, если бы только это не было так опасно.

Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут разрывается еще один, на этот раз ближе. Кат выбивает свою трубку:

— Сейчас нам дадут жару.

Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удастся сделать в спешке. Следующий снаряд уже накрывает нас.

Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после того, как стихает шум разрывов.

Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с льяными волосами. Он закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Такие плечи были у Кеммериха.

Я его не гоню. Но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю ее новобранцу на заднюю часть — не для того, чтобы подурачиться, а просто из тех соображений, что сейчас это самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый слой мяса, но ранение в это место — ужасно болезненная штука, к тому же приходится несколько месяцев лежать в лазарете, все время на животе, а после выписки почти наверняка будешь хромать.

Где-то с оглушительным треском упал снаряд. В промежутках между разрывами слышны чьи-то крики.

Наконец грохот стихает. Огонь пронесся над нами, теперь его перенесли на самые дальние запасные позиции. Мы решаемся поднять голову и осмотреться. В небе трепещут красные ракеты. Наверно, сейчас будет атака.

На нашем участке пока что по-прежнему тихо. Я сажусь и треплю новобранца по плечу:

— Очнись, малыш! На этот раз опять все обошлось.

Он растерянно оглядывается. Я успокаиваю его:

— Ничего, привыкнешь.

Он замечает свою каску и надевает ее. Постепенно он приходит в себя. Вдруг он краснеет как маков цвет, на лице его написано смущение. Он осторожно дотрагивается рукой до штанов и жалобно смотрит на меня. Я сразу же соображаю, в чем дело: у него пушечная болезнь. Я, правда, вовсе не за этим подставил ему каску как раз туда, куда надо, но теперь я все же стараюсь утешить его:

— Стыдиться тут нечего; еще и не таким, как ты, случалось наложить в штаны, когда они впервые попадали под огонь. Зайди за куст, сними кальсоны, и дело с концом.

* * *

Он семенит за кусты. Вокруг становится тише, однако крики не прекращаются.

— В чем дело, Альберт? — спрашиваю я.

— Несколько прямых попаданий на соседнем участке.

Крики продолжают. Это не люди, люди не могут так страшно кричать.

Кат говорит:

— Раненые лошади.

Я еще никогда не слышал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир, в этих столах слышатся все муки живой плоти, жгучая, ужасающая боль. Мы поблднели. Детеринг встает во весь рост:

— Изверги, живодеры! Да пристрелите же их!

Детеринг — крестьянин и знает толк в лошадях. Он взволнован. А стрельба, как нарочно, почти совсем стихла. От этого их крики слышны еще отчетливее. Мы уже не понимаем, откуда они берутся в этом внезапно притихшем серебристом мире; невидимые, призрачные, они повсюду, где-то между небом и землей, они становятся все пронзительнее, этому, кажется, не будет конца — Детеринг уже вне себя от ярости и громко кричит:

— Застрелите их, застрелите же их наконец, черт вас возьми!

— Им ведь нужно сперва подобрать раненых, — говорит Кат.

Мы встаем и идем искать место, где все это происходит. Если мы увидим лошадей, нам будет не так невыносимо тяжело слышать их крики. У Майера есть с собой бинокль. Мы смутно видим темный клубок — группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди, валяются на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги.

Детеринг вскидывает винтовку и целится. Кат ударом кулака направляет ствол вверх:

— Ты с ума сошел?

Детеринг дрожит всем телом и швыряет винтовку оземь.

Мы садимся и зажимаем уши. Но нам не удастся укрыться от этого душераздирающего стола, этого вопля отчаяния — от него нигде не укроешься.

Все мы видали виды. Но здесь и нас бросает в холодный пот. Хочется встать и бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы не слышать больше этого крика. А ведь это только лошади, это не люди.

От темного клубка снова отделяются фигуры людей с носилками. Затем раздаются несколько одиночных выстрелов. Черные комья дергаются и становятся более плоскими. Наконец-то! Но еще не все кончено. Люди не могут подобраться к тем раненым животным, которые в страхе бегают по лугу, всю свою боль вложив в крик, вырывающийся из широко разинутой пасти. Одна из фигур опускается на колено... Выстрел. Лошадь свалилась, а вот и еще одна. Последняя уперлась передними ногами в землю и кружится, как карусель. Присев на круп и высоко задрав голову, она ходит по кругу, опираясь на передние ноги, — наверно, у нее раздроблен хребет. Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю.

Мы отнимаем ладони от ушей. Крик умолк. Лишь один протяжный замирающий вздох все еще дрожит в воздухе. И снова вокруг нас

только ракеты, пение снарядов и звезды, и теперь это даже немного странно.

Детеринг отходит в сторону и говорит в сердцах:

— А эти-то твари в чем провинились, хотел бы я знать!

Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно:

— Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных, вот что я вам скажу!

* * *

Мы идем обратно. Пора добираться до наших машин. Небо чуть-чуть посветлело. Уже три часа утра. Потянуло свежим, прохладным ветром; в предрассветной мгле наши лица стали серыми.

На ощупь, гуськом мы пробираемся вперед через окопы и воронки и снова попадаем в полосу тумана. Катчинский беспокоится — это дурной знак.

— Что с тобой, Кат? — спрашивает Кропп.

— Мне хотелось бы, чтобы мы поскорее попали домой.

Под словом «домой» он подразумевает наши бараки.

— Теперь уже недолго, Кат.

Кат нервничает.

— Не знаю, не знаю...

Мы добираемся до траншей, затем выходим на луга. Вот и лесок появился; здесь нам знаком каждый клочок земли. А вот и кладбище с его холмиками и черными крестами.

Но тут за нашей спиной раздается свист. Он нарастает до треска, до грохота. Мы пригнулись — в ста метрах перед нами взлетает облако пламени.

Через минуту следует второй удар, и над макушками леса медленно поднимается целый кусок лесной почвы, а с ним и три-четыре дерева, которые тоже одно мгновение висят в воздухе и разлетаются в щепки. Шипя, как клапаны парового котла, за ними уже летят следующие снаряды — это шквальный огонь.

Кто-то кричит:

— В укрытие! В укрытие!

Луг — плоский, как доска, лес — слишком далеко, и там все равно опасно; единственное укрытие — это кладбище и его могилы. Спотыкаясь в темноте, мы бежим туда, в одно мгновение каждый прилипает к одному из холмиков, как метко припечатанный плевок.

Через какие-нибудь несколько секунд было бы уже поздно. В окружающей нас тьме начинается какой-то шабаш. Все вокруг ходит ходунном. Огромные горбатые чудища, чернее, чем самая черная ночь, мчатся прямо на нас, проносятся над нашими головами. Пламя взрывов трепетно озаряет кладбище.

Все выходы отрезаны. В свете вспышек я отваживаюсь бросить взгляд на луг. Он напоминает вздыбленную поверхность бурного моря, фонтанами взмываются ослепительно яркие разрывы снарядов. Нечего и думать, чтобы кто-нибудь смог сейчас перебраться через него.

Лес исчезает на наших глазах, снаряды вбивают его в землю, разносят в щепки, рвут на клочки. Нам придется остаться здесь, на кладбище.

Перед нами разверзлась трещина. Дождем летят комья земли. Я ощущаю толчок. Рукав мундира вспорот осколком. Сжимаю кулак. Боли нет. Но это меня не успокаивает — при ранении боль всегда чувствуется немного позже. Я ощупываю руку. Она оцарапана, но цела. Тут что-то с треском ударяется о мою голову, так, что у меня темнеет в глазах. Молнией мелькает мысль: только не потерять сознания! На секунду я проваливаюсь в черное месиво, но тотчас же снова выскакиваю на поверхность. В мою каску угодил осколок, он был уже на излете и не смог пробить ее. Вытираю забившуюся в глаза труху. Передо мной раскрылась яма, я смутно вижу ее очертания. Снаряды редко попадают в одну и ту же воронку, поэтому я хочу перебраться туда. Я рывком ныряю вперед, распластавшись как рыба на дне, но тут снова слышится свист, я сжимаюсь в комок, ощупью ищу укрытие, натываюсь левой рукой на какой-то предмет. Прижимаюсь к нему, он поддается, у меня вырывается стон, земля трескается, взрывная волна гремит в моих ушах, я подо что-то заползаю, чем-то накрываюсь сверху. Это доски и сукно, но это укрытие, жалкое укрытие от сыплющихся сверху осколков.

Открываю глаза. Мои пальцы вцепились в какой-то рукав, в чью-то руку. Раненый? Я кричу ему. Ответа нет. Это мертвый. Моя рука тянется дальше, натывается на щепки, и тогда я вспоминаю, что мы на кладбище.

Но огонь сильнее, чем все другое. Он выключает сознание, я забиваюсь еще глубже под гроб — он защитит меня, даже если в нем лежит сама смерть.

Передо мной зияет воронка. Я пожираю ее глазами, мне нужно добраться до нее одним прыжком. Вдруг кто-то бьет меня по лицу, чья-то рука цепляется за мое плечо. Уж не мертвец ли воскрес? Рука трясет меня, я поворачиваю голову и при свете короткой, длящейся всего лишь секунду вспышки с недоумением глядываюсь в лицо Катчинского; он широко раскрыл рот и что-то кричит; я ничего не слышу, он трясет меня, приближает свое лицо ко мне; наконец грохот на мгновение ослабевает, и до меня доходит его голос:

— Газ, г-а-а-з, г-а-аз, передай дальше.

Я рывком достаю коробку противогаса. Неподалеку от меня кто-то лежит. У меня сейчас только одна мысль — этот человек должен знать!

— Га-а-з, га-аз!

Я кричу, подкатываюсь к нему, бью его коробкой, он ничего не замечает. Еще удар, еще удар. Он только пригибается — это один из новобранцев. В отчаянии я ищу глазами Ката — он уже надел маску. Тогда я вытаскиваю свою, каска слетает у меня с головы, резина обтягивает мое лицо. Я наконец добрался до новобранца, его противогаз как раз у меня под рукой, я вытаскиваю маску, натягиваю ему на голову, он тоже хватается за нее, я отпускаю его, бросаю — и я уже лежу в воронке.



Глухие хлопки химических снарядов смешиваются с грохотом разрывов. Между разрывами слышно гудение набатного колокола; гонги и металлические трещотки возвещают далеко вокруг: «Газ, газ, газ!»

За моей спиной что-то шлепается о дно воронки. Раз, другой. Я протираю запотевшие от дыхания очки противогаза. Это Кат, Кропп и еще кто-то. Мы лежим вчетвером в тягостном, напряженном ожидании и стараемся дышать как можно реже.

В эти первые минуты решается вопрос жизни и смерти: герметична ли маска? Я помню страшные картины в лазарете: отравленные газом, которые еще несколько долгих дней умирают от удушья и рвоты, по кусочкам отхаркивая перегоревшие легкие.

Я дышу осторожно, прижав губы к клапану. Сейчас облако газа расплзается по земле, проникая во все углубления. Как огромная мягкая медуза, заползает оно в нашу воронку, лениво заполняя ее

своим студенистым телом. Я толкаю Ката: нам лучше выбраться наверх, чем лежать здесь, где больше всего скапливается газ. Но мы не успеваем сделать это: на нас снова обрушивается огненный шквал. На этот раз грохочут, кажется, уже не снаряды — это бушует сама земля.

На нас с треском летит что-то черное и падает совсем рядом с нами — это подброшенный взрывом гроб.

Я вижу, что Кат делает какие-то движения, и ползу к нему. Гроб упал прямо на вытянутую руку того солдата, что лежал четвертым в нашей яме. Свободной рукой он пытается сорвать с себя маску. Кропп успеваает вовремя схватить его руку и, заломив ее резким движением за спину, крепко держит.

Мы с Катом пробуем освободить раненую руку. Крышка гроба треснула и держится непрочно; мы без труда открываем ее; труп мы выбрасываем, и он скатывается на дно воронки; затем мы пытаемся приподнять нижнюю часть гроба.

К счастью, солдат потерял сознание, и Альберт может нам помочь. Теперь нам уже не надо действовать так осторожно, и мы работаем в полную силу. Наконец гроб со скрипом трогается с места и приподнимается на подсунутых под него лопатах.

Стало светлее. Кат берет обломок крышки, подкладывает его под раздробленное плечо, и мы делаем перевязку, истратив на это все бинты из наших индивидуальных пакетов. Пока что мы больше ничего не можем сделать.

Моя голова в противогазе звенит и гудит, она, кажется, вот-вот лопнет. Легкие работают с большой нагрузкой: им приходится вдыхать все тот же самый горячий, уже не раз побывавший в них воздух, вены на висках вздуваются. Еще немного, и я, наверно, задохнусь.

В воронку, просачивается серый свет. По кладбищу гуляет ветер. Я перекатываюсь через край воронки. В мутно-грязных сумерках рассвета передо мной лежит чья-то оторванная нога, сапог на ней совершенно цел, сейчас я вижу все это вполне отчетливо. Но вот в нескольких метрах подалее кто-то поднимается с земли; я протираю стекла, от волнения они сразу же снова запотевают, я с напряжением вглядываюсь в его лицо — так и есть: на нем уже нет противогаза.

Еще несколько секунд я выжидаю: он не падает, он что-то ищет глазами и делает несколько шагов — ветер разогнал газ, воздух чист. Тогда и я тоже с хрипом срываю с себя маску и падаю. Воздух хлынул мне в грудь, как холодная вода, глаза вылезают из орбит, какая-то темная волна захлестывает меня и гасит сознание.

* * *

Разрывов больше не слышно. Я оборачиваюсь к воронке и делаю знак остальным. Они вылезают и сдергивают маски. Мы подхватываем раненого, один из нас поддерживает его руку в лубке. Затем мы поспешно уходим.

От кладбища осталась груда развалин. Повсюду разбросаны гробы и покойники. Они умерли еще раз, но каждый из тех, кто был разорван на клочки, спас жизнь кому-нибудь из нас.

Ограда разбита, проходящие за ней рельсы фронтовой узкоколейки сорваны со шпал, их высоко загнутые концы вздыбились в небо. Перед нами кто-то лежит. Мы останавливаемся; только Кропп идет с раненым дальше.

Лежащий на земле солдат — один из новобранцев. Его бедро перелачкано кровью; он так обессилел, что я достаю свою фляжку, в которой у меня осталось немного рому с чаем. Кат отводит мою руку и нагибается к нему:

— Куда тебя угораздило, браток?

Он только водит глазами; он слишком слаб, чтобы говорить. Мы осторожно разрезаем штанину. Он стонет.

— Спокойно, спокойно, сейчас тебе будет легче.

Если у него ранение в живот, ему ничего нельзя пить. Его не стошнило — это хороший признак. Мы обнажаем ему бедро. Это сплошная кровавая каша с осколками кости. Задет сустав. Этот мальчик никогда больше не сможет ходить.

Я провожу влажным пальцем по его вискам и даю ему отхлебнуть глоток рому. Глаза его немного оживают. Только теперь мы замечаем, что и правая рука тоже кровоточит.

Кат раздвигает два бинта, стараясь сделать их как можно шире, чтобы они прикрыли рану. Я ищу какой-нибудь материи, чтобы перевязать ногу поверх бинтов. Больше у нас ничего нет, поэтому я вспарываю штанину раненого еще дальше, чтобы использовать для перевязки кусок от его кальсон. Но кальсон на нем нет. Я присматриваюсь к нему повнимательней: это мой давешний знакомый с льяными волосами.

Тем временем Кат обыскал карманы одного из убитых и нашел в них еще несколько пакетиков с бинтами, которые мы осторожно прикладываем к ране. Паренек все время не спускает с нас глаз. Я говорю ему:

— Мы сходим за носилками.

Тогда он разжимает губы и шепчет:

— Оставайтесь здесь.

Кат говорит:

— Мы ведь ненадолго. Мы придем за тобой с носилками.

Трудно сказать, понял ли он нас. Жалобно, как ребенок, хнычет он нам вслед:

— Не уходите.

Кат оглядывается и шепчет:

— А может, просто взять револьвер, чтобы все это поскорее кончилось?

Паренек вряд ли перенесет транспортировку и в лучшем случае протянет еще несколько дней. Но все, что он пережил до сих пор, — ничто в сравнении с тем, что ему еще предстоит перед смертью. Сейчас он еще оглушен и ничего не чувствует. Через час он превратится в кричащий от невыносимой боли комок нервов. Дни, которые ему еще осталось прожить, будут для него непрерывной, сводящей с ума пыткой. И кому это надо, чтобы он промучился эти несколько дней?.

Я киваю:

— Да, Кат, надо просто взять револьвер.

— Давай его сюда, — говорит он и останавливается.

Я вижу, что он решился. Оглядываемся — мы уже не одни. Возле нас скапливается кучка солдат, из воронок и могил показываются головы.

Мы приносим носилки.

Кат покачивает головой:

— Такие молодые...

Он повторяет:

— Такие молодые, ни в чем не повинные парни...

* * *

Наши потери оказались меньше, чем можно было ожидать: пять убитых и восемь раненых. Это был лишь короткий огневой налет. Двое из убитых лежат в одной из развороченных могил; нам остается только засыпать их.

Мы отправляемся в обратный путь. Растянувшись цепочкой, мы молча бредем в затылок друг другу. Раненых отправляют на медицинский пункт. Утро пасмурное, санитары бегают с номерками и карточками, раненые тихо стонут. Начинается дождь.

Через час мы добираемся до наших машин и залезаем в них. Теперь нам уже не так тесно.

Дождь пошел сильнее. Мы разворачиваем плащ-палатки и натягиваем их на голову. Дождь барабанит по ним. С боков стекают струйки воды. Машины с хлопанием ныряют в выбоины, и мы раскачиваемся в полусне из стороны в сторону.

В передней части кузова стоят два солдата, которые держат в руках длинные палки с рогулькой на конце. Они следят за телефонными проводами, висящими поперек дороги так низко, что могут снести наши головы. Своими рогатками солдаты заранее подхватывают провод и приподнимают его над машиной. Мы слышим их возгласы: «Внимание — провод», приседаем в полусне и снова выпрямляемся.

Монотонно раскачиваются машины, монотонно звучат окрики, монотонно идет дождь. Вода льется на наши головы и на головы убитых на передовой, на тело маленького новобранца и на его рану, которая слишком велика для его бедра, она льется на могилу Кеммериха, она льется в наши сердца.

Где-то ударил снаряд. Мы вздрагиваем, глаза напряжены, руки вновь готовы перебросить тело через борт машины в придорожную канаву.

Но больше ничего не слышно. Лишь время от времени — монотонные возгласы: «Внимание — провод». Мы приседаем — мы снова дремлем.



V

Хлопотно убивать каждую вошь в отдельности, если их у тебя сотни. Эти твари не такие уж мягкие, и давить их ногтем в конце концов надоедает. Поэтому Тьяден взял крышечку от коробки с ваксой и приладил ее с помощью кусочка проволоки над горящим огарком свечи. Стоит только бросить вошь на эту маленькую сковородку, как сразу же раздастся легкий треск — и насекомому приходит конец.

Мы уселись в кружок голые по пояс (в помещении тепло), держим рубашки на коленях, а наши руки заняты работой. У Хайе какая-то особая порода вшей: на голове у них красный крест. Он утверждает поэтому, что привез их с собой из лазарета в Туру и что он заполучил их непосредственно от одного майора медицинской службы. Их жир, который медленно скапливается в жестяной крышечке, Хайе со-

бирается использовать для смазки сапог и целые полчаса оглушительно хохочет над своей шуткой.

Однако сегодня она не имеет у нас особенного успеха: мы слишком заняты другими мыслями.

Слух подтвердился: Химмельштос прибыл. Он появился у нас вчера, мы уже слышали его так хорошо знакомый нам голос. Говорят, что он переусердствовал, гоняя новобранцев. Он не знал, что среди них был сын одного очень крупного провинциального чиновника. Это его и погубило.

Здесь его многое ожидает. Вот уже несколько часов Тьяден обсуждает с нами, что он ему скажет, перебирая при этом всевозможные варианты. Хайе задумчиво поглядывает на свою огромную лапищу и подмигивает мне одним глазом. Избиение Химмельштоса было вершиной жизненного пути Хайе; он рассказывал мне, что и сейчас нередко видит эту сцену во сне.

* * *

Кропп и Мюллер беседуют. Кропп — единственный, у кого сегодня есть трофеи: он раздобыл котелок чечевицы, вероятно на кухне у саперов. Мюллер с жадностью косится на котелок, однако берет себя в руки и спрашивает:

— Альберт, что бы ты сделал, если бы сейчас вдруг объявили мир?

— Мир? Этого вообще не может быть! — отрезает Кропп.

— Ну а все же, — настаивает Мюллер, — ну, что бы ты стал делать?

— Дернул бы отсюда! — ворчит Кропп.

— Это ясно. А потом?

— Напился бы, — говорит Альберт.

— Не трепись, я с тобой серьезно...

— И я тоже серьезно, — говорит Альберт. — А что же прикажешь делать еще?

Кат проявляет интерес к разговору. Он требует у Кроппа, чтобы тот выделил ему чечевицы, получает свою часть, затем долгое время размышляет и наконец высказывает свое мнение:

— Напиться, конечно, можно, а вообще-то айда на ближайшую станцию и домой, к бабе. Пойми ж ты, чудак человек, это ж мир...

Он роется в своем клеенчатом бумажнике, достает какую-то фотографию и с гордостью показывает ее всем по очереди:

— Моя старуха!

Затем он снова убирает фотографию и раздражается бранью:

— Подлая война: черт ее побери...

— Тебе хорошо говорить, — вставляю я, — у тебя — сынишка и жена.

— Правильно, — подтверждает он, — и мне надо думать о том, как их прокормить.

Мы смеемся:

— За этим дело не станет, Кат: если понадобится, ты просто реквизируешь, что тебе нужно.

Мюллер голоден, и полученные ответы не удовлетворяют его. Он внезапно прерывает сладкие мечты Хайе Вестхуса, который медленно избивает своего недруга.

— Хайе, а что бы стал делать ты, если бы сейчас наступил мир?

— На месте Хайе я бы хорошенько всыпал тебе по заднице, чтобы ты вообще не заводил здесь этих разговорчиков, — говорю я. — С чего это ты вдруг?

— С чего на крыше коровье дерьмо? — лаконично отвечает Мюллер и снова обращается к Хайе Вестхусу со своим вопросом.

Хайе трудно ответить с ходу. На его веснушчатом лице написано недоумение:

— Это когда уже не будет войны, так, что ли?

— Ну да. Какой ты у нас сообразительный!

— Так ведь после войны, наверно, опять будут бабы, верно? — Хайе облизывается.

— Будут и бабы.

— Вот житуха-то будет, забодай меня комар! — говорит Хайе, и лицо его оттаивает. — Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку, этакое, знаете ли, драгуна в юбке, чтобы было бы за что подержаться, и без долгих разговоров — в постельку. Нет, вы только подумайте, настоящая перина, да еще на пружинном матраце! Эх, ребята, да я целую неделю и штанов бы не надевал!

Все молчат. Слишком уж великолепна эта картина. Мороз пробегает у нас по коже. Наконец Мюллер собирается с духом и спрашивает:

— А потом?

Хайе молчит. Затем он несколько нерешительно заявляет:

— Если бы я был унтер-офицером, я бы еще остался на сверхсрочную.

— Хайе, ты просто не в своем уме, — говорю я.

Ничуть не обижаясь, он отвечает мне вопросом:

— А ты когда-нибудь резал торф? Поди попробуй.

С этими словами он достает из-за голенища ложку и запускает ее в котелок Альберта.

— И все-таки это, наверно, не хуже, чем рыть окопы в Шампани, — отвечаю я.

Хайе жует и ухмыляется:

— Зато дольше. Да и отлынивать там нельзя.

— Но послушай, Хайе, чудак, дома-то ведь все-таки лучше!

— Как сказать, — говорит он и задумывается с открытым ртом.

На его лице написано, о чем он сейчас думает. Жалкая лачуга на болоте, тяжелая работа в знойной степи с раннего утра и до вечера. скудный заработок, грязная одежда поденщика...

— В мирное время на действительной можно жить припеваючи, — говорит он, — каждый день тебе засыпают твой корм, а не то можешь устроить скандал; у тебя есть своя постель, каждую неделю чистое

белье, как у господ; ты унтер-офицер, служишь свою службу, обмундирован с иголки; по вечерам ты вольная птица и идешь себе в пивную.

Хайе чрезвычайно гордится своей идеей. Он просто влюблен в нее.

— А отслужил свои двенадцать лет — получай аттестат на пенсию и иди в сельские жандармы. Тогда можешь хоть целый день гулять.

От этих грез о будущем его бросает в пот.

— Ты только подумай, как тебя будут угощать! Здесь рюмка коньяку, там пол-литра. С жандармом небось каждый захочет дружить.

— Да ты ведь никогда не станешь унтером, Хайе, — вставляет Кат.

Хайе смущенно смотрит на него и умолкает. Наверно, он думает сейчас о ясных осенних вечерах, о воскресеньях в степи, звоне деревенских колоколов, о ночах, проведенных с батрачками, о гречишных пирогах с салом, о сельском трактире, где можно целыми часами беспечно болтать с друзьями...

Его воображение не в силах так быстро управиться с нахлынувшими на него картинами; поэтому он только раздраженно ворчит:

— И чего вы вечно лезете с вашими дурацкими расспросами?

Он натягивает на себя рубашку и застегивает куртку.

— А ты бы что сделал, Тьяден? — спрашивает Кропп.

Тьяден думает только об одном:

— Стал бы следить за Химмельштосом, чтобы не упустить его.

Дай Тьядену волю, он, пожалуй, посадил бы Химмельштоса в клетку, чтобы каждое утро нападать на него с дубинкой. Сейчас он опять размечтался и говорит, обращаясь к Кроппу:

— На твоём месте я постарался бы стать лейтенантом. Тогда бы ты мог гонять его, пока у него задница не взопреет.

— А ты, Детеринг? — продолжает допытываться Мюллер. С его любовью задавать вопросы ему бы только ребятам учить.

Детеринг не охотник до разговоров. Но на этот вопрос он отвечает. Он смотрит в небо и произносит всего лишь одну фразу:

— Я подрос бы как раз к уборке.

С этими словами он встает и уходит.

Его одолевают заботы. Хозяйство приходится вести жене. К тому же у него еще забрали двух лошадей. Каждый день он читает доходящие до нас газеты: уж нет ли дождя в его родных краях в Ольденбурге? А то они не успеют убрать сено.

В этот момент появляется Химмельштос. Он направляется прямо к нам. Лицо Тьядена покрывается пятнами. Он растягивается во весь рост на траве и от волнения закрывает глаза.

Химмельштос ведет себя несколько нерешительно, он замедляет шаги. Но затем все-таки подходит к нам. Никто даже и не думает встать. Кропп с интересом разглядывает его.

Теперь он стоит перед нами и ждет. Видя, что все молчат, он пускает пробный шар:

— Ну как дела?

Проходит несколько секунд; Химмельштос явно не знает, как ему следует себя вести. С каким удовольствием он заставил бы нас сейчас сделать хорошую пробежку! Однако он, как видно, уже понял, что фронт — это не казармы. Он делает еще одну попытку, обращаясь на этот раз не ко всем сразу, а только к одному из нас; он надеется, что так скорее получит ответ. Ближе всех к нему сидит Кропп. Его-то Химмельштос и решает удостоить своим вниманием:

— Тоже здесь?

Но Альберт отнюдь не собирается напрашиваться к нему в друзья.

— Немножко подольше, чем вы, — кратко отвечает он.

Рыжие усы Химмельштоса подрагивают.

— Вы, кажется, меня не узнаете?

Тьяден открывает глаза:

— Нет, почему же?

Теперь Химмельштос поворачивается к нему:

— Ведь это Тьяден, не так ли?

Тьяден поднимает голову:

— А хочешь, я тебе скажу, кто ты?

Химмельштос обескуражен:

— С каких это пор мы с вами на «ты»? Мы, по-моему, еще в канаве вместе не валялись.

Он никак не может найти выход из создавшегося положения. Столь открытой вражды он от нас не ожидал. Но пока что он держит ухо востро, — наверно, ему уже успели наболтать про выстрелы в спину.

Слова Химмельштоса о канаве настолько разъярили Тьядена, что он даже становится остроумным:

— Нет, ты там один валялся.

Теперь и Химмельштос тоже кипит от злости. Однако Тьяден поспешно опережает его; ему не терпится высказать до конца свою мысль.

— Так сказать тебе, кто ты? Ты гад паршивый, вот ты кто! Я уж давно хотел тебе это сказать.

В его сонных свиных глазках светится торжество — он много месяцев ждал той минуты, когда швырнет этого «гада» в лицо своему недругу.

Химмельштоса тоже прорвало:

— Ах ты, щенок, грязная торфяная крыса! Встать, руки по швам, когда с вами разговаривает начальник!

Тьяден делает величественный жест:

— Вольно, Химмельштос. Кру-гом!

Химмельштос бушует. Это уже не человек — это оживший устав строевой службы, негодующий на нарушителей. Сам кайзер не счел бы себя более оскорбленным, чем он. Он рывкает:

— Тьяден, я приказываю вам по долгу службы: встать!

— Еще что прикажете? — спрашивает Тьяден.

— Вы будете выполнять мой приказ или нет?

Тьяден отвечает не повышая голоса и, сам того не зная, заканчивает свою речь популярнейшей цитатой из немецкого классика¹. Одновременно он оголяет свой тыл.

Химмельштос срывается с места, словно его ветром подхватило:

— Вы пойдете под трибунал!

Мы видим, как он убегает по направлению к ротной канцелярии.

Хайе и Тьяден оглушительно ржут — так умеют хохотать только торфяники. У Хайе от смеха заскакивает челюсть, и он беспомощно мычит открытым ртом. Альберт вправляет ее ударом кулака.

Кат озабочен:

— Если он доложит, тебе несдобровать.

— А ты думаешь, он доложит? — спрашивает Тьяден.

— Обязательно, — говорю я.

— Тебе закатят по меньшей мере пять суток строгого, — заявляет Кат.

Тьядена это ничуть не страшит.

— Пять суток в кутузке, — это пять суток отдыха.

— А если в крепость? — допытывается более основательный Мюллер.

— Пока сидишь там, глядишь, и отвоевался.

Тьяден — счастливчик. Он не знает, что такое заботы. В сопровождении Хайе и Леера он удаляется, чтобы не попасться начальству под горячую руку.

* * *

Мюллер все еще не закончил свой опрос. Он снова принимается за Кроппа:

— Альберт, ну а если ты и вправду попал бы сейчас домой, что б ты стал тогда делать?

Теперь Кропп наелся и стал от этого уступчивее:

— А сколько человек осталось от нашего класса?

Мы подсчитываем: семь человек из двадцати убиты, четверо — ранены, один — в сумасшедшем доме. Значит, нас набралось бы в лучшем случае двенадцать человек.

— Из них трое — лейтенанты, — говорит Мюллер. — Ты думаешь, они согласились бы, чтобы на них снова орал Канторек?

Мы думаем, что нет; мы тоже не захотели бы, чтобы он орал на нас.

— А как ты представляешь себе, что такое тройное действие в «Вильгельме Телле»? — вдруг вспоминает Кропп и хохочет до слез.

¹ Цитата из немецкого классика — нецензурное ругательство, вошедшее в немецкий язык из пьесы И.-В. Гете «Гец фон Берлихинген». «Цитировать «Геца фон Берлихингена» — выражаться нецензурно.

— Какие цели ставил перед собой геттингенский «Союз роши»? — испытующе спрашивает Мюллер, внезапно переходя на строгий тон.

— Сколько детей было у Карла Смелого? — спокойно парирую я.

— Из вас ничего путного не выйдет, Боймер, — квакает Мюллер.

— Когда была битва при Заме? — интересуется Кропп.

— У вас нет прочных моральных принципов, Кропп, садитесь! Три с минусом! — говорю я, делая пренебрежительный жест рукой.

— Какие государственные задачи Ликург почитал важнейшими? — шипит Мюллер, поправляя воображаемое пенсне.

— Как нужно расставить знаки препинания во фразе: «Мы, немцы, не боимся никого, кроме бога»? — вопрошаю я.

— Сколько жителей насчитывает Мельбурн? — щебечет в ответ Мюллер.

— Как же вы будете жить, если даже этого не знаете? — спрашиваю я Альберта возмущенным тоном.

Но тот пускает в ход другой козырь:

— В чем заключается явление сцепления?

Мы уже успели основательно позабыть все эти премудрости. Они оказались совершенно бесполезными. Но никто не учил нас в школе, как закуривать под дождем и на ветру или как разжигать костер из сырых дров, никто не объяснял, что удар штыком лучше всего наносить в живот, а не в ребра, потому что в животе штык не застревает.

Мюллер задумчиво говорит:

— А что толку? Ведь нам все равно придется снова сесть на школьную скамью.

Я считаю, что это исключено:

— Может быть, нам разрешат сдавать льготные экзамены?

— Для этого нужна подготовка. И даже если ты их сдашь, что потом? Быть студентом не намного лучше. Если у тебя нет денег, тебе все равно придется зубрить.

— Нет, это, пожалуй, немного лучше. Но и там тебе тоже будут вдалбливать всякую чушь.

Кропп настроен совершенно так же, как мы:

— Как можно принимать все это всерьез, если ты побывал здесь, на фронте?

— Но надо же тебе иметь профессию, — возражает Мюллер, точь-в-точь так, как говаривал Канторек.

Альберт вычищает ножом грязь из-под ногтей. Мы удивлены таким щегольством. Но он делает это просто потому, что задумался. Он отбрасывает нож и заявляет:

— В том-то и дело. И Кат, и Детеринг, и Хайе снова вернуться к своей профессии, потому что у них она уже была раньше. И Химмельштос — тоже. А вот у нас ее не было. Как же нам привыкнуть к какому-нибудь делу после всего этого? — Он кивает головой в сторону фронта.

— Хорошо бы стать рантье, тогда можно было бы жить где-ни-

будь в лесу, в полном одиночестве, — говорю я, но мне тотчас же становится стыдно за эти чрезмерные претензии.

— Что же с нами будет, когда мы вернемся? — спрашивает Мюллер, и даже ему становится не по себе.

Кропп пожимает плечами:

— Не знаю. Сначала надо остаться в живых, а там видно будет.

В сущности, никто из нас ничего не может сказать.

— Так что же мы стали бы делать? — спрашиваю я.

— У меня ни к чему нет охоты, — устало отвечает Кропп. — Ведь рано или поздно ты умрешь, так не все ли равно, что ты нажил? И вообще я не верю, что мы вернемся.

— Знаешь, Альберт, когда я об этом размышляю, — говорю я через некоторое время, переворачиваясь на спину, — когда я думаю о том, что однажды я услышу слово «мир» и это будет правда, мне хочется сделать что-нибудь невысказанное — так опьяняет меня это слово. Что-нибудь такое, чтобы знать, что ты не напрасно валялся здесь в грязи, не напрасно попал в этот переплет. Только я ничего не могу придумать. То, что действительно можно сделать, вся эта процедура приобретения профессии — сначала учеба, потом жалование и так далее, — от этого меня с души воротит, потому что так было всегда и все это отвратительно. Но ничего другого я не нахожу, ничего другого я не вижу, Альберт.

В эту минуту все кажется мне беспросветным, и меня охватывает отчаяние.

Кропп думает о том же.

— И вообще всем нам будет трудно. Неужели они там, в тылу, никогда не задумываются над этим? Два года подряд стрелять из винтовки и метать гранаты — это нельзя сбросить с себя, как сбрасывают грязное белье...

Мы приходим к заключению, что нечто подобное переживает каждый — не только мы здесь, но и всякий, кто находится в том же положении, где бы он ни был; только одни чувствуют это больше, другие — меньше. Это общая судьба нашего поколения.

Альберт высказывает эту мысль вслух:

— Война сделала нас никчемными людьми.

Он прав. Мы больше не молодежь. Мы уже не собираемся брать жизнь с бою. Мы беглецы. Мы бежим от самих себя. От своей жизни. Нам было восемнадцать лет, и мы только еще начинали любить мир и жизнь; нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце. Мы отрезаны от разумной деятельности, от человеческих стремлений, от прогресса. Мы больше не верим в них. Мы верим в войну.

* * *

Канцелярия зашевелилась. Как видно, Химмельшотс поднял там всех на ноги. Во главе карательного отряда трусит толстый фельдфебель. Любопытно, что почти все ротные фельдфебели — толстяки.

За ним следует снедаемый жаждой мести Химмельштос. Его сапоги сверкают на солнце.

Мы встаем.

— Где Тьяден? — пыхтит фельдфебель.

Разумеется, никто этого не знает. Глаза Химмельштоса сверкают злобой.

— Вы, конечно, знаете. Только не хотите сказать. Признавайтесь, где он?

Фельдфебель рыскает глазами; Тьядена нигде не видно. Тогда он пытается взяться за дело с другого конца:

— Через десять минут Тьяден должен явиться в канцелярию.

После этого он удаляется. Химмельштос следует в его кильватере.

— У меня предчувствие, что в следующий раз, когда будем рыть окопы, я случайно уроню моток проволоки Химмельштосу на ноги, — говорит Кропп.

— Да и вообще нам с ним будет не скучно, — смеется Мюллер.

Мы осмелились дать отпор какому-то жалкому почтальону и уже гордимся этим.

Я иду в барак и предупреждаю Тьядена, что ему надо исчезнуть.

Затем мы переходим на другое место и, развалясь на травке, снова начинаем играть в карты. Ведь все, что мы умеем, — это играть в карты, сквернословить и воевать. Не очень много для двадцати — слишком много для двадцати лет.

Через полчаса Химмельштос снова навевается к нам. Никто не обращает на него внимания. Он спрашивает, где Тьяден. Мыжимаем плечами.

— Вас ведь послали за ним, — настаивает он.

— Что значит «послали»? — спрашивает Кропп.

— Ну, вам приказали...

— Я попросил бы вас выбирать выражения, — говорит Кропп начальственным тоном. — Мы не позволим обращаться к нам не по уставу.

Химмельштос огорошен:

— Кто это обращается к вам не по уставу?

— Вы!

— Я?

— Ну да.

Химмельштос напряженно думает. Он недоверчиво косится на Кроппа, не совсем понимая, что тот имеет в виду. Во всяком случае, на этот раз он не вполне уверен в себе и решает пойти нам навстречу:

— Так вы его не нашли?

Кропп ложится в траву и говорит:

— А вы хоть раз бывали здесь, на фронте?

— Это вас не касается, — решительно заявляет Химмельштос. — Я требую, чтобы вы мне ответили на мой вопрос.

— Ладно, ответу, — говорит Кропп поднимаясь. — Посмотрите-ка вон туда, видите, на небе такие маленькие облачка? Это разры-

вы зениток. Вчера мы были там. Пять убитых, восемь раненых. А ведь ничего особенного вчера, в общем-то, и не было. В следующий раз, когда мы отправимся туда вместе с вами, рядовые не будут умирать, не спросив вашего разрешения. Они будут становиться перед вами во фронт, пятки вместе, носки врозь, и молодцевато спрашивать: «Разрешите выйти из строя? Дозвольте отправиться на тот свет!» Нам здесь так не хватало таких людей, как вы.

Сказав это, он снова садится. Химмельштос уносится стремительно, как комета.

— Трое суток ареста, — предполагает Кат.

— Следующий заход сделаю я, — говорю я Альберту.

Но нас больше не беспокоят. Зато вечером, во время поверки, нам устраивают допрос. В канцелярии сидит командир нашего взвода лейтенант Бертинк и вызывает всех по очереди.

Как свидетель, я тоже предстаю перед ним и излагаю обстоятельства, заставившие Тьядена взбунтоваться. История с «исцелением» Тьядена от недержания мочи производит сильное впечатление. Вызывают Химмельштоса, и я еще раз повторяю свои показания.

— Это правда? — спрашивает Бертинк Химмельштоса.

Тот пытается выкрутиться, но, когда Кропп подтверждает сказанное мною, ему в конце концов приходится признаться.

— Почему же никто не доложил об этом еще тогда? — спрашивает Бертинк.

Мы молчим, ведь он сам прекрасно знает, что жаловаться на такие пустяки — это в армии гиблое дело. Да и вообще, какие могут быть жалобы на военной службе? Он, как видно, понимает нас и для начала распекает Химмельштоса, в энергичных выражениях разъясняя ему еще раз, что фронт — это не казармы. Затем настает очередь Тьядена. С ним лейтенант обходится покруче. Он долго читает ему мораль и налагает на него трое суток ареста. Кроппу он подмигивает и велит записать ему одни сутки.

— Ничего не поделаешь, — говорит он ему с сожалением.

Он у нас умница.

Простой арест — приятное времяпрепровождение. Помещение для арестантов — бывший курятник; там они могут принимать гостей, мы знаем, как к ним пробраться. Строгий арест пришлось бы отсиживать в погребе. Раньше нас еще привязывали к дереву, но сейчас это запрещено. Все-таки иногда с нами обращаются как с людьми.

Не успели Тьяден и Кропп отсидеть час за проволочной решеткой, как мы уже отправляемся навестить их. Тьяден встречает нас петушиным криком. Затем мы до поздней ночи играем в скат. Этот дурень Тьяден, как всегда, выигрывает.

* * *

Когда мы собираемся уходить, Кат спрашивает меня:

— Что ты скажешь насчет жареного гуся?

— Неплохо бы, — говорю я.

Мы забираемся на машину с боеприпасами. За проезд с нас берут две сигареты. Кат заметил место точно. Птичник принадлежит штабу одного из полков. Я берусь стащить гуся, и Кат меня инструктирует. Птичник находится за оградой, дверь не на замке, а только на колышке.

Кат подставляет мне руки, я упираюсь в них ногой и перелезаю через ограду. Кат остается стоять на стреме.

Несколько минут я стою на одном месте, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. Затем узнаю птичник. Тихонько подкрадываюсь к нему, нащупываю колышек, вытаскиваю его и открываю дверь.

Я различаю два белых пятна. Гусей двое — это нехорошо: одного схватишь, другой разгочется. Значит, надо хватать обоих, только побыстрей, тогда дело выгорит.

Одним прыжком я бросаюсь на них. Одного мне удастся схватить сразу же, через мгновение я держу и второго. Я с остервенением бью их головами об стену, чтобы оглушить. Но, должно быть, мне надо было двинуть их посильнее. Подлые твари хрипят и начинают бить лапами и хлопать крыльями. Я сражаюсь с ожесточением, но, бог ты мой, сколько силы у этого вот гуся! Они тащат меня в разные стороны, так что я еле держусь на ногах. Жутко смотреть, как они трепыхаются в потемках, белые, как простыни; у меня выросли крылья, я уже побаиваюсь, не вознесусь ли я на небо, в руках у меня словно два привязных аэростата.



Без шума дело все-таки не обошлось: одна из длинношеих птиц хлебнула воздуху и заверещала, как будильник. Не успел я оглянуться, как что-то мягкое подкатилось к птичнику, я ощущаю толчок, падаю на землю и слышу злобное рычание. Собака... Я поглядываю на нее сбоку, она вот-вот готова вцепиться мне в глотку. Я тотчас же замираю и первым делом подтягиваю подбородок к воротнику своей солдатской куртки.

Это дог. Проходит целая вечность, прежде чем он убирает свою морду и садится рядом со мной. Но как только я пытаюсь шевельнуться, он рычит. Я размышляю. Единственное, что я могу сделать, — это как-нибудь дотянуться до моего револьвера. Так или иначе мне надо убраться отсюда, пока не пришли люди. Сантиметр за сантиметром подбираюсь рукой к кобуре.

У меня такое ощущение, будто прошло уже несколько часов. Каждый раз легкое движение руки — и грозное рычание, затем полная неподвижность — и новая попытка. Когда наконец револьвер оказался у меня в руке, она начинает дрожать. Я прижимаю ее к земле и уясняю себе план действий: рывком поднять револьвер, выстрелить прежде, чем дог успеет вцепиться, и удрать.

Я делаю глубокие, медленные вдохи и успокаиваюсь. Затем, затаив дыхание, вскидываю револьвер. Выстрел. Дог с воем метнулся в сторону, я пробкой вылетаю в дверь и лечу кувырком, споткнувшись об одного из удравших гусей.

Я успеваю на бегу подхватить его, одним взмахом швыряю его через ограду и сам взбираюсь на нее. Я еще сижу на гребне стены, а дог уже оправился от испуга и прыгает, стараясь достать меня. Я кубарем скатываюсь на другую сторону. В десяти шагах от меня стоит Кат с гусем под мышкой. Как только он замечает меня, мы убегаем.

Наконец нам можно немного отдышаться. У гуся уже скручена шея, с этим делом Кат управился за одну секунду. Мы решаем тотчас же изжарить его, чтобы никто ничего не заметил. Я приношу из барака кастрюли и дрова, и мы забираемся в маленький заброшенный сарайчик, который заранее держали на примете для подобных случаев. Мы плотно завешиваем единственное оконце. В сарае есть нечто вроде плиты: лист железа, положенный на кирпичи. Мы разводим огонь.

Кат ощипывает гуся и подготавливает его. Перья мы заботливо откладываем в сторону. Из них мы собираемся сделать для себя две подушечки с надписью: «Спокойно спи под грохот канонады!»

Над нашим убежищем навис отдаленный гул фронтальной артиллерии. По лицам нашим пробегают вспышки света, на стене пляшут тени. Порой слышится глухой треск, тогда наш сарайчик трясется. Это авиабомбы. Один раз до нас смутно доносятся крики. Должно быть, бомба угодила в барак.

Жужжат самолеты; раздаются татаканье пулеметов. Но свет из сарая не проникает наружу, и никто не сможет заметить нас.

В глухую полночь сидим мы лицом к лицу, Кат и я, два солдата в заношенных куртках, и жарим гуся. Мы почти не разговариваем, но проявляем друг к другу столько самой нежной заботливости, что,

пожалуй, на это вряд ли способны даже влюбленные. Мы два человеческих существа, две крошечные искорки жизни, а вокруг нас ночь и заколдованная черта смерти. Мы сидим у этой черты, под вечной угрозой, но под временной защитой. С наших рук капает жир, наши сердца так близки друг к другу, и в этот час в них происходит то же, что и вокруг нас: в свете неяркого огня от сердца к сердцу идут трепетные отблески и тени чувств. Что он знает обо мне? Что я о нем знаю? Раньше у нас не было бы ни одной сходной мысли — теперь мы сидим перед гусем, и один ощущает присутствие другого, и один так близок другому, что нам не хочется об этом говорить.

Жаждать гуся — дело нескорое, даже если он молодой и жирный. Поэтому мы сменяем друг друга. Один поливает птицу жиром, другой тем временем спит. Мало-помалу в сарае разливается чудесный запах.

Проникающие снаружи звуки собираются в один пучок, начинают восприниматься как сон, однако сознание выключено еще не полностью. Я вижу в полусне, как Кат поднимает и опускает ложку; я люблю его, люблю его плечи, его угловатую согнувшуюся фигуру — и в то же время я вижу где-то позади него леса и звезды, и чей-то добрый голос произносит слова, и они успокаивают меня, солдата в больших сапогах, с поясным ремнем и с мешочком для сухарей, солдата, который шагает по уходящей вдаль дороге, такой маленький под высоким небосводом, солдата, который быстро забывает пережитое и только изредка бывает грустным, который все шагает и шагает под огромным пологом ночного неба.

Маленький солдат и добрый голос; если бы кто-нибудь вздумал ласково погладить этого солдата в больших сапогах и с засыпанным землей сердцем, он, наверно, уже не понял бы ласки, этот солдат, идущий вперед, потому что на нем сапоги, и забывший все, кроме того, что ему надо идти вперед. Что это там вдали? Как будто цветы и какой-то пейзаж, такой умиротворенный, что солдату хочется плакать. А может быть, перед ним витают те радости, которых он никогда не знал, а значит, и не мог утратить, смущающие его душу и все-таки ушедшие для него навсегда? Может быть, это его двадцать лет?

Что это такое на моем лице? Уж не следы ли слез? И где я? Передо мной стоит Кат; его огромная горбатая тень как-то по-домашнему укрывает меня. Он что-то тихо говорит, улыбается и опять идет к огню.

Затем он говорит:

— Готово.

— Да, Кат.

Я стряхиваю с себя сон. Посреди сарая поблескивает румяная корочка жаркого. Мы достаем наши складные вилки и перочинные ножи, и каждый отрезает себе по ножке. Мы едим гуся с солдатским хлебом, макая его в подливку. Едим мы медленно, всецело отдаваясь наслаждению.

— Вкусно, Кат?

— Хорошо! А как тебе?

— Хорошо, Кат!

Сейчас мы братья, и мы подкладываем друг другу самые лакомые кусочки. Затем я выкуриваю сигарету, а Кат — сигару. От гуся еще много осталось.

— Кат, а что, если мы снесем по куску Кроппу и Тьядену?

— Идет, — соглашается он. Мы отрезаем порцию и заботливо заворачиваем ее в кусок газеты. Остатки мы собираемся снести к себе в барак, но потом Кат смеется и произносит одно только слово:

— Тьяден.

Он прав — нам действительно нужно взять с собой все. Мы отправляемся в курятник, чтобы разбудить Кроппа и Тьядена. Но сначала мы еще убираем перья.

Кропп и Тьяден принимают нас за каких-то призраков. Затем они начинают с хрустом работать челюстями. У Тьядена во рту крылышко, он держит его обеими руками, как губную гармонику, и жует. Он прихлебывает жир из кастрюли и чавкает.

— Этого я вам никогда не забуду!

Мы идем к себе в барак. Над нами снова высокое небо со звездами и с первыми проблесками рассвета, под ним шагаю я, солдат в больших сапогах и с полным желудком, маленький солдат на заре, а рядом со мной, согнувшийся, угловатый, идет Кат, мой товарищ.

В предрассветных сумерках очертания барака надвигаются на нас, как черный, благодатный сон.

VI

Поговаривают о наступлении. Нас отправляют на фронт на целых два дня раньше. По пути мы проезжаем мимо разбитой снарядами школы. Вдоль ее фасада высокой двойной стеной сложены новенькие светлые неполированные гробы. Они еще пахнут смолой, сосновым деревом и лесом. Их здесь по крайней мере сотня.

— Однако, они тут ничего не забыли для наступления, — удивленно говорит Мюллер.

— Это для нас, — ворчит Детеринг.

— Типун тебе на язык, — прикрикивает на него Кат.

— Будь доволен, если тебе еще достанется гроб, — зубоскалит Тьяден, — для тебя они просто подберут плащ-палатку по твоей комплекции, вот увидишь. По тебе ведь только в тире стрелять.

Другие тоже острят, хотя всем явно не по себе; а что же нам делать еще? Ведь гробы и в самом деле припасены для нас. Это дело у них хорошо поставлено.

Вся линия фронта находится в скрытом движении. Ночью мы пытаемся выяснить обстановку. У нас сравнительно тихо, поэтому мы слышим, как за линией обороны противника всю ночь катятся железнодорожные составы, безостановочно, до самого рассвета. Кат

сказал, что французы не отходят, а, наоборот, подвозят войска — войска, боеприпасы, орудия.

Английская артиллерия получила подкрепления, это мы слышим сразу же. Справа от фермы стоят по крайней мере четыре новые батареи двадцатилинеек, не считая старых, а за искалеченным тополем установлены минометы. Кроме того, сюда перебросили изрядное количество этих французских игрушек, что стреляют снарядами с ударными взрывателями.

Настроение у нас подавленное. Через два часа после того, как мы спустились в блиндажи, наши окопы обстреляла своя же артиллерия. Это уже третий случай за последний месяц. Пусть бы они еще ошибались в наводке, тогда никто бы им ничего не сказал, но это ведь все оттого, что стволы у орудий слишком разношенны; рассеивание такое большое, что зачастую снаряды ложатся как попало и даже залетают на наш участок. Из-за этого сегодня ночью у нас было двое раненых.

* * *

Фронт — это клетка, и тому, кто в нее попал, приходится, напрягая нервы, ждать, что с ним будет дальше. Мы сидим за решеткой, прутья которой — траектории снарядов; мы живем в напряженном ожидании неведомого. Мы отданы во власть случая. Когда на меня летит снаряд, я могу пригнуться — и это все; я не могу знать, куда он ударит, и никак не могу воздействовать на него.

Именно эта зависимость от случая и делает нас такими равнодушными. Несколько месяцев тому назад я сидел в блиндаже и играл в скат; через некоторое время я встал и пошел навестить своих знакомых в другом блиндаже. Когда я вернулся, от первого блиндажа почти ничего не осталось: тяжелый снаряд разбил его всмятку. Я опять пошел во второй и подospel как раз вовремя, чтобы помочь его откапывать, — за это время его успело засыпать.

Меня могут убить — это дело случая. Но то, что я остаюсь в живых, — это опять-таки дело случая. Я могу погибнуть в надежно укрепленном блиндаже, раздавленный его стенами, и могу остаться невредимым, пролежав десять часов в чистом поле под шквальным огнем. Каждый солдат остается в живых лишь благодаря тысяче разных случаев. И каждый солдат верит в случай и полагается на него.

* * *

Нам надо присматривать за своим хлебом. За последнее время, с тех пор как в окопах больше не поддерживается порядок, у нас расплодилось крысы. По словам Детеринга, это самый верный признак того, что скоро мы хлебом горя.

Здесьние крысы как-то особенно противны, уж очень они большие. Они из той породы, которую называют трупными крысами.

У них омерзительные, злющие безусые морды, и уже один вид их длинных, голых хвостов вызывает тошноту.

Их, как видно, мучит голод. Почти у каждого из нас они обглодали его порцию хлеба. Кропп крепко завязал свой хлеб в плащ-палатку и положил его под голову, но все равно не может спать, так как крысы бегают по его лицу, стараясь добраться до хлеба. Детеринг решил схитрить: он прицепил к потолку кусок тонкой проволоки и повесил на нее узелок с хлебом. Однажды ночью он включил свой карманный фонарик и увидел, что проволока раскачивается. Верхом на узелке сидела жирная крыса.

В конце концов мы решаем разделаться с ними. Мы аккуратно вырезаем обглоданные места; выбросить хлеб мы никак не можем, иначе завтра нам самим будет нечего есть.

Вырезанные куски мы складываем на пол в самой середине блиндажа. Каждый достает свою лопату и ложится, держа ее наготове. Детеринг, Кропп и Кат приготовились включить свои карманные фонарики.

Уже через несколько минут мы слышим шорохи и возню. Шорохи становятся громче, теперь уже можно различить царапание множества крысиных лапок. Вспыхивают фонарики, и все дружно бьет лопатами по черному клубку, который с писком распадается. Результаты неплохие. Мы выгребаем из блиндажа искромсанные крысиные трупы и снова устраиваем засаду.

Нам еще несколько раз удается устроить это побоище. Затем крысы замечают что-то неладное, а может быть, они учуяли кровь. Больше они не появляются. Но остатки хлеба на полу на следующий день исчезают: они их все-таки растащили.

На соседнем участке они напали на двух больших кошек и собаку, искусили их до смерти и объели их трупы.

* * *

На следующий день нам выдают сыр. Каждый получает почти по четверти головки. С одной стороны, это хорошо, потому что сыр — вкусная штука, но, с другой стороны, это плохо, так как до сих пор эти большие красные шары всегда были признаком того, что нам предстоит попасть в переплет. После того как нам выдали еще и водку, у нас стало еще больше оснований ждать беды. Выпить-то мы ее выпили, но все-таки при этом нам было не по себе.

Весь день мы соревнуемся в стрельбе по крысам и слоняемся как неприкаянные. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат. Штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших попадет на той стороне с такой штуковиной, ему не миновать расправы. На соседнем участке были обнаружены трупы наших солдат, которых недосчитались после боя; им отрезали этой пилой уши и выкололи глаза. Затем им набили опилками рот и нос, так что они задохнулись.

У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца; эти штыки мы у них отбираем и достаем для них другие.

Впрочем, штык во многом утратил свое значение. Теперь пошла новая мода ходить в атаку: некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата — более легкое и универсальное оружие, ею можно не только тыкать снизу, под подбородок, ею прежде всего можно рубить наотмашь. Удар получается более увесистый, особенно если нанести его сбоку, под углом, между плечом и шеей, тогда легко можно рассечь человека до самой груди. Когда колешь штыком, он часто застревает; чтобы его вытащить, нужно с силой упереться ногой в живот противника, а тем временем тебя самого свободно могут угостить штыком. К тому же он иногда еще и обламывается.

Ночью на наши окопы пускают газ. Мы ждем атаки и, приготовившись отбить ее, лежим в противогазах, готовые сбросить их, как только перед нами вынырнет силуэт первого солдата.

Но вот уже начинает светать, а у нас все по-прежнему спокойно. Только с тыловых дорог по ту сторону фронта все еще доносится этот изматывающий нервы гул. Поезда, поезда, машины, машины — куда только стягивают все это? Наша артиллерия все время бьет в том направлении, но гул не смолкает, он все еще не смолкает...

У нас усталые лица, мы не глядим друг на друга.

— Опять будет то же самое, как в тот раз на Сомме, там нас после этого семь суток держали под ураганным огнем, — мрачно говорит Кат.

С тех пор как мы здесь, он даже перестал острить, а это плохо — ведь Кат старый окопный волк, у него на все есть чутье. Один только Тьяден радуется усиленным порциям и рому; он даже считает, что в нашу смену здесь вообще ничего не случится и мы так же спокойно вернемся на отдых.

Нам уже начинает казаться, что так оно и будет. Проходят дни за днями. Ночью я сижу в ячейке на посту подслушивания. Надо мной взлетают и опускаются осветительные ракеты и световые парашюты. Все во мне настороже, все напряжено, сердце колотится. Мои глаза то и дело задерживаются на светящемся циферблате часов: стрелка словно топчется на одном месте. Сон смежает мне веки, я шевелю пальцами в сапогах, чтобы не уснуть. За мою смену ничего нового не происходит; я слышу только гул колес с той стороны. Постепенно мы успокаиваемся и все время режемся в скат по большой. Может быть, нам еще повезет.

Днем в небе роем висят привязные аэростаты. Говорят, что во время наступления аэропланы пехоты и танки будут на этот раз брошены также и на наш участок. Но сейчас нас гораздо больше интересует то, что рассказывают о новых огнеметах.

* * *

Среди ночи мы просыпаемся. Земля гудит. Над нами тяжелая завеса огня. Мы жмемся по углам. По звуку можно различить ряды всех калибров.



Каждый хватается за свои вещи и то и дело проверяет, все ли на месте. Блиндаж дрожит, ночь ревет и мечет молнии. При свете мгновенных вспышек мы смотрим друг на друга. Лица у всех побледнели, губы сжаты; мы только головой качаем: что же это делается?

Каждый ощущает всем своим телом, как тяжелые снаряды сносят бруствер окопа, как они вскапывают откос блиндажа и крошат лежащие сверху бетонные глыбы. Порой мы различаем более глухой, более сокрушительный, чем обычно, удар, словно разъяренный хищник бешено вонзает когти в свою жертву, — это прямое попадание в окоп. Наутро некоторые новобранцы позеленели с лица, и их уже рвет. Они еще совсем необстрелянные.

В убежище медленно просачивается неприятно серый свет, и вспышки падающих снарядов становятся бледнее. Наступило утро. Теперь к огню артиллерии прибавились разрывы мин. Нет ничего

ужаснее, чем этот неистовой силы смерч. Там, где он пронесся, остается братская могила.

Новая смена наблюдателей отправляется на посты, одержавшие вваливаются в окоп, забрызганные грязью, дрожащие. Один из них молча ложится в угол и начинает есть; другой, вновь призванный резервист, судорожно всхлипывает; его дважды перебрасывало взрывной волной через бруствер, но он отделался только нервным шоком.

Новобранцы поглядывают на него. Такое состояние быстро передается другим, нам нужно быть начеку, кое у кого из них уже начинают подрагивать губы. Хорошо, что ночь прошла; быть может, атака начнется в первой половине дня.

Огонь не утихает. Местность позади нас тоже под обстрелом. Куда ни взглянешь, повсюду взлетают фонтаны грязи и металла. Противник обстреливает очень широкую полосу.

Атака не начинается, но снаряды все еще рвутся. Мы постепенно глохнем. Теперь уже почти все молчат. Все равно никто не может понять друг друга.

От нашего окопа почти ничего не осталось. В некоторых местах его глубина достигает всего лишь каких-нибудь полметра, он весь скрылся под ямами, воронками и грудями земли. Прямо перед нашим убежищем разрывается снаряд. Тотчас же вокруг становится темно. Наше убежище засыпало, и нам приходится откапывать себя. Через час мы снова освободили вход, и нам стало спокойнее, потому что мы были заняты делом.

К нам спускается наш командир роты и рассказывает, что у нас разрушены два блиндажа. При виде его новобранцы успокаиваются. Он говорит, что сегодня вечером будет сделана попытка доставить нам еду. Это утешительная новость. Никто об этом и не думал, кроме Тьядена. Это уже какая-то ниточка, протянувшаяся к нам из внешнего мира; если вспомнили о еде, значит, дело не так уж плохо, думают новобранцы. Мы их не разубеждаем, нам-то известно, что еда — это так же важно, как боеприпасы, и только поэтому ее во что бы то ни стало надо доставить.

Но первая попытка кончается неудачей. Высылают еще одну команду. Ей тоже приходится повернуть назад. Наконец подносчиков возглавляет Кат, но и он возвращается с пустыми руками. Под этим огнем никто не проскочит — он так плотен, что через него и мышь не прошьмгнет.

Мы затягиваем наши ремни на последнюю дырочку и жуем каждый кусок хлеба втрое дольше обычного. И все же его не хватает; у нас животы подвело от голода. Один ломтик у меня еще остался про запас; мякиш я съедаю, а корку оставляю в мешочке; время от времени я принимаюсь ее сосать.

* * *

Ночь тянется невыносимо долго. Мы не можем уснуть, мы смотрим перед собой осоловелыми глазами и дремлем. Тьядену жалко тех обглоданных кусочков хлеба, которые мы извели на приманку

для крыс; их надо было бы просто припрятать. Сейчас любой из нас съел бы их. Воды нам тоже не хватает, но это пока еще терпимо.

Под утро, когда еще совсем темно, у нас начинается переполох. Стая спасающихся бегством крыс врывается через входную дверь и начинает быстро карабкаться по стенам. Карманные фонарики освещают отчаянно мечущихся животных. Все кричат, ругаются и бьют крыс чем попало. Это взрыв ярости и отчаяния, которые в течение долгих часов не находили себе разрядки. Лица искажены злобой, руки наносят удары, крысы пищат. Все так разошлись, что уже трудно уgomониться, — еще немного, и мы набросимся друг на друга.

Этот взрыв энергии совсем измотал нас. Мы лежим и снова начинаем ждать. Просто чудо, что в нашем блиндаже все еще нет потерь. Это одно из немногих глубоких убежищ, которые до сих пор уцелели.

В блиндаж ползком пробирается унтер-офицер; в руках у него буханка хлеба; ночью троем из наших все же удалось проскочить под огнем и принести кое-что поесть. Они рассказали, что полоса обстрела тянется до самых артиллерийских позиций и огонь там такой же плотный. Просто удивительно, откуда у них на той стороне столько пушек!

Нам приходится ждать, бесконечно долго ждать. Среди дня случается то, чего я ожидал. У одного из новобранцев — припадок. Я давно уже наблюдал за ним. Он беспокойно двигал челюстями и то сжимал, то разжимал кулаки. Мы не раз видели такие вот затравленные, вылезавшие из орбит глаза. За последние часы он только с виду присмирел. Сейчас он весь внутренне осел, как подгнившее дерево.

Он встает, бесшумно ползет через весь блиндаж, на минуту останавливается и затем подкатывается к выходу. Я перевоорачиваюсь на другой бок:

— Ты куда это?

— Я сейчас же вернусь, — говорит он и хочет обойти меня.

— Обожди немного, огонь уже стихает.

Он прислушивается, и на одно мгновение его глаза проясняются. Затем в них снова появляется мутный блеск, как у бешеной собаки. Он молча отпихивает меня.

— Минутку, братец, — зову я его.

Кат насторожился. Как раз в тот момент, когда новобранец отталкивает меня, он хватается за руку, и мы крепко держим его.

Он тотчас же начинает буянить:

— Пустите меня, пустите, я хочу выйти отсюда!

Он ничего не хочет слушать, брыкается и дерется, с его покрытых пеной губ непрерывно срываются слова, нечленораздельные, бессмысленные. Это приступ особого страха, когда человек боится остаться в блиндаже, — ему кажется, что он здесь задохнется, и он весь во власти одного только стремления — выбраться наружу. Если бы мы отпустили его, он побежал бы куда глаза глядят, позабыв, что надо укрыться. Он не первый.

Он уже закатил глаза и так буйствует, что приходится его поколотить, чтобы он образумился, — ничего другого не остается.

Мы проделываем это быстро и безжалостно, и нам удается добиться того, что он пока что сидит смирно. Увидев эту сцену, остальные новобранцы побледнели; будем надеяться, что это их припугнет. Сегодняшний ураганный огонь — слишком тяжелое испытание для этих несчастных парней: с полевого пересыльного пункта они сразу же попали в такую переделку, от которой даже и бывалому человеку впору поседеть.

После этого случая спертый воздух блиндажа еще больше раздражает нас. Мы сидим в собственной могиле и ждем только того, чтобы нас засыпало.

Неистовый вой и ослепительная вспышка. Блиндаж трещит по всем швам от угодившего в него снаряда, к счастью, легкого, так что бетонная кладка выдержала удар. Слышится звон металла и еще какой-то страшный скрежет, стены ходят ходуном, винтовки, каски, земля, грязь и пыль взлетают к потолку. Снаружи проникает густой, пахнущий серой дым. Если бы мы сидели не в прочном убежище, а в одном из тех балаганчиков, что стали строить в последнее время, никто из нас не остался бы в живых.

Но и сейчас этот снаряд наделал нам немало хлопот. Давешний новобранец снова разбушевался, и его примеру последовали еще двое. Один из них вырывается и убегает. Мы возмемся с двумя другими. Я бросаюсь вслед за беглецом и уже подумываю, не выстрелить ли ему в ноги, но тут что-то со свистом несется на меня. Я распластываюсь на земле, а когда поднимаюсь, стенка окопа уже облеплена горячими осколками, кусками мяса и обрывками обмундирования. Я снова залезаю в блиндаж.

Первый новобранец, как видно, и в самом деле сошел с ума. Когда мы его отпускаем, он пригибает голову, как козел, и бьется лбом о стену. Ночью надо будет попытаться отправить его в тыл. Пока что мы связываем его, но с таким расчетом, чтобы можно было сразу же освободить, если начнется атака.

Кат предлагает сыграть в карты — делать-то все равно нечего, может быть, от этого нам станет легче. Но игра не клеится — мы прислушиваемся к каждому снаряду, рвущемуся поближе к нам, и сбиваемся при подсчете взяток или же сбрасываем не ту масть. Нам приходится отказаться от этой затеи. Мы сидим словно в оглушительно грохочущем котле, по которому со всех сторон стучат палками.

Еще одна ночь. Теперь мы уже отупели от напряжения. Это то убийственное напряжение, когда кажется, что тебе царапают спинной мозг зазубренным ножом. Ноги отказываются служить, руки дрожат, тело стало тоненькой пленкой, под которой прячется с трудом загнанное внутрь безумие, таится каждую минуту готовый вырваться наружу безудержный, бесконечный вопль. Мы стали бесплотными, у нас больше нет мускулов, мы уже стараемся не смотреть друг на друга, опасаясь, что сейчас произойдет что-то непредвиденное и страшное. Мы плотно сжимаем губы. Это пройдет... Это пройдет... Быть может, мы еще уцелеем.



* * *

Внезапно ближние разрывы разом смолкают. Огонь все еще продолжается, но теперь он перенесен назад, наша позиция вышла из-под обстрела. Мы хватаем гранаты, забрасываем ими подход к блиндажу и выскакиваем наружу. Ураганный огонь прекратился, но зато по местности позади нас ведется интенсивный заградительный огонь. Сейчас будет атака.

Никто не поверил бы, что в этой изрытой воронками пустыне еще могут быть люди, но сейчас из окопов повсюду выглядывают стальные каски, а в пятидесяти метрах от нас уже установлен пулемет, который тотчас же начинает строчить.

Проволочные заграждения разнесены в клочья. Но все же они еще могут на некоторое время задержать противника. Мы видим, как



приближаются атакующие. Наша артиллерия дает огоньку. Стучат пулеметы, потрескивают ружейные выстрелы. Атакующие подбираются все ближе. Хайе и Кропп начинают метать гранаты. Они стараются бросать как можно чаще, мы заранее оттягиваем для них рукоятки. Хайе бросает на шестьдесят метров, Кропп — на пятьдесят, это уже испробовано, а такие вещи важно знать точно. На бегу солдаты противника почти ничего не смогут сделать, сначала им надо подойти к нам метров на тридцать.

Мы различаем перекошенные лица, плоские каски. Это французы. Они добрались до остатков проволочных заграждений и уже понесли заметные на глаз потери. Одну из их цепей скашивает стоящий рядом с нами пулемет; затем он начинает давать задержки при зарядании, и французы подходят ближе.

Я вижу, как один из них падает в рогатку, высоко подняв лицо. Туловище оседает вниз, руки принимают такое положение, будто он собрался молиться. Потом туловище отваливается совсем, и только оторванные по локоть руки висят на проволоке.

В ту минуту, когда мы начинаем отходить, впереди над землей приподнимаются три головы. Под одной из касок — темная острая бородка и два глаза, пристально глядящих прямо на меня. Я поднимаю руку с гранатой, но не могу метнуть ее в эти странные глаза. На мгновение вся панорама боя кружится в каком-то шальном танце вокруг меня и этих двух глаз, которые кажутся мне единственной неподвижной точкой. Затем голова в каске зашевелилась, показалась рука — она делает какое-то движение, и моя граната летит туда, прямо в эти глаза.

Мы бежим назад, заваливаем окоп рогатками и, отбежав на известное расстояние, бросаем в его сторону взведенные гранаты, чтобы обеспечить свое отступление огневым прикрытием. Пулеметы следующей позиции открывают огонь.

Мы превратились в опасных зверей. Мы не сражаемся, мы спасаем себя от уничтожения. Мы швыряем наши гранаты не в людей — какое нам сейчас дело до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в касках? В их облике за нами гонится сама смерть, впервые за три дня мы можем взглянуть ей в лицо, впервые за три дня мы можем от нее защищаться, нами владеет бешеная ярость, мы уже не бессильные жертвы, ожидающие своей судьбы, лежа на эшафоте; теперь мы можем разрушать и убивать, чтобы спастись самими, чтобы спастись и отомстить за себя.

Мы укрываемся за каждым выступом, за каждым столбом проволочного заграждения, швыряем под ноги наступающим снопы осколков и снова молниеносно делаем перебежку. Грохот рвущихся гранат с силой отдается в наших руках, в наших ногах. Сжавшись в комочек, как кошки, мы бежим, подхваченные этой неудержимо увлекающей нас волной, которая делает нас жестокими, превращает нас в бандитов, убийц, я сказал бы — в дьяволов, и, вселяя в нас страх, ярость и жажду жизни, удесятеряет наши силы, — волной, которая помогает нам отыскать путь к спасению и победить смерть. Если бы среди атакующих был твой отец, ты не колеблясь метнул бы гранату и в него!

Мы сдаем окопы первой позиции. Но разве это теперь окопы? Они разбиты, уничтожены, от них остались лишь отдельные участки траншей, ямы, связанные ходами сообщения, да кое-где огневые точки в воронках — вот и все. Зато потери французов становятся все более чувствительными. Они не ожидали встретить столь упорное сопротивление.

* * *

Скоро полдень. Солнце печет, пот щиплет глаза, мы вытираем его рукавом, иногда на рукаве оказывается кровь. Показался первый более или менее уцелевший окоп. В нем сидят солдаты, они пригото-

лись к контратаке, и мы присоединяемся к ним. Наша артиллерия открывает мощный огонь и не дает нам сделать бросок. Бегущие за нами цепи тоже приостанавливаются. Они не могут продвигаться. Атака захлебнулась по вине нашей же артиллерии. Мы выжидаем. Огонь перекачивается на сто метров дальше, и мы снова прорываемся вперед. Рядом со мной одному ефрейтору оторвало голову. Он пробегает еще несколько шагов, а кровь из его шеи хлещет фонтаном.

До настоящей рукопашной схватки дело не доходит, так как французам приходится поспешно отойти. Мы добегаем до наших разрушенных траншей, вновь захватываем их и продолжаем наступать дальше.

О эти броски вперед после отступления! Ты уже добрался до спасительных запасных позиций, тебе хочется проползти через них ужом, скрыться, исчезнуть, и вот приходится поворачивать назад и снова идти в этот ад. В эти минуты мы действуем как автоматы, иначе мы остались бы лежать в окопе, обессиленные, безвольные. Но что-то увлекает нас за собой, и мы идем вперед, помимо нашей воли и все-таки с неукротимой яростью и бешеной злобой в сердце, — идем убивать, ибо перед нами те, в ком мы сейчас видим наших злейших врагов. Их винтовки и гранаты направлены на нас, и, если мы не уничтожим их, они уничтожат нас!

По бурой земле, изорванной, растрескавшейся бурой земле, отливающей жирным блеском под лучами солнца, двигаются тупые, не знающие усталости люди-автоматы. Наше тяжелое, учащенное дыхание — это скрежет раскручивающейся в них пружины, наши губы пересохли, голова налита свинцом, как после ночной попойки. Мы еле держимся на ногах, но все же тащимся вперед, а в наше изрешеченное, продырявленное сознание с мучительной отчетливостью врежется образ бурой земли с жирными пятнами солнца и с корчащимися или уже мертвыми телами солдат, которые лежат на ней, как будто так и надо, солдат, которые хватают нас за ноги и кричат, когда мы перепрыгиваем через них.

Мы утратили всякое чувство близости друг к другу, и, когда наш затравленный взгляд останавливается на ком-нибудь из товарищей, мы с трудом узнаем его. Мы бесчувственные мертвецы, которым какой-то фокусник, какой-то злой волшебник вернул способность бегать и убивать.

Один молодой француз отстал. Наши настигают его, он поднимает руки, в одной из них он держит револьвер. Непонятно, что он хочет делать — стрелять или сдаваться. Ударом лопаты ему рассекают лицо. Увидев это, другой француз пытается уйти от погони, но в его спину с хрустом вонзается штык. Он высоко подпрыгивает и, расставив руки, широко раскрыв кричащий рот, шатаясь из стороны в сторону, бежит дальше; штык, покачиваясь, торчит из его спины. Третий бросает свою винтовку и присаживается на корточки, закрывая глаза руками. Вместе с несколькими другими пленными он остается позади, чтобы унести раненых.



Продолжая преследование, мы неожиданно натываемся на вражеские позиции.

Мы так плотно надели на отходящих французов, что нам удается прибежать почти одновременно с ними.

Поэтому потерь у нас немного. Какой-то пулемет подает было голос, но граната заставляет его замолчать. И все же за эти несколько секунд пятеро наших солдат успели получить ранение в живот. Кат наносит удар прикладом одному из уцелевших пулеметчиков, превращая его лицо в кровавое месиво. Остальных мы приканчиваем, прежде чем они успевают схватиться за гранаты. Затем мы с жадностью выпиваем воду из пулеметных кожухов.

Повсюду шелкают перерезающие проволоку кусачки, хлопают перебрасываемые через заграждения доски, и мы проскакиваем сквозь узкие проходы во вражеские траншеи. Хайе вонзает свою лопату в шею какого-то великана-француза и бросает первую гранату. На несколько секунд мы приседаем за бруствером, затем лежащий перед нами прямой участок окопа оказывается свободным. Еще один бросок — и шипящие осколки прокладывают нам путь в следующую, скрытую за поворотом траншею. На бегу мы швыряем в двери блиндажей связки гранат, земля вздрагивает, слышатся треск и стоны, все обволакивается дымом, мы спотыкаемся о скользкие куски мяса, я падаю на чей-то вспоротый живот, на котором лежит новенькая, чистенькая офицерская фуражка.

Бой приостанавливается: мы оторвались от противника. Нам здесь долго не продержаться, поэтому нас решают отвести под прикрытием нашей артиллерии на старые позиции. Узнав об этом, мы сломя голову бросаемся в ближайшие убежища, — прежде чем удрать, нам надо еще запастись консервами, и мы хватаем все, что попадает под руку, в первую очередь банки с тушенкой и с маслом.

Мы благополучно возвращаемся на наши прежние позиции. Пока что нас не атакуют. Больше часа мы отлеживаемся, тяжело переводя дыхание и не разговаривая друг с другом. Мы настолько выдохлись, что, несмотря на сильный голод, даже не вспоминаем о консервах. Лишь постепенно мы снова начинаем напоминать людей.

Трофейная тушенка славится по всему фронту. Она даже является иногда главной целью тех внезапных ударов, которые время от времени предпринимаются с нашей стороны, ведь кормят нас плохо и мы постоянно голодны.

Всего мы сцапали пять банок. Да, со снабжением у них там дело хорошо поставлено, ничего не скажешь, это просто здорово; не то что наш брат, которого держат впроголодь, на повидле из репы; мяса у них хоть завались — стоит только руку протянуть. Хайе раздобыл, кроме того, длинную французскую булку и засунул ее за ремень, как лопату. С одного конца она немного запачкана кровью, но это можно отрезать.

Просто счастье, что теперь мы можем как следует поесть, —



нам еще понадобится наша сила. Почему мы с такой жадностью охотимся за едой — ведь она может спасти нам жизнь.

Тьяден захватил еще один трофей: две фляжки коньяку. Мы пускаем их по кругу.

* * *

Артиллерия противника, по обыкновению, благословляет нас на сон грядущий. Наступает ночь, из воронок поднимаются облачка тумана, как будто там обитают какие-то таинственные призраки. Бетумана, как будто там обитает какая-то таинственная душа, словно не решаясь переползти через край. Затем от воронки к воронке протягиваются длинные полосы.

Стало свежо. Я стою на посту и вспоминаю себя расслабленным, как всегда бывает после атаки, и мне становится трудно оставаться наедине со своими мыслями. Собственно говоря, это не мысли — это воспоминания, которые застали меня врасплох в эту минуту слабости и пробуждения, которые застали меня врасплох в эту минуту слабости и пробуждения.

В небо взвиваются осветительные ракеты, и я вижу перед собой картину: летний вечер, я стою в крытой галерее во внутреннем дворе собора и смотрю на высокие кусты роз, цветущих в середине маленького садика, где похоронены члены соборного капитула. Вокруг стоят статуи, изображающие страсти Христовы. Во дворе ни души, невозмутимая тишина объемлет этот цветущий уголок, теплое солнце лежит на толстых серых плитах, я кладу парит зеленая башня собора, выходящая в блеклую, мягкую сумеречную галерею — прохладный сумрак, как будто бывает только в церквях. Я стою в нем и думаю о том, что в двадцать лет я познал те смущающие воображение тайны, которые связаны с женщинами.

Картина ошеломляюще близка, и, пока она не исчезает, стертая вспышкой следующей ракеты, я чувствую себя там, в галерее собора.

Я беру свою винтовку и ставлю ее прямо. Ствол отпотел, я крепко сжимаю его рукой и растираю пальцами капельки тумана.

На окраине нашего города, среди лугов, над ручьем возвышался ряд старых тополей. Они были видны издали, и, хотя стояли только в один ряд, их называли Тополевой аллеей. Они полюбились нам, когда мы были еще детьми, нас почему-то влекло к ним, мы проводили возле них целые дни и слушали их тихий шелест. Мы сидели под ними на берегу, свесив ноги в светлые, торопливные волны ручья. Свежий запах воды и мелодия ветра в ветвях тополей безраздельно владели нашим воображением. Мы очень любили их, и у меня до сих пор сильнее бьется сердце, когда порой передо мной промелькнут видения тех дней.

Удивительно, что все встающие передо мной картины прошлого всегда дышат тишиной, это в них

самое яркое, и даже когда в действительности дело обстояло не совсем так, от них все равно веет спокойствием. Это беззвучные видения, которые говорят со мной взглядами и жестами, без слов, молча, и в их безмолвие есть что-то потрясающее, так что я вынужден дернуть себя за рукав и потрогать винтовку, чтобы не уступить соблазну слиться с этой тишиной, раствориться в ней, чтобы не поддаться желанию лечь, растянуться во весь рост, сладко отдаваясь безмолвной, но властной силе воспоминаний.

Мы уже не можем представить себе, что такое тишина. Вот почему она так часто присутствует в наших воспоминаниях. На фронте тишины не бывает, а он властвует на таком большом пространстве, что мы никогда не находимся вне его пределов. Даже на сборных пунктах и в лагерях для отдыха в ближнем тылу всегда стоят в наших ухах гудение и приглушенный грохот канонады. Мы никогда не удаляемся на такое расстояние, чтобы не слышать их. А в последние дни грохот был невыносимым.

Эта тишина — причина того, что образы прошлого пробуждают не столько желания, сколько печаль, безмерную, неумную тоску. Оно было, но больше не вернется. Оно ушло, стало другим миром, с которым для нас все покончено. В казармах эти образы прошлого вызывали у нас бурные порывы мятежных желаний. Тогда мы были еще связаны с ним, мы принадлежали ему, оно принадлежало нам, хотя мы и были разлучены. Эти образы всплывали при звуках солдатских песен, которые мы пели, отправляясь по утрам в луга на строевые учения; справа — алое зарево зари, слева — черные силуэты леса; в ту пору они были острым, отчетливым воспоминанием, которое еще жило в нас и исходило не извне, а от нас самих.

Но здесь, в окопах, мы его утратили. Оно уже больше не пробуждается в нас — мы умерли, и оно отодвинулось куда-то вдаль, оно стало загадочным отблеском чего-то забытого, видением, которое иногда предстает перед нами; мы его боимся и любим его безнадежной любовью. Видения прошлого сильны, и наша тоска по прошлому тоже сильна, но оно недостижимо, и мы это знаем. Вспоминать о нем так же безнадежно, как ожидать, что ты станешь генералом.

И даже если бы нам разрешили вернуться в те места, где прошла наша юность, мы, наверно, не знали бы, что нам там делать. Те тайные силы, которые чуть заметными токами текли от них к нам, уже нельзя воскресить. Вокруг нас были бы те же виды, мы бродили бы по тем же местам; мы с любовью узнавали бы их и были бы растроганы, увидев их вновь. Но мы испытали бы то же самое чувство, которое испытываешь, задумавшись над фотографией убитого товарища: это его черты, это его лицо, и пережитые вместе с ним дни приобретают в памяти обманчивую видимость настоящей жизни, но все-таки это не он сам.

Мы не были бы больше связаны с этими местами, как мы были связаны с ними раньше. Ведь нас влекло к ним не потому, что мы сознавали красоту этих пейзажей и разлитое в них особое настроение, — нет, мы просто чувствовали, что мы одно целое со всеми вещами и событиями, составляющими фон нашего бытия, испытывали чувство брат-

ской близости к ним, чувство, которое выделяло нас как одно поколение, так что мир наших родителей всегда казался нам немного непонятным. Мы так нежно и самозабвенно любили все окружающее, и каждая мелочь была для нас ступенькой, ведущей в бесконечность. Быть может, то была привилегия молодости — нам казалось, что в мире нет никаких перегородок, мы не допускали мысли о том, что все имеет свой конец; мы предчувствовали кровь, и это предчувствие делало каждого из нас одной из струек в потоке жизни.

Сегодня мы бродили бы по родным местам, как заезжие туристы. Над нами тяготее проклятие — культ фактов. Мы различаем вещи, как торгаши, и понимаем необходимость, как мясники. Мы перестали быть беспечными, мы стали ужасающе равнодушными. Допустим, что мы останемся в живых; но будем ли мы жить?

Мы беспомощны, как покинутые дети, и многоопытны, как старики, мы стали черствыми, и жалкими, и поверхностными, — мне кажется, что нам уже не возродиться.

У меня мерзнут руки, а по коже пробегает озноб, хотя ночь теплая. Холодок чувствуется только от тумана, этого жуткого тумана, который обволакивает лежащих перед нашими окопами мертвецов и высасывает из них последние притаившиеся где-то внутри остатки жизни. Завтра они станут бледными и зелеными, а их кровь застынет и почернеет.

Осветительные ракеты все еще взлетают в небо и бросают свой беспощадный свет на окаменевший пейзаж — облитые холодным сиянием кратеры, как на луне. В мои мысли закрадываются страх и беспокорство, их занесла туда бегущая под кожей кровь. Мысли слабеют и дрожат, им хочется тепла и жизни. Им не выдержать без утешения и обмана, они путаются при виде неприкрытого лика отчаяния.

Я слышу побрякивание котелков и сразу же ощущаю острую потребность съесть чего-нибудь горячего — от этого мне станет лучше, это успокоит меня. Я с трудом заставляю себя дожидаться смены.

Затем я иду в блиндаж, где мне оставлена миска с перловой кашей. Каша вкусная, с салом, я ем ее не торопясь. Но я ни с кем не говорю, хотя все повеселели, потому что огонь смолк.

* * *

Проходит день за днем, и каждый час кажется чем-то непостижимым и в то же время обыденным. Атаки чередуются с контратаками, и на изрытом воронками поле между двумя линиями окопов постепенно скапливается все больше убитых. Раненых, которые лежат неподалеку, нам обычно удается вынести. Однако некоторым приходится лежать долго, и мы слышим, как они умирают.

Одного из них мы тщетно разыскиваем целых двое суток. По всей вероятности, он лежит на животе и не может перевернуться. Ничем другим нельзя объяснить, почему мы никак не можем найти его, — ведь если не удастся установить, откуда слышится крик, то это может быть только оттого, что раненый кричит, прижавшись ртом к самой земле.

Должно быть, у бедняги какая-то особенно болезненная рана; видно, это один из тех скверных случаев, когда ранение не настолько тяжелое, чтобы человек быстро обессилел и угас, почти не приходя в сознание, но и не настолько легкое, чтобы он мог переносить боль, утешая себя надеждой на выздоровление. Кат считает, что у раненого либо раздроблен таз, либо поврежден позвоночник. Грудь, очевидно, цела — иначе у него не хватило бы сил так долго кричать. Кроме того, при других ранениях он смог бы ползти, и мы увидели бы его.

Его крик постепенно становится хриплым. На беду, по звуку голоса никак нельзя сказать, откуда он слышится. В первую ночь люди из нашей части трижды отправляются на поиски. Порой им кажется, что они засекали место, и они начинают ползти туда, но стоит им прислушаться опять, как голос каждый раз доносится совсем с другой стороны.

Мы ищем до самого рассвета, но поиски наши безрезультатны. Днем местность осматривают через бинокли; нигде ничего не видно. На второй день раненый кричит тише; должно быть, губы и рот у него пересохли.

Тому, кто его найдет, командир роты обещал предоставить внеочередной отпуск, да еще три дня дополнительно. Это весьма заманчивая перспектива, но мы и без того сделали бы все, что можно, — уж очень страшно слышать, как он кричит. Кат и Кропп принимают еще одну вылазку, уже во второй половине дня. Но все напрасно, они возвращаются без него.

А между тем мы отчетливо разбираем, что он кричит. Сначала он только все время звал на помощь; на вторую ночь у него, по-видимому, начался жар — он разговаривает со своей женой и детьми, и мы часто улавливаем имя Элиза. Сегодня он уже только плачет. К вечеру голос угасает, превращаясь в кряхтение. Но раненый еще всю ночь тихо стонет. Мы очень ясно слышим все это, так как ветер дует прямо на наши окопы. Утром, когда мы считаем, что он давно уже отмучился, до нас еще раз доносится булькающий предсмертный хрип.

Дни стоят жаркие, а убитых никто не хоронит. Мы не можем унести всех — мы не знаем, куда их девать. Снаряды зарывают их тела в землю. У некоторых трупов вспучивает животы, они раздуваются, как воздушные шары. Эти животы шипят, урчат и поднимаются. В них бродят газы.

Небо синее и безоблачное. К вечеру становится душно, от земли веет теплом. Когда ветер дует на нас, он приносит с собой чад, густой и отвратительно сладковатый, — это трупные испарения воронок, которые напоминают смесь хлороформа и тления и вызывают у нас тошноту и рвоту.

* * *

По ночам становится спокойно, и мы начинаем охотиться за медными ведущими поясками снарядов и за шелковыми парашютиками от французских осветительных ракет. Почему эти пояски

пользуются таким большим спросом, этого, собственно говоря, никто толком не знает. По словам тех, кто их собирает, пояски представляют собой большую ценность. Некоторые насобирали целые мешки и повсюду таскают их с собой, так что, когда мы отходим в тыл, им приходится идти согнувшись в три погибели.

Один только Хайе сумел объяснить, зачем они ему нужны: он хочет послать их своей невесте вместо подвязок. Как и следовало ожидать, услышав это объяснение, фрисландцы веселятся до упаду; они бьют себя по колену — вот это да, черт побери, какую штуку отмолил этот Хайе! Больше всех разошелся Тьяден; он держит в руках самый большой поясок и поминутно просовывает в него свою ногу, чтобы показать, сколько там еще осталось свободного места.

— Послушай, Хайе, что ж у ней должны быть за ноги! Эх и ноги же! — Его мысли перебираются повыше: — А задница, задница у ней небось как... как у слоники.

Он все никак не уgomонится:

— Да, с такой бы я не прочь побаловаться, разрази меня гром!

Хайе сияет, довольный тем, что его невеста пользуется таким шумным успехом, и говорит самодовольно и лаконично:

— Девка ядреная!

Шелковые парашютики находят более практическое применение. Из трех или четырех штук — смотря по объему груди — получается блузка. Мы с Кроппом используем их как носовые платки. Другие посылают их домой. Если бы женщины могли увидеть, какой опасности мы себя подчас подвергаем, раздобывая для них эти тоненькие лоскутки, они бы, наверно, не на шутку перепугались.

Кат застаёт Тьядена в тот момент, когда он преспокойно пытается сбить пояски с одного из неразорвавшихся снарядов. У любого из нас он, конечно, разорвался бы в руках, но Тьядену, как всегда, везет.

Однажды перед нашим окопом все утро резвились две бабочки. Это капустницы — на их желтых крылышках сидят красные точки. И как их только сюда занесло — ни цветов, ни других растений здесь нигде не увидишь! Бабочки отдыхают на зубах черепа. Птицы — такие же беззаботные твари; они давно уже привыкли к войне. Каждое утро над передовой взмывают в воздух жаворонки. В прошлом году нам попадались даже сидящие на яйцах самочки, которым действительно удалось вывести птенцов.

Крысы больше не наведываются к нам в окоп. Теперь они перебрались туда, вперед, — мы знаем зачем. Они жиреют; увидев одну, мы ее подстреливаем. Мы снова слышим по ночам перестук колес с той стороны. Днем по нас ведут лишь обычный несильный огонь, так что теперь мы можем привести в порядок траншеи. О том, чтобы мы не скучали, заботятся летчики. В воздухе по нескольку раз в день разыгрываются бои, которые неизменно привлекают любителей этих зрелищ.

Мы ничего не имеем против бомбардировщиков, но к аэропланам войсковой разведки мы испытываем лютую ненависть — ведь это



они навлекают на нас артиллерийские обстрелы. Через несколько минут после их появления на нас сыплются шрапнель и гранаты. Из-за этого мы теряем одиннадцать человек за один день, в том числе пять санитаров. Двоих буквально разнесло на клочки; Тьяден говорит, что теперь их можно было бы соскрести ложкой со стенки окопа и похоронить в котелке. Третьему оторвало ноги вместе с нижней частью туловища. Верхний обрубок стоит прислонившись к стенке траншеи, лицо у убитого лимонно-желтого цвета, а в борде еще тлеет сигарета. Добравшись до губ, огонек с шипением гаснет.

Пока что мы складываем убитых в большую воронку. Они лежат там уже в три слоя.

Внезапно огонь забарабанил с новой силой. Вскоре мы опять впадаем в напряженную оцепенелость бездеятельного ожидания.

Атака, контратака, удар, контрудар — все это слова, но как много за ними кроется! У нас большие потери, главным образом за счет новобранцев. На наш участок опять прислали пополнение. Это один из свежих полков, почти сплошь молодежь последних наборов. До отправки на фронт они не прошли почти никакой подготовки, им успели только преподать немного теории. Они, правда, знают, что такое ручная граната, но очень смутно представляют себе, как надо укрываться, а главное, не умеют присматриваться к местности. Они не видят ни бугорков, ни кочек, разве что самые заметные, не меньше полуметра в высоту.

Хотя подкрепление нам совершенно необходимо, от новобранцев толку мало; наоборот, с их приходом у нас скорее даже прибавилось работы. Попав в эту зону боев, они чувствуют себя беспомощными и гибнут как мухи. В современной позиционной войне бой требует знаний и опыта, солдат должен разбираться в местности, его ухо должно чутко распознавать звуки, издаваемые снарядами в полете и при разрыве, он должен уметь заранее определять место, где снаряд упадет, знать, на какое расстояние разлетаются осколки и как от них укрыться.

Разумеется, наше молодое пополнение почти ничего не знает обо всех этих вещах. Оно тает на глазах — новобранцы даже шрапнель от гранаты толком отличить не умеют, огонь косит их, как траву, потому что они боязливо прислушиваются к завыванию не столь опасных «тяжелых чемоданов», лежащих далеко позади, но не слышат тихого, вкрадчивого свиста маленьких вредных штучек, осколки которых разлетаются над самой землей. Они толпятся, как бараны, вместо того чтобы разбежаться в разные стороны, и даже после того, как их ранило, вражеские летчики еще добивают их, стреляя по ним, как по зайцам.

Нам всем хорошо знакомы бледные, исхудавшие от брюквенного рациона лица, судорожно вцепившиеся в землю руки и жалкая храбрость этих несчастных щенят, которые, несмотря ни на что, все же ходят в атаку и вступают в схватку с противником, — этих славных несчастных щенят, таких запуганных, что они не осмеливаются кричать во весь голос и, лежа на земле со вспоротой грудью или животом, с оторванной рукой или ногой, лишь тихо скулят, призывая своих матерей, и умолкают, как только кто-нибудь посмотрит на них!

Их покрытые пушком заостренные, безжизненные лица выражают ужасающее безразличие: такие пустые лица бывают у мертвых детей.

Горечь комком стоит в горле, когда смотришь, как они вскакивают, бегут и падают. Так бы вот, кажется, взял да и побил их за то, что они такие глупые, или вынес бы их на руках прочь отсюда, где

им совсем не место. На них серые солдатские куртки, штаны и сапоги, но большинству из них обмундирование слишком велико — оно болтается на них, как на вешалке, плечи у них слишком узкие, тело слишком тщедушное, на складе не нашлось мундиров этого детского размера.

На одного убитого бывалого солдата приходится пять — десять погибших новобранцев.

Многих уносит внезапная химическая атака. Они даже не успевают сообразить, что их ожидает. Один из блиндажей полон трупов с посиневшими лицами и черными губами. В одной из воронок новобранцы слишком рано сняли противогазы — они не знали, что у земли газ держится особенно долго; увидав наверху людей без противогазов, они тоже сняли свои маски и успели глотнуть достаточно газа, чтобы сжечь себе легкие. Сейчас их состояние безнадежно, они умирают медленной, мучительной смертью от кровохарканья и приступов удушья.

* * *

Я неожиданно оказываюсь лицом к лицу с Химмельштосом. Мы залегли в одной и той же траншее. Прижавшись друг к другу и затаив дыхание, все выжидают момента, чтобы броситься в атаку.

Я очень возбужден, но, когда мы выскакиваем из траншеи, в голове у меня все же успевает мелькнуть мысль: а почему я не вижу Химмельштоса? Я быстро возвращаюсь, соскакиваю вниз и застаю его там; он лежит в углу с легкой царапиной и притворяется раненым. Лицо у него такое, как будто его побили. У него приступ страха — ведь он здесь тоже новичок. Но меня бесит, что молодые новобранцы пошли в атаку, а он лежит здесь.

— Выходи! — говорю я хриплым от волнения голосом.

Он не трогается с места, губы его дрожат, усы шевелятся.

— Выходи! — повторяю я.

Он подтягивает ноги, прижимается к стенке и скалит зубы, как собачонка.

Я хватаю его под локоть и собираюсь рывком поднять на ноги. Он начинает визжать. Мои нервы больше не выдерживают. Я беру его за глотку, трясу, как мешок, так что голова мотается из стороны в сторону, и кричу ему в лицо:

— Ты выйдешь наконец, сволочь? Ах ты, гад, ах ты, шкура, прятаться вздумал?

Глаза у него становятся стеклянными, я молочу его головой о стенку.

— Ах ты, скотина! — Я даю ему пинка под ребра. — Ах ты, собака!

Я выпихиваю его в дверь, головой вперед.

Как раз в эту минуту мимо нас пробегает новая цепь наступающих. С ними идет лейтенант. Он видит нас и кричит:

— Вперед, вперед, не отставать!

И если я ничего не мог добиться побоями, то это слово сразу же возымело свое действие. Химмельштос услышал голос начальника и, словно очнувшись, бросает взгляд по сторонам и догоняет цепь атакующих.

Я бегу за ним и вижу, что он несется вскачь. Он снова стал тем же служакой Химмельштосом, каким мы его знали в казармах. Он даже догнал лейтенанта и бежит теперь далеко впереди всех.

* * *

Шквальный огонь. Заградительный огонь. Огневые завесы. Мины. Газы. Танки. Пулеметы. Ручные гранаты. Все это слова, слова, но за ними стоят все ужасы, которые переживает человечество.

Наши лица покрылись коростой, в наших мыслях царит хаос, мы смертельно устали; когда начинается атака, многих приходится бить кулаком, чтобы заставить их проснуться и пойти вместе со всеми; глаза воспалены, руки расцарапаны, колени стертые в кровь, локти разбиты.

Сколько времени прошло? Что это — недели, месяцы, годы? Это всего лишь дни. Время уходит — мы видим это, глядя в бледные, бескровные лица умирающих; мы закладываем в себя пищу, бегаем, швыряем гранаты, стреляем, убиваем, лежим на земле; мы обессилены и отупели, и нас поддерживает только мысль о том, что вокруг есть еще более слабые, еще более отупевшие, еще более беспомощные, которые, широко раскрыв глаза, смотрят на нас, как на богов, потому что нам иногда удается избежать смерти.

В те немногие часы, когда на фронте спокойно, мы обучаем их: «Смотри, видишь дрыгалку? Это мина, она летит сюда! Лежи спокойно, она упадет вон там, дальше. А вот если она идет так, тогда драпай! От нее можно убежать».

Мы учили их улавливать жужжание мелких калибров, этих коварных штуковин, которых почти не слышно; новобранцы должны так изошрить свой слух, чтобы распознавать среди грохота этот комариный писк. Мы внушаем им, что эти снаряды опаснее крупнокалиберных, которые можно услышать издали. Мы показываем им, как надо укрываться от аэропланов, как притвориться убитым, когда противник ворвался в твой окоп, как надо взводить ручные гранаты, чтобы они разрывались за секунду до падения. Мы учим новобранцев падать с быстротой молнии в воронку, спасаясь от снарядов ударного действия, мы показываем, как можно связкой гранат разворотить окоп, мы объясняем разницу в скорости горения запала у наших гранат и у гранат противника. Мы обращаем их внимание на то, какой звук издают химические снаряды, и обучаем их всем уловкам, с помощью которых они могут спастись от смерти.

Они слушают наши объяснения, они вообще послушные ребята, но, когда дело доходит до боя, они волнуются и от волнения почти всегда делают как раз не то, что нужно.

Хайе Вестхуса выносят из-под огня с разорванной спиной; при каждом вдохе видно, как в глубине раны работают легкие. Я еще успеваю проститься с ним.

— Все кончено, Пауль, — со стоном говорит он и кусает себе руки от боли.

Мы видим людей, которые еще живы, хотя у них нет головы; мы видим солдат, которые бегут, хотя у них срезаны обе ступни; они ковыляют на своих обрубах с торчащими осколками костей до ближайшей воронки; один ефрейтор ползет два километра на руках, волоча за собой перебитые ноги; другой идет на перевязочный пункт, прижимая руками к животу расплывающиеся кишки; мы видим людей без губ, без нижней челюсти, без лица; мы подбираем солдата, который в течение двух часов зажимал зубами артерию на своей руке, чтобы не истечь кровью; восходит солнце, приходит ночь, снаряды свистят, жизнь кончена.

Зато нам удалось удержать изрытый клочок земли, который мы обороняли против превосходящих сил противника; мы отдали лишь несколько сот метров. Но на каждый метр приходится один убитый.

* * *

Нас сменяют. Под нами катятся колеса, мы стоим в кузове, забывшись тяжелой дремотой, и приседаем, услышав оклик: «Внимание — провод!» Когда мы проезжали эти места, здесь было лето, деревья были еще зеленые, сейчас они выглядят уже по-осеннему, а ночь несет с собой седой туман и сырость. Машины останавливаются, мы слезаем — небольшая кучка, в которой смешались остатки многих подразделений. У бортов машины — темные силуэты людей; они выкрикивают номера полков и рот. И каждый раз от нас отделяется кучка поменьше — крошечная, жалкая кучка грязных солдат с изжелта-серыми лицами, ужасающе маленький остаток.

Вот кто-то выкликает номер нашей роты, по голосу слышно, что это наш ротный командир, — он, значит, уцелел, рука у него на перевязи. Мы подходим к нему, и я узнаю Ката и Альберта, мы становимся рядом, плечом к плечу, и посматриваем друг на друга.

Мы слышим, как наш номер выкликают во второй, а потом и в третий раз. Долго же ему придется звать — ведь ни в лазаретах, ни в воронках его не слышно.

И еще раз:

— Вторая рота, ко мне!

Потом тише:

— Никого больше из второй роты?

Ротный молчит, а когда он наконец спрашивает: «Это все?» — и отдает команду: «По порядку номеров рассчитайсь!» — голос его становится немного хриплым.

Настало седое утро; когда мы выступали на фронт, было еще лето и нас было сто пятьдесят человек. Сейчас мы зябнем, на дворе осень, шуршат листья, в воздухе устало вспархивают голоса: «Первый-

второй-третий-четвертый...) На тридцать втором переключке умолкает. Молчание длится долго, наконец голос ротного прерывает его вопросом: «Больше никого?» Он выжидает, затем говорит тихо: «Повзводно... — но обрывает себя и лишь с трудом заканчивает: — Вторая рота... — и через силу: — Вторая рота — шагом марш! Идти вольно!»

Навстречу утру бредет лишь одна колонна по двое, всего лишь одна коротенькая колонна.

Тридцать два человека.

VII

Нас отводят в тыл, на этот раз дальше, чем обычно, на один из полевых пересыльных пунктов, где будет произведено переформирование. В нашу роту надо влить более ста человек пополнения.

Пока что службы у нас немного, а в остальное время мы слоняемся без дела. Через два дня к нам заявляется Химмельштос. С тех пор как он побывал в окопах, гонору у него сильно поубавилось. Он предлагает нам пойти на мировую. Я не возражаю — я видел, как он помогал выносить Хайе Вестхуса, когда тому разорвало спину. А кроме того, он и в самом деле рассуждает здраво, так что мы принимаем его приглашение пойти с ним в столовую. Один только Тьяден относится к нему сдержанно и с недоверием.

Однако и Тьядена все же удастся переубедить — Химмельштос рассказывает, что он будет замещать повара, который уходит в отпуск. В доказательство он тут же выкладывает на стол два фунта сахара для нас и полфунта масла лично для Тьядена. Он даже устраивает так, что в течение следующих трех дней нас наряжают на кухню чистить картошку и брюкву. Там он угощает нас самыми лакомыми блюдами с офицерского стола.

Таким образом, у нас сейчас есть все, что составляет счастье солдата: вкусная еда и отдых. Если поразмыслить, это не так уж много. Какие-нибудь два или три года тому назад мы испытывали бы за это глубочайшее презрение к самим себе. Сейчас же мы почти довольны. Ко всему на свете привыкаешь, даже к окопу.

Привычкой объясняется и наша кажущаяся способность так быстро забывать. Еще вчера мы были под огнем, сегодня мы дурачимся и шарим по окрестностям в поисках съестного, а завтра мы снова отправимся в окопы. На самом деле мы ничего не забываем. Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронтовой день ложится нам на душу тяжелым камнем, потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас; во всяком случае, я подметил вот что: все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе, но попробуй размышлять о них — и они убьют тебя.

Если, отправляясь на передовую, мы становимся животными, ибо только так мы и можем выжить, то на отдыхе мы превращаемся в дешевых остряков и лентяев. Это происходит помимо нашей воли, тут уж просто ничего не поделаешь. Мы хотим жить, жить во что бы то ни стало; не можем же мы обременять себя чувствами, которые, возможно, украшают человека в мирное время, но совершенно неуместны и фальшивы здесь. Кеммерих убит. Хайе Вестхус умирает, с телом Ганса Крамера, угодившего под прямое попадание, будет немало хлопот в день Страшного суда — его придется собирать по кусочкам; у Мартенса больше нет ног, Майер убит, Макс убит, Байер убит, Хеммерлинг убит, сто двадцать человек лежат, раненные, по лазаретам... Все это чертовски грустно, но нам-то что за дело, ведь мы живы! Если бы мы могли их спасти, — о, тогда бы мы пошли за них хоть к черту на рога, пускай бы нам пришлось самим сложить головы, — ведь когда мы чего-нибудь захотим, мы становимся бедовыми парнями; мы почти не знаем, что такое страх, разве что страх смерти, но это другое дело — это чисто телесное ощущение.

Но наших товарищей нет в живых, мы ничем не можем им помочь, они свое отстрадали, а кто знает, что еще ждет нас? Поэтому мы завалимся на боковую и будем спать или станем есть, пока не лопнет брюхо, будем напиваться и курить, чтобы хоть чем-то скрасить эти пустые часы. Жизнь коротка.

* * *

Кошмары фронта проваливаются в подсознание, как только мы удаляемся от передовой; мы стараемся разделаться с ними, пуская в ход непристойные и мрачные шуточки; когда кто-нибудь умирает, о нем говорят, что он «прищурил задницу», и в таком же тоне мы говорим обо всем остальном. Это спасает нас от помешательства. Воспринимаемая вещи с этой точки зрения, мы оказываем сопротивление.

Но мы ничего не забываем! Все, что пишется в военных газетах насчет неподражаемого юмора фронтовиков, которые будто бы устраивают танцульки, едва успев выбраться из-под ураганного огня, — все это несусветная чушь. Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора, нет, мы стараемся не терять чувства юмора, потому что без него мы пропадем. К тому же надолго этого не хватит, с каждым месяцем наш юмор становится все более мрачным.

И я знаю: все, что камнем оседает в наших душах сейчас, пока мы находимся на войне, всплывет в них потом, после войны, и вот тогда-то и начнется большой разговор об этих вещах, от которого будет зависеть, жить нам дальше или не жить.

Дни, недели, годы, проведенные здесь, на передовой, еще вернутся к нам, и наши убитые товарищи встанут тогда из-под земли и пойдут с нами; у нас будут ясные головы, у нас будет цель, и мы куда-то пойдем, плечом к плечу с нашими убитыми товарищами, с воспоминаниями о фронтовых годах в сердце. Но куда же мы пойдем? На какого врага?

Где-то здесь неподалеку находился одно время фронтовой театр. На одном из заборов еще висят пестрые афиши, оставшиеся с того времени, когда здесь давались представления. Мы с Кроппом стоим перед афишами и смотрим на них большими глазами. Нам кажется непостижимым, что подобные вещи еще существуют на свете. Там, например, изображена девушка в светлом летнем платье и с красным лакированным пояском на талии. Одной рукой она опирается на балюстраду, в другой держит соломенную шляпу. На ней белые чулки и белые туфельки — изящные туфельки с пряжками, на высоких каблуках. За ее спиной сияет синее море с барашками волн, сбоку виднеется глубоко вдающаяся в сушу светлая бухта. Удивительно хорошенюккая девушка, с тонким носом, ярким ртом и длинными стройными ногами, невероятно опрятная и холеная. Она, наверно, берет ванну два раза в день, и у нее никогда не бывает грязи под ногтями. Разве что иногда немного песку с пляжа.

Рядом с ней стоит мужчина в белых брюках, синей куртке и в морской фуражке, но он нас интересует гораздо меньше.

Девушка на заборе кажется нам каким-то чудом. Мы совсем забыли, что на свете существует такое, да и сейчас мы все еще не верим своим глазам. Во всяком случае, мы уже несколько лет не видали ничего подобного, не видали ничего, что хотя бы отдаленно напоминало эту девушку, такую веселую, хорошенюкую и счастливую. Это мир, мы с волнением ощущаем, что именно таким и должен быть мир.

— Нет, ты только взгляни на эти легкие туфельки, она бы в них и километра не смогла прошагать, — говорю я, и мне тотчас же становится ясно, как нелепо думать о километрах, когда видишь перед собой такую картину.

— Интересно, сколько ей может быть лет? — спрашивает Кропп. Я прикидываю:

— Самое большое двадцать два.

— Да, но тогда она была бы старше нас. Ей не более семнадцати, вот что я тебе скажу!

Мурашки пробегают у нас по коже.

— Вот это да, Альберт, ведь правда здорово?

Он кивает.

— Дома у меня тоже есть белые штаны.

— Что штаны, — говорю я, — девушка какова!

Мы осматриваем друг друга с ног до головы. Смотреть особенно не на что, на обоих — выцветшее, заштопанное, грязное обмундирование. Какие уж тут могут быть сравнения!

Поэтому для начала соскабливаем с забора молодого человека в белых брюках, осторожно, чтобы не повредить девушку. Это уже кое-что. Затем Кропп предлагает:

— А не сходить ли нам в вошебойку?

Я не совсем согласен, потому что вещи от этого портятся, а вши появляются снова уже через какие-нибудь два часа. Но, полюбовавшись

картинкой еще некоторое время, я все же соглашаюсь. Я даже захожу еще дальше:

— Может, нам удастся оторвать себе чистую рубашку?

Альберт почему-то считает, что еще лучше было бы раздобыть портянки.

— Может быть, и портянки. Пойдем попробуем, может, мы их выменяем на что-нибудь.

Но тут мы видим Леера и Тьядена, которые не спеша бредут к нам; они замечают афишу, и разговор мгновенно перескакивает на похабщину. Леер первый в нашем классе познал женщин и рассказывал нам об этом волнующие подробности. Он восторгается девушкой на афише с особой точки зрения, а Тьяден громогласно разделяет его восторги.

Их шутки не вызывают у нас особого отвращения. Кто не похабничает, тот не солдат; но сейчас нас на это как-то не тянет, поэтому мы отходим в сторонку и направляемся к вошебойке. Мы делаем это с таким чувством, как будто идем в ателье модного портного.

* * *

Дома, в которых нас расквартировали, находятся неподалеку от канала. По ту сторону канала тянутся пруды, обсаженные тополями; там живут какие-то женщины.

Из домов на нашей стороне жильцы были в свое время выселены.

Но на той стороне еще можно изредка увидеть местных жителей.

Вечером мы купаемся. И вот на берегу появляются три женщины. Они медленно идут по направлению к нам и не отворачиваются, хотя мы купаемся без трусиков.

Леер окликает их. Они смеются и останавливаются, чтобы посмотреть на нас. Мы выкрикиваем фразы на ломаном французском языке, кто что вспомнит, торопливо и бессвязно, только чтобы они не ушли. Мы не очень галантны, но где ж нам было понабраться галантности?

Одна из них — худенькая, смуглая. Когда она смеется, во рту у нее сверкают красивые белые зубы. У нее быстрые движения, юбка свободно обвивается вокруг ее ног. Нам холодно в воде, но настроение у нас радостно-приподнятое, и мы стараемся привлечь их внимание, чтобы они не ушли. Мы пытаемся острить, и они отвечают нам; мы не понимаем их, но смеемся и делаем им знаки. Тьяден оказался более сообразительным. Он сбегал в дом, принес буханку хлеба и держит ее в высоко поднятой руке.

Это производит большое впечатление. Они кивают головой и показывают нам знаками, чтобы мы перебрались к ним. Но мы не можем. Нам запрещено ходить на тот берег. На всех мостах стоят часовые. Без пропуска ничего не выйдет. Поэтому мы пытаемся втолковать им, чтобы они пришли к нам; но они мотают головой и показывают на мосты. Их тоже не пропускают на нашу сторону.

Они поворачивают обратно и медленно идут вдоль берега, вверх по течению канала. Мы провожаем их вплавь. Пройдя несколько сот метров, они сворачивают и показывают нам на дом, стоящий в стороне и выглядывающий из-за деревьев и кустарника. Леер спрашивает, не здесь ли они живут.

Они смеются: да, это их дом.

Мы кричим, что придем к ним, когда нас не смогут заметить часовые. Ночью. Сегодня ночью.

Они поднимают ладони вверх, складывают их вместе, прижимают к ним щекой и закрывают глаза. Они нас поняли. Та худенькая, смуглая делает танцевальные па. Другая, блондинка, щебечет:

— Хлеб... Хорошо...

Мы с жаром заверяем их, что хлеба мы с собой принесем. И еще другие вкусные вещи. Отчаянно таращим глаза и изображаем эти вещи жестами. Когда Леер пытается изобразить «кусочек колбасы», он чуть не идет ко дну. Мы пообещали бы им целый продовольственный склад, если бы это понадобилось. Они уходят и еще несколько раз оборачиваются. Мы вылезаем на наш берег и следим за ними, чтобы убедиться, что они действительно вошли в тот дом, — ведь, может быть, они нас обманывают. Затем мы плывем обратно.

Без пропуска через мост никого не пускают, поэтому ночью мы просто переправимся через канал вплавь. Нас охватывает волнение, с которым мы никак не можем совладать. Нам не сидится на одном месте, и мы идем в столовую. Сегодня там есть пиво и что-то вроде пунша.

Мы пьем пунш и рассказываем друг другу разные небылицы о своих воображаемых похождениях. Рассказчику охотно верят, и каждый с нетерпением ждет своей очереди, чтобы изобразить что-нибудь еще похлеще. В руках у нас какой-то беспокойный зуд; мы выкуриваем несметное множество сигарет, но потом Кропп говорит:

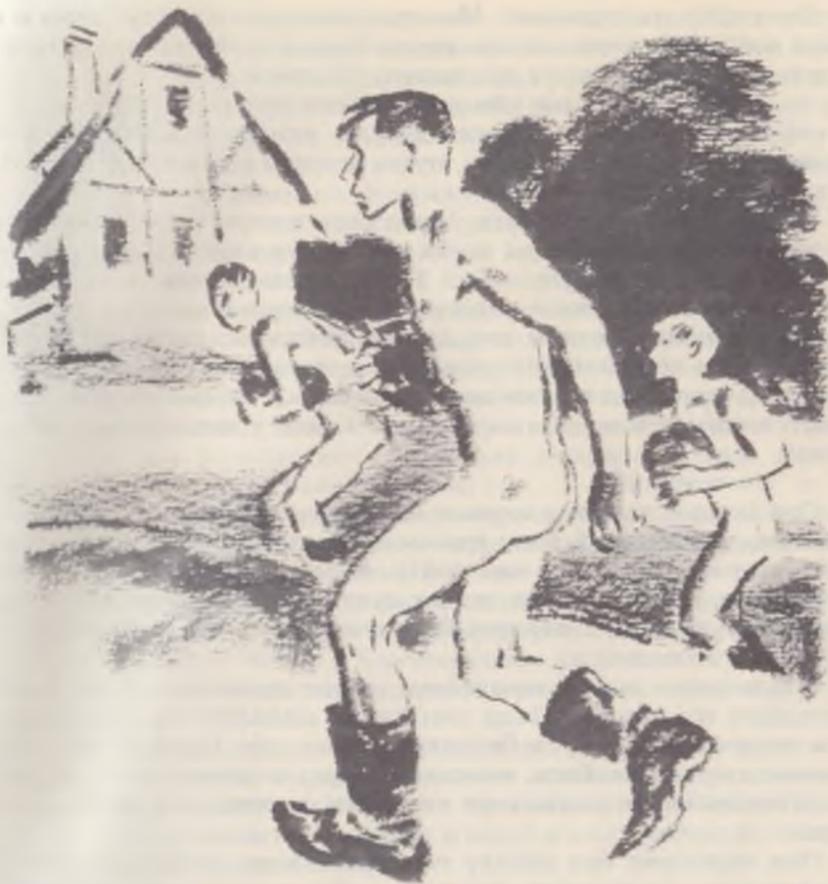
— А почему бы не принести им еще и сигарет?

Тогда мы прячем сигареты в фуражки, чтобы приберечь их до ночи.

Небо становится зеленым, как незрелое яблоко. Нас четверо, но четвертому там делать нечего, поэтому мы решаем избавиться от Тьядена и накачиваем его за наш счет ромом и пуншем, пока его не начинает пошатывать. С наступлением темноты мы возвращаемся на наши квартиры, бережно поддерживая Тьядена под локотки. Мы распалены, нас томит жажда приключений. Мне досталась та худенькая, смуглая — мы их уже поделили между собой, это дело решенное.

Тьяден заваливается на свой тюфяк и начинает храпеть. Через некоторое время он вдруг просыпается и смотрит на нас с такой хитрой ухмылкой, что мы уже начинаем опасаться, не вздумал ли он одурачить нас и не понапрасну ли мы тратились на пунш. Затем он снова валится на тюфяк и продолжает спать.

Каждый из нас выкладывает по целой буханке хлеба и заворачивает ее в газету. Вместе с хлебом мы кладем сигареты, а кроме того



три порядочные порции ливерной колбасы, выданной сегодня на ужин. Получился довольно приличный подарок.

Пока что мы засовываем все это в наши сапоги, ведь нам придется взять их с собой, чтобы не напороться на той стороне на проволоку и битое стекло. Но так как переправляться на тот берег мы будем вплавь, никакой другой одежды нам не нужно. Все равно сейчас темно, да и идти недалеко.

Взяв сапоги в руки, мы пускаемся в путь. Быстро влезает в воду, ложимся на спину и плывем, держа сапоги с гостинцами над головой.

Добравшись до того берега, мы осторожно карабкаемся вверх по склону, вынимаем пакеты и надеваем сапоги. Пакеты берем под мышки. Мокрые, голые, в одних сапогах, бодрой рысцой пускаемся в дальнейший путь. Дом мы находим сразу же. Он темнеет в кустах. Леер падает, споткнувшись о корень, и разбивает себе локти.

— Не беда, — весело говорит он.

Окна закрыты ставнями. Мы крадучись ходим вокруг дома и пытаемся заглянуть в него сквозь щели. Потом начинаем проявлять нетерпение. У Кроппа вдруг возникают опасения:

— А что, если у них там сидит какой-нибудь майор?

— Ну что ж, тогда мы дадим деру, — ухмыляется Леер, — а если ему нужен номер нашего полка, пусть прочтет его вот здесь. — И он шлепает себя по голому задку.

Входная дверь не заперта. Наши сапоги стучат довольно громко. Где-то приотворяется дверь, через нее падает свет, какая-то женщина вскрикивает от испуга. «Тсс! Тсс! — шепчем мы, — *camarade... bon ami...*»¹ — и умоляюще поднимаем над головой наши пакеты.

Вскоре появляются и две другие женщины; дверь открывается настежь, и мы попадаем в полосу яркого света. Нас узнают, и все трое хохочут до упаду над нашим одеянием. Стоя в проеме дверей, они изгибаются всем телом, так им смешно. Какие у них грациозные движения!

— *Un moment!*²

Они снова исчезают в комнате и выбрасывают нам какую-то одежду, с помощью которой мы с грехом пополам прикрываем свою наготу. Затем они разрешают нам войти. В освещенной небольшой лампой комнате тепло и слегка пахнет духами. Мы разворачиваем наши пакеты и вручаем их хозяйкам. В их глазах появляется блеск — видно, что они голодны.

После этого все овладевает легкое смущение. Леер жестом пригласает их поесть. Тогда они снова оживляются, приносят тарелки и ножи и жадно набрасываются на еду. Прежде чем съесть кусочек ливерной колбасы, они каждый раз поднимают его на вилке и с восхищением разглядывают его, а мы с гордостью наблюдаем за ними.

Они тараторят без умолку на своем языке, не давая нам ввернуть словечко, мы мало что понимаем, но чувствуем, что это какие-то хорошие, ласковые слова. Быть может, мы кажемся им совсем маленькими. Та худенькая, смуглая гладит меня по голове и говорит то, что обычно говорят все француженки:

— *La guerre... Grand malheur... Pauvres garçons...*³

Я крепко держу ее за локоть и касаюсь губами ее ладони. Ее пальцы смыкаются на моем лице. Она наклонилась ко мне так близко. Вот ее волнующие глаза, нежно-смуглая кожа и яркие губы. Эти губы произносят слова, которых я не понимаю. Глаза я тоже не совсем понимаю — они обещают нечто большее, чем то, чего мы ожидали, идя сюда.

Рядом, за стенкой, есть еще комнаты. По пути я вижу Леера с его блондинкой; он крепко прижал ее к себе и громко смеется. Ведь ему все это знакомо. А я, я весь во власти неизведанного, смутного и мя-

¹ Товарищ... друг... (фр.)

² Минуточку! (фр.)

³ Война... Большое несчастье... Бедные мальчики... (фр.)

тежного порыва, которому вверяюсь безраздельно. Мои чувства необъяснимо двоятся между желанием отдаться забвению и вожделием. У меня голова пошла кругом, я ни в чем не нахожу точки опоры. Наши сапоги мы оставили в передней, вместо них нам дали домашние туфли, и теперь на мне нет ничего, что могло бы вернуть мне свойственную солдату развязность и уверенность в себе: ни винтовки, ни ремня, ни мундира, ни фуражки. Я проваливаюсь в неведомое — будь что будет, — мне все-таки страшно.

У худенькой, смуглой шевелятся брови, когда она задумывается, но, когда она говорит, они у нее не двигаются. Порой она не договаривает слово до конца, оно замирает на ее губах или так и долетает до меня недосказанным — как недостроенный мостик, как затерявшаяся тропинка, как упавшая звезда. Что знал я об этом раньше? Что знаю сейчас?.. Слова этого чужого языка, которого я почти не понимаю, усыпляют меня, стены полуосвещенной комнаты с коричневыми обоями расплываются, и только склоненное надо мной лицо живет и светится в сонной тишине.

Как бесконечно много можно прочесть на лице, если еще час назад оно было чужим, а сейчас склонилось над тобой, даря тебе ласку, которая исходит не от него, а словно струится из ночной темноты, из окружающего мира, из крови, лишь отражаясь в этом лице. Она разлита во всем, и все вокруг преобразуется, становится каким-то необыкновенным; я почти с благоговением смотрю на свою белую кожу, когда на нее падает свет лампы и прохладная смуглая рука ласково гладит ее.

Как все это не похоже на бордели для рядовых, которые нам разрешается посещать и где приходится становиться в длинную очередь. Мне не хочется вспоминать о них, но они невольно приходят мне на ум, и мне становится страшно: а вдруг я уже никогда не смогу отделаться от этих воспоминаний?

Но вот я ощущаю губы худенькой, смуглой, и нетерпеливо тянусь к ним навстречу, и закрываю глаза, словно желая погасить в памяти все, что было: войну, ее ужасы и мерзости, чтобы проснуться молодым и счастливым; я вспоминаю девушку на афише, и на минуту мне кажется, что вся моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я обладать ею. И я еще крепче сжимаю держащие меня в объятиях руки, — может быть, сейчас произойдет какое-то чудо.

.....

Через некоторое время все три пары каким-то образом снова оказываются вместе. У Леера необыкновенно приподнятое настроение. Мы сердечно прощаемся и суем ноги в сапоги. Ночной воздух холодит наши разгоряченные тела. Тополя высятся черными великанами и шелестят листвой. На небе и в воде канала стоит месяц. Мы не бежим, мы идем рядом друг с другом большими шагами.

Леер говорит:

— За это не жалко отдать буханку хлеба.

Я не решаюсь говорить, мне даже как-то невесело.

Вдруг мы слышим чьи-то шаги и прячемся за куст.

Шаги приближаются, кто-то проходит вплотную мимо нас. Мы видим голого солдата, в одних сапогах, точь-в-точь как мы, под мышкой у него пакет, он мчится во весь опор. Это Тьяден, он спешит навестить упущенное. Вот он уже скрылся из виду.

Мы смеемся. То-то завтра будет ругани!

Никем не замеченные, мы добираемся до своих тюфяков.

* * *

Меня вызывают в канцелярию. Командир роты вручает мне отпускное свидетельство и проездные документы и желает мне счастливого пути. Я смотрю, сколько дней отпуска я получил. Семнадцать суток — две недели отпуска, трое суток на дорогу. Это очень мало, и я спрашиваю, не могу ли я получить на дорогу пять суток. Бертинк показывает мне на мое свидетельство. И лишь тут я вижу, что мне не надо сразу же возвращаться на фронт. По истечении отпуска я должен явиться на курсы в одном из тыловых лагерей.

Товарищи завидуют мне. Кат дает ценные советы насчет того, как мне устроить себе «тихую жизнь».

— Если не будешь хлопать ушами, ты там зацепишься.

Собственно говоря, я предпочел бы поехать не сейчас, а лишь через неделю, ведь это время мы еще пробудем здесь, а здесь не так уж плохо.

В столовой мне, как водится, говорят, что с меня причитается. Мы все немножко подвыпили. Мне становится грустно; я уезжаю отсюда на шесть недель, мне, конечно, здорово повезло, но что будет, когда я вернусь? Свижусь ли я снова со всеми здешними друзьями? Хайе и Кеммериха уже нет в живых; чей черед наступит теперь?

Мы пьем, и я разглядываю их по очереди. Рядом со мной сидит и курит Альберт, у него веселое настроение; мы с ним всегда были вместе. Напротив примостился Кат, у него покатые плечи, неуклюжие пальцы и спокойный голос. Вот Мюллер с его выступающими вперед зубами и лающим смехом. Вот Тьяден с его мышинными глазами. Вот Леер, который отпустил себе бороду, так что на вид ему дашь лет сорок.

Над нашими головами висят густые клубы дыма. Что было бы с солдатом без табака! Столовая — это тихая пристань, пиво не просто напиток, оно сигнализирует о том, что ты в безопасности и можешь спокойно потянуться и расправить члены. Вот и сейчас мы расселись поудобней, далеко вытянув ноги, и так заплевали все вокруг, что только держись. С каким странным чувством смотришь на все это, если завтра тебе уезжать!

Ночью мы еще раз перебираемся через канал. Мне даже как-то страшно сказать худенькой, смуглой, что я уезжаю, что, когда я вернусь, мы наверняка будем стоять где-нибудь в другом месте, а значит, мы с ней больше не увидимся. Но, как видно, это ее не очень трогает: она только головой кивает. Сначала это мне кажется непонятным,

но потом я соображаю, в чем тут дело. Леер, пожалуй, прав: если бы меня снова отправили на фронт, тогда я опять услышал бы от нее «rauvge garçon», но отпускник — это для них не так интересно. Ну и пошла она к черту с ее воркованием и болтовней. Ожидаешь чудес, а потом все сводится к буханке хлеба.

На следующее утро, пройдя дезинфекцию, я шагаю к фронтовой узкоколейке. Альберт и Кат провожают меня. На станции нам говорят, что поезд придется ждать, по-видимому, еще несколько часов. Кату и Альберту надо возвращаться в часть. Мы прощаемся.

— Счастливо, Кат! Счастливо, Альберт!

Они уходят и еще несколько раз машут мне рукой. Их фигуры становятся меньше. Их походка, каждое их движение — все это знакомо мне до мелочей. Я даже издали узнал бы их. Вот они уже исчезли вдали.

Я сажусь на свой ранец и жду.

Мною вдруг овладевает жгучее нетерпение — мне хочется поскорее уехать отсюда.

* * *

Я уже потерял счет вокзалам, очередям у котлов на продовольственных пунктах, жестким скамейкам в вагонах; но вот передо мной замелькали до боли знакомые виды, от которых начинает щемить сердце. Они проплывают в красных от заката окнах вагона: деревни с соломенными крышами, нависающими над белеными стенами домов, как надвинутые на самый лоб шапки, ржаные поля, отливающие перламутром в косых лучах вечернего солнца, фруктовые сады, амбары и старые липы.

За названиями станций встают образы, от которых все внутри трепещет. Колеса все грохочут и грохочут, я стою у окна и крепко держусь за косяки рамы. Эти названия — пограничные столбы моей юности.

Заливные луга, поля, крестьянские дворы; по дороге, идущей вдоль линии горизонта, одиноко тащится подвода, точно по небу едет. Ждущие у шлагбаума крестьяне, машущие вслед поезду девочки, играющие на полотне дети, уходящие вглубь дороги, гладкие, не разбитые дороги, на которых не видно артиллерии.

Вечер. Если бы не стук колес, я, наверно, не смог бы сдержать крик. Равнина разворачивается во всю ширь; вдали, на фоне бледной синевы, встают силуэты горных отрогов. Я узнаю характерные очертания Дольбенберга с его зубчатым гребнем, резко обрывающимся там, где кончаются макушки леса. За ним должен показаться город.

А пока что все вокруг залито уже меркнувшим золотисто-алым светом; поезд гроыхает на кривой, еще один поворот — и что же? — там, далеко-далеко, окутанные дымкой, темные, завиднелись и в самом деле тополи, выстроившиеся в длинный ряд тополи, видение, сотканное из света, тени и тоски.

Поле медленно поворачивается вместе с ними; поезд огибает их, промежутки между стволами уменьшаются, кроны сливаются в сплошной клин, и на мгновение я вижу одно-единственное дерево; затем задние снова выдвигаются из-за передних, и на небе долго еще маячат их одинокие силуэты, пока их не закрывают первые дома.

Железнодорожный переезд. Я стою у окна, не в силах оторваться. Соседи, готовясь к выходу, собирают вещи. Я тихонько повторяю название улицы, которую мы пересекаем: Бремерштрассе... Бремерштрассе...

Там, внизу, — велосипедисты, автомобили, люди; серый виадук, серая улица, но она берет меня за душу, как будто я вижу свою мать.

Затем поезд останавливается, и вот я вижу вокзал, с его шумом, криками и надписями. Я закидываю за спину свой ранец, пристегиваю крючки, беру в руку винтовку и неловко спускаюсь по ступенькам.

На перроне я оглядываюсь по сторонам; я не вижу ни одного знакомого среди всех этих спешащих людей. Какая-то сестра милосердия предлагает мне выпить стакан кофе. Я отворачиваюсь: уж больно глупо она улыбается, она вся преисполнена сознанием важности своей роли: взгляните на меня, я подаю солдатику кофе. Она говорит мне: «Братец...» Этого еще не хватало!

С привокзальной улицы видна река; белая от пены, она с шипением вырывается из шлюза у Мельничного моста. У моста стоит древняя сторожевая башня, перед ней большая липа, а за башней уже сгущаются вечерние сумерки.

Когда-то мы здесь сидели и частенько — сколько же времени прошло с тех пор? — ходили через этот мост, вдыхая прохладный, чуть затхлый запах воды в запруде; мы склонялись над спокойным зеркалом реки выше шлюза, где на быках моста висел зеленый плющ и водоросли, а в жаркие дни любовались брызгами пены ниже шлюза и болтали о наших учителях.

Я иду через мост, смотрю направо и налево; в запруде все так же много водорослей, и все так же хлещет из шлюза светлая дуга воды; в здании башни перед грудами белого белья стоят, как и раньше, гладильщицы с голыми руками, и через открытые окна струится жар утюгов. По узкой улочке трусят собаки, у дверей стоят люди и смотрят на меня, когда я прохожу мимо них, навьюченный и грязный.

В этой кондитерской мы ели мороженое и пробовали курить сигареты. На этой улице, которая сейчас проплывает мимо меня, я знаю каждый дом, каждую бакалейную лавку, каждую аптеку, каждую булочную. И наконец я стою перед коричневой дверью с захватанной ручкой, и мне вдруг трудно поднять руку.

Я открываю дверь; меня охватывает чудесный прохладный сумрак лестницы, мои глаза с трудом различают предметы.

Ступеньки скрипят под ногами. Наверху щелкает дверной замок, кто-то заглядывает вниз через перила. Это открылась дверь кухни, там как раз жарят картофельные котлеты, их запах разносится по всему дому, к тому же сегодня ведь суббота, и человек, перегнув-



шийся через перила, по всей вероятности, моя сестра. Сначала я чего-то стесняюсь и стою потупив глаза, но в следующее мгновение снимаю каску и смотрю вверх. Да, это моя старшая сестра.

— Пауль, — кричит она, — Пауль!

Я киваю, мой ранец зацепился за перила, моя винтовка так тяжела.

Сестра распахивает дверь в комнаты и кричит:

— Мама, мама, Пауль приехал!

Я больше не могу идти — «Мама, мама, Пауль приехал».

Я прислоняюсь к стенке и сжимаю в руках каску и винтовку.

Я сжимаю их изо всей силы, но не могу ступить ни шагу, лестница расплывается перед глазами, я стучаю себя прикладом по ногам и яростно стискиваю зубы, но я бессилен перед той единственной фразой, которую произнесла моя сестра, — тут ничего не поделаешь,

и я мучительно пытаюсь силой выдавить из себя смех, заставить себя сказать что-нибудь, но не могу произнести ни слова и так и остаюсь на лестнице, несчастный, беспомощный, парализованный этой ужасной судорогой, и слезы против моей воли так и бегут у меня по лицу.

Сестра возвращается и спрашивает:

— Да что с тобой?

Тогда я беру себя в руки и кое-как поднимаюсь в переднюю. Винтовку пристраиваю в угол, ранец ставлю у стены, а каску кладу поверх ранца. Теперь надо еще снять ремень и все, что к нему прицеплено. Затем я говорю злым голосом:

— Ну дай же мне наконец носовой платок!

Сестра достает мне из шкафа платок, и я вытираю слезы. Надой висит на стене застекленный ящик с пестрыми бабочками, которых я когда-то собирал.

Теперь я слышу голос матери. Она в спальне.

— Почему это она в постели? — спрашиваю я.

— Она больна, — отвечает сестра.

Я иду в спальню, протягиваю матери руку и, стараясь быть как можно спокойнее, говорю ей:

— А вот и я, мама.

Она молчит. В комнате полумрак. Затем она робко спрашивает меня, и я чувствую на себе ее испытующий взгляд:

— Ты ранен?

— Нет, я приехал в отпуск.

Мать очень бледна. Я не решаюсь зажечь свет.

— Чего это я тут лежу и плачу, вместо того чтобы радоваться? — говорит она.

— Ты больна, мама? — спрашиваю я.

— Сегодня я ненадолго встану, — говорит она и обращается к сестре, которой приходится поминутно убегать на кухню, чтобы не пережарить котлеты: — Открой банку с брусничным вареньем... Ведь ты его любишь? — спрашивает она меня.

— Да, мама, я его уже давненько не пробовал.

— А мы словно чувствовали, что ты приедешь, — смеется сестра, — как нарочно, приготовили твое любимое блюдо — картофельные котлеты, и теперь даже с брусничным вареньем.

— Да, ведь сегодня суббота, — отвечаю я.

— Присядь ко мне, — говорит мать.

Она смотрит на меня. Руки у нее болезненно белые и такие худые по сравнению с моими. Мы обмениваемся лишь несколькими фразами, и я благодарен ей за то, что она ни о чем не спрашивает. Да и о чем мне говорить? Ведь и так случилось самое лучшее, на что можно было надеяться, — я остался цел и невредим и сижу рядом с ней. А на кухне стоит моя сестра, готовя ужин и что-то напевая.

— Дорогой мой мальчик, — тихо говорит мать.

Мы в нашей семье никогда не были особенно нежны друг с другом — это не принято у бедняков, чья жизнь проходит в труде и заботах. Они понимают эти вещи по-своему, они не любят постоянно твер-

дить друг другу о том, что им и без того известно. Если моя мать назвала меня «дорогим мальчиком», то для нее это то же самое, что для других женщин — многословные излияния. Я знаю наверняка, что, кроме этой банки с вареньем, у нее давно уже нет ничего сладкого и что она берегла ее для меня, так же как и то уже черствое печенье, которым она меня сейчас угощает. Наверно, достала где-нибудь по случаю и сразу же отложила для меня.

Я сижу у ее постели, а за окном в саду рестораника, что находится напротив, искрятся золотисто-коричневые каштаны. Я делаю долгие вдохи и выдохи и твержу про себя: «Ты дома, ты дома».

Но я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности, все еще не могу свыкнуться со всем окружающим. Вот моя мать, вот моя сестра, вот ящик с бабочками, вот пианино красного дерева, но сам я как будто еще не совсем здесь. Между нами какая-то завеса, что-то такое, что еще надо переступить.

Поэтому я выхожу из спальни, приношу к постели матери мой ранец и выкладываю все, что привез: целую головку сыра, которую мне раздобыл Кат, две буханки хлеба, три четверти фунта масла, две банки с ливерной колбасой, фунт сала и мешочек риса.

— Вот, возьмите, это вам, наверно, пригодится.

Она кивает.

— Здесь, должно быть, плохо с продуктами? — спрашиваю я.

— Да, не особенно хорошо. А вам там хватает?

Я улыбаюсь и показываю на свои гостинцы:

— Конечно, не каждый день так густо, но жить все же можно.

Эрна уносит продукты. Вдруг мать берет меня порывистым движением за руку и, запинаясь, спрашивает:

— Очень плохо было на фронте, Пауль?

Мама, как мне ответить на твой вопрос? Ты никогда не поймешь этого, нет, тебе этого никогда не понять. И хорошо, что не поймешь. Ты спрашиваешь, плохо ли там. Ах, мама, мама! Я киваю головой и говорю:

— Нет, мама, не очень. Ведь нас там много, а вместе со всеми не так уж страшно.

— Да, а вот недавно тут был Генрих Бредемайер, так он рассказывал такие ужасы про фронт, про все эти газы и прочее.

Это говорит моя мать. Она говорит «все эти газы и прочее». Она не знает, о чем говорит, ей просто страшно за меня. Уж не рассказать ли ей, как мы однажды наткнулись на три вражеских окопа, где все солдаты застыли в своих позах, словно громом пораженные? На брустверах, в убежищах, везде, где их застала смерть, стояли и лежали люди с синими лицами, мертвецы.

— Ах, мама, мало ли что люди говорят, — отвечаю я. — Бредемайер сам не знает, что плетет. Ты же видишь, я цел и даже поправился.

Нервная дрожь и страхи матери возвращают мне спокойствие. Теперь я уже могу ходить по комнатам, разговаривать и отвечать на вопросы, не опасаясь, что мне придется прислониться к стене, пото-

му что все вокруг вдруг снова станет мягким, как резина, а мои мускулы — дряблыми, как вата.

Мать хочет подняться с постели, и я пока что ухожу на кухню к сестре.

— Что с ней? — спрашиваю я.

Сестра пожимает плечами:

— Она лежит уже несколько месяцев, но не велела писать тебе об этом. Ее смотрело несколько врачей. Один из них опять сказал, что у нее, наверно, рак.

* * *

Я иду в окружное военное управление, чтобы отметить. Медленно бреду по улицам. Время от времени со мной заговаривает кто-нибудь из знакомых. Я стараюсь не задерживаться, так как мне не хочется много говорить.

Когда я возвращаюсь из казармы, кто-то громким голосом окликает меня. Все еще погруженный в свои размышления, оборачиваюсь и вижу перед собой какого-то майора. Он набрасывается на меня:

— Вы что, честь отдавать не умеете?

— Извините, господин майор, — растерянно говорю я, — я вас не заметил.

Он кричит еще громче:

— Да вы еще и разговаривать не умеете как положено!

Мне хочется ударить его по лицу, но я сдерживаюсь, иначе прощай мой отпуск, я беру руки по швам и говорю:

— Я не заметил господина майора.

— Так извольте посмотреть! — рявкает он. — Ваша фамилия?

Я называю свою фамилию. Его багровая, толстая физиономия все еще выражает возмущение.

— Из какой части?

Я рапортую по-уставному. Он продолжает допрашивать меня:

— Где расположена ваша часть?

Но мне уже надоел этот допрос, и я говорю:

— Между Лангемарком и Биксшоте.

— Где, где? — несколько озадаченно переспрашивает он.

Объясняю ему, что я час тому назад прибыл в отпуск, и думаю, что теперь-то он отвяжется. Но не тут-то было. Он даже еще больше входит в раж:

— Так вы тут фронтовые нравы вздумали заводить? Этот номер не пройдет! Здесь у нас, слава богу, порядок! — Он командует: — Двадцать шагов назад, шагом — марш!

Во мне кипит затаенная ярость. Но я перед ним бессилен, если он захочет, он может тут же арестовать меня. И я расторопно отсчитываю двадцать шагов назад, снова иду вперед, в шести шагах от майора молодцевато вскидываю руку под козырек, делаю еще шесть шагов и лишь тогда рывком опускаю ее.

Он снова подзывает меня к себе и уже более дружелюбным тоном объявляет мне, что на этот раз он намерен смилостивиться. Стоя навытяжку, я ем его глазами в знак благодарности.

— Кругом — марш! — командует он.

Я делаю чеканный поворот и ухожу.

После этого вечер кажется мне испорченным. Я поспешно иду домой, снимаю форму и забрасываю ее в угол — все равно я собирался сделать это. Затем достаю из шкафа свой штатский костюм и надеваю его.

Я совсем отвык от него. Костюм коротковат и сидит в обтяжку — я подрост на солдатских харчах. С воротником и галстуком мне приходится повозиться. В конце концов узел завязывает сестра. Какой он легкий, этот костюм, — все время кажется, будто на тебе только кальсоны и рубашка.

Я разглядываю себя в зеркале. Станный вид! На меня с удивлением смотрит загорелый, несколько высоковатый для своих лет подросток.

Мать рада, что я хожу в штатском: в нем я кажусь ей ближе. Зато отец предпочел бы видеть меня в форме: ему хочется сходить со мной к знакомым, чтобы те видели меня в мундире.

Но я отказываюсь.

* * *

Как приятно молча посидеть где-нибудь в тихом уголке, например, под каштанами в саду ресторанчика, неподалеку от кегельбана. Листья падают на стол и на землю; их еще мало, это первые. Передо мной стоит кружка пива — на военной службе все привыкают к выпивке. Кружка опорожнена только наполовину, значит, впереди у меня еще несколько полновесных, освежающих глотков, а кроме того, я ведь могу заказать еще и вторую, и третью кружку, если захочу. Ни построений, ни ураганного огня, на досках кегельбана играют ребятишки хозяина, и его пес кладет мне голову на колени. Небо синее, сквозь листья каштанов проглядывает высокая зеленая башня церкви святой Маргариты.

Здесь хорошо, и я люблю так сидеть. А вот с людьми мне тяжело. Единственный человек, который меня ни о чем не спрашивает, это мать. Но с отцом дело обстоит уже совсем по-другому. Ему надо, чтобы я рассказывал о фронте, он обращается ко мне с просьбами, которые кажутся мне трогательными и в то же время глупыми, с ним я не могу наладить отношения. Он готов слушать меня хоть целый день. Я понимаю, он не знает, что на свете есть вещи, о которых не расскажешь; охотно доставил бы я ему это удовольствие, но я чувствую, как опасно для меня облекать все пережитое в слова. Мне боязно: а вдруг оно встанет передо мной во весь свой исполинский рост и потом мне уже будет с ним не справиться? Что случилось бы с нами, если бы мы ясно осознали все, что происходит там, на войне?



Поэтому я ограничиваюсь тем, что рассказываю ему несколько забавных случаев. Тогда он спрашивает меня, бывал ли я когда-нибудь в рукопашном бою.

— Нет, — говорю я, встаю и выхожу из комнаты.

Но от этого мне не легче. Я уже не раз пугался трамваев, потому что скрип их тормозов напоминает вой приближающегося снаряда.

На улице кто-то хлопает меня по плечу. Это мой учитель немецкого языка, он набрасывается на меня с обычными вопросами:

— Ну, как там дела? Ужас, ужас, не правда ли? Да, все это страшно, но тем не менее мы должны выстоять. Ну и потом, на фронте вас по крайней мере хорошо кормят, как мне рассказывали; вы хорошо выглядите, Пауль, вы просто здоровяк. Здесь с питанием, разумеется, хуже, это вполне понятно, ну конечно, а как же может быть иначе, самое лучшее — для наших солдат!



Он тащит меня в кафе, где он обычно сидит с друзьями. Меня встречают как самого почетного гостя, какой-то директор протягивает мне руку и говорит:

— Так вы, значит, с фронта? Как вы находите боевой дух наших войск? Изумительно, просто изумительно, ведь правда?

Я говорю, что каждый из нас с удовольствием поехал бы домой.

Он оглушительно хохочет:

— Охотно верю! Но сначала вам надо поколотить француза! Вы курите? Вот вам сигара, угощайтесь! Кельнер, кружку пива для нашего юного воина!

На свою беду, я уже взял сигару, так что теперь мне придется остаться. Надо отдать им справедливость — всех их так и распирает от самых теплых чувств ко мне. И все-таки я злюсь и стараюсь побыстрее высосать свою сигару. Чтобы не сидеть совсем без дела, я залпом опро-

кидываю принесенную кельнером кружку пива. Они тотчас же заказывают для меня вторую; эти люди знают, в чем заключается их долг по отношению к солдату. Затем они начинают обсуждать вопрос о том, что нам надлежит аннексировать. Директор с часами на стальной цепочке хочет получить больше всех: всю Бельгию, угольные районы Франции и большие куски России. Он приводит веские доказательства того, что все это действительно необходимо, и непреклонно настаивает на своем, так что в конце концов все остальные соглашаются с ним. Затем он начинает объяснять, где надо подготовить прорыв во Франции, и попутно обращается ко мне:

— А вам, фронтовикам, надо бы наконец отказаться от вашей позиционной войны и хоть немножечко продвинуться вперед. Вышвырните этих французишек, тогда можно будет и мир заключить.

Я отвечаю, что, на наш взгляд, прорыв невозможен: у противника слишком много резервов. А кроме того, война не такая простая штука, как некоторым кажется.

Он делает протестующий жест и снисходительным тоном доказывает мне, что я в этом ничего не смыслю.

— Все это так, — говорит он, — но вы смотрите на вещи с точки зрения отдельного солдата, а тут все дело в масштабах. Вы видите только ваш маленький участок, и поэтому у вас нет общей перспективы. Вы выполняете ваш долг, вы рискуете вашей жизнью, честь вам и слава, — каждому из вас следовало бы дать Железный крест, — но прежде всего мы должны прорвать фронт противника во Фландрии и затем свернуть его с севера.

Он пыхтит и вытирает себе бороду.

— Фронт надо окончательно свернуть, с севера на юг. А затем — на Париж!

Мне хотелось бы узнать, как он это себе представляет, и я вливаю в себя третью кружку. Он тотчас же велит принести еще одну.

Но я собираюсь уходить. Он сует мне в карман еще несколько сигар и на прощание дружески шлепает меня по спине:

— Всего доброго! Надеюсь, что вскоре мы услышим более утешительные вести о вас и ваших товарищах.

* * *

Я представлял себе отпуск совсем иначе. Прошлогодний отпуск и в самом деле прошел как-то не так. Видно, я сам переменялся за это время. Между той и нынешней осенью пролегла пропасть. Тогда я еще не знал, что такое война, — мы тогда стояли на более спокойных участках. Теперь я замечаю, что я, сам того не зная, сильно сдал. Я уже не нахожу себе места здесь — это какой-то чужой мир. Одни расспрашивают, другие не хотят расспрашивать, и по их лицам видно, что они гордятся этим, зачастую они даже заявляют об этом вслух, с этакой понимающей миной: дескать, мы-то знаем, что об этом говорить нельзя. Они воображают, что они ужасно деликатные люди.

Больше всего мне нравится быть одному, тогда мне никто не мешает. Ведь любой разговор всегда сводится к одному и тому же: как плохо идут дела на фронте и как хорошо идут дела на фронте, одному кажется так, другому — иначе, а затем и те и другие очень быстро переходят к тому, в чем заключается смысл их существования. Конечно, раньше и я жил точь-в-точь как они, но теперь я уже не могу найти с ними общий язык.

Мне кажется, что они слишком много говорят. У них есть свои заботы, цели и желания, но я не могу воспринимать все это так, как они. Иногда я сижу с кем-нибудь из них в саду рестораника и пытаюсь объяснить, какое это счастье — вот так спокойно сидеть; в сущности, человеку ничего больше и не надо. Конечно, они понимают меня, соглашаются со мной, признают, что я прав, — но только на словах, в том-то все и дело, что только на словах; они чувствуют это, но всегда только отчасти, они — другие люди и заняты другими вещами, они такие двойственные, никто из них не может почувствовать это всем своим существом; впрочем, и сам я не могу в точности сказать, чего я хочу.

Когда я вижу их в их квартирах, в их учреждениях, на службе, их мир неудержимо влечет меня, мне хочется быть там, с ними, и позабыть о войне; но в то же время он отталкивает меня, кажется мне таким тесным. Как можно заполнить этим всю свою жизнь? Надо бы сломать, разбить этот мир. Как можно жить этой жизнью, если там сейчас свистят осколки над воронками и в небе поднимаются ракеты, если там сейчас выносят раненых на плащ-палатках и мои товарищи солдаты стараются поглубже забиться в окоп! Здесь живут другие люди — люди, которых я не совсем понимаю, к которым я испытываю зависть и презрение. Я невольно вспоминаю Ката, и Альберта, и Мюллера, и Тьядена. Что-то они сейчас делают? Может быть, сидят в столовой, а может быть, пошли купаться. Вскоре их снова пошлют на передовые.

* * *

В моей комнате позади стола стоит коричневый кожаный диванчик. Я сажусь на него.

На стенах приколото кнопками много картинок, которые я раньше вырезал из журналов. Есть тут и почтовые открытки, и рисунки, которые мне чем-нибудь понравились. В углу стоит маленькая железная печка. На стене напротив — полка с моими книгами.

В этой комнате я жил до того, как стал солдатом. Книги я покупал постепенно, на те деньги, что зарабатывал репетиторством. Многие из них куплены у букиниста, например все классики — по одной марке и двадцать пфеннигов за том — в жестком матерчатом переплете синего цвета. Я покупал их полностью — ведь я был солидный любитель, избранные произведения внушали мне недоверие — а вдруг издатели не сумели отобрать самое лучшее? Поэтому я покупал только полные собрания сочинений. Я добросовестно прочел их,

но только немного понравилось мне по-настоящему. Гораздо большее влечение я испытывал к другим, более современным книгам; конечно, и стоили они гораздо дороже. Некоторые я приобрел не совсем честным путем: взял почитать и не возвратил, потому что не мог с ними расстаться.

Одна из полок заполнена школьными учебниками. С ними я не церемонился, они сильно потрепаны, кое-где вырваны страницы — всем известно, для чего это делается. А на нижней полке сложены тетради, бумага и письма, рисунки и мои литературные опыты.

Я пытаюсь перенестись мыслями в то далекое время. Ведь оно еще здесь, в этой комнате, я сразу же почувствовал это — стены сохранили его. Мои руки лежат на спинке диванчика; я усаживаюсь поглубже в уголок, забираюсь на сиденье с ногами — теперь я устроился совсем удобно. Окошко открыто, через него я вижу знакомую картину улицы, в конце которой высится шпиль церкви. На столе стоит букетик цветов. Карандаши, ручки, раковина вместо пресс-папье, чернильница — здесь ничего не изменилось.

Вот так и будет, если мне повезет, если после войны я смогу вернуться сюда навсегда. Я буду точно так же сидеть здесь и разглядывать мою комнату и ждать.

Я взволнован, но волноваться я не хочу, потому что это мне мешает. Мне хочется вновь изведать те тайные стремления, то острое, непередаваемое ощущение страстного порыва, которое овладевало мной, когда я подходил к своим книгам. Пусть меня снова подхватит тот вихрь желаний, который поднимался во мне при виде их пестрых корешков, пусть он растопит этот мертвящий тяжелый свинцовый ком, что засел у меня где-то внутри, и пробудит во мне вновь нетерпеливую устремленность в будущее, окрыленную радостью проникновения в мир мысли, пусть он вернет мне мою утраченную юность с ее готовностью жить.

Я сижу и жду.

Мне приходит в голову, что мне надо сходить к матери Кеммериха; можно было бы навестить и Миттельштедта — он сейчас, наверно, в казармах. Я смотрю в окно; за панорамой залитой солнцем улицы встает воздушная, с размытыми очертаниями цепь холмов, а на нее незаметно наплывает другая картина: ясный осенний день, мы с Катом и Альбертом сидим у костра и едим из миски жареную картошку.

Но об этом мне вспоминать не хочется, и я прогоняю видение. Комната должна заговорить, она должна включить меня в себя и понести; я хочу почувствовать, что мы с ней одно целое, и слушать ее, чтобы, возвращаясь на фронт, я знал: война сгинет без следа, смытая радостью возвращения домой, она минует, она не развест нас, как ржавчина, у нее нет иной власти над нами, кроме чисто внешней!

Корешки книг прижались друг к другу. Я их не забыл, я еще помню, в каком порядке их расставлял. Я прошу их глазами: заговорите со мной, примите меня, прими меня, о жизнь, которая была прежде, беззаботная, прекрасная, прими меня снова...

Я жду, жду.

Передо мной проходят картины, но за них не зацепишься, это всего лишь тени и воспоминания.

Ничего нет, ничего нет.

Мое беспокойство растет.

Внезапно меня охватывает пугающее чувство отчужденности. Я потерял дорогу к прошлому, стал изгнанником; как бы я ни просил, сколько бы усилий ни прилагал, все вокруг застыло в молчании; грустный, какой-то посторонний, сижу я в своей комнате, и прошлое отворачивается от меня, как от осужденного. В то же время я боюсь слишком страстно заклинать его — ведь я не знаю, что может произойти, если оно откликнется. Я солдат и не должен забывать об этом.

Утомленный пережитым, я встаю и вглядываюсь в окно. Затем достаю одну из книг и пытаюсь читать. Но я снова ставлю ее на место и беру другую. Ищу, листаю, снимаю с полки книгу за книгой. Рядом со мной выросла целая стопа. К ней прибавляются все новые и новые — скорей, скорей — листки, тетради, письма.

Я молча стою перед ними. Как перед судом.

Дело плохо.

Слова, слова, слова — они не доходят до меня.

Я медленно расставляю книги по местам.

Все кончено.

Тихо выхожу я из комнаты.

* * *

Я еще не потерял надежды. Правда, я больше не вхожу в свою комнату, но утешаю себя тем, что несколько дней еще не могут решить дело бесповоротно. Впоследствии, когда-нибудь позже, у меня будет для этого много времени — целые годы. Пока что я отправляюсь в казармы навестить Миттельштедта, и мы сидим в его комнатке; в ней стоит тот особый, привычный мне, как всякому солдату, тяжелый запах казенного помещения.

У Миттельштедта припасена для меня новость, от которой я сразу же чувствую себя наэлектризованным. Он рассказывает, что Канторек в ополчении.

— Представь себе, — говорит Миттельштедт, доставая несколько прекрасных сигар, — меня направляют после лазарета сюда, и я сразу же натываюсь на него. Он норовит поздороваться со мной за ручку и кивает: «Смотрите-ка, да это, никак, Миттельштедт, ну, как поживаете?» Я смотрю на него большими глазами и отвечаю: «Ополченец Канторек, дружба дружбой, а служба службой, вам бы не мешало это знать. Извольте стать «смирно», вы разговариваете с начальником». Жаль, что ты не видел, какое у него было лицо! Нечто среднее между соленым огурцом и неразорвавшимся снарядом. Он оробел, но все же еще раз попытался подольститься ко мне. Я прикрикнул на него поостроже. Тогда он бросил в бой свой главный калибр и спросил меня конфиденциально: «Может, вы хотите сдать льготный экзамен? Я бы

все для вас устроил». Это он мне старое хотел напомнить, понимаешь? Тут я здорово разозлился и тоже напомнил ему кое о чем: «Ополченец Канторек, два года назад вы заманили нас вашими проповедями в добровольцы; среди нас был Иозеф Бем, который, в сущности, вовсе не хотел идти на фронт. Он погиб за три месяца до срока своего призыва. Если бы не вы, он еще подождал бы эти три месяца. А теперь — круг-гом! Мы еще с вами поговорим». Мне ничего не стоило попроситься в его роту. Перво-наперво я взял его с собой в каптерку и постарался, чтоб его покрасивей принарядили. Сейчас ты его увидишь.

Мы идем во двор. Рота выстроена. Миттельштедт командует «вольно» и начинает поверку.

Тут я замечаю Канторека и не могу удержаться от смеха. На нем надето что-то вроде фрака блекло-голубого цвета. На спине и на руках вставлены большие темные заплаты. Должно быть, этот мундир носил какой-нибудь великан. Черные потрепанные штаны, наоборот, совсем коротенькие, они едва прикрывают икры. Зато ботинки слишком велики — это твердые, как камень, чеботы с высоко загнутыми вверх носами, допотопного образца, еще со шнуровкой сбоку. Этот костюм довершает невероятно засаленная фуражка, которая в противовес ботинкам мала, — не фуражка, а блин какой-то. В общем, вид у него самый жалкий.

Миттельштедт останавливается перед ним:

— Ополченец Канторек, как у вас вычищены пуговицы? Вы этому, наверно, никогда не выучитесь. Плохо, Канторек, очень плохо...

Я мычу про себя от удовольствия. Совершенно так же, тем же самым тоном Канторек выговаривал в школе Миттельштедту: «Плохо, Миттельштедт, очень плохо...»

Миттельштедт продолжает пробирать Канторека:

— Посмотрите на Беттхера, вот это примерный солдат, поучились бы у него!

Я глазам своим не верю. Ну да, так и есть, это Беттхер, наш школьный швейцар. Так вот кого ставят Кантореку в пример! Канторек бросает на меня свирепый взгляд, он сейчас готов съесть меня. Но я с нервным видом ухмыляюсь, глядя ему в физиономию, будто я его и знать не знаю.

Ну и дурацкий же у него вид в этой фуражке блином и в мундире! И перед таким вот чучелом мы раньше трепетали, боялись его как огня, когда, восседая за кафедрой, он брал кого-нибудь из нас на кончик своего карандаша, чтобы погонять по французским неправильным глаголам, хотя впоследствии во Франции они оказались нам совершенно ни к чему. С тех пор не прошло и двух лет, и вот передо мной стоит рядовой Канторек, внезапно, как по волшебству, утративший всю свою власть, кривоногий, с руками как ручки от кофейника, с плохо вычищенными пуговицами и со смехотворной выправкой. Не солдат, а недоразумение. У меня не укладывается в голове, что это и есть та грозная фигура за кафедрой, и я многое бы отдал за то, чтобы знать, что я сделаю, если эта шкура когда-нибудь вновь получит право спрашивать

у меня, старого солдата: «Боймер, как будет *imparfait*¹ от глагола *aller*?²»

А пока что Миттельштедт начинает разучивать развертывание в цепь. При этом он благоклонно назначает Канторека командиром отделения.

Он делает это из особых соображений. Дело в том, что при движении цепью командир все время должен находиться в двадцати шагах перед своим отделением. Когда подается команда «кругом — марш!», цепь делает только поворот кругом, а командир отделения, внезапно очутившийся в двадцати шагах позади цепи, должен рысью мчаться вперед, чтобы снова опередить свое отделение на положенные двадцать шагов. Итого это получается сорок шагов «бегом — марш». Но как только он прибегает на свое место, проводящий занятие офицер просто-напросто повторяет команду «кругом — марш», и ему снова приходится сломя голову нестись обратно. Таким образом, отделению и горя мало: при каждой команде оно только делает поворот да проходит с десятков шагов, зато командир так и снует туда и сюда, как грузик для раздвигания штор. Это испытанный метод из богатой практики Химмельштоса.

Канторек не вправе ожидать от Миттельштедта другого отношения к себе — ведь он когда-то оставил его на второй год, и Миттельштедт совершил бы страшную глупость, если бы не воспользовался этим прекрас-

¹ Прошедшее время несовершенного вида (*фр.*).

² Идти (*фр.*)



ным случаем, прежде чем снова отправиться на фронт. Приятно сознавать, что служба в армии дала тебе, между прочим, и такую блестящую возможность. После этого, наверно, и умирать не так тяжело.

А пока что Канторек мечется, как затравленный кабан. Через некоторое время Миттельштедт приказывает закончить, и теперь начинается ползание — самый ответственный раздел обучения. Опираясь на локти и колени, по-уставному прижимая к себе винтовку, Канторек тащится во всей своей красе по песку в двух шагах от нас. Он громко пыхтит, и это пыхтение звучит в наших ушах, как музыка.

Миттельштедт подбадривает рядового Канторека, цитируя для его утешения высказывания классного наставника Канторека:

— Ополченец Канторек, нам выпало счастье жить в великую эпоху, поэтому мы должны напрячь свои силы, чтобы преодолеть все, если даже нам придется несладко.

Канторек выплевывает грязную щепочку, попавшую ему в рот, и обливается потом.

Миттельштедт наклоняется пониже и проникновенно закликает его:

— И никогда не забывайте за мелочами, что вы — участник великих событий, ополченец Канторек!

Удивительно, как это Канторек до сих пор не лопнул от натуги, особенно теперь, когда ползание сменил урок гимнастики, во время которого Миттельштедт великолепно копирует своего бывшего учителя, поддерживая его под зад при подтягивании на турнике и добиваясь правильного положения подбородка; при этом он так и сыплет мудрыми сентенциями. Совершенно так же обращался с ним в свое время Канторек.

Затем Миттельштедт отдает дальнейшие распоряжения по службе:

— Канторек и Беттхер, за хлебом! Возьмите с собой тележку.

Через несколько минут Канторек и его напарник выходят с тележкой из ворот. Канторек злобно понурил голову. Швейцар горд тем, что его нарядили на легкую работу.

Гарнизонная пекарня находится на другом конце города. Значит, им придется идти туда и обратно через весь город.

— Они у меня уже несколько дней туда ходят, — ухмыляется Миттельштедт. — Их уже там поджидают. Некоторым людям нравится на них смотреть.

— Здорово, — говорю я. — А он еще не жаловался?

— Пытался! Наш командир смеялся до слез, когда узнал об этой истории. Он терпеть не может школьных наставников. К тому же я флиртую с его дочкой.

— Канторек тебе подложит свинью на экзамене.

— Наплевать, — небрежно бросает Миттельштедт. — И все равно его жалобу оставили без последствий, потому что я сумел доказать, что почти всегда наряжаю его на легкие работы.

— А ты не мог бы устроить ему совсем кислую жизнь? — спрашиваю я.

— Возиться неохота, уж больно он глуп, — отвечает Миттельштедт тоном великодушного превосходства.

Что такое отпуск? Ожидание на распутье, после которого все станет только труднее. Уже сейчас разлука вторгается в него. Мать молча смотрит на меня. Я знаю, она считает дни. По утрам она всегда грустна. Вот и еще одним днем меньше стало. Она прибрала мой ранец — ей не хочется, чтобы он напоминал ей об этом.

За размышлениями часы убегают быстро. Я стряхиваю свою задумчивость и иду проводить сестру. Она собралась на бойню, чтобы получить несколько фунтов костей. Это большая льгота, и люди встают в очередь уже с раннего утра. Некоторым становится дурно.

Нам не повезло. Сменяя друг друга, мы ждем три часа, после чего очередь расходится — костей больше нет.

Хорошо, что мне выдают мой паек. Я приношу его матери, и таким образом мы все питаемся немножко лучше.

Дни становятся все тягостней, глаза матери — все печальней. Еще четыре дня. Мне надо сходить к матери Кеммериха.

* * *

Этого не опишешь. Где слова, чтобы рассказать об этой дрожащей рыдающей женщине, которая трясет меня за плечи и кричит: «Если он умер, почему же ты остался в живых!», которая изливает на меня потоки слез и причитает: «И зачем вас только посылают туда, ведь вы еще дети...», которая падает на стул и плачет: «Ты его видел? Ты еще успел повидать его? Как он умирал?»

Я говорю ей, что он был ранен в сердце и сразу же умер. Она смотрит на меня, ей не верится.

— Ты лжешь. Я все знаю. Я чувствовала, как тяжело он умирал. Я слышала его голос, по ночам мне передавался его страх. Скажи мне всю правду, я хочу знать, я должна знать.

— Нет, — говорю я, — я был рядом с ним. Он умер сразу же.

Она тихо просит меня:

— Скажи. Ты должен сказать. Я знаю, ты хочешь меня утешить, но разве ты не видишь, что ты меня только еще больше мучаешь? Уж лучше скажи правду. Я не в силах оставаться в неведении, скажи, как было дело, пусть это даже будет очень страшно. Это все же лучше, чем то, что мне кажется сейчас.

Я никогда не скажу ей этого, хоть разруби меня на мелкие кусочки. Мне ее жалко, но в то же время она кажется мне немного глупой. И чего она только добивается — ведь будет она это знать или нет, Кеммериха все равно не воскресит. Когда человек перевидал столько смертей, ему уже нелегко понять, как можно так горевать об одном. Поэтому я говорю с некоторым нетерпением:

— Он умер сразу же. Он даже ничего и не почувствовал. Лицо у него было совсем спокойное.

Она молчит. Затем с расстановкой спрашивает:

— Ты можешь поклясться?

— Да.

— Всем, что тебе свято?

О господи, ну что мне сейчас свято? У нашего брата это понятие растяжимое.

— Да, он умер тотчас же.

— Повторяй за мной: «И если это неправда, пусть я сам не вернусь домой».

— Пусть я сам не вернусь домой, если он умер не сразу же.

Я бы ей еще и не таких клятв надавал. Но, кажется, она мне поверила. Она долго стонет и плачет. Потом она просит меня рассказать, как было дело, и я сочиняю историю, в которую теперь и сам почти что верю.

Когда я собираюсь уходить, она целует меня и дарит мне его карточку. Он снят в своем мундире новобранца и стоит, прислонившись спиной к круглому столу с ножками из березовых поленьев, с которых не снята кора. На заднем плане — декоративный лес. На столе стоит кружка пива.

* * *

Последний вечер перед отъездом. Все приумолкли. Я ложусь спать рано; я перебираю подушки, прижимаюсь к ним, зарываюсь в них с головой. Как знать, доведется ли мне еще когда-нибудь спать на такой вот перине!

Поздно вечером мать еще раз приходит ко мне в комнату. Она думает, что я сплю, и я притворяюсь спящим. Разговаривать, сидеть рядом без сна было бы слишком тяжело.

Она сидит почти до самого утра, хотя ее мучают боли и временами она корчится. Наконец я не выдерживаю и делаю вид, что просыпаюсь.

— Иди спать, мама, ты здесь простудишься.

Она говорит:

— Выспаться я и потом успею.

Я приподнимаюсь на подушках:

— Мне ведь сейчас еще не на фронт, мама. Я же сначала пробуду четыре недели в лагере. В одно из воскресений я, может быть, еще наведаюсь к вам.

Она молчит. Затем она негромко спрашивает:

— Ты очень боишься?

— Нет, мама.

— Вот что я еще хотела сказать тебе: остерегайся женщин во Франции. Женщины там дурные.

Ах, мама, мама! Я для тебя ребенок — почему же я не могу положить тебе голову на колени и поплакать? Почему я всегда должен быть сильнее и сдержаннее, ведь и мне порой хочется поплакать и услышать слово утешения, ведь я и в самом деле еще почти совсем ребенок, в шкафу еще висят мои короткие штанишки. Это было еще так недавно, почему же все это ушло?

Я говорю, стараясь быть как можно спокойнее:

— Там, где стоит наша часть, женщин нет, мама.

— И будь поосторожнее там на фронте, Пауль.

Ах, мама, мама! Почему я не могу обнять тебя и умереть вместе с тобой. Какие мы все-таки несчастные людишки!

— Да, мама, я буду осторожен.

Ах, мама, мама! Давай встанем и уйдем, давай пойдем с тобой сквозь годы, в прошлое, пока с нас не свалятся все эти беды, — в прошлое, к самим себе!

— Может быть, тебе удастся перевестись куда-нибудь, где не так опасно?

— Да, мама, меня могут оставить при кухне, это вполне возможно.

— Так смотри же не отказывайся, не слушай, что люди говорят.

— Пускай себе говорят, мама, мне все равно.

Она вздыхает. Лицо ее светится в темноте белым пятном.

— А теперь иди спать, мама.

Она не отвечает. Я встаю и укутываю ее плечи моим одеялом. Она опирается на мою руку — у нее начались боли. Я веду ее в спальню. Там я остаюсь с ней еще некоторое время.

— А потом, мама, тебе еще надо выздороветь до моего возвращения.

— Да, да, дитя мое.

— Не смейте мне ничего посылать, мама. Мы там едим досыта. Вам здесь самим пригодится.

Вот она лежит в постели, бедная мама, которая любит меня больше всего на свете. Когда я собираюсь уходить, она торопливо говорит:

— Я для тебя припасла еще две пары кальсон. Они из хорошей шерсти. Тебе в них будет тепло. Смотри не забудь уложить их.

Ах, мама, я знаю, чего тебе стоило раздобыть эти кальсоны, сколько тебе пришлось бегать, и клянчить, и стоять в очередях! Ах, мама, мама, как это непостижимо, что я должен с тобой расстаться, — кто же, кроме тебя, имеет на меня право? Я еще сижу здесь, а ты лежишь там, нам надо так много сказать друг другу, но мы никогда не сможем высказать все это.

— Спокойной ночи, мама.

— Спокойной ночи, дитя мое.

В комнате темно. Слышится мерное дыхание матери да тиканье часов. За окном гуляет ветер. Каштаны шумят.

В передней я спотыкаюсь о свой ранец — он лежит там, уже уложенный, так как завтра мне надо выехать очень рано.

Я кусаю подушки, сжимаю руками железные прутья кровати. Не надо мне было сюда приезжать. На фронте мне все было безразлично, нередко я терял всякую надежду, а теперь я никогда уже больше не смогу быть таким равнодушным. Я был солдатом, теперь же все во мне — сплошная боль, боль от жалости к себе, к матери, от сознания того, что все так беспросветно и конца не видно.

Не надо мне было ехать в отпуск.

Я еще помню бараки этого лагеря. Здесь Химмельштос «воспитывал» Тьядена. Из людей же я почти никого не знаю: как и всегда, здесь все переменялось. Лишь несколько человек мне доводилось мельком видеть еще и в тот раз.

Службу я несу как-то механически. Вечера почти всегда провожу в солдатском клубе; на столах разложены журналы, но читать мне не хочется, зато там есть рояль, на котором я с удовольствием играю. Нас обслуживают две девушки, одна из них совсем молоденькая.

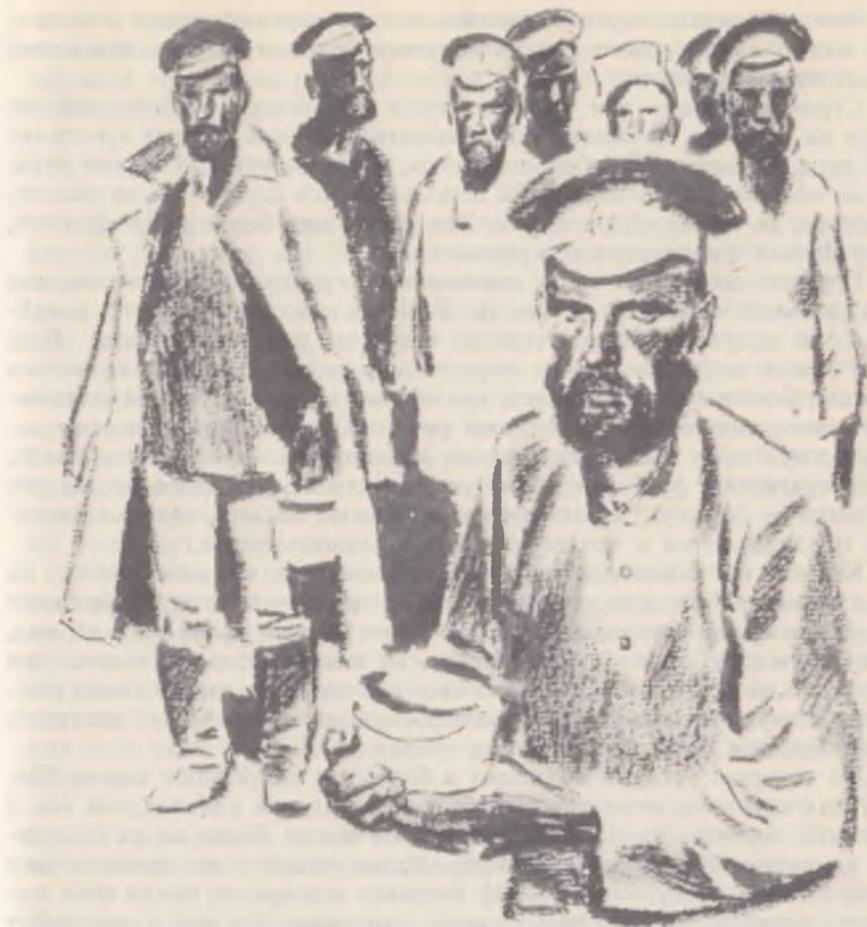
Лагерь обнесен высокими заборами из проволоки. Возвращаясь поздно вечером из клуба, мы должны предъявлять пропуск. Те, кто умеет столкнуться с часовым, могут, конечно, проскочить и без пропуска.

Каждый день нас выводят на ротные учения, которые проводятся в степи, среди березовых рощиц и зарослей можжевельника. Когда от нас не требуют ничего другого, это вполне терпимо. Ты бежишь вперед, падаешь на землю, и венчики цветов и былинки колышутся от твоего дыхания. Светлый песок оказывается, когда видишь его так близко, чистым, как в лаборатории, он весь состоит из мельчайших зернышек кремния. Так и хочется запустить в него руку.

Но самое красивое здесь — это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои краски. Только что стволы сияли самой яркой белизной, осененные воздушной, легкой, как шелк, словно нарисованной пастелью, зеленою дымкой; проходит еще мгновение, и все окрашивается в голубовато-опаловый цвет, который надвигается, отливая серебром, со стороны опушки и гасит зелень, а в одном месте он тут же сгущается почти до черного — это на солнце набежала тучка. Ее тень скользит, как призрак, между разом поблекшими стволами, все дальше и дальше по просторам степи, к самому горизонту, а тем временем березы уже снова стоят, как праздничные знамена с белыми древками, и листва их пылает багрянцем и золотом.

Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших оттенков света, что даже не слышу слов команды; когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и любить ее. А я здесь ни с кем не сошелся поближе, да и не стремлюсь к этому, довольствуясь обычным общением с окружающими. Мы слишком мало знакомы, чтобы видеть друг в друге нечто большее, чем просто человека, с которым можно почесать языком или сыграть в «двадцать одно».

Рядом с нашими бараками находится большой лагерь русских военнопленных. Он отделен от нас оградой из проволочной сетки, но тем не менее пленные все же умудряются пробираться к нам. Они ведут себя очень робко и боязливо; большинство из них — люди рослые, почти все носят бороды; в общем, каждый из них напоминает присмирившего после побоев сенбернара. Они обходят украдкой наши бараки, заглядывая в бочки с отбросами. Трудно представить се-



бе, что они там находят. Нас и самих-то держат впроголодь, а главное — кормят всякой дрянью: брюквой (каждая брюквина режется на шесть долек и варится в воде), сырой, не очищенной от грязи морковкой; подгнившая картошка считается лакомством, а самое изысканное блюдо — это жидкий рисовый суп, в котором плавают мелко нарезанные говяжьи жилы; может, их туда и кладут, но нарезаны они так мелко, что их уже не найдешь.

Тем не менее все это, конечно, исправно съедается. Если кое-кто и в самом деле живет так богато, что может не подьедать всего дочиста, то рядом с ним всегда стоит добрый десяток желающих, которые с удовольствием возьмут у него остатки. Мы выливаем в бочки только то, чего нельзя достать черпаком. Кроме того, мы иногда бросаем туда кожуру от брюквы, заплесневевшие хлебные корки и разную дрянь.

Вот это жидкое, мутное, грязное месиво и разыскивают пленные. Они жадно вычерпывают его из вонючих бочек и уносят, пряча под своими гимнастерками.

Странно видеть так близко перед собой этих наших врагов. Глядя на их лица, начинаешь задумываться. У них добрые крестьянские лица, большие лбы, большие носы, большие губы, большие руки, мягкие волосы. Их следовало бы использовать в деревне — на пахоте, на косьбе, во время сбора яблок. Вид у них еще более добродушный, чем у наших фрисландских крестьян.

Грустно наблюдать за их движениями, грустно смотреть, как они выклянчивают чего-нибудь поесть. Все они довольно заметно ослабли — они получают ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Ведь нас и самих-то давно уже не кормят досыта. Они болеют кровавым поносом; боязливо оглядываясь, некоторые из них украдкой показывают испачканные кровью подола рубах. Сгорбившись, понуриив голову, согнув ноги в коленях, искоса поглядывая на нас снизу вверх, они протягивают руку и просят, употребляя те немногие слова, что они знают, — просят своими мягкими, тихими басами, которые вызывают представления о теплой печке и домашнем уюте.

Кое-кто из наших дает им иногда пинка, так что они падают, но таких немного. Большинство из нас их не трогает, просто не обращает на них внимания. Впрочем, иной раз у них бывает такой жалкий вид, что тут невольно обозлишься и пнешь их ногой. Если бы только они не глядели на тебя этим взглядом! Сколько все-таки горя и тоски умещается в двух таких маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем, — в человеческих глазах.

По вечерам русские приходят в бараки и открывают торги. Все, что у них есть, они меняют на хлеб. Иногда это им удается, так как у них очень хорошие сапоги, а наши сапоги плохи. Кожа на их голенищах удивительно мягкая, как юфть. Наши солдаты из крестьянских семей, которые получают из дому посылки с жирами, могут себе позволить роскошь обзавестись такими сапогами. За них у нас дают две-три армейские буханки хлеба или же одну буханку и небольшое колечко копченой колбасы.

Но почти все русские давно уже променяли все, что у них было. Теперь они одеты в жалкие отрепья и предлагают на обмен только мелкие безделушки, которые они режут из дерева или же мастерят из осколков и медных поясков от снарядов. Конечно, за эти вещицы много не получишь, хотя на них потрачено немало труда, — в последнее время пленные стали отдавать их за несколько ломтей хлеба. Наши крестьяне прижимисты и хитры, они умеют торговаться. Вынув кусок хлеба или колбасы, они до тех пор держат его у самого носа пленного, пока тот не побледнеет и не закатит глаза от соблазна. Тогда ему уже все равно. А они прибирают подальше свою добычу, медленно, с той обстоятельностью в движениях, которая свойственна крестьянам, затем вынимают большие перочинные ножи, неторопливо, степенно отрезают себе из своих запасов краюху хлеба и, как бы вознаграждая себя, начинают уминать ее, заедая каждый кусок кру-

жочком твердой, аппетитной колбасы. Когда видишь, как они чревоугодничают, начинаешь ощущать раздражение, желание бить их по твердым лбам. Они редко делятся с товарищами: мы слишком мало знакомы друг с другом.

* * *

Я часто стою на посту возле лагеря русских. В темноте их фигуры движутся, как больные аисты, как огромные птицы. Они подходят к самой ограде и прижимаются к ней лицом, вцепившись пальцами в проволоку сетки. Нередко они стоят большими группами. Они дышат запахами, которые приносит ветер из степи и из лесов.

Говорят они редко, а если и скажут что-нибудь, то всего лишь несколько слов. Они относятся друг к другу более человечно и, как мне кажется, как-то более по-братски, чем мы в нашем лагере. Быть может, это только оттого, что они чувствуют себя более несчастными, чем мы. Впрочем, для них война ведь уже кончилась. Однако сидеть и ждать, пока ты заболеешь кровавым поносом, — это, конечно, тоже не жизнь.

Ополченцы из лагерной охраны рассказывают, что вначале пленные не были такими вялыми. В лагере, как это обычно бывает, было много случаев мужеложства, и, судя по рассказам, на этой почве пленные нередко пускали в ход кулаки и ножи. Теперь они совсем оступели и стали ко всему безразличными, большинство из них даже перестало заниматься онанизмом, так они ослабели, хотя вообще в лагерь дело зачастую доходит до того, что люди делают это сообща, всем бараком.

Они стоят у ограды, порой кто-нибудь из них выходит из ряда и бредет прочь; тогда на его месте вскоре появляется другой. Большинство молчит; лишь некоторые выпрашивают окурки.

Я вижу их темные фигуры. Их бороды развеваются на ветру. Я ничего о них не знаю, кроме того, что они пленные, и именно это приводит меня в смятение. Это безмянные существа, не знающие за собой вины; если бы я знал о них больше — как их зовут, как они живут, чего они ожидают, что их гнетет, — тогда мое смятение относилось бы к чему-нибудь определенному и могло бы перейти в сострадание. А сейчас я вижу за ними лишь боль живой плоти, ужасающую беспрестанность жизни и безжалостную жестокость людей.

Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов; другой приказ мог бы превратить их в наших друзей. Какие-то люди, которых никто из нас не знает, сели где-то за стол и подписали документ, и вот в течение нескольких лет мы видим нашу высшую цель в том, что род человеческий обычно клеймит презрением и за что он карает самой тяжелой карой. Кто же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смиренных людях с их детскими лицами и с бородами апостолов? Каждый унтер по отношению к своим новобранцам, каждый классный наставник по отношению к своим ученикам является гораздо более худшим врагом, чем они по отношению к нам. И все же,

если бы они были сейчас на свободе, мы снова стали бы стрелять в них, а они — в нас.

Мне становится страшно; мне нельзя додумывать эту мысль до конца. Этот путь ведет в бездну. Для таких размышлений еще не пришло время. Но я не забуду, о чем я сегодня думал, я сохранию эту мысль, запрю ее в своем мозгу, пока не кончится война. Сердце у меня колотится: уж не в этом ли заключается та великая, единственная цель, о которой я думал в окопах, которую я искал как нечто могущее оправдать существование людей после этого крушения всех человеческих идеалов? Уж не та ли это задача, которую можно будет поставить перед собой на всю дальнейшую жизнь, задача, достойная людей, проведших столько лет в этом аду?

Я достаю свои сигареты, переламываю каждую пополам и отдаю их русским. Они кланяются мне и закуривают. Теперь у некоторых из них тлеют на лице красные точки. От них мне становится отраднее на душе: как будто в темных деревенских домах засветились маленькие оконца, говорящие о том, что за их стеклами находятся теплые, обжитые комнаты.

* * *

Дни идут. Однажды туманным утром русские снова хоронят одного из своих: у них теперь почти каждый день умирает несколько человек. Я как раз стою на посту, когда его опускают в могилу. Пленные поют панихиду, они поют ее на несколько голосов, и их пение как-то не похоже на хор, оно скорее напоминает звуки органа, стоящего где-то в степи.

Похороны быстро заканчиваются.

Вечером пленные снова стоят у ограды, и из березовых рощ к ним доносятся ветры. Звезды светят холодным светом.

Я теперь знаю нескольких пленных, которые довольно хорошо говорят по-немецки. Один из них — музыкант, он рассказывает, что был когда-то скрипачом в Берлине. Услышав, что я немного играю на рояле, он достает свою скрипку и начинает играть. Остальные садятся и прислоняются спиной к ограде. Он играет стоя, порой лицо его принимает то отчужденное выражение, какое бывает у скрипачей, когда они закрывают глаза, но затем скрипка снова начинает ходить у него в руках, следуя за ритмом, и он улыбается мне.

Должно быть, он играет народные песни; его товарищи тихо, без слов подтягивают ему. Они — как темные холмы, поющие подземным нутряным басом. Голос скрипки, светлый и одинокий, слышится где-то высоко над ними, как будто на холме стоит стройная девушка. Голоса смолкают, а скрипка все звучит — звук кажется тоненьким, словно скрипке холодно ночью, — надо бы встать где-нибудь совсем близко к ней, наверно, в помещении ее было бы лучше слушать. Здесь же, под открытым небом, ее блуждающий в одиночестве голос нагоняет грусть.

Мне не дают увольнения в воскресные дни, ведь я только что вернулся из длительного отпуска. Поэтому в последнее воскресенье перед моим отъездом отец и старшая сестра сами приезжают ко мне. Мы весь день сидим в солдатском клубе. Куда же нам еще деваться? В барак нам идти не хочется. В середине дня мы идем прогуляться в степь.

Время тянется медленно; мы не знаем, о чем говорить. Поэтому мы разговариваем о болезни матери. Теперь уже выяснилось, что у нее рак, она лежит в больнице, и скоро ей будут делать операцию. Врачи надеются, что она выздоровеет, но мы что-то не слышали, чтобы рак можно было вылечить.

— Где же она лежит? — спрашиваю я.

— В госпитале Святой Луизы, — говорит отец.

— В каком классе?

— В третьем. Придется подождать, пока скажут, сколько будет стоить операция. Она сама хотела, чтоб ее положили в третий. Она сказала, что там ей будет не так скучно. К тому же это дешевле.

— Но ведь там столько народу в одной палате! Она, пожалуй, не сможет спать по ночам.

Отец кивает. Лицо у него усталое, в глубоких морщинах. Мать часто болела, и, хотя ложилась в больницу только под нашим нажимом, ее лечение стоило нам немалых денег. Отец положил на это, по сути дела, всю свою жизнь.

— Если б только знать, во что обойдется операция, — говорит он.

— А вы еще не спрашивали?

— Прямо мы не спрашивали, так делать нельзя — а вдруг врач рассердится? Это не дело, ведь он будет оперировать маму.

Да, думаю я с горечью, так уж повелось у нас, так уж повелось у них — у бедняков. Они не смеют спросить о цене, они лучше будут мучиться, но не спросят; а те, другие, которым и спрашивать-то незачем, они считают вполне естественным договариваться о цене заранее. И врач на них не рассердится.

— А потом надо делать перевязки, и это тоже так дорого стоит, — говорит отец.

— А больничная касса, разве она ничего не платит? — спрашиваю я.

— Мама слишком долго болеет.

— Но у вас же есть хоть немного денег?

Он качает головой:

— Нет. Но теперь я опять смогу взять сверхурочную работу.

Я знаю: он будет резать, фальцевать и клеить, стоя за своим столом до двенадцати часов ночи. В восемь вечера он похлебает пустого супу, сваренного из тех жалких продуктов, которые они получают по карточкам. Затем он примет порошок от головной боли и снова возьмется за работу.

Чтобы немного развеселить его, я рассказываю ему несколько пришедших мне на ум забавных историй — солдатские анекдоты насчет генералов и фельдфебелей, которых где-то кто-то оставил в дураках, и прочее в этом роде.

После прогулки я провожаю отца и сестру на станцию. Они дают мне банку повидла и пакет с картофельными лепешками — мать еще успела нажарить их для меня.

Затем они уезжают, а я возвращаюсь в бараки.

Вечером я вынимаю несколько лепешек, намазываю на них повидло и начинаю есть. Но мне что-то не хочется. Я выхожу во двор, чтобы отдать лепешки русским.

Тут мне приходит в голову, что мать жарила их сама и, когда она стояла у горячей плиты, у нее, быть может, были боли. Я кладу пакет обратно в ранец и беру с собой для русских только две лепешки.

IX

Мы едем несколько дней. В небе появляются первые аэропланы. Мы обгоняем эшелоны с грузами. Орудия, орудия... Дальше мы едем по фронтовой узкоколейке. Я разыскиваю свой полк. Никто не знает, где он сейчас стоит. Я где-то остаюсь на ночевку, где-то получаю утром паек и кой-какие сбивчивые инструкции. Взвалив на спину ранец и взяв винтовку, я снова пускаюсь в путь.

Прибыв к месту назначения, я не застаю в разрушенном местечке никого из наших. Узнаю, что наш полк входит теперь в состав летучей дивизии, которую всегда бросают туда, где что-нибудь неладно. Это, конечно, не очень весело. Мне рассказывают, что у наших будто бы были большие потери. Расспрашиваю про Ката и Альберта. Никто о них ничего не знает.

Я продолжаю свои поиски и плутаю по окрестностям; на душе у меня какое-то странное чувство. Наступает ночь и еще одна ночь, а я все еще сплю под открытым небом, как индеец. Наконец мне удается получить точные сведения, и после обеда я докладываю в нашей ротной канцелярии о своем прибытии.

Фельдфебель оставляет меня в распоряжении части. Через два дня рота вернется с передовых, так что посылать меня туда нет смысла.

— Ну как отпуск? — спрашивает он. — Хорошо, а?

— Да как сказать, — говорю я.

— Да, да, — вздыхает он, — если б только не надо было возвращаться. Из-за этого вся вторая половина всегда испорчена.

Я слоняюсь без дела до того утра, когда наши прибывают с передовых, с серыми лицами, грязные, злые и мрачные. Взбираюсь на грузовик и расталкиваю приехавших, ищу глазами лица друзей — вон там Тьяден, вот сморкается Мюллер, а вот и Кат с Кроппом. Мы набиваем наши тюфяки соломой и укладываем их рядом друг с дру-

гом. Глядя на товарищей, я чувствую себя виноватым перед ними, хотя у меня нет никаких причин для этого. Перед сном я достаю остатки картофельных лепешек и повидло — надо же, чтобы и товарищи хоть чем-нибудь воспользовались.

Две лепешки немного заплесневели, но их еще можно есть. Их я беру себе, а те, что посвежее, отдаю Кату и Кроппу.

Кат жует лепешку и спрашивает:

— Небось мамашины?

Я киваю.

— Вкусные, — говорит он, — домашние всегда сразу отличись.

Еще немного, и я бы заплакал. Я сам себя не узнаю. Но ничего, здесь мне скоро станет легче — с Катом, с Альбертом и со всеми другими. Здесь я на своем месте.

— Тебе повезло, — шепчет Кропп, когда мы засыпаем, — говорят, нас отправят в Россию.

— В Россию? Ведь там война уже кончилась.

Вдалеке грохочет фронт. Стены барака дребезжат.

* * *

В полку усердно наводят чистоту и порядок. Начальство помещалось на смотрах. Нас инспектируют по всем статьям. Рваные вещи заменяют исправными. Мне удастся отхватить совершенно новенький мундир, а Кат — Кат, конечно, раздобыл себе полный комплект обмундирования. Ходит слух, будто бы скоро будет мир, но гораздо правдоподобнее другая версия — что нас повезут в Россию. Однако зачем нам в Россию хорошее обмундирование? Наконец просачивается весть о том, что к нам на смотр едет кайзер. Вот почему нам так часто устраивают смотры и поверки.

* * *

Целую неделю нам кажется, что мы снова попали в казарму для новобранцев, — так нас замучили работой и строевыми учениями. Все ходят нервные и злые, потому что мы не любим, когда нас чрезмерно донимают чисткой и уборкой, а уж шагистика нам и по-давно не по нутру. Все это озлобляет солдата еще больше, чем окопная жизнь.

Наконец наступают торжественные минуты. Мы стоим навтыжку, и перед строем появляется кайзер. Нас разбирает любопытство: какой он из себя? Он обходит фронт, и я чувствую, что я, в общем, несколько разочарован: по портретам я его представлял себе иначе — выше ростом и величественнее, а главное, он должен говорить другим, громовым голосом.

Он раздаёт Железные кресты и время от времени обращается с вопросом к кому-нибудь из солдат. Затем мы расходимся.



После смотра мы начинаем беседу. Тьяден говорит с удивлением:

— Так это, значит, самое что ни на есть высшее лицо! Выходит, перед ним все должны стоять руки по швам, решительно все! — Он соображает. — Значит, и Гинденбург тоже должен стоять перед ним руки по швам, а?

— А как же! — подтверждает Кат.

Но Тьядену этого мало. Подумав с минуту, он спрашивает:

— А король? Он что, тоже должен стоять перед кайзером руки по швам?

Этого никто в точности не знает, но нам кажется, что вряд ли это так — и тот и другой стоят уже настолько высоко, что брать руки по швам между ними, конечно, не принято.

— И что за чушь тебе в голову лезет? — говорит Кат. — Важно то, что сам-то ты вечно стоишь руки по швам.

Но Тьяден совершенно загнипнотизирован. Его обычно бедная фантазия заработала на полный ход.

— Послушай, — заявляет он, — я просто понять не могу, неужели же кайзер тоже ходит в уборную, точь-в-точь как я?

— Да, уж в этом можешь не сомневаться, — хохочет Кропп.

— Смотри, Тьяден, — добавляет Кат, — я вижу, у тебя уже дважды два получается свиной хрящик, а под черепом у тебя вошки завелись, сходи-ка ты сам в уборную, да побыстрей, чтоб в голове у тебя прояснилось и чтоб ты не рассуждал, как грудной младенец.

Тьяден исчезает.

— Но что я все-таки хотел бы узнать, — говорит Альберт, — так это вот что: началась бы война или не началась, если бы кайзер сказал «нет»?

— Я уверен, что войны не было бы, — вставляю я, — ведь он, говорят, сначала вовсе не хотел ее.

— Ну, пусть не он один, пусть двадцать — тридцать человек во всем мире сказали бы «нет», — может быть, тогда ее все же не было бы?

— Пожалуй, что так, — соглашаюсь я, — но ведь они-то как раз хотели, чтоб она была.

— Странно все-таки, как подумаешь, — продолжает Кропп, — ведь зачем мы здесь? Чтобы защищать свое отечество. Но ведь французы тоже находятся здесь для того, чтобы защищать свое отечество. Так кто же прав?

— Может быть, и мы, и они, — говорю я, хотя в глубине души и сам этому не верю.

— Ну, допустим, что так, — замечает Альберт, и я вижу, что он хочет прижать меня к стенке, — однако наши профессора, и пасторы, и газеты утверждают, что правы только мы (будем надеяться, что так оно и есть), а в то же время их профессора, и пасторы, и газеты утверждают, что правы только они. Так вот, в чем же тут дело?

— Этого я не знаю, — говорю я, — ясно только то, что война идет и с каждым днем в нее вступают все новые страны.

Тут снова появляется Тьяден. Он все так же взбудоражен и сразу же вновь включается в разговор: теперь его интересует, отчего вообще возникают войны.

— Чаще всего оттого, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление, — отвечает Альберт довольно самоуверенным тоном.

Но Тьяден прикидывается простачком:

— Страна? Ничего не понимаю. Ведь не может же гора в Германии оскорбить гору во Франции. Или, скажем, река, или лес, или пшеничное поле.

— Ты в самом деле такой олух или только притворяешься? — ворчит Кропп. — Я же не то хотел сказать. Один народ наносит оскорбление другому...

— Тогда мне здесь делать нечего, — отвечает Тьяден, — меня никто не оскорблял.

— Поди объясни что-нибудь такому дурню, как ты, — раздраженно говорит Альберт, — тут ведь дело не в тебе и не в твоей деревне.

— А раз так, значит, мне сам бог велел вертаться до дому, — настаивает Тьяден, и все смеются.

— Эх ты, Тьяден, народ тут надо понимать как нечто целое, то есть государство! — восклицает Мюллер.

— Государство, государство! — Хитро сощурившись, Тьяден прищелкивает пальцами. — Полевая жандармерия, полиция, налоги — вот что такое ваше государство. Если ты про это толкуешь, благодарю покорно!

— Вот это верно, Тьяден, — говорит Кат, — наконец-то ты говоришь дельные вещи. Государство и родина — это и в самом деле далеко не одно и то же.

— Но все-таки одно с другим связано, — размышляет Кропп, — родины без государства не бывает.

— Правильно, но ты не забывай о том, что почти все мы простые люди. Да ведь и во Франции большинство составляют рабочие, ремесленники, мелкие служащие. Теперь возьми какого-нибудь французского слесаря или сапожника. С чего бы ему нападать на нас? Нет, это все правительства выдумывают. Я вот сроду ни одного француза не видал, пока не попал сюда, и с большинством французов дело обстоит точно так же, как с нами. Как здесь нашего брата не спрашивают, так и у них.

— Так отчего же все-таки бывают войны? — спрашивает Тьяден.

Кат пожимает плечами:

— Значит, есть люди, которым война идет на пользу.

— Ну уж только не мне, — ухмыляется Тьяден.

— Конечно, ни тебе и ни одному из нас.

— Так кому же тогда? — допытывается Тьяден. — Ведь кайзеру от нее тоже пользы мало. У него ж и так есть все, что ему надо.

— Не говори, — возражает Кат, — войны он до сих пор еще не вел. А всякому приличному кайзеру нужна по меньшей мере одна война, а то он не прославится. Загляни-ка в свои школьные учебники.

— Генералам война тоже приносит славу, — говорит Детеринг.

— А как же, о них даже больше трубят, чем о монархах, — подтверждает Кат.

— Наверно, за ними стоят другие люди, которые на войне нажиться хотят, — басит Детеринг.

— Мне думается, это скорее что-то вроде лихорадки, — говорит Альберт. — Никто как будто бы и не хочет, а смотришь — она уж тут как тут. Мы войны не хотим, другие утверждают то же самое, и все-таки чуть не весь мир в нее впутался.

— А все же у них врут больше, чем у нас, — возражаю я. — Вы только вспомните, какие листовки мы находили у пленных, там ведь было написано, что мы поедаем бельгийских детей. Им бы следовало вздернуть того, кто у них пишет это. Вот где подлинные-то виновники!

Мюллер встает:

— Во всяком случае, лучше, что война идет здесь, а не в Германии. Взгляните-ка на воронки!

— Это верно, — неожиданно поддерживает его не кто иной, как Тьяден, — но еще лучше, когда войны вовсе нет.

Он удаляется с гордым видом — ведь ему удалось-таки побить нас, молодежь. Его рассуждения и в самом деле очень характерны, их слышишь здесь на каждом шагу и никогда не знаешь, как на них возразить, так как, подходя к делу с этой стороны, перестаешь понимать многие другие вещи. Национальная гордость серошинельника заключается в том, что он находится здесь. Но этим она и исчерпывается, обо всем остальном он судит сугубо практически, со своей узколичной точки зрения.

Альберт ложится в траву.

— Об этих вещах лучше вовсе ничего не говорить, — сердится он.

— Все равно ведь от этого ничего не изменится, — поддакивает Кат.

В довершение всего нам велят сдать почти все недавно полученные новые вещи и выдают наше старое тряпье. Чистенькое обмундирование было роздано только для парада.

* * *

Нас отправляют не в Россию, а на передовые. По пути мы проезжаем жалкий лесок с перебитыми стволами и перепаханной почвой. Местами попадаются огромные ямы.

— Черт побери, ничего себе рвануло! — говорю я Кату.

— Минометы, — отвечает тот и показывает на деревья.

На ветвях висят убитые. Между стволом и одной веткой застрел голый солдат. На его голове еще надета каска, а больше на нем ничего нет. Там, наверху, сидит только полсолдата, верхняя часть туловища, без ног.

— Что же здесь произошло? — спрашиваю я.

— Его вытряхнуло из одежды, — бормочет Тьяден.

Кат говорит:

— Странная штука! Мы это уже несколько раз замечали. Когда такая мина саданет, человека и в самом деле вытряхивает из одежды. Это от взрывной волны.

Я продолжаю искать. Так и есть. В одном месте висят обрывки мундира, в другом, совсем отдельно от них, прилипла кровавая каша, которая когда-то была человеческим телом. Вот лежит другой труп. Он совершенно голый, только одна нога прикрыта куском каль-

сон да вокруг шеи остался воротник мундира, а сам мундир и штаны словно развешаны по веткам. У трупа нет обеих рук, их словно выкрутило. Одну из них я нахожу в кустах на расстоянии двадцати шагов.

Убитый лежит лицом вниз. Там, где зияют раны от вырванных рук, земля почернела от крови. Листва под ногами разворошена, как будто он еще брыкался.

— Несладко ему пришлось, Кат, — говорю я.

— Получить осколок в живот тоже несладко, — отвечает тот, пожимая плечами.

— Вы только нюни не распускайте, — вставляет Тьяден.

Все это произошло, как видно, совсем недавно — кровь на земле еще свежая. Так как мы видим только одних убитых, задерживаться здесь нам нет смысла. Мы лишь сообщаем о своей находке на ближайший санитарный пункт. Пусть горе-вояки из санитарного батальона сами позаботятся об этом, — в конце концов, мы не обязаны выполнять за них их работу.

* * *

Нам надо выслать разведчиков, чтобы установить глубину обороны противника на нашем участке. После отпуска мне все время как-то неловко перед товарищами, поэтому я прошу послать и меня. Мы договариваемся о плане действий, пробираемся через проволочные заграждения и расходимся в разные стороны, чтобы ползти дальше поодиночке. Через некоторое время я нахожу неглубокую воронку и скатываюсь в нее. Отсюда я веду наблюдение.

Местность находится под пулеметным огнем средней плотности. Она простреливается со всех сторон. Огонь не очень сильный, но все же лучше особенно не высовываться.

Надо мной раскрывается парашют осветительной ракеты. В ее тусклом свете все вокруг словно застыло. Вновь сомкнувшаяся над землей тьма кажется после этого еще черней. Кто-то из наших рассказывал, будто перед нашим участком во французских окопах сидят негры. Это неприятно: в темноте их плохо видно, а кроме того, они очень искусные разведчики. Удивительно, что, несмотря на это, они зачастую действуют безрассудно. Однажды Кат ходил в разведку, и ему удалось перебить целую группу вражеских разведчиков-негров только потому, что эти ненасытные курильщики ползли с сигаретами в зубах. Такой же случай был и с Кроппом. Кат и Альберту оставалось только взять на мушку тлеющие точки сигарет.

Рядом со мной с шипением падает небольшой снаряд. Я не слышал, как он летел, поэтому сильно вздрагиваю от испуга. В следующее мгновение меня охватывает беспричинный страх. Я здесь один, я почти совсем беспомощен в темноте. Быть может, откуда-нибудь из воронки за мной давно уже следит пара чужих глаз и где-нибудь уже лежит наготове взведенная ручная граната, которая разорвет меня. Я пытаюсь стряхнуть с себя это ощущение. Уже не первый

раз я в разведке, и сегодняшняя вылазка не так опасна. Но это моя первая разведка после отпуска, и к тому же я еще довольно плохо знаю местность.

Я втолковываю самому себе, что мои страхи бессмысленны, что, по-видимому, ничто не подстерегает меня в темноте, ведь иначе они не стреляли бы так низко над землей.

Все напрасно. Голова у меня гудит от суматошно толкущихся в ней мыслей: я слышу предостерегающий голос матери, я вижу проволочную сетку, у которой стоят русские с их развевающимися бородами, я удивительно ясно представляю себе солдатскую столовую с креслами, кино в Валансьене, мое воображение рисует ужасную, мучительно отчетливую картину: серое, бесчувственное дуло винтовки, беззвучно, настороженно следящее за мной, куда бы я ни повернул голову. Пот катится с меня градом.

Я все еще лежу в ямке. Смотрю на часы: прошло всего лишь несколько минут. Лоб у меня в испарине, подглазья взмокли, руки дрожат, дыхание стало учащенным. Это сильный припадок трусости, вот что это такое, самый обыкновенный подлый животный страх, который не дает мне поднять голову и поползти дальше.

По моему телу студнем расплзается расслабляющее мускулы желание лежать и не двигаться. Руки и ноги накрепко прилипли ко дну воронки, и я тщетно пытаюсь оторвать их. Прижимаюсь к земле. Не могу стронуться с места. Принимаю решение лежать здесь.

Но тут меня сразу же вновь захлестывает волна противоречивых чувств: стыда, раскаяния и радости оттого, что пока я в безопасности. Чуть-чуть приподнимаю голову, чтобы осмотреться. Я так напряженно вглядываюсь во мрак, что у меня ломит в глазах. В небо взвивается ракета, и я снова пригибаю голову.

Я веду бессмысленную, отчаянную борьбу с самим собой — хочу выбраться из воронки, но все время сползаю вниз. Я твержу: «Ты должен — ведь это для твоих товарищей, это не какой-нибудь глупый приказ» — и тут же говорю себе: «Что мне за дело, ведь живешь только раз...»

Во всем виноват этот отпуск, с горечью извиняю я себя. Но теперь я и сам не верю в это; мне становится невыносимо тошно, я медленно приподнимаюсь, выжимаюсь на локтях, подтягиваю спину и лежу на краю воронки, наполовину высунувшись из нее.

Тут я слышу какие-то шорохи и отдергиваю голову. Несмотря на грохот орудий, мы чутко различаем каждый подозрительный шорох. Прислушиваюсь — шорох раздается у меня за спиной. Это наши, они ходят по траншее. Теперь я слышу также приглушенные голоса. Судя по интонации, это, пожалуй, Кат.

Мне разом становится, необыкновенно тепло на душе. Эти голоса, эти короткие, шепотом произнесенные фразы, эти шаги в траншее за моей спиной одним взмахом вырвали меня из когтей страха перед смертью, который делает человека таким ужасающе одиноким, — страха, жертвой которого я чуть было не стал. Они для меня дороже моей спасенной жизни, эти голоса, дороже материнской лас-

ки и сильнее, чем любой страх, они — самая крепкая и надежная на свете защита, ведь это голоса моих товарищей.

Теперь я уже не просто затерянный во мраке, трепещущий комочек живой плоти — теперь я рядом с ними, а они рядом со мной. Мы все одинаково боимся смерти и одинаково хотим жить, мы связаны друг с другом какой-то очень простой, но нелегкой связью. Мне хочется прижаться к ним лицом, к этим голосам, к этим коротким фразам, которые меня спасли и не оставят в беде.

* * *

Я осторожно перекатываюсь через край воронки и ужом ползу вперед. Дальше пробираюсь на четвереньках. Все идет хорошо. Я засекаю направление, оборачиваюсь и стараюсь запомнить по вспыхкам расположение наших батарей, чтобы найти дорогу обратно. Затем пытаюсь установить связь с товарищами.

Я все еще боюсь, но теперь это разумный страх, это просто взвинченная до предела осторожность. Ночь ветреная, и, когда над стволами вспыхивает пламя залпа, по земле перебегают тени. От этого я то вовсе ничего не вижу, то вижу все до мелочи. То и дело замираю на месте, но каждый раз убеждаюсь, что опасности нет. Пробираюсь таким образом довольно далеко вперед и, сделав небольшой круг, поворачиваю обратно. Я так и не нашел никого из товарищей. Приближаюсь к нашим окопам, и каждый пройденный метр прибавляет уверенности. Впрочем, вместе с ней растет и мое нетерпение. Влопаться сейчас было бы совсем уж глупо.

Но тут меня снова разбирает страх. Я сбился с направления и не узнаю местности. Тихонько забираюсь в воронку и пытаюсь сориентироваться. Известно уже немало случаев, когда солдат спрыгивал в окоп, радуясь, что наконец добрался до него, а потом оказывалось, что окоп не наш.

Через некоторое время я снова начинаю прислушиваться. Я все еще плутаю. Лабиринт воронок кажется теперь таким безнадежно запутанным и огромным, что от волнения я уже окончательно не знаю, в какую сторону податься. А вдруг я двигаюсь вдоль линии окопов? Ведь этак можно ползти без конца. Поэтому я еще раз сворачиваю под прямым углом.

Проклятые ракеты! Кажется, что они горят чуть не целый час. Малейшее движение — и вокруг тебя все так и свистит.

Но ничего не поделаешь, надо отсюда выбираться. Медленно, с передышками я продвигаюсь дальше, перебираю руками и ногами, становясь похожим на рака, и в кровь обдираю себе ладони о зазубренные, острые, как бритва, осколки. Порой мне кажется, что небо на горизонте как будто чуть-чуть светлеет, но, может быть, это мне просто мерещится? Так или иначе, мне постепенно становится ясно, что я сейчас ползу, чтобы спасти свою жизнь.

Где-то с треском рвется снаряд. Сразу же за ним — еще два.

И пошло, и пошло. Огневой налет. Стучат пулеметы. Теперь остается только одно — лежать, не трогаясь с места. Дело, кажется, кончится атакой. Повсюду взлетают ракеты. Одна за другой.

Я лежу в большой воронке скорчившись, по пояс в воде. Если начнется атака, плюхнусь в воду, лицом в грязь, и залезу как можно глубже, только чтобы не захлебнуться. Мне надо прикинуться убитым.

Вдруг я слышу, как огонь перепрыгивает назад. Тотчас же сползаю вниз, в воду, сдвигаю каску на самый затылок и высовываю рот ровно настолько, чтоб можно было дышать.

Затем я замираю — где-то брякает металл, шаркают и топают приближающиеся шаги. Каждый нерв во мне сжимается в холодный, как лед, комочек. Что-то с шумом проносится надо мной — первая цепь атакующих пробежала. Только одна распирающая череп мысль сидит в мозгу: что ты сделаешь, если кто-нибудь из них спрыгнет в твою воронку? Теперь я быстро вытаскиваю свой маленький кинжал и, крепко сжимая рукоятку, снова прячу его, окуная держащую его руку в грязь. Если кто-нибудь прыгнет сюда, я сразу же полосну его, молотом стучит у меня в голове. Надо сразу же перерезать ему глотку, чтобы он не закричал, иначе ничего не выйдет: он перепугается, не меньше меня и уже поэтому мы бросимся друг на друга. Значит, я должен быть первым.

Наши батареи открывают огонь. Один снаряд ложится поблизости от меня. Это приводит меня в неистовую ярость: не хватало только, чтоб меня накрыло осколком от нашего же снаряда; я клянусь все на свете и скрежещу зубами, так что в рот мне лезет всякая дрянь; это взрыв бешенства; под конец меня хватает только на стоны и молитвы.

Доносится треск разрывов. Если наши пойдут в контратаку, я спасен. Прижимаюсь лицом к земле и слышу приглушенный грохот, словно отдаленные взрывы на руднике, затем снова поднимаю голову, чтобы прислушаться к звукам, идущим сверху.

Стучат пулеметы. Я знаю, что наши заграждения прочны и почти не имеют повреждений — на отдельных участках через них пропущен ток высокого напряжения. Ружейный огонь нарастает. Им не пройти, им придется повернуть обратно.

Снова приседаю на дно. Все во мне напряжено до предела. Снаружи слышится шелканье пуль, шорох шагов, побрякивание амуниции. Потом — один-единственный пронзительный крик. Их обстреливают, атака отбита.

* * *

Стало еще немного светлее. Возле моей воронки слышны торопливые шаги. Кто-то идет. Мимо. Еще кто-то. Пулеметные щелчки сливаются в одну непрерывную очередь. Я только что собрался переменить позу, как вдруг наверху слышится шум, и, шлепаясь о стенки,

ко мне в воронку тяжело падает чье-то тело, скатывается на дно, валится на меня...

Я ни о чем не думаю, не принимаю никакого решения, молниеносно вонзаю в него кинжал и только чувствую, как это тело вздрагивает, а затем мягко и бессильно оседает. Когда я прихожу в себя, я ощущаю на руке что-то мокрое и липкое.

Человек хрипит. Мне чудится, что он громко кричит, каждый вздох кажется мне воплем, ударом грома, на самом деле это стучит в жилах моя кровь. Мне хочется зажать ему рот, набить туда земли, полоснуть его еще раз, только чтобы он замолчал — ведь он меня выдаст, но я уже настолько пришел в себя и к тому же вдруг так ослабел, что у меня рука на него не поднимается.

Отползаю в самый дальний угол и лежу там, не спуская с него глаз, и сжимаю рукоятку кинжала, готовый снова броситься на него, если он зашевелится. Но он уже ничего не сможет сделать, я понял это по его хрипу.

Я вижу его лишь с трудом. У меня сейчас одно только желание — выбраться отсюда. Надо сделать это побыстрее, а то станет слишком светло. Однако, когда я пытаюсь высунуть голову, вижу сразу же, что это уже невозможно. Пулеметный огонь настолько плотен, что меня изрешетит, прежде чем я успею сделать хотя бы один скачок.

Проверяю это еще раз с помощью каски: выставляю ее наружу, слегка приподнимаю над краем воронки, чтобы установить, насколько низко идут пули. Через несколько секунд пуля вышибает каску из пальцев. Значит, огонь стелется над самой землей. Я нахожусь настолько близко к позициям противника, что, если попытаюсь удрать, их снайперы тут же возьмут меня на мушку.

Света становится все больше. Со жгучим нетерпением жду атаки с нашей стороны. У меня побелели пальцы — так крепко я сжимаю руки, так страстно молю судьбу, чтобы огонь прекратился и чтобы пришли мои товарищи.

Минуты уходят, как капли в песок. Я уже не решаюсь взглянуть на темную фигуру в углу воронки. Напряженно стараюсь не глядеть на нее и жду, жду... Пули шипят, они нависли стальной сеткой, конца не видно.

Тут я замечаю кровь у себя на руке и чувствую внезапный приступ тошноты. Беру горсть земли и натираю ею кожу — теперь рука по крайней мере грязная и крови больше не видно.

Огонь не ослабевает. Обе стороны ведут его одинаково интенсивно. Наверно, наши давно уже считают меня погибшим.

* * *

Хмурое раннее утро. Уже совсем светло. Хрип не прекращается. Я затыкаю уши, но очень скоро снова отнимаю пальцы, так как иначе мне не слышно всех других звуков.



Фигура в противоположном углу зашевелилась. Я испуганно вздрагиваю и невольно смотрю в ту сторону. Теперь я уже не могу оторвать глаз. Там лежит человек с маленькими усиками, голова у него свалилась набок, одна рука наполовину согнута в локте, и голова бессильно опирается на нее. Другая рука лежит на груди, она в крови.

Он умер, говорю я себе, он, конечно, умер, он уже ничего не чувствует, это не он хрипит, это только его тело. Но вот он пытается приподнять голову, на мгновение стон становится громче, затем человек снова припадает лбом к руке. Он не умер — он умирает, но еще не умер. Я начинаю пододвигаться к нему, останавливаюсь, опираюсь на руки и сползаю еще поближе, выжидаю... Дальше, дальше. Мне надо проползти все эти жуткие три метра, длинный, страшный путь. Наконец я добрался до него.

Тогда он открывает глаза. Должно быть, он меня все-таки услышал и смотрит на меня с выражением сильнейшего ужаса. Тело неподвижно, зато в устремленных вдаль глазах столько неизбежной тоски, что с минуту мне кажется: у них, наверно, хватило бы силы увлечь за собой тело. Хватило бы силы перенести его одним рывком за сотни километров. Он лежит сейчас тихо, совершенно спокойно, не издавая ни звука, хрипа больше не слышно, но глаза у него кричат, режут — в них сосредоточилась жизнь, делающая последнее неимоверное усилие, чтобы спастись, трепещущая от страха перед смертью, передо мной.

У меня подгибаются ноги, и я падаю на локти.

— Нет, нет, нет, — шепчу я.

Глаза следят за мной. Я не в силах пошевелиться, пока они смотрят на меня.

Потом его рука медленно соскальзывает с груди. Она опускается чуть заметно, всего лишь на несколько сантиметров, но с этим движением его глаза утратили свою власть надо мной. Я наклоняюсь к нему, качаю головой, шепчу: «Нет, нет, нет», поднимаю руку — я должен показать, что хочу ему помочь, — и глажу его лоб.

Заметив приближающуюся руку, глаза испуганно отпрянули, но теперь их взгляд теряет свою сосредоточенность, ресницы опускаются ниже, напряжение спадает. Я расстегиваю его воротник и поднимаю голову, чтобы ему было удобнее лежать.

Рот у него полуоткрыт, он силится сложить какие-то слова. Губы пересохли. Фляжки у меня нет — я не взял ее с собой. Но внизу, на грязном дне воронки, есть вода. Я слезаю вниз, вытаскиваю носовой платок, разворачиваю его, прижимаю его к земле и начерпываю горстью желтую воду, которая просачивается через него.

Он проглатывает ее. Я приношу ему еще. Затем расстегиваю ему мундир, чтобы перевязать его, насколько это возможно. Я должен сделать это по крайней мере на тот случай, если попаду к ним в плен. Они увидят тогда, что я хотел ему помочь, и не расстреляют меня. Он пытается сопротивляться, но в руке у него совсем нет силы. Рубаха слиплась, и ее не задерешь — сзади она пристегнута на пуговицах. Остается только разрезать ее.

Принимаюсь искать кинжал и нахожу его. Но когда я собираюсь разрезать рубаху, глаза еще раз открываются, и в них снова стоит крик, и они снова смотрят этим безумным взглядом, так что я поневоле заслоняю их ладонью, прижимаю веки пальцами и шепчу: «Ведь я хочу помочь тебе, товарищ, camarade, camarade, camarade». Я настойчиво твержу это слово, чтобы он меня понял.

У него три раны. Бинты из моего пакета прикрывают их, но кровь вытекает из-под повязки. Я затягиваю ее покрепче, тогда он стонет.

Это все, что я могу сделать. А теперь нам надо ждать, ждать...

О, эти долгие часы! Я снова слышу хрип. Сколько же времени нужно человеку, чтобы умереть? Я ведь знаю: его уже не спасти. Сначала я еще пытаюсь убедить себя, что он выживет, но в середине дня этот самообман рухнул, разлетелся в прах, сметенный его предсмертными стонами. Если бы только я не потерял револьвера, я бы пристрелил этого человека. Заколоть его я не могу.

В полдень мое сознание меркнет, и я бездумно дремлю где-то на его грани. Меня гложет голод, я чуть не плачу, так мне хочется есть, но никак не могу взять себя в руки. Приношу то и дело воды умирающему, а потом пью и сам.

Он первый человек, которого я убил своими руками и который умирает у меня на глазах, по моей вине. И Катю, и Кроппу, и Мюллеру тоже доводилось видеть людей, которых они застрелили, многие из них испытали это, во время рукопашной это бывает нередко...

И все-таки каждый его вздох обнажает мне сердце. У этого умирающего есть союзники — минуты и часы; у него есть незримый нож, которым он меня убивает, — время и мои мысли.

Я многое бы отдал за то, чтобы он выжил. Так тяжело лежать здесь и смотреть, как он умирает.

В три часа дня все кончено.

Мне становится легче. Но ненадолго. Вскоре мне начинает казаться, что переносить молчание еще труднее, чем слышать его стоны. Мне хотелось бы вновь услышать его хрип, отрывистый, то затихающий, то опять громкий и сильный.

Я делаю сейчас бессмысленные вещи. Но мне надо чем-то занять себя. Еще раз укладываю покойника поудобнее, хотя он уже ничего больше не чувствует. Закрываю ему глаза. Глаза у него карие, волосы черные, слегка вьющиеся на висках.

Под усиками пухлые, мягкие губы, нос с небольшой горбинкой, лицо смуглое; теперь оно не выглядит таким болезненно-бледным, как прежде, когда он еще был жив. На минуту оно даже кажется почти совсем здоровым; затем оно быстро превращается в одно из тех осунувшихся, отчужденных лиц, которые я так часто видел у покойников и которые так похожи друг на друга.

Уж, наверно, его жена думает сейчас о нем; она не знает, что случилось. Судя по его виду, он ей часто писал. Письма еще будут приходить к ней — завтра, через неделю, быть может, какое-нибудь запоздавшее письмо придет даже через месяц. Она будет читать его, и в этом письме он будет разговаривать с ней.

У меня становится все более скверно на душе, я не могу сдерживать наплыв мыслей. Как выглядит его жена? Уж не похожа ли она на ту худенькую, смуглую с той стороны канала? Разве я не могу считать ее своей? Быть может, теперь, после того, что случилось, она стала моей! Ах, если бы Канторек был сейчас здесь! А что, если бы моя мать увидела меня сейчас?..

Этот человек наверняка прожил бы еще лет тридцать, если бы я лучше запомнил, как мне идти обратно. Если бы он пробежал на два метра левее, он сидел бы сейчас у себя в окопе и писал бы новое письмо своей жене.

Но что проку в этих рассуждениях, ведь это наша общая судьба: если бы Кеммерих отставил свою ногу на десять сантиметров правее, если бы Хайе пригнулся на пять сантиметров ниже...

* * *

Молчание затянулось. Я начинаю говорить, потому что не могу иначе. Я обращаюсь к нему и высказываю ему все:

— Товарищ, я не хотел убивать тебя. Если бы ты спрыгнул сюда еще раз, я не сделал бы того, что сделал, — конечно, если бы и ты вел себя благоразумно. Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил. Теперь только я вижу, что ты такой же человек, как и я. Я помнил только о том, что у тебя есть оружие: гранаты, штык; теперь же я смотрю на твое лицо, думаю о твоей жене и вижу то общее, что есть у нас обоих. Прости меня, товарищ! Мы всегда слишком поздно прозреваем. Ах, если б нам почаще говорили, что вы такие же несчастные маленькие люди, как и мы, что вашим матерям так же страшно за своих сыновей, как и нашим, и что мы с вами одинаково боимся смерти, одинаково умираем и одинаково страдаем от боли! Прости меня, товарищ: как мог ты быть моим врагом? Если бы мы бросили наше оружие и сняли наши солдатские куртки, ты бы мог быть мне братом — точно так же, как Кат и Альберт. Возьми от меня двадцать лет жизни, товарищ, и встань. Возьми больше — я не знаю, что мне теперь с ней делать!

Канонада стихла, фронт спокоен, только потрескивают винтовки. Пули ложатся густо, это не беспорядочная стрельба — обе стороны ведут прицельный огонь. Мне нельзя выходить отсюда.

— Я напишу твоей жене, — торопливо говорю я умершему. — Я напишу ей, пусть она узнает об этом от меня. Я скажу ей все, что говорю тебе. Она не должна терпеть нужду, я буду ей помогать, и твоим родителям, и твоему ребенку тоже...

Его куртка полурасстегнута. Я быстро нахожу бумажник. Но я медлю развернуть его. В нем лежит солдатская книжка с его фамилией. Пока я не знаю его фамилии, я, быть может, еще забуду его, время сотрет его образ. А его фамилия — это гвоздь, который будет забит где-то у меня внутри, так что его уж никогда не вытащишь. Она будет обладать властью вновь и вновь вызывать в моей памяти все случившееся, и оно сможет тогда постоянно возвращаться и опять вставать передо мной.

Не в силах решиться, я держу бумажник в руке. Он падает и раскрывается. Из него выпадает несколько писем и фотографий. Я подбираю их и хочу вложить обратно, но голод, опасность, неопределен-

ность моего положения, часы, проведенные с мертвецом, — все эти гнетущие переживания довели меня до отчаяния. Я хочу ускорить развязку, усугубить мучения и разом покончить с ними. Так человек, у которого нестерпимо болит рука, со всего маху бьет ею о дерево — все равно, будь что будет!

С фотографий на меня смотрят женщина и маленькая девочка. Это любительские снимки узкого формата, сделанные на фоне увитой плющом стены. Рядом с ними лежат письма. Вынимаю их и пытаюсь читать. Я почти ничего не понимаю — почерк неразборчивый, к тому же французский язык я знаю неважно. Но каждое слово, которое мне удастся перевести, вонзается мне в грудь, как пуля, как нож.

Мой мозг перенапряжен. Но одно мне все-таки ясно: я не посмею написать этим людям, хоть и собирался это сделать. Это невозможно. Я еще раз смотрю на фотографии. Это небогатые люди. Я мог бы посылать им денежные переводы без подписи, когда-нибудь потом, когда я буду зарабатывать. Я цепляюсь за эту мысль, в ней есть что-то такое, на чем можно хоть ненадолго остановиться. Этот убитый солдат связан и с моей собственной жизнью, поэтому, если я хочу спастись, мне надо сделать и пообещать все; не задумываясь, клянусь я ему, что посвящу всю свою жизнь только ему и его семье; торопливо, брызжа слюной, я заверяю его в этом, а где-то в глубине души у меня таится надежда, что этим я откуплюсь и что, может быть, мне еще удастся выбраться отсюда, — мелкая хитрость в расчете на то, что там, мол, будет видно. И поэтому я раскрываю его солдатскую книжку и медленно читаю: «Жерар Дюваль, печатник».

Взяв у покойного карандаш, я записываю на конверте его адрес и потом вдруг поспешно засовываю все это обратно в его карман.

«Я убил печатника Жерара Дюваля. Теперь мне надо стать печатником, — думаю я, уже окончательно запутавшись, — стать печатником, печатником...»

* * *

Во второй половине дня я немного успокаиваюсь. Я напрасно боялся. Его имя уже не приводит меня в смятение.

— Товарищ, — говорю я, повернувшись к убитому, но теперь уже спокойным тоном. — Сегодня ты, завтра я. Но если я вернусь домой, я буду бороться против этого, против того, что сломило нас с тобой. У тебя отняли жизнь, а у меня? У меня тоже отняли жизнь. Обещаю тебе, товарищ: это не должно повториться, никогда.

Солнце стоит низко. Я оступел от голода и усталости. Все, что было вчера, представляется мне как в тумане, я уже потерял надежду выбраться отсюда. Сажу в полудреме и даже не соображаю, что дело идет к вечеру. Наступают сумерки. Теперь мне кажется, что время летит быстро. Еще час. Если бы дело было летом, еще три часа. Еще час.

Меня вдруг бросает в дрожь. А что, если мне что-нибудь помешает? Я уже не думаю об убитом, сейчас он мне совершенно безразличен. Во мне внезапно пробудилась жажда жизни, и все мои добрые намерения отступают перед ней в тень. Только для того, чтобы не накликать на себя беду в последнюю минуту, я машинально бубню:

— Я выполню все, что обещал тебе, товарищ, я выполню все, — но я знаю уже сейчас, что не сделаю этого.

Мне вдруг приходит в голову, что, когда я буду подползать, по мне могут открыться огонь мои же товарищи, ведь они не будут знать, что это я. Я начну кричать по возможности уже издалека, чтобы они поняли, что это я. Буду лежать перед окопами до тех пор, пока они мне не ответят.

Вот и первая звезда. На фронте по-прежнему затишье. Облегченно вздыхаю и от волнения разговариваю сам с собой:

— Теперь только не надейся на глупостей, Пауль. Спокойно, спокойно, Пауль, тогда ты спасен, Пауль.

Я называю себя по имени, и это помогает; как будто со мной говорит кто-то другой, чьи слова имеют надо мной больше власти.

Сумерки сгущаются. Мое волнение проходит, из осторожности я выжидаю, пока начнут подниматься первые ракеты. Затем выползаю из воронки. Убитого я уже позабыл. Передо мной опускающаяся на землю ночь и освещенное бледным светом поле. Засаекаю ямку. В тот момент, когда свет гаснет, перебираюсь одним броском туда, ищу глазами следующую ямку, шмыгаю в нее, пригибаюсь, прокрадываюсь дальше.

Приближаюсь к окопам. Вдруг я вижу при вспышке ракеты, что в проволоке что-то шевелится, а затем замирает. Лежу не двигаясь. При следующей вспышке проволока опять покачивается. Это наверняка солдаты из наших окопов. Но я не выдаю себя до тех пор, пока не узнаю наших касок. Тогда я окликаю их.

Тотчас же я слышу в ответ свое имя: «Пауль! Пауль!»

Я окликаю их еще раз. Это Кат и Альберт. Прихватив с собой плащ-палатку, они отправились искать меня.

— Ты ранен?

— Нет, нет.

Мы сползаем в траншею. Я прошу чего-нибудь поесть и с жадностью набрасываюсь на еду. Мюллер дает мне сигарету. Я рассказываю в нескольких словах, что со мной произошло. Ведь ничего необычного тут нет; такие случаи нередки. Вся разница в том, что на этот раз атака началась ночью. А вот когда Кат был в России, так там он пролежал однажды двое суток по ту сторону русских позиций, прежде чем ему удалось пробиться к своим.

Об убитом печатнике я ничего не говорю.

Лишь на следующее утро чувствую, что не выдержу. Мне надо рассказать об этом Кату и Альберту. Они успокаивают меня:

— Тут уж ничего не изменишь. А что ж тебе оставалось делать? Для этого-то ты и находишься здесь!

Я слушаю их и думаю, что с ними мне нечего бояться, меня утешает уже то, что они рядом со мной. Что за вздор я городил, когда лежал там, в воронке!

— Взгляни-ка вон туда, — показывает Кат.

У брустверов стоит несколько снайперов. Пристроив свои винтовки с оптическими прицелами, они держат под наблюдением большой участок вражеских позиций. Время от времени раздаются выстрел.

Через некоторое время мы слышим возгласы:

— Вот это влепил!

— Видал, как он подпрыгнул?

Сержант Эльрих с гордостью оборачивается и записывает себе очко. Сегодня на его счету три точно зафиксированных попадания, и он стоит на первом месте в снайперской таблице.

— Что ты на это скажешь? — спрашивает Кат.

Я качаю головой.

— Если он будет продолжать в том же духе, сегодня к вечеру у него в петличке будет еще одна ленточка, — говорит Кропп.

— Или же его произведут в вице-фельдфебели, — добавляет Кат.

Мы глядим друг на друга.

— Я бы этого делать не стал, — говорю я.

— И все-таки, — отвечает Кат, — очень хорошо, что ты видишь это именно сейчас.

Сержант Эльрих снова подходит к брустверу. Дуло его винтовки рыщет то направо, то налево.

— О том, что переживаешь ты, после этого и говорить не стоит, — поддразнивает Ката Альберт.

Теперь я уже и сам себя не понимаю.

— Это все оттого, что мне пришлось так долго пролежать с ним вместе, — говорю я. — В конце концов, война есть война.

Винтовка Эльриха щелкает коротко и сухо.

X

Мы раздобыли себе теплое местечко. Наша команда из восьми человек должна охранять деревню, которую пришлось оставить, так как противник слишком сильно обстреливал ее.

В первую очередь нам приказано присматривать за продовольственным складом, из которого еще не все вывезли. Продовольствием мы должны себя обеспечивать сами, из наличных запасов. Насчет этого мы мастера. Мы — это Кат, Альберт, Мюллер, Тьяден, Леер, Детеринг. Здесь собралось все наше отделение. Правда, Хайе уже нет в живых. Но все равно можно считать, что нам еще здорово повезло, — во всех других отделениях потерь гораздо больше, чем у нас.

Под жильё мы выбираем себе бетонированный погреб с выходящей наружу лестницей. Вход защищен еще особой бетонной стенкой.

Затем мы развиваем бурную деятельность. Нам вновь представился случай отдохнуть не только телом, но и душой. А таких случаев мы не упускаем — положение у нас отчаянное, и мы не можем подолгу разводить сантименты. Предаваться унынию можно лишь до тех пор, пока дела идут еще не совсем скверно. Нам же приходится смотреть на вещи просто, другого выхода у нас нет. Настолько просто, что порой, когда мне в голову забредет на минутку какая-нибудь мысль еще из тех, довоенных времен, мне становится прямо-таки страшно. Но такие мысли долго не задерживаются.

Мы должны относиться к нашему положению как можно спокойнее. Мы пользуемся для этого любым случаем. Поэтому рядом с ужасами войны, бок о бок с ними, без всякого перехода, в нашей жизни стоит стремление подурачиться. Вот и сейчас мы с рвением трудимся над тем, чтобы создать себе идиллию, — разумеется, идиллию в смысле жратвы и сна.

Перво-наперво мы выстилаем пол матрацами, которые натаскали из домов. Солдатский зад тоже порой не прочь понежиться на мягком. Только в середине погреба есть свободное место. Затем мы раздобываем одеяла и перины, неправдоподобно мягкие, совершенно роскошные штуки. Благо всего этого в деревне достаточно. Мы с Альбертом находим разборную кровать красного дерева с балдахином из голубого шелка и с кружевными накидками. С нас сошло семь потов, пока мы ее волокли сюда, но нельзя же, в самом деле, отказывать себе в этом, тем более что через несколько дней ее наверняка разнесет в куски снарядами.

Мы с Катом идем в разведку по домам. Вскоре нам удастся подцепить десяток яиц и два фунта довольно свежего масла. Мы стоим в какой-то гостиной, как вдруг раздается треск и, проломив стену, в комнату влетает железная печурка, которая со свистом пронесется мимо нас и на расстоянии какого-нибудь метра снова уходит в другую стену. Остаются две дыры. Печурка прилетела из дома напротив, в который угодила снаряд.

— Повезло, — ухмыляется Кат, и мы продолжаем наши поиски.

Вдруг мы настораживаем уши и пускаемся наутек. Вслед за тем мы останавливаемся как зачарованные: в небольшом закуте резвятся два живых поросенка. Протираем глаза и снова осторожно заглядываем туда. В самом деле, они еще там. Мы трогаем их рукой. Сомнений нет, это действительно две молодые свинки.

Лакомое же будет блюдо! Примерно в пятидесяти шагах от нашего блиндажа стоит небольшой домик, в котором квартировали офицеры. На кухне мы находим огромную плиту с двумя конфорками, сковороды, кастрюли и котлы. Здесь есть все, включая внушительный запас мелко наколотых дров, сложенных в сарае. Не дом, а полная чаша.

Двоих мы с утра отправили в поле искать картошку, морковь и молодой горох. Мы живем на широкую ногу, консервы со склада нас не устраивают, нам захотелось свеженького. В чулане уже лежат два кочна цветной капусты.

Поросята заколоты. Это дело взял на себя Кат. К жаркому мы хотим испечь картофельные оладьи. Но у нас нет терок для картошки. Однако и тут мы скоро находим выход из положения: берем крышки от жестяных банок, пробиваем в них гвоздем множество дырок, и терки готовы. Трое из нас надевают плотные перчатки, чтобы не расцарапать пальцы, двое других чистят картошку, и дело спорится.

Кат священнодействует над поросятами, морковкой, горохом и цветной капустой. К капусте он даже приготовил белый соус. Я пеку картофельные оладьи, по четыре штуки за один прием. Через десять минут я наловчился подкидывать на сковородке поджарившиеся с одной стороны оладьи так, что они переворачиваются в воздухе и снова шлепаются на свое место. Поросята жарятся целиком. Все стоят вокруг них, как у алтаря.

Тем временем к нам пришли гости: двое радистов, которых мы великодушно приглашаем отобедать с нами. Они сидят в гостиной, где стоит рояль. Один из них подсел к нему и играет, другой поет «На Везере». Он поет с чувством, но произношение у него явно саксонское. Тем не менее мы растроганно слушаем его, стоя у плиты, на которой жарятся и пекутся все эти вкусные вещи.

Через некоторое время мы замечаем, что нас обстреливают, и не на шутку. Привязные аэростаты засекали дымок из нашей трубы, и противник открыл по нам огонь. Это те вредные маленькие шутовинки, которые вырывают неглубокую ямку и дают так много далеко и низко разлетающихся осколков. Они так и свистят вокруг нас, все ближе и ближе, но не можем же мы, в самом деле, бросить здесь всю еду. Постепенно эти подлюги пристрелялись. Несколько осколков залетает через верхнюю раму окна в кухню. С жарким мы быстро управимся. Но печь оладьи становится все труднее. Разрывы следуют так быстро друг за другом, что осколки все чаще шлепаются об стену и сыплются через окно. Заслышав свист очередной игрушки, я каждый раз приседаю, держа в руках сковородку с оладьями, и прижимаюсь к стенке у окна. Затем я сразу же поднимаюсь и продолжаю печь.

Саксонец перестал играть — один из осколков угодил в рояль. Мало-помалу и мы управились со своими делами и организуем отступление. Выждав следующий разрыв, два человека берут кастрюли с овощами и пробегают пулей пятьдесят метров до блиндажа. Мы видим, как они ныряют в него.

Еще один разрыв. Все пригибаются, и вторая пара — у каждого в руках по кофейнику с первоклассным кофе — рысцей пускается в путь и успевает укрыться в блиндаже до следующего разрыва.

Затем Кат и Кропп подхватывают большую сковороду с подрумянившимся жарким. Это гвоздь нашей программы. Вой снаряда, приседание — и вот уже они мчатся, преодолевая пятьдесят метров незащищенного пространства.

Я пеку последние четыре олады; за это время мне дважды приходится присесть на пол, но все-таки теперь у нас на четыре олады больше, а это мое любимое кушанье.

Потом я хватаю блюдо с высокой стопкой оладий и стою, прильнув к двери. Шипение, треск — и я галопом срываюсь с места, обеими руками прижав блюдо к груди. Я уже почти у цели, как вдруг слышится нарастающий свист. Несусь, как антилопа, и вихрем огибаю бетонную стенку. Осколки барабанят по ней; я скатываюсь по лестнице в погреб; локти у меня разбиты, но я не потерял ни одной олады и не опрокинул блюдо.

В два часа мы садимся за обед. Мы едим до шести. До половины седьмого пьем кофе, офицерский кофе с продовольственного склада, и курим при этом офицерские сигары и сигареты — все из того же склада. Ровно в семь мы начинаем ужинать. В десять часов мы выбрасываем за дверь пороссячи скелетики. Затем переходим к коньяку и рому, опять-таки из запасов благословенного склада, и снова курим длинные, толстые сигары с наклейками на брюшке. Тьяден утверждает, что не хватает только одного — девочек из офицерского борделя.

Поздно вечером мы слышим мяуканье. У входа сидит маленький серый котенок. Мы подманиваем его и даем ему поесть. От этого к нам самим снова приходит аппетит. Ложась спать, мы все еще ждем.

Однако ночью нам приходится несладко. Мы съели слишком много жирного. Свежий молочный поросенок очень обременителен для желудка. В блиндаже не прекращается хождение. Человека два-три все время сидят снаружи со спущенными штанами и проклинаят все на свете. Сам я делаю десять заходов. Около четырех часов ночи мы ставим рекорд: все одиннадцать человек, караульная команда и гости, расселись вокруг блиндажа.

Горящие дома полыхают в ночи, как факелы. Снаряды летят из темноты и с грохотом врезаются в землю. Колонны машин с боеприпасами мчатся по дороге. Одна из стен склада снесена. Шоферы из колонны толкутся у пролома, как пчелиный рой, и, несмотря на сыплющиеся осколки, растаскивают хлеб. Мы им не мешаем. Если б мы вздумали остановить их, они бы нас поколотили, только и всего. Поэтому мы действуем иначе. Объясняем, что мы — охрана, и, так как нам известно, что где лежит, мы приносим консервы и обмениваем их на вещи, которых нам не хватает. Чего над ними трястись, ведь все равно здесь скоро ничего не останется! Для себя мы приносим из склада шоколад и едим его целыми плитками. Кат говорит, что его полезно есть, когда живот не дает покоя ногам.

Проходит почти две недели, в течение которых мы только и делаем, что едим, пьем и бездельничаем. Никто нас не тревожит. Деревня медленно исчезает под разрывами снарядов, а мы живем счастливой жизнью. Пока цела хоть часть склада, нам больше ничего не нужно, и у нас есть только одно желание — остаться здесь до конца войны.

Тьяден стал таким привередой, что выкуривает сигары только до половины. Он с важностью объясняет, что это вошло у него в привычку. Кат тоже чудит: проснувшись поутру, он первым делом кричит:

— Эмиль, принесите икру и кофе!

Вообще все мы страшно зазнались, один считает другого своим денщиком, обращается к нему на «вы» и дает ему поручения.

— Кропп, у меня подошва чешется, потрудитесь поймать вошь.

С этими словами Леер протягивает Альберту свою ногу, как избалованная артистка, а тот тащит его за ногу вверх по лестнице.

— Тьяден!

— Что?

— Вольно, Тьяден! Кстати, запомните: не «что», а «слушаюсь». Ну-ка, еще разок. Тьяден!

Тьяден раздражается бранью и вновь цитирует знаменитое место из гетевского «Геца фон Берлихингена», которое у него всегда на языке.

Проходит еще неделя, и мы получаем приказ возвращаться. Нашему счастью пришел конец. Два больших грузовика забирают нас с собой. На них горой навалены доски. Но мы с Альбертом все же умудряемся водрузить сверху нашу кровать с балдахином, с покрывалом из голубого шелка, матрацами и кружевными накидками. В изголовье мы кладем по мешку с отборными продуктами. Время от времени поглаживаем их. Твердые копченые колбасы, банки с ливером и с консервами, коробки с сигарами наполняют наши сердца ликованием. У каждого из нашей команды есть с собой такой мешок.

Кроме того, мы с Кроппом спасли еще два красных плюшевых кресла. Они стоят в кровати, и мы, развалясь, сидим на них, как в театральной ложе. Словно шатер, трепещет и раздувается над нами шелковое покрывало. У каждого во рту сигара. Так мы сидим, разглядывая сверху местность.

Между нами стоит клетка, в которой жил попугай; мы разыскали ее для кошки. Кошку мы взяли с собой, она лежит в клетке перед своей мисочкой и мурлыкает.

Машины медленно катятся по дороге. Мы поем. У нас за спиной, там, где осталась теперь уже окончательно покинутая деревня, снаряды взметают фонтаны земли.

* * *

Через несколько дней мы выступаем, чтобы занять одно местечко. По пути нам встречаются беженцы — выселенные жители этой деревни. Они тащат с собой свои пожитки — на тачках, в детских колясках и просто за спиной. Они идут понурившись, на их лицах написаны горе, отчаяние, затравленность и покорность. Дети цепляются за руки матерей, иногда малышей ведет девочка постарше, а те, спотыкаясь, бредут за ней и все время оборачиваются на-



зад. Некоторые несут с собой какую-нибудь жалкую куклу. Проходя мимо нас, все молчат.

Пока что мы движемся походной колонной, ведь не станут же французы обстреливать деревню, из которой еще не ушли их земляки. Но вот через несколько минут в воздухе раздается вой, земля дрожит, слышатся крики — снаряд угодил в замыкающий колонну взвод, и осколки основательно потрепали его. Мы бросаемся врассыпную и падаем ничком, но в то же мгновение я замечаю, что то чувство напряженности, которое всегда бессознательно диктовало мне под огнем единственно правильное решение, на этот раз изменило мне; в голове у меня молнией мелькает мысль: «Ты пропал», во мне шевелится отвратительный, парализующий страх. Еще мгновение — и я ощущаю в левой ноге резкую, как удар хлыста, боль. Я слышу, как вскрикивает Альберт; он где-то рядом со мной.



— Вставай, бежим, Альберт! — ору я ему, ибо мы с ним лежим без укрытия, на открытом пространстве.

Он с трудом отрывается от земли и бежит. Я держусь рядом с ним. Нам надо перемахнуть через живую изгородь; она выше человеческого роста. Кропп цепляется за ветки, я подхватываю его ногу, он громко вскрикивает, я подталкиваю его, он перелетает через изгородь. Прыжок, я лечу вслед за Кроппом и падаю в воду — за изгородью оказался пруд.

Лица у нас перепачканы грязью и тиной, но мы нашли хорошее укрытие. Поэтому мы забираемся в воду по самое горло. Заслышав вой снаряда, мы ныряем в нее с головой.

Проделав это раз десять, я чувствую, что больше не могу. Альберт тоже стонет:

— Пошли отсюда, а то я свалюсь и утону.

— Куда тебя угораздило? — спрашиваю я.

— Кажется, в колено.

— А бежать ты можешь?

— Пожалуй, что могу.

— Тогда побежали!

Мы добираемся до придорожной канавы и, пригнувшись, несемся вдоль по ней. Огонь догоняет нас. Дорога ведет к складу боеприпасов. Если он взлетит, от нас никогда не найдут даже и пуговицы. Поэтому мы изменяем план и бежим в поле, под углом к дороге.

Альберт начинает отставать.

— Беги, я догоню, — говорит он и падает на землю.

Я трясу его и тащу за руку:

— Поднимись, Альберт! Если ты сейчас ляжешь, тебе уже не добежать. Пошли, я буду тебя поддерживать!

Наконец мы добираемся до небольшого блиндажа. Кропп плюхается на пол, и я перевязываю его. Пуля вошла над самым коленом. Затем я осматриваю самого себя. На штанах у меня кровь, на руке — тоже. Альберт накладывает на входные отверстия бинты из своих пакетиков. Он уже не может двигать ногой, и мы оба удивляемся, как это нас вообще хватило на то, чтобы притащиться сюда. Это все, конечно, только со страху, — даже если бы нам оторвало ступни, мы все равно убежали бы оттуда. Хоть на культяпках, а убежали бы.

Я еще кое-как могу ползать и подзываю проезжающую мимо повозку, которая забирает нас. В ней полно раненых. Их сопровождает санитар, он загоняет нам под лопатку шприц — это противостолбнячная прививка.

В полевом лазарете нам удастся добиться, чтобы нас положили вместе. Нам дают жиденький бульон, который мы съедаем с презрением, хотя и жадно, — мы видали лучшие времена, но сейчас нам все-таки хочется есть.

— Значит, верно, по домам, Альберт? — спрашиваю я.

— Будем надеяться, — отвечает он. — Если б только знать, что со мной такое.

Боль становится сильнее. Под повязкой все горит огнем. Мы без конца пьем воду, кружку за кружкой.

— Где у меня рана? Намного выше колена? — спрашивает Кропп.

— По меньшей мере на десять сантиметров, Альберт, — отвечаю я.

На самом деле там, наверно, сантиметра три.

— Вот что я решил, — говорит он через некоторое время, — если они мне отнимут ногу, я поставлю точку. Не желаю ковылять по свету на костылях.

Так мы лежим наедине со своими мыслями и ждем.

Вечером нас несут в «разделочную». Мне становится страшно, и я быстро соображаю, что мне делать, ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи не задумываясь ампутуют руки и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из кусочков. Мне вспоминается Кеммерих. Ни за что не дам себя хлороформировать, даже если мне придется проломить кому-нибудь голову.

Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране, так что у меня в глазах темнеет.

— Нечего притворяться, — бранится он, продолжая кромсать меня.

Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два санитаря крепко держат меня за руки; одну мне удастся высвободить, и я уже собираюсь съездить врачу по очкам, но он вовремя замечает это и отскакивает.

— Дайте этому типу наркоз! — в бешенстве кричит он.

Я сразу же становлюсь смиренным.

— Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня.

— То-то же, — скрипит он и снова берется за свои инструменты.

Это блондинчик со шрамами от дуэлей и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от силы тридцать. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня, — он так и роется в моей ране, время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни — пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука.

Врач выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением: он тщательно накладывает мне лубок и говорит:

— Завтра на поезд — и домой!

Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с Кроппом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра.

— Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт.

Мне удастся вручить фельдшеру две сигары с наклейками из моего запаса и вернуть при этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает:

— У тебя что, еще есть?

— Хорошая пригоршня, — говорю я. — И у моего товарища, — я показываю на Кроппа, — тоже найдется. Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам из окна санитарного поезда.

Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело: понюхав еще раз, он говорит:

— Ладно.

Ночью мы ни на минуту не можем уснуть. В нашей палате уми-

рает семь человек. Один из них целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы, затем пение переходит в предсмертный хрип. Другой слезает с кровати и успеваает доползти до подоконника. Он лежит под окном, словно собравшись в последний раз выглянуть на улицу.

* * *

Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши. Одежда тоненькие. Мы ждем уже два часа.

Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не забываю о нашем плане. Будто невзначай я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки с сигарами, и даю ему одну в виде задатка. За это он укрывает нас плащ-палаткой.

— Эх, Альберт, дружище, — вспоминаю я, — а помнишь нашу кровать с балдахинном и кошку?

— И кресла, — добавляет он.

Да, кресла из красного плюша. По вечерам мы восседали на них, как короли, и уже собирались выдавать их напрокат. По сигарете за час. Мы жили бы себе забот не зная, да еще имели бы выгоду.

— Альберт, — вспоминаю я, — а наши мешки со жратвой...

Нам становится грустно. Все это нам очень пригодилось бы. Если бы поезд отходил днем позже, Кат наверняка разыскал бы нас и принес бы нам нашу долю.

Ведь вот невезение. В желудке у нас похлебка из муки — скудные лазаретные харчи, — а в наших мешках лежат свиные консервы. Но мы уже настолько ослабели, что не в состоянии волноваться по этому поводу.

Поезд прибывает лишь утром, и к этому времени в носилках хлопает вода. Фельдшер устраивает нас в один вагон. Повсюду снуют сестры милосердия из Красного Креста. Кроппа укладывают внизу. Меня приподнимают — мне отведено место над ним.

— Ну обождите же, — вдруг вырывается у меня.

— В чем дело? — спрашивает сестра.

Я еще раз бросаю взгляд на постель. Она застлана белоснежными полотняными простынями, непостижимо чистыми, на них даже видны складки от утюга. А я шесть недель не менял рубашки, она у меня черная от грязи.

— Вы не можете влезть сами? — озабоченно спрашивает сестра.

— Залезть-то я залезу, — говорю я, чувствуя, что вопреки, — только снимите сначала белье.

— Зачем же?

Мне кажется, что я грязен, как свинья. Неужели меня положат сюда?

— Да ведь я... — Я не решаюсь закончить свою мысль.

— Вы его немножко измажете? — спрашивает она, стараясь приободрить меня. — Это не беда, мы его потом постираем.



— Нет, не в этом дело, — говорю я в волнении.

Я совсем не готов к столь внезапному возвращению в лоно цивилизации.

— Вы лежали в окопах, так неужели же мы для вас простыни не постираем? — продолжает она.

Я смотрю на нее; она молода и выглядит такой же свежей, хрустящей, чистенько вымытой и приятной, как и все вокруг; трудно поверить, что это предназначено не только для офицеров, от этого становится не по себе и даже как-то страшновато.

И все-таки эта женщина — суший палач: она заставляет меня говорить.

— Я только думал... — На этом я умолкаю: должна же она понять, что я имею в виду.

— Что же такое?

— Да я насчет вшей, — выпаливаю я наконец.

Она смеется:

— Надо же и им когда-нибудь пожить в свое удовольствие. Ну что ж, теперь мне все равно. Я карабкаюсь на полку и укрываюсь с головой.

Чьи-то пальцы шарят по одеялу. Это фельдшер. Получив сигары, он уходит.

Через час мы замечаем, что мы уже едем.

* * *

Ночью я просыпаюсь. Кропп тоже ворочается. Поезд тихо катится по рельсам. Все это еще как-то непонятно: постель, поезд, домой. Я шепчу:

— Альберт!

— Что?

— Ты не знаешь, где тут уборная?

— По-моему, вон за той дверью направо.

— Сейчас посмотрим.

В вагоне темно, я нащупываю край полки и собираюсь осторожно соскользнуть вниз. Но моя нога не находит точки опоры, я начинаю сползать с полки — на раненую ногу не обопрешься, и я с треском лечу на пол.

— Черт побери! — говорю я.

— Ты ушибся? — спрашивает Кропп.

— А ты что, не слыхал, что ли? — огрызаюсь я. — Так треснул я головой, что...

Тут в конце вагона открывается дверь. Сестра подходит с фонарем в руках и видит меня.

— Он упал с полки...

Она щупает мне пульс и притрагивается к моему лбу.

— Но температуры у вас нет.

— Нет, — соглашаюсь я.

— Наверно, что-нибудь пригрезилось? — спрашивает она.

— Да, наверно, — уклончиво отвечаю я.

И снова начинаются расспросы. Она глядит на меня своими ясными глазами, такая чистенькая и удивительная, — нет, я никак не могу сказать ей, что мне нужно.

Меня снова поднимают вверх. Ничего себе уладилось! Ведь когда она уйдет, мне снова придется спускаться вниз! Если бы она была старуха, я бы еще, пожалуй, сказал ей, в чем дело, но она ведь такая молоденькая — ей никак не больше двадцати пяти. Ничего не поделаешь, ей я этого сказать не могу.

Тогда на помощь мне приходит Альберт, — ему стесняться нечего, ведь речь-то идет не о нем. Он подзывает сестру к себе:

— Сестра, ему надо...

Но и Альберт тоже не знает, как ему выразиться, чтобы это прозвучало вполне благопристойно. На фронте, в разговоре между собой, нам было бы достаточно одного слова, а здесь, в присутствии

такой вот дамы... Но тут он вдруг вспоминает школьные годы и бойко заканчивает:

— Ему бы надо выйти, сестра.

— Ах вот оно что, — говорит сестра. — Так для этого ему все не надо слезать с постели, тем более что он в гипсе. Что же именно вам нужно? — обращается она ко мне.

Я до смерти перепуган этим новым оборотом дела, так как не имею ни малейшего представления, какая терминология принята для обозначения этих вещей. Сестра приходит мне на помощь:

— По-маленькому или по-большому?

Вот срамота! Я чувствую, что весь взмок, и смущенно говорю:

— Только по-маленькому.

Ну что ж, дело все-таки кончилось не так уж плохо.

Мне дают «утку». Через несколько часов моему примеру следует еще несколько человек, а к утру мы уже привыкли и не стесняясь просим то, что нам нужно.

Поезд идет медленно. Иногда он останавливается, чтобы выгрузить умерших. Останавливается он довольно часто.

* * *

Альберт температурит. Я чувствую себя сносно, нога у меня болит, но гораздо хуже то, что под гипсом, очевидно, сидят вши. Нога ужасно зудит, а почесать нельзя.

Дни у нас проходят в дремоте. За окном бесшумно проплывают виды. На третью ночь мы прибываем в Хербесталь. Я узнаю от сестры, что на следующей остановке Альберта высадят — у него ведь температура.

— А где мы остановимся? — спрашиваю я.

— В Кельне.

— Альберт, мы останемся вместе, — говорю я, — вот увидишь.

Когда сестра делает следующий обход, я сдерживаю дыхание и загоняю воздух вовнутрь. Лицо у меня наливаются кровью и багровеет. Сестра останавливается:

— У вас боли?

— Да, — со стоном говорю я. — Как-то вдруг начались.

Она дает мне градусник и идет дальше. Теперь я знаю, что мне делать, ведь я не зря учился у Ката. Эти солдатские градусники не рассчитаны на многоопытных вояк. Стоит только загнать ртуть наверх, как она застрянет в своей узкой трубочке и больше уже не опустится.

Я сую градусник под мышку наискось, ртутью вверх, и долго пощелкиваю по нему указательным пальцем. Затем встряхиваю и переворачиваю его. Получается 37,9. Но этого мало. Осторожно подержав его над горящей спичкой, я догоняю температуру до 38,7.

Когда сестра возвращается, я надуваюсь, как индюк, стараюсь дышать отрывисто, гляжу на нее осоловелыми глазами, беспокойно вращаюсь и говорю вполголоса:

— Ой, мочи нет терпеть!

Она записывает мою фамилию на листочек. Я твердо знаю, что мою гипсовую повязку без крайней необходимости трогать не будут. Меня высаживают с поезда вместе с Альбертом.

* * *

Мы лежим в лазарете при католическом монастыре, в одной палате. Нам очень повезло: католические больницы славятся своим хорошим уходом и вкусной едой. Лазарет весь заполнен ранеными из нашего поезда; среди них многие в тяжелом состоянии. Сегодня нас еще не осматривают, так как здесь слишком мало врачей. По коридору то и дело провозят низенькие тележки на резиновом ходу, и каждый раз кто-нибудь лежит на них, вытянувшись во весь рост. Чертовски неудобная поза — так только спать хорошо.

Ночь проходит очень беспокойно. Никто не может уснуть. Под утро нам удастся ненадолго задремать. Я просыпаюсь от света. Дверь открыта, и из коридора слышатся голоса. Мои соседи по палате тоже просыпаются. Один из них — он лежит уже здесь несколько дней — объясняет нам, в чем дело:

— Здесь наверху сестры каждое утро читают молитвы. У них это называется заутреней. Чтобы не лишать нас удовольствия послушать, они открывают дверь в палату.

Конечно, это очень заботливо с их стороны, но у нас болят все кости и трещит голова.

— Что за безобразие! — говорю я. — Я только успел уснуть.

— Здесь наверху лежат с легкими ранениями, вот они и решили, что с нами это можно делать, — отвечает мой сосед.

Альберт стонет. Меня разбирает злость, и я кричу:

— Эй вы там, замолчите!

Через минуту в палате появляется сестра. В своем черно-белом монашеском одеянии она напоминает хорошенькую куклу для кофейника.

— Закройте же дверь, сестра, — говорит кто-то.

— Дверь открыта потому, что в коридоре читают молитву, — отвечает она.

— А мы еще не выспались.

— Лучше молиться, чем спать. — Она стоит и улыбается невинной улыбкой. — А кроме того, сейчас уже семь часов.

Альберт опять застонал.

— Закройте дверь! — рявкаю я.

Сестра опешила, — как видно, у нее не укладывается в голове, как можно так кричать.

— Мы ведь молимся и за вас тоже.

— Все равно, закройте дверь!

Она исчезает, оставив дверь незакрытой. В коридоре снова раздается монотонное бормотание. Это меня бесит, и я говорю:

— Считаю до трех. Если за это время они не прекратят, я в них чем-нибудь запущу.

— И я тоже, — заявляет один из раненых.

Я считаю до пяти. Затем беру пустую бутылку, прицеливаюсь и бросаю ее через дверь в коридор. Бутылка разлетается на мелкие осколки. Голоса молящихся умолкают. В палате появляется стайка сестер. Они ругаются, но в очень выдержанных выражениях.

— Закройте двери! — кричим мы.

Они удаляются. Та, маленькая, что давеча заходила к нам, уходит последней.

— Безбожники, — лепечет она, но все же закрывает дверь.

Мы одержали победу.

* * *

В полдень приходит начальник лазарета и дает нам взбучку. Он страшит нас крепостью и даже чем-то еще похуже. Но все эти военные врачи, точно так же как и интенданты, все-таки не более чем чиновники, хоть они и носят длинную шпагу и эполеты, а поэтому даже новобранцы не принимают их всерьез. Пусть себе говорит. Ничего он с нами не сделает.

— Кто бросил бутылку? — спрашивает он.

Я еще не успел сообразить, стоит ли мне признаваться, как вдруг кто-то говорит:

— Я!

На одной из коек приподнимается человек с густой, спутанной бородой. Всем не терпится узнать, зачем он назвал себя.

— Вы?

— Так точно. Я разволновался из-за того, что нас без толку разбудили, и потерял контроль над собой, так что уже не соображал, что я делаю. — Он говорит как по писаному.

— Ваша фамилия?

— Иозеф Хамахер, призван из резерва.

Инспектор уходит.

Всех нас разбирает любопытство.

— Зачем же ты назвал свою фамилию? Ведь это вовсе не ты сделал!

Он ухмыляется:

— Ну и что же, что не я? У меня есть «отпущение грехов».

Теперь каждому понятно, в чем тут дело. Тот, у кого есть «отпущение грехов», может делать все, что ему заблагорассудится.

— Так вот, — рассказывает он, — я был ранен в голову, и после этого мне выдали свидетельство о том, что временами я бываю невменяемым. С тех пор мне все нипочем. Меня нельзя раздражать. Так что со мной ничего не сделают. Этот дяденька с первого этажа будет здорово разозлен. А назвал я себя потому, что мне понравилось, как бросали бутылку. Если завтра они снова откроют дверь, мы швырнем еще одну.

Мы шумно радуемся. Пока среди нас находится Иозеф Хамахер, мы можем делать самые рискованные вещи.

Затем за нами приезжают бесшумные коляски.

Бинты присохли. Мы мычим, как быки.

* * *

В нашей палате лежит восемь человек. Самое тяжелое ранение у Петера, черномазого курчавого паренька, — у него сложная сквозная рана в легких. У его соседа Франца Вехтера раздроблено предплечье, и поначалу нам кажется, что его дела не так уж плохи. Но на третью ночь он окликает нас и просит позвонить — ему кажется, что кровь прошла через бинты.

Я с силой нажимаю на кнопку. Ночная сиделка не приходит. Вечером мы заставили ее побегать — всем нам сделали перевязку, а после этого раны всегда болят. Один просил положить ему ногу так, другой — этак, третьему хотелось пить, четвертому надо было взбить подушку, — под конец толстая старуха начала злобно ворчать, а уходя хлопнула дверью. Сейчас она, наверно, думает, что все начинается сначала, и поэтому не хочет идти.

Мы ждем. Затем Франц говорит:

— Позвони еще!

Я звоню. Сиделка все не появляется. Ночью на весь наш флигель остается только одна сестра, может быть, сейчас ее как раз позвали в другие палаты.

— Франц, ты уверен, что у тебя кровотечение? — спрашиваю я. — А то нас опять распекать будут.

— Бинты промокли. Не может ли кто-нибудь зажечь свет?

Но со светом тоже ничего не получается: выключатель у двери, а встать никто не может. Я давлю на кнопку звонка, пока не затекает палец. Быть может, сестра задремала? Ведь у них так много работы, у них уже днем такой переутомленный вид. К тому же они то и дело молятся.

— Не швырнуть ли нам бутылку? — спрашивает Иозеф Хамахер, человек, которому все дозволено.

— Раз она не слышит звонка, так этого уж и подавно не услышит.

Наконец дверь отворяется. На пороге появляется заспанная старуха. Увидев, что стряслось с Францем, она начинает суетиться и восклицает:

— Почему же никто не дал об этом знать?

— Мы же звонили. А ходить никто из нас не может.

У него было сильное кровотечение, и ему снова делают перевязку. Утром мы видим его лицо: оно пожелтело и заострилось, а ведь еще вчера вечером он выглядел почти совсем здоровым. Теперь сестра стала навещать нас чаще.

Иногда за нами ухаживают сестры из Красного Креста. Они добрые, но порой им не хватает сноровки. Перекладывая нас с носилок на постель, они нередко причиняют нам боль, а потом так пугаются, что от этого нам становится еще хуже.

Монашенкам мы доверяем больше. Они умеют ловко подхватывать раненого, но нам хотелось бы, чтобы они были чуточку повеселее. Впрочем, у некоторых из них есть чувство юмора, и эти, право же, молодцы. Кто из нас не оказал бы, например, любой услуги сестре Либертине? Стоит нам хотя бы издали увидеть эту удивительную женщину, как во всем флигеле сразу же повышается настроение. И таких здесь немало. За них мы готовы в огонь и воду. Нет, жаловаться не приходится — монашенки обращаются с нами прямо-таки как со штатскими. А когда вспомнишь, что делается в гарнизонных лазаретах, так просто страшно становится.

Франц Вехтер так и не пошел на поправку. Однажды его забирают и больше не приносят. Иозеф Хамахер поясняет:

— Теперь мы его не увидим. Они снесли его в мертвецкую.

— Что это за мертвецкая? — спрашивает Кропп.

— Ну, палата смертников.

— Да что это такое?

— Это такая комнатка в конце флигеля. Туда помещают тех, кто собрался протянуть ноги. Там стоят две койки. Ее все так и называют мертвецкой.

— Но зачем же они это делают?

— А им так меньше возни. Потом, это удобнее — комнатка-то находится как раз у лифта, по которому поднимаются в морг. А может быть, это делается для того, чтобы никто не умирал в палатах, на глазах у других. Да и присматривать за ним легче, когда он лежит один.

— А ему самому-то каково?

Иозеф пожимает плечами:

— Так ведь кто туда попал, обычно уже не очень-то соображает, что с ним делают.

— И что же, здесь все это знают?

— Кто здесь уже давно, те, конечно, знают.

* * *

После обеда на койку Франца Вехтера кладут новенького. Через несколько дней его тоже уносят. Иозеф делает выразительный жест рукой. Он не последний — на наших глазах приходят и уходят еще многие.

Иногда у постелей сидят родственники; они плачут или тихо, смущенно разговаривают. Одна старушка не хочет уходить, однако нельзя же ей оставаться здесь на ночь. На следующее утро она приходит очень рано, но ей следовало бы прийти еще раньше, — по-

дойдя к койке, она видит, что на ней уже лежит другой. Ее приглашают пройти в морг. Она принесла с собой яблоки и теперь отдает их нам.

Маленький Петер тоже чувствует себя хуже. Его температурная кривая угрожающе лезет вверх, и в один прекрасный день у его койки останавливается низенькая коляска.

— Куда? — спрашивает он.

— В перевязочную.

Его поднимают на коляску. Но сестра делает промах: она снимает с крючка его солдатскую куртку и кладет ее рядом с ним, чтобы не заходить за ней еще раз. Петер тотчас же догадывается, в чем дело, и пытается скатиться с коляски:

— Я остаюсь здесь!

Они не дают ему приподняться. Он негромко кричит своими продырявленными легкими:

— Не хочу в мертвецкую!

— Да мы возедем тебя в перевязочную.

— А на что вам тогда моя куртка?

Он уже не в силах говорить. Он шепчет хриплым, взволнованным шепотом:

— Оставьте меня здесь!

Они ничего не отвечают и вывозят его из палаты. В дверях он пытается подняться. Его черная курчавая голова трясется, глаза полны слез.

— Я еще вернусь! Я еще вернусь! — кричит он.

Дверь закрывается. Мы все взволнованы, но молчим. Наконец Иозеф говорит:

— Это мы уж не от первого слышим. Да только кто туда попал, тому уж не выжить.

* * *

Мне делают операцию, и после этого меня два дня рвет. Писарь моего врача говорит, что мои кости никак не хотят срастаться. У одного из нашего отделения они срослись неправильно, и ему переламывают их заново. Это тоже удовольствие маленькое. Среди вновь прибывших есть два молоденьких солдата, страдающих плоско-стопием. Во время обхода они попадают на глаза главному врачу, который обрадованно останавливается возле их коек.

— От этого мы вас избавим, — говорит он. — Небольшая операция, и у вас будут здоровые ноги. Сестра, запишите их.

Когда он уходит, всезнающий Иозеф предостерегает новичков:

— Смотрите не соглашайтесь на операцию! Это, видите ли, у нашего старика есть такой пунктик по научной части. Он и во сне видит, как бы заполучить себе кого-нибудь для этого дела. Он вам сделает операцию, и после этого стопа у вас и в самом деле будет уже не плоская, зато она будет искривленная, и вы до конца дней своих будете ковылять с палочкой.

— Что же нам теперь делать? — спрашивает один из них.

— Не давать согласия! Вас сюда прислали, чтобы лечить раны, а не для того, чтобы устранять плоскостопие! На фронте-то у вас какие ноги были? А, вот то-то же! Сейчас вы еще можете ходить, а вот побываете у старика под ножом — и станете калеками. Ему нужны подопытные кролики, поэтому для него война — самое распрекрасное время, как и для всех врачей. Загляните-ка в нижнее отделение — там ползает добрый десяток людей, которых он оперировал. Некоторые сидят здесь годами, с пятнадцатого и даже с четырнадцатого года. Никто из них не стал ходить лучше, чем раньше, наоборот, почти все — хуже, у большинства ноги в гипсе. Каждые полгода он снова тащит их на стол и ломает их кости по-новому, и каждый раз им говорят, что теперь-то успех обеспечен. Подумайте хорошенько, без вашего согласия он не имеет права этого делать.

— Эх, дружище, — говорит один из них устало, — лучше ноги, чем башка. Можешь ты сказать наперед, по какому месту тебе достанется, когда тебя снова пошлют туда? Пусть делают со мной что хотят, мне лишь бы домой попасть. Лучше ковылять, да остаться в живых.

Его товарищ, молодой парень нашего возраста, не дает согласия. На следующее утро старик велит доставить их вниз; там он начинает их уговаривать и кричит на них, так что в конце концов они все-таки соглашаются. Что же им остается делать? Ведь они — просто серая скотинка, а он — большая шишка. Их приносят в палату под хлороформом и в гипсе.

* * *

У Альберта дела плохи. Его несут в операционную — на ампутацию. Нogu отнимают целиком, до самого верха. Теперь он совсем почти перестал разговаривать. Как-то раз он говорит, что собирается застрелиться, что он сделает это, как только доберется до своего револьвера.

Прибывает новый эшелон с ранеными. В нашу палату кладут двух слепых. Один из них — совсем еще молодой музыкант. Подавая ему обед, сестры всегда прячут от него ножи — у одной из них он уже однажды вырвал нож из рук. Несмотря на эти предосторожности, с ним приключилась беда.

Вечером, за ужином, обслуживающую его сестру на минутку вызывают из палаты, и она ставит тарелку с вилкой на его столик. Он ошупью находит вилку, берет ее в руку и с размаху вонзает себе в сердце, затем хватает ботинок и изо всех сил колотит им по черенку. Мы зовем на помощь, но в одиночку с ним не справишься, нужны три человека, чтобы отнять у него вилку. Тупые зубцы успели войти довольно глубоко. Он ругает нас всю ночь, так что никто не может уснуть. Утром у него начинается припадок истерии.

У нас снова освобождаются койки. Дни идут за днями, и каждый из них — это боль и страх, стоны и хрип. «Мертвецкие» теперь уже ни к чему, их слишком мало, по ночам люди умирают в палатах, в том числе и в нашей. Смерть обгоняет мудрую предсмотрительность наших сестер.

Но вот в один прекрасный день дверь распахивается, на пороге появляется коляска, а на ней — бледный, худой — восседает, победно подняв черную курчавую голову, Петер. Сестра Либертина с сияющим лицом подкатывает его к его старой койке. Он вернулся из мертвецкой. А мы давно уже считали, что он умер.

Он поглядывает во все стороны:

— Ну, что вы на это скажете?

И даже Иозеф Хамахер вынужден признать, что такого ему еще не случилось видеть.

* * *

Через некоторое время кое-кто из нас получает разрешение вставать с постели. Мне тоже дают костыли, и я понемногу начинаю ковылять. Однако я редко пользуюсь ими, я не в силах вынести взгляд Альберта, устремленный на меня, когда я иду по палате. Он всегда смотрит на меня такими странными глазами. Поэтому время от времени я удираю в коридор — там я чувствую себя свободнее.

Этажом ниже лежат раненные в живот, в позвоночник, в голову и с ампутацией обеих рук или ног. В правом крыле — люди с раздробленными челюстями, отравленные газом, раненные в нос, уши и глотку. Левое крыло отведено слепым и раненым в легкие, в таз, в суставы, в почки, в мошонку, в желудок. Лишь здесь видишь наглядно, насколько уязвимо человеческое тело.

Двое раненых умирают от столбняка. Их кожа становится серой, тело цепенеет, под конец жизнь теплится — еще очень долго — в одних только глазах. У некоторых перебитая рука или нога подвязана на шнурке и висит в воздухе, словно вздернутая на виселице. У других к спинке кровати приделаны растяжки с тяжелыми гирями на конце, которые держат заживающую руку или ногу в напряженном положении. Я вижу людей с распоротыми кишками, в которых постоянно скапливается кал. Писарь показывает мне рентгеновские снимки бедренных, коленных и плечевых суставов, раздробленных на мелкие осколки.

Кажется непостижимым, что к этим изодранным в клочья телам приставлены человеческие лица, еще живущие обычной, повседневной жизнью. А ведь это только один лазарет, только одно его отделение! Их сотни тысяч в Германии, сотни тысяч во Франции, сотни тысяч в России. Как же бессмысленно все то, что написано, сделано и передумано людьми, если на свете возможны такие вещи! До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови, если она допустила, чтобы на свете существовали сотни тысяч

таких вот застенков. Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война.

Я молод — мне двадцать лет, но все, что я видел в жизни, — это отчаяние, смерть, страх и сплетение нелепейшего бездумного прозябания с безмерными муками. Я вижу, что кто-то натравливает один народ на другой и люди убивают друг друга, в безумном ослеплении покоряясь чужой воле, не ведая, что творят, не зная за собой вины. Я вижу, что лучшие умы человечества изобретают оружие, чтобы продлить этот кошмар, и находят слова, чтобы еще более утонченно оправдать его. И вместе со мной это видят все люди моего возраста, у нас и у них, во всем мире, это переживает все наше поколение. Что скажут наши отцы, если мы когда-нибудь поднимемся из могил и предстанем перед ними и потребуем отчета? Чего им ждать от нас, если мы доживем до того дня, когда не будет войны? Долгие годы мы занимались тем, что убивали. Это было нашим призванием, первым призванием в нашей жизни. Все, что мы знаем о жизни, — это смерть. Что же будет потом? И что станет с нами?

* * *

Самый старший у нас в палате — Левандовский. Ему сорок лет, у него тяжелое ранение в живот, и он лежит в лазарете уже десять месяцев. Лишь за последние недели он оправился настолько, что может встать и, изогнув поясницу, проковылять несколько шагов.

Вот уже несколько дней он сильно взволнован. Из захолустного польского городишка пришло письмо от его жены, в котором она пишет, что скопила денег на дорогу и теперь может навестить его.

Она уже выехала и должна со дня на день прибыть сюда. У Левандовского пропал аппетит, даже сосиски с капустой он отдает товарищам, едва притронувшись к своей порции. Он только и знает, что расхаживает с письмом по палате; каждый из нас прочел его уже раз десять, штемпеля на конверте проверялись бесконечное число раз, оно все в жирных пятнах и так захватано, что букв совсем почти не видно, и наконец происходит то, чего и следовало ожидать, — у Левандовского подскакивает температура и ему снова приходится лечь в постель.

Он не виделся с женой два года. За это время она родила ему ребенка; она привезет его с собой. Но мысли Левандовского заняты вовсе не этим. Он рассчитывал, что ко времени приезда его старухи ему разрешат выходить в город, ведь каждому ясно, что посмотреть на свою жену, конечно, приятно, но если человек так долго был с ней в разлуке, ему хочется по возможности удовлетворить и кое-какие другие желания.

Левандовский подолгу обсуждал этот вопрос с каждым из нас, ведь на этот счет у солдат нет секретов. Те из нас, кого уже отпускают в город, называли ему несколько отличных уголков в садах



и парках, где бы ему никто не помешал, а у одного оказалась на примете даже небольшая комнатка.

Но что толку от всего этого? Левандовский лежит в постели, и его осаждают заботы. Ему теперь и жизнь не мила — так мучит его мысль о том, что ему придется упустить этот случай. Мы утешаем его и обещаем, что постараемся как-нибудь повернуть это дельце.

На следующий день является его жена — маленькая, сухонькая женщина с боязливymi, быстро бегающими птичьими глазками, в черной мантилье с брыжами и лентами. Бог знает откуда она этукую выкопала, должно быть, в наследство получила.

Женщина что-то тихо бормочет и робко останавливается в дверях. Она испугалась, что нас здесь шестеро.

— Ну, Марья, — говорит Левандовский, с бедовым видом двигая своим кадыком, — входи, не бойся, они тебе ничего не сделают.

Левандовская обходит койки и здоровается с каждым из нас за руку, затем показывает младенца, который успел тем временем испачкать пеленки. Она принесла с собой большую вышитую бисером сумку; вынув из нее чистый кусок фланели, она проворно перепеленывает ребенка. Это помогает ей преодолеть свое первоначальное смущение, и она начинает разговаривать с мужем.

Тот нервничает, то и дело косясь на нас своими круглыми глазами навывает, и вид у него самый несчастный.

Время сейчас подходящее — врач уже сделал обход, в худшем случае в палату могла бы заглянуть сестра. Поэтому один из нас выходит в коридор — выяснить обстановку. Вскоре он возвращается и делает знак:

— Никогошеньки нет. Валяй, Иоганн! Скажи ей, в чем дело, и действуй.

Они о чем-то говорят друг с другом по-польски. Наша гостья смущенно смотрит на нас, она немного покраснела. Мы добродушно ухмыляемся и энергично отмахиваемся — ну что, мол, здесь такого! К черту все предрассудки! Они хороши для других времен. Здесь лежит столяр Иоганн Левандовский, искалеченный на войне солдат, а вот его жена. Кто знает, когда он с ней свидится снова, он хочет ею обладать, пусть его желание исполнится, и дело с концом!

На случай, если какая-нибудь сестра все-таки появится в коридоре, мы выставляем к дверям двух человек, чтобы перехватить ее и занять разговором. Они обещают покараулить четверть часа.

Левандовский может лежать только на боку. Поэтому один из нас закладывает ему за спину еще несколько подушек. Младенца вручают Альберту, затем мы на минутку отворачиваемся, черная мантилья исчезает под одеялом, а мы с громким стуком и с шуточками режемся на скат.

Все идет хорошо. Я набрал одних крестей, да и то мелочь, но мне каким-то чудом удастся вывернуться. Из-за этого мы совсем почти забыли о Левандовском. Через некоторое время младенец начинает реветь, хотя Альберт изо всей силы раскачивает его на руках. Затем раздается тихий шелест и шуршание, и когда мы невзначай поднимаем головы, то видим, что ребенок уже сосет свой рожок на коленях у матери. Дело сделано.

Теперь мы чувствуем себя как одна большая семья; жена Левандовского совсем повеселела, а сам Левандовский, вспотевший и счастливый, лежит в своей постели и весь так и сияет.

Он распаковывает вышитую сумку. В ней лежит несколько отличных колбас. Левандовский берет нож — торжественно, словно это букет цветов — и разрезает их на кусочки. Он широким жестом показывает на нас, и маленькая, сухонькая женщина подходит к каждому, улыбается и делит между нами колбасу. Теперь она кажется прямо-таки хорошенькой. Мы называем ее мамашей, а она радуется этому и взбивает нам подушки.

Через несколько недель я начинаю ежедневно ходить на лечебную гимнастику. Мою ногу пристегивают к педали и дают ей разминку. Рука давно уже зажила.

С фронта прибывают новые эшелоны раненых. Бинты теперь не из марли, а из белой гофрированной бумаги — с перевязочным материалом на фронте стало туго.

Альбертова культя заживает хорошо. Рана почти закрылась. Через несколько недель его выпишут на протезирование. Он по-прежнему мало говорит и стал намного серьезнее, чем раньше. Зачастую он умолкает на полуслове и смотрит в одну точку. Если бы не мы, он давно бы покончил с собой. Но теперь самое трудное время у него позади. Иногда он даже смотрит, как мы играем в скат.

После выписки мне предоставляют отпуск.

Мать не хочет расставаться со мной. Она такая слабенькая. Мне еще тяжелее, чем в прошлый раз.

Затем из полка приходит вызов, и я снова еду на фронт.

Мне трудно прощаться с моим другом Альбертом Кроппом. Но такова уж доля солдата — со временем он привыкает и к этому.

XI

Мы уже перестали считать недели. Когда я прибыл сюда, стояла зима и взметаемые разрывами снарядов смерзшиеся комья земли были почти такими же опасными, как осколки. Сейчас деревья снова зазеленели. Фронт и бараки чередой сменяют друг друга, и в этом заключается наша жизнь. Мы отчасти уже привыкли к этому, война — это нечто вроде опасной болезни, от которой можно умереть, как умирают от рака и туберкулеза, от гриппа и дизентерии. Только смертельный исход наступает гораздо чаще, и смерть приходит в гораздо более разнообразных и страшных обличьях.

Наши думы — глина; сменяющие друг друга дни месят ее; когда мы на отдыхе, к нам приходят мысли о хорошем, а когда мы лежим под огнем, они умирают. Внутри у нас все изрыто, как изрыта местность вокруг нас.

Сейчас так живут все, не только мы одни; прошлое утратило свое значение, люди и в самом деле не помнят его. Различия, созданные образованием и воспитанием, почти что стерты, они ощущаются лишь с трудом. Порой они дают преимущества, помогая лучше разобраться в обстановке, но у них есть и свои теневые стороны, они порождают ненужную щепетильность и сдержанность, которую приходится преодолевать. Как будто мы были когда-то монетами разных стран; потом их переплавили, и теперь на них оттиснут один и тот же чекан. Чтобы отличить их друг от друга, нужно очень тщательно проверить металл, из которого они отлиты. Мы прежде всего солдаты, и лишь где-то на заднем плане в нас каким-то чудом стыдливо прятается человеческая личность.

Все мы — братья, связанные странными узами, в которых есть нечто от воспетого в народных песнях товарищества, от солидарности заключенных, от продиктованной отчаянием сплоченности приговоренных к смертной казни; нас породнила та жизнь, которой мы живем, особая форма бытия, порожденная постоянной опасностью, напряженным ожиданием смерти и одиночеством и сводящаяся к тому, что человек бездумно присчитывает дарованные ему часы к ранее прожитым, не испытывая при этом абсолютно никаких высоких чувств. Смесь героического с банальным — вот какое определение можно было бы дать нашей жизни, но только кто станет над ней задумываться. Вот один из частных случаев: нас оповестили, что противник идет в атаку, и Тьяден с молниеносной быстротой съедает свою порцию горохового супа с салом — ведь Тьяден не знает, будет ли он еще жив через час. Мы долго спорим, правильно ли он поступил. Кат считает, что этого делать нельзя, — ведь в бою тебя могут ранить в живот, а когда желудок полон, такие ранения опаснее, чем когда он пуст.

Подобные вещи являются для нас проблемами, мы относимся к ним серьезно, да иначе и быть не может. Здесь, на грани смерти, жизнь ужасающе прямолинейна; она сводится к самому необходимому, и все остальное спит глухим сном; вот эта-то примитивность и спасает нас. Если бы мы были более сложными существами, мы давно бы уже сошли с ума, дезертировали или же были бы убиты. Мы словно альпинисты на снежных вершинах — все функции организма должны служить только сохранению жизни, и в силу необходимости они подчинены этой задаче. Все остальное отбрасывается, так как оно привело бы к ненужной трате сил. Для нас это единственный путь к спасению, и в часы затишья, когда загадочные отсветы былого показывают мне, как в тусклом зеркале, отделившиеся от меня контуры моего нынешнего бытия, я нередко кажусь самому себе чужим и удивляюсь тому, что не имеющая названия деятельная сила, которую условно называют жизнью, сумела приспособиться даже к этим формам. Все другие ее проявления находятся в состоянии зимней спячки, жизнь сосредоточилась на том, чтобы не прокараулить угрожающую ей отовсюду смерть; наша жизнь превратила нас в мыслящих животных, чтобы вооружить нас инстинктом. Она притупила все наше существо, чтобы нас не сломили кошмары, которые навалились бы на нас, если бы мы мыслили ясно и сознательно; она пробудила в нас чувство товарищества, чтобы выволочить нас из бездн одиночества. Она дала нам равнодушие дикарей, чтобы мы могли наперекор всему наслаждаться каждой светлой минутой и сберечь ее про запас как средство защиты от натиска мертвящей пустоты. Наш суровый быт замкнут в самом себе, он протекает где-то на самой поверхности жизни, и лишь изредка какое-нибудь событие роняет в него искры. И тогда из глубины внезапно прорывается пламя неизбывной, ужасающей тоски.

В эти опасные мгновения мы видим, что наша приспособляемость является все же чем-то искусственным, что это не просто спо-

койствие, а судорожное усилие быть спокойным. Внешние формы нашего бытия мало чем отличаются от образа жизни бушменов, но если бушмены могут жить так всю жизнь, потому что сама природа создала их такими, а напряжение духовных сил может привести только к тому, что они станут более развитыми существами, то у нас дело обстоит как раз наоборот: мы напрягаем свои внутренние силы не для того, чтобы совершенствоваться, а для того, чтобы спуститься на несколько ступеней ниже. Для них это состояние естественно, и им легко быть такими, мы же достигаем этого искусственно, ценой невероятных усилий. Иной раз ночью, во сне, случается, что на нас нахлынут видения, и мы просыпаемся, все еще под властью их очарования, и с ужасом ощущаем, как непрочен тот порог, как призрачна та граница, что отделяет нас от мрака. Мы — маленькие язычки пламени, едва защищенные шаткими стенами от бури уничтожения и безумия, трепещущие под ее порывами и каждую минуту готовые угаснуть навсегда. Приглушенный шум боя смыкается тогда вокруг нас неумолимым кольцом, и, сжавшись в комочек, уйдя в себя, мы смотрим широко раскрытыми глазами в ночной мрак. Только дыхание спящих товарищей немного успокаивает нас, и мы начинаем ждать утра.

* * *

Каждый день и каждый час, каждый снаряд и каждый убитый подтачивают эту непрочную опору, и с годами она быстро разрушается. Я замечаю, что и вокруг меня она тоже вот-вот готова обрушиться.

Вот, скажем, эта глупая история с Детерингом.

Он был одним из тех, кто всегда старался держаться особняком. Его погубила цветущая вишня, которую он однажды увидел в саду. Мы как раз возвращались с передовых на новые квартиры. Дело было на рассвете, и эта вишня неожиданно встала перед нами на повороте дороги возле самых барачков. Листьев на ней не было, она была вся в белой кипени цветов.

Вечером Детеринг куда-то пропал. Наконец он вернулся в барак, держа в руке несколько веток с вишневым цветом. Мы стали подтрунивать над ним и спросили, уж не приглянулась ли ему какая-нибудь невеста и не собирается ли он на смотрины. Он ничего не ответил и лег на постель. Ночью я услышал, как он копошится, и мне показалось, что он увязывает свой мешок. Почувствовав, что дело неладно, я подошел к нему. Он сделал вид, будто ничего не случилось, а я сказал ему:

— Не делай глупостей, Детеринг.

— Да брось ты, мне просто что-то не спится...

— А зачем это ты принес цветы?

— Будто бы мне уж и цветов нельзя принести, — угрюмо огрызнулся Детеринг и, помолчав с минуту, добавил: — Дома у меня большой сад с вишнями. Как зацветут, так сверху, с сеновала, кажет-

ся, будто простыню расстелили, — все бело. Сейчас им как раз самая пора.

— Может, скоро тебе отпуск дадут. А может быть, тебя на лето откомандируют домой, ведь у тебя большое хозяйство.

Он кивает мне в ответ, но вид у него отсутствующий. Когда этих крестьян что-нибудь заденет за живое, на лице у них появляется какое-то странное выражение, не то как у коровы, не то как у тоскующего бога, что-то дурацкое, но в то же время волнующее. Чтобы отвлечь Детеринга от его мыслей, я прошу у него кусок хлеба. Он не колеблясь дает мне его. Это подозрительно, так как вообще-то он скуповат. Поэтому я не ложусь спать. Ночь проходит спокойно, утром он ведет себя как обычно.

Очевидно, он заметил, что я за ним наблюдаю. Тем не менее на следующее утро его нет на месте. Я вижу это, но ничего не говорю, чтобы дать ему выгадать время; может быть, он проскочит. Известно немало случаев, когда людям удавалось бежать в Голландию.

Однако во время переклички его хватились. Через неделю мы узнаем, что его задержали полевые жандармы, эта армейская полиция, которую все так единодушно презирают. Он держал путь в Германию (это был, конечно, самый безнадежный вариант), и, как и следовало ожидать, он вообще действовал очень глупо. Из этого совершенно ясно вытекало, что его побег был совершен необдуманно и сгоряча, под влиянием острого приступа тоски по дому. Но что смыслят в таких вещах армейские юристы, сидящие в ста километрах от линии фронта? С тех пор мы о Детеринге больше ничего не слыхали.

* * *

Порой эти опасные, исподволь назревающие взрывы носят несколько иной характер — они напоминают взрыв перегретого парового котла. Тут надо рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб Бергер.

Наши окопы давно уже разрушены снарядами, наш передний край стал эластичным, так что, по сути дела, мы уже не ведем настоящей позиционной войны. Атаки сменяются контратаками, как волны прилива и отлива, а после этого линия окопов становится рваной и начинается ожесточенная борьба за каждую воронку. Передний край прорван, повсюду засели отдельные группы, там и сям остались огневые точки в воронках, из которых и ведется бой.

Мы сидим в воронке, наискосок от нас сидят англичане, они сметаю наш фланг и оказываются у нас за спиной. Мы окружены. Оторваться от земли нам трудно, туман и дым то и дело застилают нас, никто не понял бы, что мы хотим сдаться, да, может быть, мы вовсе и не собираемся сдаваться — в такие минуты и сам не знаешь, что ты сейчас сделаешь. Мы слышим приближающиеся разрывы ручных гранат. Наш пулемет прочесывает широкий сектор перед нами. Вода в кожах испаряется, мы поспешно передаем по цепи жестянки

из-под лент, каждый мочится в них — теперь у нас снова есть влага и мы можем продолжать огонь. Но грохот у нас за спиной слышится все ближе и ближе. Еще несколько минут — и мы пропали.

Вдруг где-то бешено застрочил второй пулемет, он бьет с самой короткой дистанции, из соседней воронки. Его притащил Бергер. Теперь сзади нас начинается контратака, мы вырываемся из кольца, отходим назад и соединяемся с нашими. Вскоре мы сидим в довольно надежном укрытии. Один из ползавших к полевой кухне подносчиков пищи рассказывает, что в нескольких сотнях шагов отсюда лежит подстреленная связная собака.

— Где? — спрашивает Бергер.

Подносчик описывает ему место. Бергер собирается пойти туда, чтобы вынести собаку из-под огня или пристрелить ее. Еще полгода тому назад это ему и в голову бы не пришло, он не стал бы делать глупостей. Мы пытаемся удержать его. Но когда он и вправду уходит, мы только говорим: «С ума сошел!» — и отступаемся от него. Если уж не удалось сразу же сбить человека с ног и крепко взять его за руки, то такой припадок фронтальной истерии становится опасным. А рост у Бергера метр восемьдесят, и он самый сильный у нас в роте.

Бергер и в самом деле сошел с ума, ведь он так и лезет под огонь, но дело тут в том, что сейчас в него ударила та незримая молния, которая подстерегает каждого из нас, она-то и превратила его в одержимого. У других это проявляется иначе: одни начинают буйнить, другие хотят куда-то убежать. Был у нас и такой случай, когда человек все время пытался зарыться в землю, рыл ее руками, ногами и даже грыз.

Конечно, многие симулируют такие припадки, но уже самая попытка симуляции является, по сути дела, симптомом. Бергера, который хотел прикончить собаку, вынесли из-под огня с раздробленным тазом, а один из тех, кто его нес, получил при этом пулю в икру.

* * *

Мюллер убит. Осветительная ракета, пущенная где-то совсем близко, угодила ему в живот. Он прожил еще полчаса, в полном сознании и в ужасных мучениях. Перед смертью он передал мне свой бумажник и завещал мне свои ботинки — те самые, что достались ему тогда в наследство от Кеммериха. Я ношу их, они мне как раз впору. После меня их получит Тяден, я их ему пообещал.

Нам удалось похоронить Мюллера, но он вряд ли долго пролежит в своей могиле. Наши позиции переносят назад. На той стороне слишком много свежих английских и американских полков. У них слишком много тушенки и пшеничной муки. Слишком много аэропланов.

Мы же отошдали и изголодались. Нас кормят так плохо и подмешивают к пайку так много суррогатов, что от этой пищи мы бодем. Фабриканты в Германии обогатились — у нас кишки сводит от поноса. В уборных никогда не найдешь свободного местечка — надо

было показать им в тылу эти серые, желтые, болезненные, покорные лица, этих скорчившихся от рези людей, которые тужатся до крови и с кривой усмешкой на дрожащих от боли губах говорят друг другу:

— Ей-богу, нет смысла застегивать штаны.

Наша артиллерия приумолкла — слишком мало боеприпасов, а стволы так разносились, что бьют очень неточно, с большим рассеиванием, и иногда снаряды залетают к нам в окопы. У нас мало лошадей. Наши свежие части комплектуются из малокровных, быстро утомляющихся мальчиков, которые не могут таскать на себе ранец, но зато умеют умирать. Тысячами. Они ничего не смыслят в войне, они только идут вперед и подставляют себя под пули. Однажды, когда они только что сошли с поезда и еще не умели укрываться, единственный вражеский летчик скосил шутки ради целых две роты этих юнцов.

— Скоро в Германии никого не останется, — говорит Кат.

Мы не надеемся, что все это когда-нибудь кончится. Мы вообще не заглядываем так далеко вперед. Ты можешь получить пулю в лоб — тогда конец; тебя могут ранить, тогда следующий этап — лазарет. Если тебе не ампутируют руку или ногу, тогда ты рано или поздно попадешься в лапы одного из тех врачей в чине капитана и с крестом за военные заслуги в петличке, которые говорят тебе, когда ты приходишь на комиссию: «Что, одна нога чуть-чуть короче? На фронте вам не придется бегать, если вы не труси!.. Запишем: «Годен»... Можете идти!»

Кат рассказывает один из анекдотов, обошедших весь фронт от Вогезов до Фландрии, — анекдот о военном враче, который читает на комиссии фамилии по списку и, не глядя на подошедшего, говорит: «Годен. На фронте нужны солдаты». К нему подходит солдат на деревяшке, врач опять говорит: «Годен».

— И тогда, — Кат возвышает голос, — солдат и говорит ему: «У меня уже есть деревянная нога, но если вы меня пошлете на фронт и мне оторвут голову, я закажу себе деревянную голову и стану врачом». — Мы все глубоко удовлетворены этим ответом.

Должно быть, бывают и хорошие врачи, мы сами видели многих, но так как каждому солдату приходится не один раз проходить разные осмотры, то в конце концов он все же становится жертвой одного из тех многочисленных «охотников за героями», которые озабочены только тем, чтобы в их списках стояло как можно меньше негодных и ограниченно годных. Таких историй рассказывают немало, и обычно в них звучит еще больше горечи, чем в этой. И все-таки они отнюдь не являются признаком бунтарских настроений и паникерства; истории эти правдивы, и они честно называют вещи своими именами: уж очень много у нас в армии обмана, несправедливости и подлости. Как же не удивляться тому, что, несмотря на это, во все более безнадежную борьбу по-прежнему вступает полк за полком, что атака следует за атакой, хотя линия фронта прогибается и трещит?

Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в

броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны.

Орудий, обрушивающих на нас ураганный огонь, мы не видим, стрелковые цепи атакующего нас противника состоят из таких же людей, как мы, а эти танки страшны тем, что они — машины, их гусеницы бегут по замкнутому кругу, бесконечные, как война. Они — подлинные орудия уничтожения, эти бесчувственные чудовища, которые ныряют в воронки и снова вылезают из них, не зная преград, армада ревуших, изрыгающих дым броненосцев, неуязвимые, подминающие под себя мертвых и раненых стальные звери. Увидев их, услышав тяжелую поступь этих исполинов, мы съеживаемся в комок и чувствуем, как тонка наша кожа, как наши руки превращаются в соломинки, а наши гранаты — в спички.

Снаряды, облака газов и танковые дивизионы — увечье, удушие, смерть.

Дизентерия, грипп, тиф — боли, горячка, смерть.

Окопы, лазарет, братская могила — других возможностей нет.

Во время одной из таких атак погибает командир нашей роты Бертинк. Это был настоящий фронтовик, один из тех офицеров, которые при всякой передрыге всегда впереди. Он пробыл у нас два года и ни разу не был ранен; ясно, что в конце концов с ним что-то должно было случиться.

Мы сидим в воронке, нас окружили. Вместе с пороховым дымом к нам доносится какая-то вонь — не то нефть, не то керосин. Мы обнаруживаем двух солдат с огнеметом. У одного за спиной бак, другой держит в руках шланг, из которого вырывается пламя. Если они приблизятся настолько, что струя огня достанет нас, нам будет крышка — отступить нам сейчас некуда.

Мы начинаем вести по ним огонь. Но они подбираются ближе, и дело принимает скверный оборот. Бертинк лежит с нами в воронке. Заметив, что мы никак не можем в них попасть, — а промах мы даем потому, что огонь очень сильный и нам нельзя высунуться, — он берет винтовку, вылезает из воронки и начинает целиться с локтя. Он стреляет, и в то же мгновение мы слышим щелчок упавшей возле него пули. Она его задела. Но он лежит на том же месте и продолжает целиться; на время он опускает винтовку, потом прикладывается снова; наконец слышится треск выстрела. Бертинк роняет винтовку, говорит: «Хорошо» — и сползает обратно в воронку. Шедший сзади огнеметчик ранен, он падает, шланг выскальзывает из рук второго солдата, пламя брызжет во все стороны, и на нем загорается одежда.

У Бертинка прострелена грудь. Через некоторое время осколок отрывает ему подбородок. У этого же осколка еще хватает силы вспороть Лееру бедро. Леер стонет и выжимается на локтях; он быстро истекает кровью, и никто не может ему помочь. Через несколько минут он бессильно оседает на землю, как бурдюк, из которого вытекла вода. Что ему теперь пользы в том, что в школе он был таким хорошим математиком...

Месяцы бегут. Это лето 1918 года — самое кровавое и самое трудное. Летние дни, непостижимо прекрасные, все в золоте и синеве, стоят как ангелы над чертой смерти. Каждый из нас знает, что войну мы проигрываем. Об этом много не говорят. Мы отходим, после нынешнего большого наступления союзников мы уже не сможем продвигаться вперед — у нас нет больше людей и боеприпасов.

Однако кампания продолжается... Люди продолжают умирать...

Лето 1918 года... Никогда еще наша жизнь с ее скупой отменными радостями не казалась нам такой желанной, как сейчас, — красные маки, теплые вечера в полутемных, прохладных комнатах, черные, таинственные в сумерках деревья, звезды, шум струящейся воды, долгий сон и сновидения... О жизнь, о жизнь!

Лето 1918 года... Никогда еще не знали мы более тяжелых мук, чем те невысказанные муки, которые мы терпим, выступая на передовые. По фронтовым частям поползли невесть откуда взявшиеся и будоражащие слухи о перемирии и о мире. Они сеют смятение в сердцах, и идти туда стало так невыносимо трудно!

Лето 1918 года... Никогда еще окопная жизнь не была более горькой и ужасной, чем в часы, проведенные под огнем, когда бледные, прижавшиеся к грязной земле лица и судорожно сжатые руки молят об одном: «Нет! Нет! Только не сейчас! Только не сейчас, когда так близок конец!»



Лето 1918 года... Ветер надежды, несущийся над выжженными полями, неистовая лихорадка нетерпения, разочарования, небывало обостренный, трепетный страх смерти, мучительный вопрос: почему? Почему этому не положат конец? И откуда эти настойчиво пробирающиеся слухи о конце?

* * *

Здесь так часто появляются аэропланы и летчики действуют так уверенно, что они охотятся на отдельных людей, как на зайцев. На каждый немецкий аэроплан приходится по меньшей мере пять английских и американских. На одного голодного, усталого немецкого солдата в наших окопах приходится пять сильных, свежих солдат в окопах противника. На одну немецкую армейскую буханку хлеба приходится пятьдесят банок мясных консервов на той стороне. Мы не разбиты, потому что мы хорошие, более опытные солдаты; мы просто подавлены и отодвинуты назад многократно превосходящим нас противником.

Мы только что пережили несколько дождливых недель — серое небо, серая, расплзающаяся земля, серая смерть. Мы еще только выезжаем, а сырость уже забирается к нам под шинели и под одежду, и так продолжается все время, пока мы находимся на передовых. Мы никак не можем обсохнуть. Те, у кого еще остались сапоги, обвязывают раструбы голенищ мешочками с песком, чтобы глинистая вода не так быстро проникала в них. Винтовки и мундиры покрыты коркой грязи, все течет, все раскисло, земля превратилась в сырую, сочащуюся, маслянистую массу, на поверхности которой стоят желтые лужи с красными спиралями крови; убитые, раненые и живые медленно погружаются в эту жижу.

Огневые налеты хлещут над нами, град осколков высекает из серо-желтой неразберихи редкие, по-детски звонкие выкрики раненых, а по ночам истерзанная плоть человеческая натужно стонет, чтобы вскоре умолкнуть навсегда.

Наши руки — земля, наши тела — глина, а наши глаза — дождевые лужи. Мы не знаем, живы ли мы еще.

Затем в наши ямы студенистой медузой заползает удушливый и влажный зной, и в один из этих дней позднего лета, пробираясь на кухню за обедом, Кат внезапно падает навзничь. Мы с ним одни. Я перевязываю ему рану; у него, по-видимому, раздроблена берцовая кость. Кат в отчаянии оттого, что ранен не в мякоть, а в кость. Он стонет:

— Перед самым концом... Как назло, перед самым концом...

Я утешаю его:

— Почем знать, сколько еще времени протянется эта заваруха! А ты пока что спасен...

Рана начинает сильно кровоточить. Я не могу оставить Ката одного, чтобы сходить за носилками. К тому же я не помню, чтобы здесь поблизости был какой-нибудь медицинский пункт.

Кат не очень тяжел — я взваливаю его на спину и иду с ним назад, к перевязочному пункту.

Мы дважды останавливаемся передохнуть. Переноска причиняет ему страшную боль. Почти все время мы молчим. Я расстегнул ворот своей куртки и часто дышу, меня бросило в пот, а лицо у меня вздулось от напряжения. Несмотря на это я тороплю Ката — нужно двигаться дальше, потому что местность здесь опасная.

— Ну как, Кат, тронемся?

— Да надо бы, Пауль.

— Тогда пошли!

Я поднимаю его с земли, он встает на здоровую ногу и держится за дерево. Затем я осторожно подхватываю его раненую ногу, он рывком отталкивается, и теперь я забираю под мышку колено здоровой ноги Ката.

Идти становится труднее. Порой слышится свист подлетающего снаряда. Я иду как можно быстрее, потому что кровь из раны Ката уже капает на землю. Мы почти не можем защищаться от разрывов, — пока мы прячемся в укрытие, снаряд уже разорвался.

Решаем выждать и ложимся в небольшую воронку. Я даю Кату хлебнуть чаю из моей фляжки. Мы выкуриваем по сигарете.

— Да, Кат, — печально говорю я, — вот и пришлось нам все-таки расстаться.

Он молча смотрит на меня.

— А помнишь, Кат, как мы гуся реквизировали? И как ты меня спас во время той передрыги? Я тогда еще был молоденьким новобранцем, и меня в первый раз ранило. Я еще тогда плакал. Кат, а ведь с тех пор уже три года прошло.

Кат кивает головой.

При мысли, что я останусь один, во мне поднимается страх. Когда Ката увезут в лазарет, у меня здесь больше не останется друзей.

— Кат, нам обязательно нужно будет встретиться, если до твоего возвращения и в самом деле заключат мир.

— А ты думаешь, что с этой вот ногой меня еще признают годным? — спрашивает он с горечью.

— Ты ее не спеша подлечишь. Ведь сустав цел. Может, все еще уладится.

— Дай мне еще сигарету, — говорит он.

— Может быть, после войны мы с тобой вместе займемся каким-нибудь делом.

Мне так грустно — я не могу себе представить, что Кат, Кат, мой друг Кат, с его покатыми плечами и мягкими редкими усиками, Кат, которого я знаю так, как не знаю никого другого, Кат, с которым я прошел все эти годы... Я не могу себе представить, что мне, быть может, не суждено больше увидеться с ним.

— Дай мне твой домашний адрес, Кат, на всякий случай. А вот тебе мой, я тебе сейчас запишу его.

Я засовываю бумажку с адресом в свой нагрудный карман. Каким одиноким я себя чувствую уже сейчас, хотя он еще сидит рядом со мной! Не прострелить ли мне ступню, чтобы не расставаться с ним, поскорей, пока мы одни?

Вдруг у Ката что-то булькает в горле и лицо у него становится желто-зеленым.

— Пойдем дальше, — через силу говорит он.

Я вскакиваю, горя желанием помочь ему, поднимаю его на спину и бегу, как бегают на большие дистанции — неторопливо и размеренно, чтобы не слишком растревожить ему ногу.

Глотка у меня пересохла, перед глазами пляшут красные и черные круги, но я все бегу, спотыкаясь, стиснув зубы, преодолевая усталость, и наконец добираюсь до медицинского пункта. Колени подгибаются, но еще хватает сил свалиться так, чтобы Кат упал на здоровую ногу. Через несколько минут я медленно поднимаюсь с земли. Ноги и руки дрожат частой дрожью, и я с трудом нахожу свою фляжку, чтобы отхлебнуть чаю. При этом у меня трясутся губы. Но я улыбаюсь — теперь Кат в безопасности.

Через некоторое время начинаю различать чьи-то голоса. Путаные обрывки фраз застревают у меня в ушах.

— Ты напрасно так старался, — говорит мне санитар.

Я смотрю на него и ничего не понимаю.

Он показывает на Ката:

— Ведь он убит.

Я никак не пойму, что он говорит.

— Он ранен в голень, — говорю я.

Санитар подходит поближе:

— Это кроме того...

Я оборачиваюсь. У меня все еще темно в глазах, на лице снова выступил пот, он течет по щекам. Я вытираю его и гляжу на Ката. Он лежит не шевелясь.

— Он без сознания, — быстро говорю я.

Санитар тихонько присвистывает.

— Да уж мне лучше знать! Он умер. На что хочешь спорю.

Я трясую головой:

— Не может быть! Еще десять минут назад я с ним разговаривал. Он без сознания.

Руки у Ката теплые, я беру его за плечи, чтобы растереть его чаем. Тут я чувствую на моих пальцах что-то мокрое. Вытащив руку из-под его затылка, я вижу, что она в крови. Санитар снова свистит сквозь зубы.

— Вот видишь...

Я не заметил, что, пока мы шли, Кату угодил в голову осколок. Дырка маленькая, должно быть, осколок был совсем маленький, залетевший откуда-нибудь издалека. Но этого оказалось достаточно. Кат умер.

Я медленно встаю.

— Ты возьмешь его солдатскую книжку и вещи? — спрашивает меня санитар.

Я киваю головой, и он передает мне и то и другое.

Санитар удивлен:

— Ведь вы не родственники?

Нет, мы не родственники. Нет, мы не родственники.

Что это, неужели я иду? Неужели у меня еще есть ноги? Я поднимаю глаза, я обвожу ими все вокруг и сам поворачиваюсь вслед за ними, по кругу, по кругу, пока не останавливаюсь. Все осталось как было. Только рядового Станислава Катчинского уже нет в живых.

Больше я ничего не помню.

XII

Осень. Нас, старичков, осталось уже немного. Из моих одноклассников — а их было семеро — я здесь последний.

Все говорят о мире и о перемирии. Все ждут. Если это снова кончится разочарованием, они будут сломлены — слишком уж ярко разгорелись надежды, их теперь нельзя притушить, не вызвав взрыва. Если не будет мира, будет революция.

Две недели я отдыхаю — я хлебнул немного газа. Целый день я сижу на солнышке в небольшом садике. Перемирие скоро будет заключено, теперь я тоже верю в это. И тогда мы поедem домой.

На этом моя мысль приостанавливается, и я никак не могу сдвинуть ее с места. Что влечет меня туда с такой неотразимой силой, что меня там ожидает? Жажда жизни, тоска по дому, голос крови, пьянящее ощущение свободы и безопасности. Но все это только чувства. Это не цели.

Если бы мы вернулись домой в 1916 году, неутихшая боль пережитого и неостывший накал наших впечатлений вызвали бы в мире бурю. Теперь мы вернемся усталыми, в разладе с собой, опустошенными, вырванными из почвы и растерявшими надежды. Мы уже не сможем прижиться.

Да нас и не поймут, ведь перед нами есть старшее поколение, которое, хотя оно и провело вместе с нами все эти годы на фронте, уже имело свой семейный очаг и профессию и теперь снова займет свое место в обществе и забудет о войне, а за ними подрастает поколение, напоминающее нас, какими мы были раньше; и для него мы будем чужими, оно столкнет нас с пути. Мы не нужны самим себе, мы будем жить и стариться — одни приспособятся, другие покорятся судьбе, а многие не найдут себе места. Протекут годы, и мы сойдем со сцены.

А может, все, о чем я сейчас думаю, просто навеяно тоской и смятением, которые разлетятся во прах, лишь только я вновь приду под тополя, чтобы послушать шелест их листвы. Не может быть, чтобы все это ушло навсегда — теплое, нежное дыхание жизни, волновавшее нам кровь, неведомое, томящее, надвигающееся, тысячи

новых лиц в будущем, мелодии слов и книг, упоительное предчувствие сближения с женщиной. Не может быть, чтобы все это сгнуло под ураганным огнем, в муках отчаяния и в солдатских борделях.

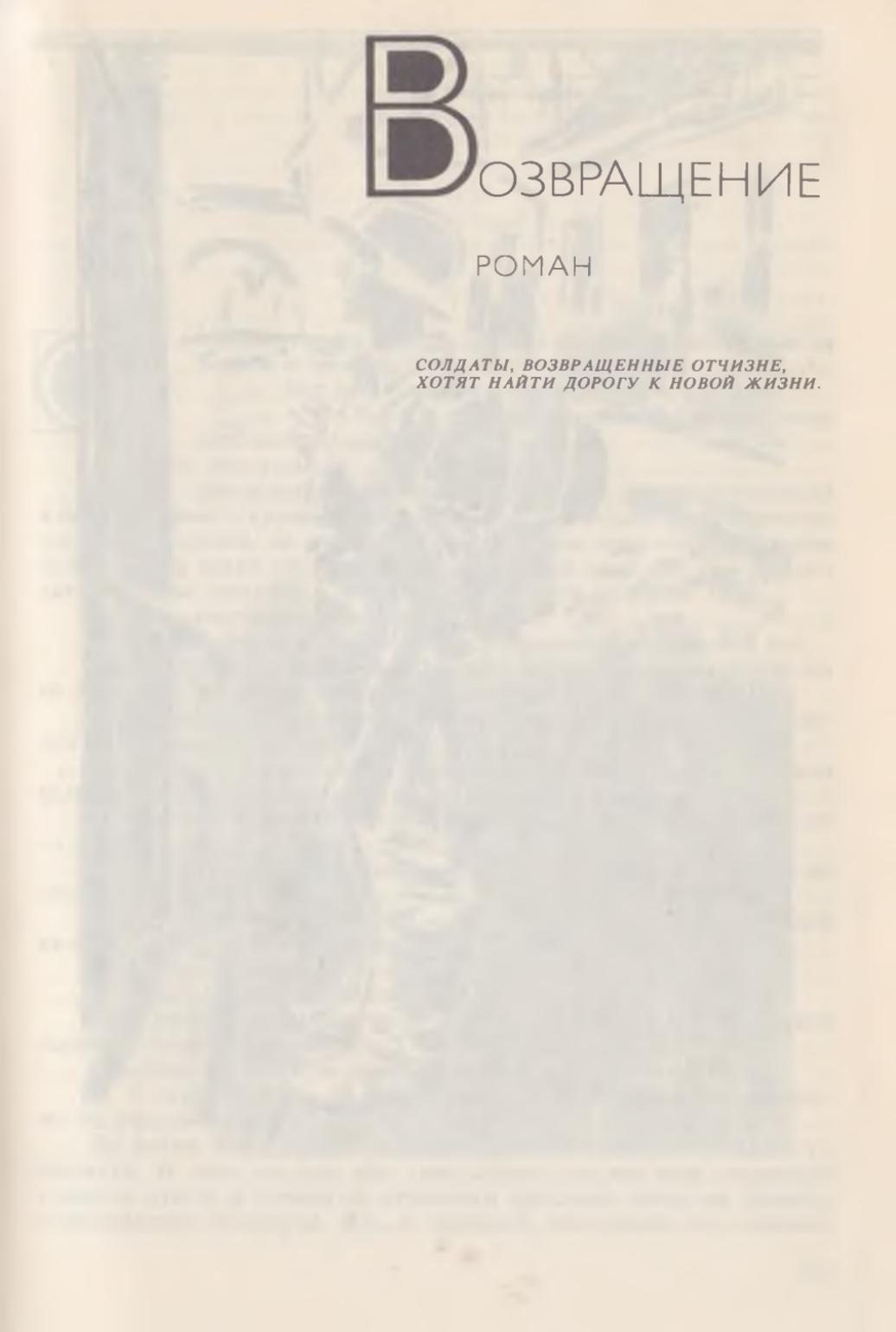
Деревья здесь сверкают всеми красками и отливают золотом, в листве рдеют алые кисти рябины, белые проселки бегут к горизонту, а в солдатских столовых шумно, как в улье, от разговоров о мире.

Я встаю. Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы — они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу. Жизнь, пронесшая меня сквозь эти годы, еще живет в моих руках и глазах. Я не знаю, преодолел ли я то, что мне довелось пережить. Но, пока я жив, жизнь проложит себе путь, хочет того или не хочет это нечто, живущее во мне и называемое «я».

* * *

Он был убит в октябре 1918 года, в один из тех дней, когда на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы: «На Западном фронте без перемен».

Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно быть, недолго мучился, — на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так.



В ОЗВРАЩЕНИЕ

РОМАН

*СОЛДАТЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ ОТЧИЗНЕ,
ХОТЯТ НАЙТИ ДОРОГУ К НОВОЙ ЖИЗНИ.*



ВСТУПЛЕНИЕ



статки второго взвода лежат в расстрелянном окопе за линией огня и не то спят, не то бодрствуют.

— Вот так чудные снаряды! — говорит Юпп.

— А что такое?! — спрашивает Фердинанд Козоле, приподнимаясь.

— Да ты послушай, — откликается Юпп.

Козоле прикладывает ладонь к уху. И все мы вслушиваемся в ночь. Но ничего, кроме глухого гула артиллерийского огня и тонкого посвиста снарядов, не слышно. Только справа доносится трескотня пулеметов да время от времени — одиночный крик. Но нам все это давным-давно знакомо, и не из-за чего тут рот разевать.

Козоле скептически смотрит на Юппа.

— Сейчас-то вот не слышно, — смущенно оправдывается тот.

Козоле снова критически оглядывает его, но так как на Юппа это не действует, он отворачивается и брюзжит:

— В брюхе у тебя урчит от голода — вот твои снаряды. Всхрапнул бы, больше б толку было.

Он сбивает себе из земли нечто вроде изголовья и осторожно укладывается так, чтобы ноги не соскользнули в воду.

— Эх, черт, а дома-то жена и двуспальная кровать, — бормочет он уже сквозь сон.

— Кто-нибудь, верно, лежит там рядышком, — изрекает Юпп из своего угла.

Козоле открывает один глаз и бросает на Юппа пронзительный взгляд. Похоже, что он собирается встать. Но он только рычит:

— Не посоветовал бы я ей, сыч ты рейнский!

И тотчас же раздается его храп.

Юпп знаком подзывает меня к себе. Я перелезаю через сапог Адольфа Бетке и подсаживаюсь к Юппу.

Опасливо взглянув на храпящего, он говорит с ехидством:

— У таких, как он, ни малейшего представления об образованности, уверяю тебя.

До войны Юпп служил в Кёльне письмоводителем у какого-то адвоката. И хоть он уже три года солдат, но все еще сохраняет тонкость чувств и почему-то стремится прослыть здесь, на фронте, образованным человеком. Что, в сущности, это значит, он, конечно,

и сам не знает, но из всего слышанного им раньше у него крепко засело в голове слово «образованность», и он цепляется за него, как утопающий за соломинку. Впрочем, здесь у каждого есть что-нибудь в этом роде: у одного — жена, у другого — торговлишка, у третьего — сапоги, у Валентина Лагера — водка, а у Тьядена — желание еще хоть раз в жизни наесться бобов с салом.

Козоле же при слове «образованность» сразу выходит из себя. Оно каким-то образом ассоциируется у него с крахмальным воротничком, а этого уже достаточно. Даже теперь оно оказывает свое действие. Не прерывая храпа, он немногословно высказывается:

— Козел вонючий, чернильная душа!

Юпп философски, с сознанием собственного достоинства, покачивает головой. Некоторое время мы сидим молча, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Ночь сырая и холодная, несутся тучи, и порой накрапывает дождь. Тогда мы вытаскиваем из-под себя плащ-палатки, которые служат нам обычно подстилкой, и укрываемся ими с головой.

Горизонт светлеет от вспышек артиллерийского огня. Свет радует глаз, и кажется, там не так холодно, как здесь. Над орудийными зарницами взвиваются ракеты, рассыпаясь пестрыми и серебряными цветами. Огромная красная луна плывет в тумане над развалинами фермы.

— Это правда, что нас отпустят по домам? — шепчет Юпп. — Как ты думаешь?

Я пожимаю плечами:

— Не знаю. Говорят...

Юпп громко вздыхает:

— Теплая комната, диван, а вечером выходишь погулять... Просто и не верится, что такое бывает. Верно, а?

— Когда я в последний раз был в отпуске, я примерял свой штатский костюм, — задумчиво говорю я. — Я из него здорово вырос. Придется все шить заново.

Как чудно звучат здесь слова: штатский костюм, диван, вечер... Странные мысли приходят в голову... Точно черный кофе, который подчас слишком уж сильно отдает жестью и ржавчиной; ты пьешь его и давишься, и тебя тут же рвет горячим.

Юпп мечтательно ковыряет в носу:

— Нет, ты подумай только: витрины... кафе... женщины...

— Эх, парень, выберись сначала из этого дерьма, и то хорошо будет, — говорю я и дышу на озябшие руки.

— Твоя правда.

Юпп натягивает плащ-палатку на худые искривленные плечи:

— Ты что собираешься делать, когда вернешься?

Я смеюсь:

— Я-то? Придется, пожалуй, снова поступить в школу. И мне, и Вилли, и Альберту, и даже вон тому, Людвигу.

И я показываю головой назад, где перед разбитым блиндажом лежит под двумя шинелями темная фигура.

— Вот черт! Но вы, конечно, плюнете на это дело? — говорит Юпп.

— Почему я знаю? Может, и нельзя будет плюнуть, — отвечаю я и, сам не понимаю отчего, начинаю злиться.

* * *

Человек под шинелями шевелится. Показывается бледное худое лицо; больной тихо стонет. Это мой школьный товарищ, лейтенант Людвиг Брайер, командир нашего взвода. Вот уж несколько недель, как он страдает кровавым поносом. У него, безусловно, дизентерия, но в лазарет Людвиг ни за что не хочет. Он предпочитает оставаться с нами, так как мы с минуты на минуту ждем заключения мира, и тогда мы без всякой канители возьмем Людвига с собой. Лазареты переполнены, на больных никто по-настоящему не обращает внимания, и попасть на такую койку — значит сразу же оказаться одной ногой в могиле. Когда вокруг тебя подымают люди и ты среди них один — это заражает: не успеешь оглянуться, как уж и тебя прихватило. Макс Вайль, наш санитар, достал Брайеру нечто вроде жидкого гипса: Брайер лопает гипс, чтобы процемментировать кишки и укрепить желудок. И все-таки ему приходится раз двадцать — тридцать на день спускать штаны.

Вот и теперь ему приспичило. Я помогаю ему пройти за угол, и он опускается на корточки.

Юпп машет мне рукой:

— Слышишь? Вот опять...

— Что?

— Да те самые снаряды...

Козоле шевелится и зевает. Затем встает, многозначительно поглядывает на свой тяжелый кулак, косится на Юппа и за-являет:

— Слушай, если ты нас опять разыгрываешь, то приготовь на всякий случай мешок из-под картошки: как бы тебе не пришлось отправлять домой посылочку из собственных костей.

Мы прислушиваемся. Шипение и свист снарядов, описывающих невидимые круги, прерывается каким-то странным звуком, хриплым, протяжным и таким непривычным, таким новым, что меня мороз по коже подирает.

— Газовые бомбы! — кричит Вилли Хомайер и вскакивает.

У нас мигом исчезает сонливость, мы напряженно вслушиваемся.

Веслинг показывает на небо:

— Вот что это! Дикая гуси!

На фоне унылых серых облаков вырисовывается темная черта, клин. Вершина его приближается к луне, перерезает красный диск, — ясно видны черные тени, угол, образуемый множеством крыльев, целый караван, летящий с диким гортанным призывным клекотом, мало-помалу теряющийся вдаль.

— Улетают... — ворчит Вилли. — Эх, черт! Вот если бы нам так можно было: два крыла, и — фьють!

Генрих Веслинг следит за полетом гусей.

— Значит, зима скоро, — медленно говорит он. Веслинг — крестьянин, он знает всякие такие вещи.

Людвиг Брайер, ослабевший и грустный, прислонился к насыпи и чуть слышно бормочет:

— В первый раз вижу...

Но больше всех вдруг оживляется Козоле. Он просит Веслинга в двух словах сообщить ему все, что тому известно о диких гусях, и главным образом интересуется их размером: такие ли они крупные, как откормленные домашние гуси.

— Примерно, — отвечает Веслинг.

— Ах ты, черт! — У Козоле от возбуждения трясутся челюсти. — Значит, сейчас по воздуху летят пятнадцать — двадцать великолепных жарких!

Снова низко над нашими головами хлопают крылья, снова хриплый гортанный клекот, точно ястреб ударяет нас в самое темя, — и вот уж всплески крыльев сливаются с протяжным криком птиц и порывами крепчающего ветра, рождая одну неотступную мысль — о воле, о жизни.

Щелкает затвор. Козоле опускает винтовку и напряженно всматривается в небо. Он целился в самую середину летящего клина. Рядом с Козоле стоит Тьяден, готовый, как гончая, сорваться с места, если упадет гусь. Но стая не разомкнувшись летит дальше.

— Жаль, — говорит Адольф Бетке. — Это был бы первый путный выстрел за всю эту вшивую войну.

Козоле с досадой швыряет винтовку:

— Эх, иметь бы хоть немного дрови!

Он погружается в меланхолические мечты о том, что было бы тогда, и машинально жует.

— Да, да, — говорит Юпп, глядя на него, — с яблочным муссом и жареной картошечкой... Неплохо, а?

Козоле смотрит на него с ненавистью:

— Заткнись ты, чернильная душа!

— А зря ты в летчики не пошел, Козоле. Ты бы их теперь сеткой половил, — зубоскалит Юпп.

— Идиот! — обрывает его Козоле и бросается наземь, опять собираясь соснуть.

Это и вправду самое лучшее. Дождь усиливается. Мы садимся спиной к спине и укрываемся плащ-палатками. Точно темные кучи земли, торчим мы в нашем окопе. Земля, шинель, и под ней — тлеющий огонек жизни.

* * *

Резкий шепот будит меня:

— Живей, живей!..

— Что случилось? — спрашиваю я спросонок.

— Нас посылают на передовую, — ворчит Козоле, поспешно собирая свои вещи.

— Но ведь мы только что оттуда, — удивленно говорю я.

— А черт их разберет, — ругается Веслинг. — Война ведь как будто кончена.

— Вперед! Вперед!

Сам Хеель, командир роты, подгоняет нас. Нетерпеливо носится он по окопу. Людвиг Брайер уже на ногах.

— Ничего не поделаешь, надо идти... — говорит он покорно и запасается ручными гранатами.

Адольф Бетке смотрит на него.

— Оставайся-ка здесь, Людвиг, — говорит он. — Нельзя с таким поносом на передовую.

Брайер мотает головой.

Ремни поскрипывают, винтовки щелкают, и от земли опять вдруг поднимается гнилостный запах смерти. Нам казалось, что мы навсегда избавились от него: высоко взвизвшей ракетой засияла мысль о мире, и хотя мы еще не успели поверить в нее, освоить ее, но и одной надежды было достаточно, чтобы немногие минуты, которые потребовались рассказчику, принесшему добрую весть, потрясли нас больше, чем предыдущие двадцать месяцев. Один год войны наслаивался на другой, один год безнадежности присоединялся к другому, и когда мы подсчитывали эти месяцы и годы, мы не знали, чему больше изумляться: тому ли, что уже столько или что *всего-навсего* столько времени прошло. А с тех пор как мы знаем, что мир не за горами, каждый час кажется в тысячу раз тяжелее и каждая минута в огне тянется едва ли не мучительнее и дольше, чем вся война.

* * *

Ветер мяукает в остатках бруствера, и облака торопливо бегут, то пряча, то открывая луну. Свет и сумрак непрерывно сменяются. Мы вплотную идем друг за другом, кучка теней, жалкий второй взвод, в котором уцелело всего несколько человек. Да и вся-то рота едва равна по численности нормальному взводу, но эти несколько человек прошли сквозь огонь и воду. Среди нас есть даже три старых солдата, призыва четырнадцатого года: Бетке, Веслинг и Козоле. Они всё испытали. Когда они рассказывают иногда о первых месяцах маневренной войны, кажется, что они говорят о временах древних германцев.

На позициях каждый из нас забивается в какой-нибудь угол, в какую-нибудь яму. Пока что довольно тихо. Сигнальные ракеты, пулеметы, крысы. Нацелившись, Вилли ловким ударом ноги высоко подбрасывает крысу и лопатой рассекает ее в воздухе.

Одиночные выстрелы. Справа доносится отдаленный грохот рвущихся ручных гранат.

— Хоть бы здесь-то тихо было... — говорит Веслинг.

— Не хватает только напоследок получить пулю в мозговые клетки, — покачивает головой Вилли.

— Кому не везет, тот, и в носу ковыряя, ломает палец, — бормочет Валентин.

Людвиг лежит на плащ-палатке. Ему действительно не следовало двигаться. Макс Вайль дает ему несколько таблеток. Валентин уговаривает его выпить водки. Леддерхозе пытается рассказать смачный анекдот. Никто не слушает. Мы лежим и лежим. Время идет.

Я вдруг вздрагиваю и приподнимаюсь. Бетке тоже вскочил. Даже Тьяден ожил. Многолетний инстинкт предупреждает нас о чем-то, — еще никто не знает о чем, но все уверены — случилось чрезвычайное. Осторожно вытягиваем шеи, слушаем, щуримся так, что глаза становятся узкими щелками, вглядываемся во мрак. Никто уже не спит, все наши чувства напряжены до крайности, всеми своими мускулами мы готовы встретить неизвестное, грядущее, в котором видим только одно — опасность. Тихо шушат ручные гранаты; это Вилли, наш лучший гранатометчик, пробирается вперед. Мы, как кошки, всем телом припали к земле. Рядом со мной — Людвиг Брайер. В напряженных чертах его лица нет и следа болезни. То же застывшее, безжизненное лицо, как и у всех здесь, — лицо окопа. Сумасшедшее напряжение сковало всех, — так необычайно впечатление, подсознательно полученное нами задолго до того, как чувства могут его определить.

Туман колышется и дышит нам в лицо. И вдруг я сознаю, что бросило нас во власть величайшей тревоги: стало тихо. Совсем тихо.

Ни пулеметов, ни пальбы, ни разрывов, ни посвиста снарядов — ничего, как есть ничего, ни одного выстрела, ни одного крика. Тихо, просто тихо.

Мы смотрим друг на друга, мы ничего не понимаем. С тех пор как мы на фронте, в первый раз так тихо. Мы беспокойно озираемся, мы хотим знать, что же это значит. Может быть, газ ползет? Но ветер дует в другую сторону, — он отогнал бы его. Готовится атака? Но тогда тишина только преждевременно выдала бы ее. Что же случилось? Граната в моей руке становится мокрой, — я вспотел от тревоги. Кажется, нервы не выдержат, лопнут. Пять минут, десять минут...

— Уже четверть часа! — восклицает Валентин Лагер. В тумане голос его звучит точно из могилы. И все еще ничего — ни атаки, ни возникающих из мглы, прыгающих теней...

Пальцы разжимаются и сжимаются еще сильнее. Нет, этого не вынести больше! Мы так привыкли к гулу фронта, что теперь, когда он не давит на нас, ощущение такое, точно мы сейчас взорвемся, взлетим на воздух, как воздушные шары...

— Да ведь это мир, ребята! — говорит Вилли, и слова его — как взрыв бомбы.

Лица разглаживаются, движения становятся бесцельными и не-

уверенными. Мир? Не веря себе, мы смотрим друг на друга. Мир? Я выпускаю из рук гранату. Мир? Людвиг опять медленно ложится на свою плащ-палатку. Мир? У Бетке такие глаза, точно лицо его сейчас расколется. Мир? Веслинг стоит неподвижно, как дерево, и, когда он поворачивает к нам голову, кажется, что он сейчас шагнет и будет безостановочно идти и идти, пока не придет домой.

И вдруг — мы едва заметили это в своем смятении — тишины как не бывало: снова глухо громяют орудия, и вот опять вдали строчит пулемет, точно дятел постукивает по дереву. Мы успокаиваемся: мы почти рады этим привычным звукам смерти.

* * *

День проходит спокойно. Ночью мы должны отойти назад, как бывало уже не раз. Но враг не просто следует за нами — он нападает. Мы не успеваем оглянуться, как оказываемся под сильным огнем. В темноте за нами бушуют красные фонтаны. У нас пока еще тихо. Вилли и Тьяден находят банку мясных консервов и тут же все съедают. Остальные лежат и ждут. Долгие месяцы войны притупили их чувства, и, когда не нужно защищаться, они пребывают в состоянии почти полного равнодушия.

Ротный лезет в нашу воронку.

— Всем обеспечены? — старается он перекричать шум.

— Патронов маловато! — кричит в ответ Бетке. Хеель пожимает плечами и сует Бетке сигарету. Бетке, не оглядываясь, кивком благодарит его.

— Надо как-нибудь справиться! — кричит Хеель и прыгает в соседнюю воронку.

Он знает, что справятся. Каждый из этих старых солдат с таким же успехом мог бы командовать ротой, как и он сам.

Темнеет. Огонь нащупал нас. Нам не хватает прикрытия. Руками и лопатами роем в воронках углубления для головы. Так, вплотную прижавшись к земле, лежим мы, — Альберт Троске по одну сторону от меня, Адольф Бетке — по другую. В двадцати метрах разрывается снаряд. Когда с тонким посвистом налетает эта бестия, мы мгновенно широко раскрываем рты, чтобы спасти барабанную перепонку, но все равно мы уже наполовину оглохли, земля и грязь брызжут нам в глаза, и от проклятого порохового и сернистого дыма першит в глотке. Осколки сыплются дождем. В кого-то наверняка попало: в нашу воронку у самой головы Бетке падает вместе с раскаленным осколком кисть чьей-то руки.

Хеель прыгает к нам. При вспышках разрывов видно из-под шлема его побелевшее от ярости лицо.

— Брандт... — задыхается он. — Прямое попадание. В клочки!

Снова бурлит, трещит, ревет, беснуется буря из грязи и железа, воздух грохочет, земля гудит. Но вот завеса поднимается, скользит назад, и в тот же миг из земли вырастают люди, опаленные, черные, с гранатами в руках, настороже, наготове.

— Медленно отступать! — кричит Хеель.

Атака — слева от нас. Борьба разгорается вокруг одной нашей огневой точки в воронке. Лает пулемет. Вспыхивают молнии рвущихся гранат. Вдруг пулемет замолкает: заело. Огневую точку сразу же атакуют с фланга. Еще несколько минут — и она будет отрезана. Хеель это видит.

— Черт! — Он прыгает через насыпь. — Вперед!

Боевые припасы летят вслед; в один миг Вилли, Бетке и Хеель ложатся на расстоянии броска и мечут гранаты; вот Хеель опять вскакивает, — в такие минуты он точно теряет рассудок, это сущий дьявол. Дело, однако, удастся. Те, кто залег в воронке, смеются, пулемет снова строчит, связь восстанавливается, и мы все вместе бежим назад, стремясь добраться до бетонного блиндажа. Все произошло так быстро, что американцы и не заметили, как опустела воронка. Над бывшей огневой точкой все еще вспыхивают зарницы.

Становится тише. Я беспокоюсь о Людвиге. Но он здесь. Подползает Бетке.

— Веслинг?

— Что с Веслингом? Где Веслинг?

И в воздухе под глухие раскаты дальнобойных орудий повисает зов: «Веслинг!.. Веслинг!..»

Вынырнул Хеель:

— Что случилось?

— Веслинга нет.

Он лежал рядом с Тяденом, но после отступления Тяден его уже не видел.

— Где? — спрашивает Козоле.

Тяден показывает.

— Проклятие! — Козоле смотрит на Бетке, Бетке — на Козоле. Оба знают, что это, вероятно, наш последний бой. Ни минуты не колеблются.

— Будь что будет! — рычит Бетке.

— Пошли! — фыркает Козоле.

Они исчезают в темноте. Хеель прыгает за ними.

Людвиг приводит оставшихся в боевую готовность: если тех атакуют, мы сразу же бросимся на помощь. Пока все спокойно. Вдруг сверкнули молнии рвущихся гранат. Между взрывами — револьверные выстрелы. Мы тотчас бросаемся во тьму. Людвиг впереди. Но вот навстречу нам выплывают потные лица: Бетке и Козоле волокут кого-то на плащ-палатке.

Хеель? Это Веслинг стонет. Хеель? Стойте, он стрелял. Хеель вскоре возвращается.

— Со всей бандой в воронке покончено! — кричит он. — Да двух еще — револьвером.

Он пристально смотрит на Веслинга:

— Ты что это?

Веслинг не отвечает.



Его живот разворочен, как туша в мясной. Разглядеть, как глубока рана, невозможно. Мы перевязываем его на скорую руку. Веслинг стонет, просит воды. Ему не дают. Раненым в живот пить нельзя. Потом он просит, чтобы его укрыли. Его знобит, — он потерял много крови.

Вестовой приносит приказ: продолжать отступление. Пока не найдем носилок, мы тащим Веслинга на плащ-палатке, продев в нее ружье, чтобы удобнее было ухватиться. Ощупью, осторожно ступаем мы друг за другом. Светает. В кустах — серебро тумана. Мы покидаем зону боя. Все как будто кончено, но вдруг, тихо жужжа, нас настигает снаряд и с треском взрывается. Людвиг Брайер молча засучивает рукав. Он ранен в руку. Вайль накладывает ему повязку. Мы отступаем. Отступаем.

Воздух мягок, как вино. Это не ноябрь, это март. Небо бледно-голубое и ясное. В придорожных лужах отражается солнце. Мы идем по тополевой аллее. Деревья окаймляют шоссе, высокие и почти нетронутые. Только кое-где не хватает одного-двух. Местность эта оставалась в тылу, и оттого не так опустошена, как те многие километры, которые мы отдавали день за днем, метр за метром. Лучи солнца падают на бурую плащ-палатку, и, пока мы движемся по желтеющим аллеям, над ней все время реют листья; некоторые попадают внутрь.

В полевом лазарете все переполнено. Много раненых лежит под открытым небом. Веслинга тоже приходится пока что оставить во дворе.

Группа раненных в руку, белея повязками, формируется для эвакуации. Лазарет свертывают. Врач носится по двору и осматривает вновь прибывших. Солдата, у которого безжизненно болтается нога, вывернутая в коленном суставе, он велит немедленно внести в операционную. Веслинга только перевязывают и оставляют во дворе.

Он очнулся от забытья и смотрит вслед врачу:

— Почему он уходит?

— Сейчас вернется, — говорю я.

— Но ведь меня должны внести в помещение, мне нужно немедленно сделать операцию... — Он вдруг приходит в страшное волнение и начинает ощупывать свои бинты. — Это сейчас же надо зашить.

Мы стараемся его успокоить. От страха он весь позеленел, покрылся холодным потом:

— Адольф, беги вдогонку, верни его...

Бетке секунду колеблется. Но Веслинг не спускает с него глаз, и Адольф не может послушаться, хотя и знает, что это бесполезно. Я вижу, как он разговаривает с врачом. Веслинг тянется за ним взглядом; страшно смотреть, как он пытается повернуть голову.

Бетке возвращается так, чтобы Веслинг его не видел, качает головой, показывает на пальцах: один — и беззвучно шевелит губами:

— Один час.

Мы делаем бодрые лица. Но кто обманет умирающего крестьянина! Когда Бетке говорит Веслингу, что его будут оперировать позже, рана, мол, должна раньше затянуться, — ему уже все ясно. Он молчит, затем еле слышно хрипит:

— Да... вам хорошо... вы все целы и невредимы... вернетесь домой... А я... четыре года — и вдруг такое... четыре года — и такое...

— Тебя сейчас возьмут в операционную, Генрих, — утешает его Бетке.

Веслинг машет рукой:

— Брось...

С этой минуты он почти не говорит больше. И даже не просит, чтобы его внесли в помещение, — хочет остаться на воле. Лазарет расположен на пригорке. Отсюда далеко видна аллея, по которой мы поднимались. Она вся в багрянце и золоте. Земля здесь какая-то затихшая, мягкая, будто укрытая от опасности, виднеются даже пашни — маленькие темные квадратики под самым лазаретом. Когда ветер относит запахи крови и гноя, вдыхаешь терпкий аромат полей. Голубеют дали, и все кажется на редкость мирным — ведь фронт отсюда не виден. Фронт — справа.

Веслинг затих. Он оглядывает все внимательным взором. В глазах — сосредоточенность и ясность. Веслинг — крестьянин: природа ему ближе и понятнее, чем нам. Он знает, что пришла пора уйти, и не хочет терять ни одного мгновения. Он смотрит, смотрит... С каждой минутой он бледнеет все сильнее. Наконец шевелится и шепчет:

— Эрнст...

Я наклоняюсь к его губам.

— Достань мои вещи... — говорит он.

— Успеется, Генрих.

— Нет, нет. Давай...

Я раскладываю перед ним его вещи. Потертый клеенчатый бумажник, нож, часы, деньги — все это давно знакомо нам. Одиноко лежит в бумажнике фотография жены.

— Покажи, — говорит он.

Я вынимаю фотографию и держу ее так, чтобы он мог видеть. Ясное смуглое лицо. Веслинг долго смотрит. Помолчав, шепчет:

— И уж больше ничего этого не будет... — Губы его дрожат. Он отводит глаза.

— Возьми с собой, — шепчет он. Я не знаю, что он имеет в виду, но не хочу расспрашивать и кладу фотографию в карман. — Отдай это ей... — Он смотрит на остальные вещи. Я киваю. — И скажи... — Он глядит на меня каким-то особенным, широко открытым взором, что-то бормочет, качает головой и стонет. Я судорожно стараюсь еще хоть что-нибудь уловить, но он только хрипит, вытягивается, дышит тяжелей и реже, с перерывами, задыхается, потом еще раз вздыхает глубоко и полно, и вдруг глаза его точно слепнут. Он мертв.

* * *

На следующее утро мы в последний раз лежим на передовой. Стрельбы почти не слышно. Война кончилась. Через час нам сниматься. Сюда нам никогда больше не придется вернуться. Если мы уйдем, мы уйдем навсегда.

Мы разрушаем все, что еще можно разрушить. Жалкие остатки. Несколько окопов. Затем приходит приказ об отходе.

Странный миг. Мы стоим друг подле друга и смотрим вдаль. Легкие клубы тумана стелются по земле. Ясно видны линии воронок и окопов. Правда, это только последние линии, запасные позиции, но все же и это — зона огня. Как часто шли мы вот этим подземным ходом на передовые, и как часто лишь немногие возвращались обратно. Перед нами серый, унылый пейзаж, вдали остатки рожицы, несколько пней, развалины деревни, среди них каким-то образом уцелевшая каменная стена.

— Да, — задумчиво говорит Бетке, — четыре года просидели здесь...

— Да, да, черт возьми! — подхватывает Козоле. — И вот так просто все кончено.

— Эх, ребята! — Вилли Хомайер прислонился к насыпи. — Странно все это, а?

Мы не в силах отвести глаза. Ферма, остатки леса, холмы, эти линии там, на горизонте, — все это было страшным миром и мучительной жизнью. А теперь, как только мы повернемся и пойдём, они попросту останутся позади, и с каждым нашим шагом будут все больше и больше погружаться в небытие, и через час сгинут, словно никогда и не были. Кто поймет это?

Вот мы стоим здесь; нам бы смеяться и реветь от радости, а у нас какое-то нудное ощущение в животе: точно веника наелся и вот-вот вырвет.

Слова наши бессвязны. Людвиг Брайер устало прислонился к краю окопа и поднимает руку, будто перед ним человек, которому он хочет помахать на прощание.

Появляется Хеель:

— Расстаться не можете, а? Да, теперь-то начинается самая мерзость.

Леддерхозе удивленно смотрит на него:

— Почему мерзость, когда мир?

— Вот именно, это и есть мерзость, — говорит Хеель и идет дальше; у него такое лицо, словно он только что похоронил мать.

— Ему «Pour le mérite»¹ не хватает, — говорит Леддерхозе.

— Да заткнись ты, — обрывает его Альберт Троске.

— Ну, пошли! — говорит Бетке, но сам не трогается с места.

— Кой-кого оставили здесь, — говорит Людвиг.

— Да, немало народу... Брандт, Мюллер, Кат, Хайе, Боймер, Бертинк...

— Зандкуль, Майндерс, оба Тербрюгена — Гуго и Бернгард...

— Будет вам...

Много наших лежит здесь, но до сих пор мы этого так не чувствовали. Ведь мы были вместе: они в засыпанных, мы в открытых ямах, разделенные лишь несколькими горстями земли. Они только несколько опередили нас, ибо с каждым днем их становится больше, а нас меньше, и порой мы уже не знали, не находимся

¹ «За заслуги» (фр.), прусский орден.

ли и мы в их числе. Но иногда снарядами их снова поднимало к нам; высоко взлетали распадающиеся кости, остатки обмундирования, истлевшие, мокрые, уже землистые головы, ураганным огнем возвращенные из подземных окопов на поле брани. Нам это вовсе не казалось страшным: мы были как бы неотделимы от них. Но теперь мы возвращаемся обратно в жизнь, а они остаются здесь.

Людвиг, потерявший на этом участке двоюродного брата, сморкается в руку, поворачивается и идет. Мы медленно следуем за ним. Еще несколько раз останавливаемся и оглядываемся. Снова и снова прирастаем к месту и вдруг чувствуем, что вот это, этот ад крошечный, этот искромсанный кусок траншейной земли проник нам в самое нутро, что он — будь он проклят! — он, осточертевший нам до рвоты, чуть ли не мил теперь, каким вздором это ни звучит, мил, как мучительная, страшная родина, с которой мы связаны навеки.

Мы отмахиваемся от нелепой мысли, но то ли это погубленные годы, оставленные здесь, то ли товарищи, которые тут полегли, то ли неисчислимые страдания, всосанные этой землей, — но до мозга костей въелась в нас тоска, хоть зареви в голос...

Мы трогаемся в путь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ороги бегут через леса и поля, селенья лежат в серой мгле, деревья шумят, и листья падают, падают.

А по дорогам, шаг за шагом, в вылинявших грязных шинелях тянутся серые колонны. Под стальными шлемами обросшие щетиной испытые лица; они изнурены голодом и невзгодами, источены, иссушены до костей и несут на себе печать ужаса, отваги и смерти. Молча идут колонны; так, без лишних слов, не раз шагали они по многим дорогам, сидели во многих теплушках, горбились во многих окопах, лежали во многих воронках; так идут они теперь и по этой дороге, дороге на родину, дороге к миру. Без лишних слов.

Бородатые старики и хрупкие юнцы, едва достигшие двадцати лет, товарищи — без всяких различий. Рядом с ними — младшие офицеры, полудети, не раз, однако, водившие их в ночные бои и атаки. А позади — армия мертвецов. Так идут они вперед, шаг за шагом, больные, полузаморенные голодом, без снаряжения, передевшими рядами, и в глазах у них непостижимое: спаслись от преисподней... Путь ведет обратно — в жизнь.

I

Рота наша продвигается медленно: мы устали и, кроме того, ведем с собой раненых. Поэтому мы мало-помалу отстаем. Местность холмистая, и, когда дорога поднимается в гору, нам видны с одной стороны остатки наших отходящих войск, с другой — густые, бесконечные ряды, следующие за нами. Это американцы. Широкой рекой движутся меж деревьями их колонны, и над ними зыбью пробегает беспокойное поблескивание оружия. А вокруг — тихие поля, и деревья в осеннем уборе спокойно и безучастно поднимают свои верхушки над стремительным потоком.

Ночь мы провели в небольшой деревне. За домами, в которых нас расквартировали, течет ручей, обсаженный ивами. Вдоль ручья вьется узкая тропинка. Поодиночке, гуськом, растянувшись длинной лентой, тянемся мы по ее изгибам. Козоле — впереди. Рядом

с ним бежит, обнюхивая его хлебный мешок, Волк, любимец нашей роты.

Вдруг на перекрестке, там, где тропинка вливается в шоссе, Фердинанд бросается назад:

— Внимание!

Вмиг ружья наготове, и мы рассыпаемся в разные стороны. Козоле, готовый открыть огонь, залег в придорожной канаве. Юпп и Троске, озираясь, притаились за кустом, Вилли Хомайер стремительно срывает с пояса ручные гранаты, и даже наши раненые приготовились к бою.

По шоссе, болтая и смеясь, идут американцы. Это догнал нас их передовой отряд.

Адольф Бетке единственный остался на ногах. Он спокойно покидает укрытие и выходит на дорогу. Козоле поднимается. Все остальные тоже опомнились, смущенно и неловко управляют на себе пояса и ремни винтовок, — ведь уже несколько дней, как война кончилась.

Увидев нас, американцы в изумлении останавливаются. Разговоры обрываются. Американские солдаты медленно приближаются. Мы пятимся к какому-то сараю, чтобы иметь прикрытый тыл, и выжидаем. Раненых берем в середину.

С минуту длится молчание, затем от группы американцев отделяется долговязый парень и машет нам:

— Алло, камрад!

Адольф Бетке тоже поднимает руку:

— Алло!

Напряжение спадает. Американцы подходят вплотную. Еще мгновение, и они окружают нас. До сих пор мы видели их вблизи лишь пленными или мертвыми.

Станный миг. Молча смотрим мы на американцев. Они стоят полукругом, все как один рослые, крепкие; сразу видно, что еды у них всегда было вдоволь. Все молодые — никто из них по возрасту даже не приближается к Адольфу Бетке или Фердинанду Козоле, и они ведь у нас еще далеко не самые старшие. Но нет среди них и таких юных, как Альберт Троске или Карл Брегер, а они ведь у нас еще не самые молодые.

На американцах новое обмундирование, ботинки их из непромокаемой кожи и пригнаны по ноге, оружие хорошего качества, ранцы полны боевых припасов. У всех свежий, бодрый вид.

По сравнению с ними мы настоящая банда разбойников. Наше обмундирование выцвело от многолетней грязи, от дождей Аргонн, от известняка Шампани, от болот Фландрии; шинели искромсаны осколками снарядов и шрапнелью, защиты неуклюжими стежками, стали заскорузлыми от глины, а нередко и от засохшей крови; сапоги расшлепаны, оружие давно отслужило свой век, боевые припасы на исходе. Все мы одинаково замызганы, одинаково одичали, одинаково изнурены. Паровым катком прошла по нам война.

* * *

Подтягиваются все новые и новые части. Кругом полно любопытных.

Мы все еще стоим в углу, сгрудившись вокруг наших раненых, — не потому, что боимся, а потому, что мы нераздельны. Американцы подталкивают друг друга, показывая на наши старые, изношенные вещи. Один из них предлагает Брайеру кусок белого хлеба, но тот не берет, хотя в глазах у него голод.

Вдруг кто-то, подавив возглас, показывает на повязки наших раненых. Повязки из гофрированной бумаги, скрепленные бечевкой. Это привлекает всеобщее внимание. Американцы отходят и шепчутся между собой. Их добродушные лица выражают сочувствие, — они видят, что у нас даже марли нет.

Американец, окликнувший нас первым, кладет руку на плечо Бетке.

— Немцы хорош солдат, молодец солдат, — говорит он.

Его товарищи рьяно поддакивают.

Мы не отвечаем, — мы не в силах теперь ответить. Последние недели были особенно тяжелыми. Нас снова и снова бросали в огонь, и мы напрасно теряли людей, но мы ни о чем не спрашивали, мы шли в бой, как во все эти годы, и от нашей роты в двести человек осталось только тридцать два. Вышли мы из боев, все так же ни о чем не раздумывая и ничего не чувствуя, кроме одного: мы выполнили все, что было на нас возложено.

Но теперь, под сочувственными взглядами американцев, мы начинаем понимать, до чего все это было под конец бессмысленно. Вид бесконечных прекрасно вооруженных колонн показывает нам, как безнадежно было сопротивляться такому превосходству в людях и в технике.

Прикусив губы, мы смотрим друг на друга. Бетке сбрасывает с плеча руку американца, Козоле смотрит прямо перед собой, Людвиг Брайер выпрямляется; мы крепче сжимаем винтовки, мускулы наши напрягаются, взгляд становится тверже, и глаз мы не опускаем, мы смотрим на дорогу, по которой пришли, и лица у нас от волнения замыкаются, и нас обжигает мысль о том, что мы совершили, о том, чего натерпелись, о том, что осталось позади.

Мы не знаем, что с нами происходит, но, если бы сейчас кто-нибудь обронил хотя бы одно резкое слово, оно — хотели бы мы того или нет — рвануло бы нас с места, мы бросились бы вперед и жестоко, не переводя дыхания, безумно, с отчаянием в душе, бились бы... Вопреки всему, снова бились бы...

* * *

Коренастый сержант с разгоряченным лицом протискивается к нам. Он забрасывает Козоле, который стоит к нему ближе всех, ворохом немецких слов. Фердинанд вздрагивает, до того это неожиданно.



— Да ведь он говорит по-нашему, — удивленно обращается он к Бетке, — как это тебе нравится?

Американец говорит даже лучше и глаже, чем Козоле. Он рассказывает, что до войны жил в Дрездене и там у него было много друзей.

— В Дрездене? — переспрашивает Козоле, все более и более изумляясь. — Да ведь и я там прожил два года...

Сержант улыбается, как будто ему это льстит. Он называет улицу, на которой жил.

— Ну, меньше чем в пяти минутах ходу от меня, — взволнованно говорит Фердинанд. — И мы ни разу не встретились! Вы, может быть, знаете вдову Поль на Иоганисштрассе? Такая толстая брюнетка. Моя квартирная хозяйка.

Ее, правда, сержант не знает, но зато он знаком с советником Цандером, которого Козоле, в свою очередь, не может вспомнить. Но оба дружно вспоминают Эльбу и дворец и сияющими глазами, как старые приятели, смотрят друг на друга, Фердинанд хлопает сержанта по плечу:

— Ну и парень, болтает по-немецки, как заправский немец, да еще в Дрездене жил! Послушай-ка, зачем же мы с тобой воевали?

Сержант смеется и тоже не знает, зачем воевали. Он вытаскивает пачку сигарет и протягивает их Козоле. Козоле так и набрасывается, — за хорошую сигарету все мы готовы душу отдать. Наши сигареты в лучшем случае из буковых листьев и сена. Обычно же, как утверждает Валентин Лагер, мы курим водоросли с сушеным конским навозом, а Валентин в этом разбирается.

Козоле с наслаждением выдыхает дым. Мы жадно шмыгаем носами. Лагер бледнеет. Ноздри его трепещут.

— Одну затяжечку! — слезно молит он Фердинанда. Но не успевает он взять сигарету у Козоле, как один из американцев протягивает ему пачку «Виргинии». Валентин недоверчиво смотрит на него, берет табак и нюхает. Лицо у него светлеет. Нехотя возвращает он пачку. Но американец отводит его руку и показывает на фуражку Валентина с кокардой. Фуражка торчит из его походного мешка.

Валентин не понимает.

— Он хочет сменять табак на кокарду, — поясняет сержант из Дрездена.

Лагер в полном недоумении. Как? Первосортный табак променять на жестяную кокарду? С ума спятил человек, не иначе. Валентин не расстался бы с пачкой, хотя бы в обмен на нее его тут же прозвели в унтера или даже в лейтенанты. Он тотчас же протягивает американцу не только кокарду, но и фуражку и дрожащими руками жадно набивает первую трубку.

Теперь наконец нам ясно: американцы хотят меняться. Сразу видно, что они воюют недавно. Они собирают всякие сувениры: погоны, кокарды, пряжки, ордена, пуговицы военного образца. А мы взамен этих пустяков запасаемся мылом, сигаретами, шоколадом и консервами. За нашу собаку они предлагают нам, кроме вещей, еще и пригоршню монет, но тут нас ничем не соблазнишь, — с Волком мы ни за что не расстанемся.

И раненым нашим повезло. Одному американцу, у которого столько золота во рту, что пасть его блестит, как целый завод медных изделий, страшно хочется получить пропитанные кровью лоскутки повязок: вернувшись на родину, он сможет доказать, что наши повязки на самом деле из бумаги. Взамен он предлагает отличный кекс и — что важнее всего — кучу перевязочного материала. Чрезвычайно довольный, он бережно укладывает в бумажник грязные клочки, в особенности обрывки от повязки Людвиг Брайера. Как же! Ведь это кровь лейтенанта! На лоскуте Людвиг должен был написать карандашом название местности, имя, номер войсковой части;

пусть в Америке всякий видит, что дело тут без обмана. Людвиг сначала противился, но Вайль его уговорил: в перевязочных материалах мы терпим горькую нужду. А кроме того, для Брайера, с его дизентерией, кекс — настоящее спасение.

Но самый выигрышный ход делает Артур Леддерхозе. Он приполз на место обмена ящик с Железными крестами, найденный им в какой-то покинутой полевой канцелярии. Американец, такой же помятый, как Леддерхозе, с таким же лимонно-желтым лицом, как у того, хочет заполучить весь ящик сразу. Но Леддерхозе лишь шурит и смеривает его долгим, всепонимающим взглядом. Американец спокойно выдерживает взгляд и прикидывается протаском. Оба вдруг становятся похожими друг на друга, как родные братья. Над войной и смертью здесь неожиданно торжествует нечто, устоявшее перед всем, — дух торговли.

Противник Леддерхозе быстро соображает, что тут ничего не поделаешь: Артур не даст себя провести — торговля в розницу для него куда выгоднее. Он меняет до тех пор, пока ящик не пустеет. Возле него постепенно вырастает куча вещей, среди них даже масло, шелк, яйца и белье, так что к концу Леддерхозе напоминает бакалейную лавку на выгнутых колесом ногах.

* * *

Мы трогаемся в путь. Американцы шумно провожают нас и машут вслед. Особенно старается сержант. Козоле тоже растроган, насколько это возможно для старого служаки. Он хрюкает что-то на прощание и машет рукой; жест его, правда, скорее похож на угрозу. Он обращается к Бетке:

— Вполне порядочные парни, верно?

Адольф кивает. Мы молча шагаем. Фердинанд опустил голову. Он размышляет. Это с ним не часто случается, но уж если что застрянет у него в мозгу, он жует это долго и упорно. Сержанта из Дрездена он никак не может забыть.

В деревнях народ поглядывает на нас. В сторожке стрелочника в окне стоят цветы. Полногрудая женщина кормит ребенка. На ней голубое платье. Собаки лают нам вслед; Волк отлаивается. На обочине дороги петух наскакивает на курицу. Мы бездумно покуриваем.

* * *

Шагаем, шагаем... Зона полевых лазаретов. Зона интендантских канцелярий. Большой платановый парк. Под деревьями носилки, раненые. Листья падают и покрывают их багрянцем и золотом.

Лазарет для отравленных газами. Здесь тяжелораненые, которых нельзя эвакуировать. Синие, восковые, зеленые лица, мертвые, разъеденные кислотой глаза, хрипящие, задыхающиеся, агонизирующие люди. Все стремятся прочь отсюда, боятся попасть в плен. Точно не все равно, где умирать.

Мы пытаемся утешить их, уверяем, что у американцев лучше кормят. Но они и слушать не хотят. Снова и снова кричат нам и просят взять с собой.

Их мольбы ужасны. В ясном воздухе, под открытым небом бледные лица кажутся призрачными. Страшнее всего бороды. Они торчат как-то сами по себе, жесткие, упрямые, буйная поросль на щеках, черный мох, высасывающий тем больше соков, чем сильнее западают щеки.

Некоторые из тяжелораненых, как дети, протягивают к нам исхудалые, бескровные руки.

— Возьмите меня с собой, братцы, — молят несчастные, — возьмите с собой!

В глазных впадинах у них глубокие тени отрешенности, и там, словно в омуте, барахтаются зрачки. Некоторые лежат молча; они только глядят нам вслед, пока мы не исчезаем из поля зрения.

Постепенно голоса их становятся все слабее. Медленно тащимся мы по дорогам. Мы обвешаны кучей вещей: хочется и домой кое-что принести. Облака заволокли небо. Под вечер солнце прорывается сквозь них, и березки, уже почти без листьев, отражаются в придорожных лужах. Легкая голубая дымка повисла в ветвях.

Я шагаю, опустив голову, с ранцем на плечах, и смотрю, как в чистых дождевых лужах по краям дороги отражаются светлые шелковые деревья, и это отражение в случайном зеркале ярче действительности. Вот лежат, обрамленные темной землей, кусок неба, деревья, глубь, чистота, и меня вдруг охватывает трепет. Впервые за долгое время я вновь чувствую: что-то красиво, вот это отражение в дождевой луже попросту красиво, красиво и чисто. Радостно бьется сердце, на мгновение я освобождаюсь от всего и ощущаю впервые: мир; вижу: мир; чувствую всеми фибрами души: мир! Уходит гнет, крепко державший нас в своих тисках; взлетает неведомое, новое, чайка, белая чайка, мир, трепетный горизонт, трепетное ожидание, первый взгляд, предчувствие, надежда, набухающее, грядущее: мир!

Я вздрагиваю и оглядываюсь: там, позади, на носилках, лежат мои товарищи и все еще взывают к нам. Настал мир, а они все равно должны умереть. Но я дрожу от радости — и не стыжусь этого. Странно, странно...

Быть может, только потому вновь и вновь возникают войны, что один никогда не может до конца почувствовать, как страдает другой.

II

Вечером мы сидим в саду какой-то пивной. Командир нашей роты, обер-лейтенант Хеель, выходит из фабричной конторы и собирает нас. Есть приказ об избрании уполномоченных от солдат. Мы поражены. Никогда ничего подобного не было.

В саду появляется Макс Вайль. Он размахивает газетой и кричит:

— В Берлине революция!

Хеель оборачивается.

— Вздор, — говорит он резко. — В Берлине попросту беспорядки.

Но Вайль, оказывается, не договорил:

— Кайзер бежал в Голландию.

Мы смотрим на него во все глаза. Вайль, несомненно, спятил. Хеель багровеет и кричит:

— Врешь, негодяй!

Вайль протягивает газету. Хеель комкает ее и с бешенством смотрит на Вайля. Он ненавидит его, потому что Вайль еврей и потому что он уравновешенный человек, который вечно сидит где-нибудь, склонившись над книгой, Хеель же — лихой рубака.

— Вздор, вздор, вздор! — шипит он, уставившись на Вайля так, словно хочет проглотить его.

Макс расстегивает куртку и вытаскивает из нагрудного кармана вторую газету — экстренный выпуск. Хеель взглядывает на нее, вырывает из рук Вайля, рвет на мелкие кусочки и уходит в дом. Вайль подбирает обрывки, составляет их и читает нам последние новости. Мы сидим как ошалелые. Никто ничего не понимает.

— Он будто бы хотел избежать гражданской войны, — говорит Вайль.

— Ерунда! — восклицает Козоле. — Посмели бы мы раньше даже произнести такое. Эх, черт! За кого только кровь проливали?! — Юпп, ущипни меня; может, мне все это снится, — покачивая головой, говорит Бетке. Юпп констатирует, что Бетке бодрствует.

— Значит, — продолжает Бетке, — это правда. И все-таки я ничего не понимаю. Сделал бы кто-нибудь из нас такое, его сразу поставили бы к стенке.

— О Веслинге и Шредере лучше и не думать, — говорит Козоле, сжимая кулаки, — не то прямо лопнешь с досады. Вспомнить этого Шредера — птенец желторотый, детеныш — и расплюсчен в лепешку. А тот, за кого он умирал, улелетывает! Блевотина треклятая! — Он ударяет каблуком по пивной бочке.

Вилли Хомайер пренебрежительно машет рукой.

— Поговорим-ка лучше о чем-нибудь другом, — предлагает он. — Этот человек для меня больше не существует.

Вайль сообщает, что во многих полках образованы советы солдатских депутатов. Офицерам больше не подчиняются, с них срывают погоны.

Он предлагает образовать у нас такой же совет, но не находит отклика. Мы не желаем ничего организовывать. Мы хотим домой. А домой доберемся и так.

В конце концов мы все-таки выбираем трех уполномоченных: Адольфа Бетке, Макса Вайля и Людвига Брайера.

Вайль требует, чтобы Людвиг снял погоны.

— Видно, у тебя не все дома... — устало говорит Людвиг и пальцем стучит себя по лбу.

Бетке отстраняет Вайля.

— Брайер — свой парень, — коротко говорит он.

Брайер пришел в нашу часть добровольцем и уже на фронте был произведен в офицеры. Он на «ты» не только с нами — с Троске, Хомайером, Брегером и со мной (это естественно — мы однокашники), — но и со старшими солдатами, когда поблизости нет никого из офицеров. И это ставится ему в большую заслугу.

— Ну, а Хеель? — упорствует Вайль.

Это нам понятнее. Хеель частенько придирался к Вайлю, и не удивительно, что Вайлю хочется теперь насладиться своим торжеством. Нам-то на это наплевать. Хеель бывал, правда, резок, но он всегда рвался в бой, точно Блюхер, и держался молодцом. Солдат такие вещи ценит.

— А ты сходи поговори с ним, — говорит Бетке.

— Да не забудь захватить с собой бинтов и ваты! — кричит вдогонку Тьяден.

Но дело оборачивается иначе. Хеель как раз выходит из конторы, когда Вайль собирается туда войти. В руках у Хееля несколько печатных листков. Он указывает на них Максусу.

— Все верно, — произносит он.

Вайль заговорил. Когда он упомянул о погонах, Хеель вскинулся. Мы уверены, что скандал вот-вот разразится, но ротный, к нашему удивлению, говорит:

— Вы правы.

Он подходит к Людвигу и кладет ему руку на плечо:

— Вам, Брайер, пожалуй, не понять этого. Солдатская шинель — теперь это все. Остальное было, да сплыло.

Никто из нас не проронил ни слова. Это не тот Хеель, которого мы знаем, который ночью выходил на дозор с одной только тростью и считался у нас заговоренным от пуль. Человек, стоящий перед нами, говорит с трудом и едва держится на ногах.

Поздно вечером, когда я уже сплю, меня будит шепот.

— Ты спятил, — слышу я голос Козоле.

— Уверяю тебя, — возражает Вилли. — Пойди сам посмотри.

Они как сумасшедшие вскакивают и выходят во двор. Я — за ними. В конторе свет. Видно все, что там делается. Хеель сидит у стола. Перед ним — его китель. Погонов нет. Хеель в солдатской куртке. Он обхватил голову руками и — нет, это совершенно невероятно... Я делаю шаг вперед, чтобы убедиться — Хеель, Хеель плачет!

— Вот так штука! — шепчет Тьяден.

— Прочь! — говорит Бетке и дает Тьядену пинка. Смущенные, мы на цыпочках возвращаемся назад.

На следующее утро узнаем, что какой-то майор в соседнем полку, услышав о бегстве кайзера, застрелился.

Хеель появляется. У него серое, измученное бессонницей лицо. Тихо отдает он необходимые приказания и уходит. У всех кошки

скребут на душе. У нас отняли последнее, чем мы держались. Мы потеряли почву под ногами.

— Чувствуешь себя так, точно тебя и в самом деле предали, — угрюмо говорит Козоле.

Сегодня мы не те, что вчера. Мрачные, строимся мы в колонны и вновь пускаемся в путь. Одинокий отряд, брошенная армия. Шанцевые инструменты монотонно позвякивают при каждом шаге: все напрасно... все напрасно...

Только Леддерхозе весел, как дрозд. Он продает консервы и сахар из своих американских запасов.

* * *

К вечеру следующего дня мы добираемся до германской границы. Только теперь, когда вокруг не слышно французской речи, мы начинаем верить, что мир в самом деле наступил. В глубине души мы все время боялись внезапного приказа повернуть назад и снова идти в окопы: к хорошему солдаты всегда относятся с недоверием и правильной с самого начала рассчитывать на худшее. Но вот мало-помалу нас охватывает тихий трепет.

Мы входим в большую деревню. Через улицу перекинута несколько увядших гирлянд. Видимо, здесь проходило столько войск, что для остатков армии уже не было охоты стараться. Нам приходится поэтому довольствоваться двумя-тремя поникшими от дождей плакатами с выцветшей надписью: «Добро пожаловать!», украшенной растрепанным венком из бумажных дубовых листьев. Народ так привык к виду проходящих войск, что едва глядит нам вслед. А для нас все ново, мы изголодались по доброму слову, по приветливому взгляду, хотя и утверждаем, что нам плевать на такие нежности. По крайней мере девочки-то могли бы остановиться и приветливо помахать нам ручкой! Тьяден и Юпп пытаются окликнуть одну-другую, но успеха они не имеют. Наверно, мы слишком заросли грязью. В конце концов оба умолкают.

Только дети идут с нами. Они цепляются за наши руки и бегут рядом. Мы кормим их шоколадом, маленькими кусочками, — нам хочется, естественно, принести немного сладкого и домой.

Адольф Бетке держит на руках маленькую девочку. Она тянет его за усы, как за вожжи, Адольф строит смешные гримасы, девочка заливается хохотом и хлопает его ручонками по лицу. Адольф задерживает ручку и показывает мне, какая она крохотная.

Он больше не строит гримас, и девочка начинает плакать. Адольф пытается ее успокоить, но она плачет сильнее и сильнее, и он спускает ее на землю.

— Мы стали, верно, настоящими пугалами, — ворчит Козоле.

— Ну еще бы. От окопного рыла хоть кого жуть возьмет, — говорит Вилли.

— От нас пахнет кровью... В этом все дело, — говорит Людвиг Брайер.



— Вот помоемся, — мечтает Юпп, — тогда, наверное, и девочки будут поласковей.

— Ах, если бы достаточно было только помыться, — задумчиво откликается Людвиг.

Раздосадованные, движемся мы дальше. После стольких лет войны мы не так представляли себе возвращение на родину. Думали, нас будут ждать, а теперь видим: здесь каждый по-прежнему занят собой. Жизнь ушла вперед и идет своим чередом, как будто мы теперь уже лишние. Деревня эта, конечно, еще не вся Германия, но досада подступает к самому горлу, и тень набегаает, и в душу закрадывается странное предчувствие.

Телеги громяхают мимо, возницы покрикивают, люди мельком взглядывают на нас и спешат дальше, занятые своими мыслями и заботами. Бьют часы на колокольне, и сырой ветер дышит нам в лицо. И только какая-то старушка в чепце с длинными лентами обегает без конца наши ряды и робко расспрашивает всех о некоем Эрхарде Шмидте.



Под постой нам отводят огромный сарай. Но, хоть мы и отмахали десятки километров, спать никому не хочется. Мы отправляемся в трактиры.

Там — большое оживление. Есть мутное вино, уже этого года, замечательно вкусное. Оно здорово бросается в ноги. Тем приятней сидеть здесь. Облака табачного дыма плывут под низким потолком, вино пахнет землей и летним солнцем. Мы достаем наши консервы, мясо накладываем на толстые ломти хлеба, втыкаем ножи подле себя в широкие дощатые столы и принимаемся есть. Керосиновая лампа, как мать, обогревает нас своим светом.

Вечером мир всегда прекрасней. Не в окопах, правда, а в мирной жизни. Сегодня днем мы вошли в эту деревню разозленные, теперь мы оживаем. Маленький оркестр в углу быстро пополняется нашими ребятами. Среди нас есть не только пианисты и виртуозы игры на губной гармонике, но даже один настоящий музыкант, баварец, играющий на басовой гитаре. К ним присоединяется Вилли Хомайер, соорудивший

дивший себе какую-то дьявольскую скрипку. Кроме того, он вооружился крышками от бельевых баков и блестяще заменяет ими литавры, тарелки и треугольники.

Но самое непривычное, что бросается в голову сильнее вина, — это девушки. Они иные, чем днем: они смеются, они доступны. Или это не те? Девушек мы давно не видели.

Сначала мы вождедем к ним и в то же время чувствуем смущение, мы не доверяем себе — на фронте мы разучились обращаться с женщинами. Но вот Фердинанд Козоле подхватывает ядреную чертовочку с могучим, как бруствер, бюстом, который служит ему удобной опорой. Его примеру следуют остальные.

Сладкое тяжелое вино приятно звенит в голове, девушки носятся по залу, играет музыка, а мы собрались в углу вокруг Адольфа Бетке.

— Ребята, — говорит он, — завтра или послезавтра мы дома. Э-эх, ребята, жена-то, наверно, заждалась, ведь уже целых десять месяцев...

Я перегибаюсь через стол и разговариваю с Валентином Лагером; он холодно, с видом превосходства осматривает девушек. Рядом с ним сидит блондиночка, но он точно не замечает ее. Когда я нагибаюсь, что-то в моей куртке ударяется об угол стола. Я ощупываю карман. Часы Генриха Веслинга. Как давно это было...

Юпп подцепил самую толстую девицу. Он танцует, изогнувшись вопросительным знаком. Его огромная лапища удобно расположилась на широченном бедре девушки и наигрывает на нем, как на рояле. Толстуха влажным ртом смеется ему прямо в лицо, и Юпп с каждой минутой все больше распаляется. Наконец наостряет лыжи и исчезает вместе со своей дамой.

Несколько минут спустя я выхожу в сад и ищу укромное местечко. Нахожу одно, но там стоит какой-то взопревший унтер и с ним девушка. Я брожу по всему саду и только собираюсь пристроиться, как за мной раздается отчаянный треск. Оборачиваюсь — и вижу: Юпп со своей толстухой копошатся на земле. Они продавили садовый стол и вместе с ним опрокинулись. Увидев меня, толстуха прыскает со смеху и показывает язык. Юпп шипит от злости. Я спешно ретируюсь в кусты и наступаю кому-то на руку... Дьявольская ночь!

— Ослеп, что ли, медведь косолапый? — рычит чей-то бас.

— А я почем знаю, что ты разлегся здесь, баран чертов, — огрызаюсь я с досадой. Наконец нахожу спокойное местечко.

Прохладный ветерок, приятно освежающий после трактирного чада, темные скаты крыш, кроны деревьев, тишина и идиллическое журчанье, я мочусь... Подходит Альберт и становится рядом. Светит луна. Струйки поблескивают, как чистое серебро.

— Хорошо, Эрнст, а? — говорит Альберт.

Я молча киваю. Мы еще долго стоим и смотрим на луну.

— И подумать только, Альберт, что вся эта мерзость позади!

— Да, Эрнст, черт побери!

За нами — хруст и треск. Из кустов доносится подавленно-ли-

кующее взвизгивание девушек. Ночь как гроза, заряженная прорвавшейся жизнью; дико и горячо зажигается жизнь о жизнь.

Кто-то стонет в саду. В ответ раздается смешок. С сеновала спускаются две тени. На лестнице стоят двое. Мужчина, точно взбесившись, зарывается лицом в юбки девушки и что-то лепечет. Она хрипло смеется, и смех ее словно щеткой царапает по нервам. Мурашки пробегают у меня по спине. Как это близко одно и другое: вчера и сегодня, смерть и жизнь.

Из темноты сада показывается Тьяден. Он обливается потом, но лицо его сияет.

— До чего ж хорошо, ребятки, — говорит он, застегивая куртку. — Чувствуешь, по крайней мере, что жив.

Мы огибаем дом и натываемся на Вилли Хомайера. Он развел на капустных грядках большой костер и бросил в него несколько полновесных пригоршней картофеля, свой трофей. Мирно и мечтательно сидит он в одиночестве перед огнем и дожидается, пока испечется картошка. Возле него несколько раскупоренных коробок американских мясных консервов. Собака лежит рядом и внимательно следит за ним.

Языки пламени бросают медный отсвет на рыжие волосы Вилли. Снизу, с лугов, поднимается туман. Мерцают звезды. Мы подсаживаемся к нему и достаем из огня картофелины. Шелуха обгорела дочерна, зато золотистая мякоть рассыпчата и ароматна. Мы хватаем мясо обеими руками и едим его, с увлечением мотая головой из стороны в сторону, словно играем на губной гармонике. Отвинчиваем от фляжек алюминиевые стаканчики и наливаем водку.

Как вкусна картошка! Правда ли, что земля вертится? Где мы? Может, мы снова сидим мальчишками на поле и целый день выбираем из крепко пахнущей земли картофель, чувствуя за своими спинами краснощеких девушек в выцветших голубых платьях и с корзинами в руках? О вы, костры нашей юности! Белые клубы дыма тянулись над полем, потрескивало пламя, а кругом — тишина... Картофель поспевал последним, к тому времени уже все бывало убрано, земля лежала, раскинувшись во всю ширь. Ясный воздух, горький, белый, любимый дым, последняя осень. Горький дым, горький аромат осени, костры нашей юности. Клубы дыма плывут, плывут и уплывают... Лица товарищей, мы в пути, война кончилась, так странно растаяло все, и вот — снова костры, и печенный в золе картофель, и осень, и жизнь...

— Эх, Вилли, Вилли...

— Что, здóрово придумал? — спрашивает он, поднимая глаза. В обеих руках у него полно мяса и картошки.

Ах ты, голова баранья, ведь я совсем не о том...

* * *

Костер догорел. Вилли обтирает руки о штаны и складывает ножик. В деревне тихо, только лают собаки. Не слышно ни взрыва снарядов, ни дребезжания артиллерийских повозок, ни даже осторожно-

го поскрипывания санитарных машин. Ночь, в которую умрет гораздо меньше людей, чем в любую ночь за эти все четыре года.

Мы возвращаемся в трактир. Веселье уже приутихло. Валентин сбросил куртку и сделал несколько стоек на руках. Девушки хлопают, но Валентин недоволен. Он с грустью говорит Козоле:

— Когда-то, Фердинанд, я был неплохим акробатом. Ну, а теперь хоть в ярмарочный балаган иди, да и то не знаю, возьмут ли! «Партерный акробат Валентин» — это был аттракцион! А сейчас куда я пойду со своим ревматизмом? Кости не те.

— Да ты радуйся, что они целы, — говорит Козоле и ударяет кулаком по столу. — Вилли, музыку!

Хомайер с готовностью начинает бить в барабан и бубны. Настроение снова поднимается. Я спрашиваю Юппа, как ему понравилась толстуха. Он пренебрежительно машет рукой.

— Вот так так! — говорю я, ошарашенный. — Быстро это у тебя.

Юпп морщится:

— Понимаешь, я думал, что она меня любит. А она? Деньги, негодяйка, потребовала. Вдобавок я себе еще и колено расшиб об этот чертов стол, да так здорово, что едва хожу.

Людвиг Брайер сидит у стола бледный, молчаливый. Собственно говоря, ему давно следовало бы спать, но, видно, он не хочет уходить отсюда. Рука его заживает хорошо, и с дизентерией тоже полегче немного. Но он по-прежнему замкнут и невесел.

— Людвиг, — говорит Тьяден захмелевшим голосом, — пойди в сад. Это от всего помогает.

Людвиг отрицательно мотает головой и вдруг сильно бледнеет. Я подсаживаюсь к нему.

— Ты разве не рад, Людвиг, что мы скоро будем дома? — спрашиваю я.

Он встает и уходит. Я совершенно не понимаю его. Немного погодя выхожу за ним в сад. Он один. Я больше его ни о чем не спрашиваю. Мы молча возвращаемся назад.

В дверях сталкиваемся с Леддерхозе. Он собирается улизнуть в обществе толстухи. Юпп злорадно ухмыляется:

— Сейчас она ему преподнесет сюрприз!

— Не она ему, а он ей, — говорит Вилли. — Уж будьте покойны: Артур грошика из рук не выпустит.

Вино льется по столу, лампа чадит, юбки девушек развеваются. Какая-то теплая усталость укачивает меня, предметы приобретают расплывчатые очертания, как это иногда бывает с осветительными ракетками в тумане; голова медленно опускается на стол... Ночь, как чудесный экспресс, мягко мчит нас на родину; скоро мы будем дома.

III

В последний раз построились мы на казарменном дворе. Кое-кто из нашей роты живет поблизости. Этих отпускают. Остальным предлагается на свой страх и риск пробираться дальше. Поезда идут на-

столько нерегулярно, что группами нас перевозить не могут. Настал час расставанья.

Просторный серый двор слишком велик для нас. Унылый ноябрьский ветер, пахнувший разлукой и смертью, метет по двору. Мы выстроились между столовой и караулкой. Больше места нам не требуется. Широкое пустое пространство будит тяжкие воспоминания. Незримо уходя в глубь двора, стоят бесконечные ряды мертвецов.

Хеель обходит роту. За ним беззвучным строем следуют тени его предшественников. Вот истекающий кровью, хлещущей из горла, Бертинк, с оторванным подбородком и скорбными глазами; полтора года он был ротным командиром, учитель, женат, четверо детей; за ним — с зеленым, землистым лицом Меллер, девятнадцати лет, отравлен газами через три дня после того, как принял командование; следующий — Редеккер, лесовод, через две недели взорвавшимся снарядом был живьем врыт в землю. А там, уже бледнее, отдаленнее, Бютнер, капитан, выстрелом в сердце из пулемета убит во время атаки; дальше, уже безмянные призраки, — так они все далеки, — остальные: семь ротных командиров за два года. И свыше пятисот солдат. Во дворе казармы стоят тридцать два человека.

* * *

Хеель пытается сказать на прощание несколько слов. Но у него ничего не получается, и он умолкает. Нет на человеческом языке слов, которые могли бы устоять перед этим одиноким, пустынным казарменным двором, где, вспоминая товарищей, молча стоят редкие ряды уцелевших солдат и зябнут в своих потрепанных и стоптанных сапогах.

Хеель обходит всех по очереди и каждому пожимает руку. Подойдя к Макс Вайлю, он, поджав губы, говорит:

— Ну вот, Вайль, вы и дождались своего времечка.

— Что ж, оно не будет таким кровавым, — спокойно отвечает Макс.

— И таким героическим, — возражает Хеель.

— Это не все в жизни, — говорит Вайль.

— Но самое прекрасное, — отвечает Хеель. — А что ж тогда прекрасно?

Вайль с минуту молчит. Затем говорит:

— То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. В этом тоже есть свой героизм, господин обер-лейтенант.

— Нет, — быстро отвечает Хеель, словно он уже не раз об этом думал, и лоб его страдальчески морщится. — Нет, здесь одно только мученичество, а это совсем другое. Героизм начинается там, где рассудок пасует: когда жизнь ставишь ни во что. Героизм строится на безрассудстве, опьянении, риске — запомните это. С рассуждениями у него нет ничего общего. Рассуждения — это ваша стихия. «Почему?.. Зачем?.. Для чего?..» Кто ставит такие вопросы, тот ничего не смыслит в героизме...

Он говорит с такой горячностью, точно хочет самого себя убедить. Его высохшее лицо нервно подергивается. За несколько дней он как-то сразу постарел, стал желчным. Но так же быстро изменился и Вайль: прежде он держался незаметно и у нас никто его не понимал, а теперь он сразу выдвинулся и с каждым днем держит себя решительней. Никто и не предполагал, что он умеет так говорить. Чем больше нервничает Хеель, тем спокойнее Макс. Тихо, но твердо он произносит:

— За героизм немногих страдания миллионов — слишком дорогая цена.

— Слишком дорого... цена... целесообразность... Вот ваши слова. Посмотрим, чего вы добьетесь с ними.

Вайль оглядывает солдатскую куртку, которую все еще не снял Хеель:

— А чего вы добились вашими словами?

Хеель краснеет.

— Воспоминаний, — бросает он резко. — Хотя бы воспоминаний о таких вещах, которые за деньги не купишь.

Вайль умолкает.

— Да! Воспоминаний! — говорит он, окидывая взглядом пустынный двор и наши поредевшие ряды. — И страшной ответственности.

Мы мало что поняли из всего этого разговора. Нам холодно, и разговоры, по-нашему, ни к чему. Ими ведь мира не переделаешь.

* * *

Ряды распадаются. Начинается прощание. Сосед мой Мюллер поправляет ранец на плечах, зажимает под мышкой узелок с продовольствием и протягивает мне руку:

— Ну, прощай, Эрнст!

— Прощай, Феликс.

Он прощается с Вилли, Альбертом, Козоле...

Подходит Герхардт Поль, наш ротный запевала. Во время походов он всегда пел верхнего тенора: бывало, выждет, когда песня распадется на два голоса, и, набравшись как следует сил, во всю мочь запекает на верхних нотах. Его смуглое лицо с большой бородавкой растроганно: он только что простился с Карлом Брегером, своим неизменным партнером в скат. Прощание оказалось нелегким.

— Прощай, Эрнст!

— Прощай, Герхардт!

Он уходит.

Ведекамп протягивает мне руку. Он у нас мастерил кресты для братских могил.

— Ну, Эрнст, до свидания. Так-таки не привелось сработать для тебя креста. А жаль: ладный был бы крестик — из красного дерева. Я даже припас для этой цели великолепную крышку от рояля.

— Может, еще пригодится, — отвечаю я. — Когда дело до этого дойдет, pošлю тебе открытку.

Он смеется:

— Держи ухо востро, паренек. Война еще не кончена.

Кривоплечий Ведекамп быстро семенит прочь.

Первая группа исчезает за воротами казармы. Ушли Шефлер, Фасбендер, маленький Луке и Август Бекман. За ними уходят другие. Нам становится не по себе. Трудно привыкнуть к мысли, что они ушли навсегда. До сих пор существовало только три возможности покинуть роту: смерть, ранение и откомандирование. Теперь к ним присоединилась еще одна — мир.

Как странно все. Мы так привыкли к воронкам и окопам, что нами вдруг овладевает недоверие к тишине полей и лесов, по которым мы сейчас разойдемся, как будто тишина лишь маскировка предательски минированных участков...

А наши товарищи ушли туда так беспечно, одни, без винтовок, без гранат. Хочется побегать за ними, хочется вернуть их, крикнуть: «Куда вы идете одни, без нас, мы должны быть вместе, нам нельзя расставаться, ведь невозможно жить иначе!»

В голове точно жернов вертится... Слишком долго мы были солдатами.

Ноябрьский ветер завывает на пустынном дворе казармы. Уходят наши товарищи. Еще немного — и каждый из нас опять будет один.

* * *

Нас осталось во дворе казармы несколько человек: нам по пути, и мы едем вместе. Располагаемся на вокзале, чтобы захватить какой-нибудь поезд. Вокзал — настоящий военный лагерь, заваленный сундучками, котомками, ранцами и плащ-палатками.

За семь часов проходят только два поезда. Виноградными гроздьями висят люди на ступеньках вагонов. Днем мы отвоевываем себе местечко поближе к рельсам. К вечеру мы продвигаемся вперед и занимаем самую лучшую позицию. Мы спим стоя.

Следующий поезд приходит на второй день к полудню. Это товарный состав, он везет слепых лошадей с фронта. Вывороченные белки животных сплошь в синеватых и багровых жилках. Лошади стоят неподвижно, вытянув шеи, и только в дрожащих ноздрях теплится жизнь.

Днем вывешивается объявление, что поездов сегодня больше не будет. Никто не трогается с места. Солдат не верит объявлениям. И в самом деле: вскоре показывается поезд. С первого взгляда ясно, что он нам подходит — поезд полон разве что наполовину.

Вокзальные своды сотрясаются от грохота: наскоро собрав пожитки, бешеным потоком ринулись из зала ожидания еще не сформированные части и врезались в гущу ожидающих на перроне одиночек. Все это сплетается в какой-то бешеный клубок.

Поезд медленно подходит. Одно окно открыто. Мы подбрасываем Альберта Троске, самого легкого из нас, и он, как обезьяна, на ходу карабкается в вагон. В ту же минуту люди облепляют двери. Окна



большой частью закрыты. Но вот зазвенели стекла под ружейными прикладами тех, кто любой ценой, хотя бы с израненными руками и ногами, решил попасть в поезд. Бросая одеяла поверх осколков, они берут поезд на абордаж.

Состав останавливается. Промчавшись по коридорам вагонов, Альберт рывком опускает перед нами окно. Тяден с собакой влезает первыми, за ними, с помощью Вилли, — Бетке и Козоле. Все трое тотчас же бросаются к дверям, чтобы блокировать купе с обеих сторон. Пожитки наши летят одновременно с Людвигом и Леддерхозе, за ними карабкается Валентин, затем я и Карл Брегер; последним прыгает Вилли, предварительно здорово поработав локтями и кулаками.

— Все здесь? — орет Козоле у дверей. Снаружи отчаянно ломятся.

— Все! — ревет Вилли.



Пулей устремляются Бетке, Козоле и Тяден на свои места, и люди стремительным потоком врываются в вагон, карабкаются в багажные сетки, заполняют каждый сантиметр.

Паровоз тоже атакуют. На буферах уже сидят. На крышах вагонов — полным-полно.

— Слезайте! Вам там снесет черепа! — кричит машинист.

— Заткнись! Без тебя знаем!.. — раздается в ответ.

В уборную втиснулось пять человек. Один уселся в окне, свесив зад наружу.

Поезд трогается. Кое-кто, не удержавшись, падает. Двое попадают под колеса. Их уносят. На их место тотчас же прыгают другие. На подножках люди. Толчея не прекращается и на ходу.

Кто-то цепляется за ручку двери. Дверь раскрывается, и человек повисает в воздухе, уцепившись за раму окна. Вилли высовывается, хватая его сзади за шиворот и втаскивает внутрь.

* * *

Ночью наш вагон несет первые потери. Поезд проходил через низкий туннель. Несколько человек из тех, что были на крыше, раздавлены и сметены начисто. Их соседи видели катастрофу, но никак не могли остановить поезд. Солдат, устроившийся в окне уборной, уснул и вывалился на ходу. Во избежание новых жертв крыши оборудуются подпорками из чурок, штыков и шашек, переплетенных веревками. Кроме того, устанавливаются дежурные посты: их задача — предупреждать об опасности.

Мы спим, спим без конца, лежа, стоя, сидя, опустившись на корточки, скрючившись на ранцах и узелках. Поезд грохочет. Дома, деревья, сады; люди — они машут нам; шествия, красные знамена, патрули на вокзалах, крик, экстренные выпуски газет, революция... Нет, сначала дайте нам выспаться, а потом уж все остальное. Только теперь по-настоящему чувствуешь, как страшно устал за все эти годы.

* * *

Вечер. Горит коптилка. Поезд медленно тащится. Часто и вовсе останавливается из-за всяких неисправностей.

Покачиваются ранцы. Дымят трубки. Собака, взбравшись ко мне на колени, мирно спит. Адольф Бетке перебирается ко мне и гладит ее.

— Ну вот, Эрнст! — помолчав, говорит он. — Пришло время нам расстаться.

Я киваю. Странно, но я совершенно не представляю себе, как буду жить без Адольфа, без его зорких глаз и спокойного голоса. Он взрастил меня и Альберта, пришедших на фронт неопытными новобранцами, и я думаю, что, не будь Бетке, я вряд ли остался бы в живых.

— Мы должны с тобой часто встречаться, Адольф. Непременно, — говорю я.

Меня ударяют каблуком по лбу. Над нами в багажной сетке сидит Тьяден и усердно пересчитывает свои деньги: он прямо с вокзала собирается в бордель. Чтобы заблаговременно настроиться соответствующим образом, он делится опытом с несколькими солдатами. Никто не воспринимает это как свинство: его охотно слушают, — речь ведь не о войне.

Сапер, у которого не хватает двух пальцев, рассказывает с гордостью, что его жена родила на седьмом месяце и все-таки ребенок весил целых три килограмма. Леддерхозе подымает его на смех: этого, мол, не бывает. Сапер не понимает и по пальцам считает месяцы между побывкой дома и рождением ребенка.

— Семь. Так оно и есть. Я не ошибся, — говорит он.

Леддерхозе икает, двусмысленная усмешка кривит его лимонно-желтое лицо:

— Значит, кто-нибудь за тебя постарался.

Сапер пристально смотрит на него.

— Что? Ты что там несешь такое? — говорит он, запинаясь.

— Что ж тут непонятного? — гнусаит, потягиваясь, Артур. Сапера бросает в пот. Он снова считает. Губы у него дрожат. У окна корчится от смеха бородастый толстяк, обозный ездовой.

— Ох и осёл же, ну и осёл...

Бетке встает.

— Заткнись, толстомордый! — говорит он.

— Почему? — спрашивает бородач.

— Потому что заткнись. И ты тоже, Артур.

Сапер побледнел.

— Что мне теперь делать? — беспомощно бормочет он и высывается из окна.

— Самое лучшее, — задумчиво изрекает Юпп, — жениться, когда дети совсем взрослые. Тогда такая история никогда не произойдет.

За окнами тихо скользит вечер. Темными стадами легли на горизонте леса, поля слабо мерцают в тусклом свете, падающем из окон поезда. Нам осталось всего два часа пути. Бетке встает и приводит в порядок свой ранец. Он живет в деревне, за несколько остановок до города, и ему выходить раньше нашего.

Поезд останавливается. Адольф пожимает нам руки. Неловко спотыкаясь на маленьком перроне, он озирается, и взгляд его в одно мгновение впитывает в себя пейзаж, как иссохшее поле — дождевую влагу. Затем он поворачивается к нам, но уже ничего не слышит. Людвиг Брайер, хотя у него и сильные боли, стоит у окна.

— Двигай, Адольф, не жди, — говорит он. — Жена, небось, истосковалась...

Бетке, запрокинув голову, смотрит на нас:

— Ничего, Людвиг. Не к спеху.

Его со страшной силой тянет повернуться и пойти, это видно, но Адольф остается Адольфом — он до последней секунды не отходит от нас. Зато, едва трогается поезд, он быстро поворачивается и, широко шагая, уходит.

— Мы скоро навестим тебя! — кричу я ему вдогонку.

Нам видно, как он идет по полю. Он еще долго машет нам рукой. Пронесются клубы паровозного дыма. Вдали светится несколько красноватых огоньков.

Поезд делает большую петлю. Вот уж Адольф совсем маленький — черная точка, крохотный человечек, один среди широкого простора темнеющей равнины, над которой мощным куполом опрокинулось предгрозовое вечернее небо, сернисто-желтое по краям. Я не знаю почему, — к Адольфу это прямого отношения не имеет, — но меня охватывает тревога при виде человека, одиноко бредущего под огромным куполом неба, по бескрайней равнине, в вечереющей мгле.

Но вот надвигаются деревья, и сумрак густеет, и ничего уж нет — только движение, и небо, и леса.

* * *

В купе становится шумно. Здесь углы, выступы, запахи, тепло, пространство и границы; здесь — темные, обветренные лица с блестящими пятнами глаз, здесь воняет землей, потом, кровью и солдатской шинелью, а там, за окнами, под тяжелую поступь поезда уносится куда-то целый мир, целый мир остается позади, — он все дальше и дальше, мир воронок и окопов, мир тьмы и ужасов; он уже не больше чем вихрь, мечущийся за окнами, вихрь, которому нас не нагнать.

Кто-то заводит песню. Ее подхватывают. Вскоре поет все наше купе, соседнее, весь вагон, весь поезд. Мы поем все громче, все настойчивее, лбы краснеют, жилы набухают, мы поем все солдатские песни, которые знаем, незаметно для себя мы смотрим друг на друга, глаза блестят, колеса отчеканивают ритм, мы поем и поем...

Я зажат между Людвигом и Козоле и сквозь куртку ощущаю тепло их тел. Я шевелю руками, верчу головой, мускулы напрягаются, какая-то дрожь поднялась от колен к животу и словно шипучка бросается в легкие, в губы, в глаза, так что купе расплывается в тумане, я весь дрожу, как телеграфный столб в бурю, тысячи проводов звенят, раскрываются тысячи путей. Я медленно опускаю руку на руку Людвига, мне кажется, я сейчас обожгу ее своим прикосновением. Но, когда Людвиг поднимает на меня глаза, усталый и бледный по обыкновению, я не в состоянии выразить того, что во мне происходит, и могу лишь с трудом, запинаясь, произнести:

— Сигарета есть, Людвиг?

Он дает мне сигарету. Поезд несется, а мы все поем, поем. Но вот к нашему пению примешивается какое-то злое урчание, и сквозь стук колес в одну из пауз что-то с отчаянным треском раскалывается и долго перекачивается по равнине. Тучи сгустились — грянула гроза. Молнии вспыхивают, как близкий орудийный огонь. Козоле стоит у окна и покачивает головой:

— Вот так штука... Этакая грозища в такую пору, — говорит он, высовываясь в окно. Вдруг он вскрикивает: — Скорей! Скорей! Вот он!

Мы бросаемся к окнам. В свете молний на горизонте вонзаются в небо тонкие шпили городских башен. С каждым новым ударом грома они погружаются во мрак, но с каждой новой молнией они все ближе и ближе.

Глаза у нас горят от возбуждения. Внезапно, словно гигантское дерево, вырастает между нами, над нами, в нас — ожидание.

Козоле собирает свои вещи.

— Эх, братцы, где-то нам через год придется сидеть? — говорит он, расправляя плечи.

— На заднице, — нервно отрезает Юпп.

Но никто не смеется. Город наскочил на нас, он притягивает нас к себе. Вот раскинулся он и дышит как живой в ослепительном свете молний, широкой волной надвигается он на нас, а мы приближаемся к нему — поезд солдат, поезд возврата на родину, возврата из небытия, поезд напряженнейшего ожидания. Ближе и ближе, мы бешено мчимся, стены бросаются нам навстречу, сейчас мы столкнемся, молнии сверкают, буйствуют громовые раскаты... Но вот уж по обе стороны вагона высоко пенится шумом и криками вокзал, грозовой ливень срывается с неба, платформа блестит от воды, и, не помня себя, мы кидаемся во всю эту сумятицу.

Со мной из вагона выскакивает собака. Она жметя ко мне, и под дождем мы вместе сбегает по ступенькам лестницы.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ак вода, выплеснутая из ведра на мостовую, брызгами разлетаемся мы в разные стороны. Походным маршем двинулись вниз по Генрихштрассе Козоле с Брегером и Троске. С такой же поспешностью сворачиваем мы с Людвигом на Вокзальную аллею. Леддерхозе, не прощаясь, стрельнул от нас прочь, унося свой лоток с барахлом. Тьяден торопливо расспрашивает Вилли, как побыстрее добраться до борделя, и только Юпп и Валентин никуда не спешат. Никто их не ждет, и они лениво тащатся пока в зал ожидания, чтобы поразведать насчет жратвы. Позднее они отправятся в казарму.

С деревьев Вокзальной аллеи падают дождевые капли; низко и быстро несутся тучи. Навстречу нам движется несколько солдат последнего призыва. На руках у них красные повязки.

— Долой погоны! — кричит один и бросается к Людвигу.

— Заткнись, желторотый! — говорю я, отталкивая его.

Сзади напирают остальные, и нас окружают. Людвиг, спокойно взглянув на переднего солдатика, идет дальше. Тот уступает ему дорогу. Но откуда-то появляются два матроса и бросаются на Людвигу.

— Не видите, собаки, что это раненый? — рычу я и сбрасываю ранец, чтобы освободить руки.

Но Людвиг уже лежит на земле, раненая рука делает его почти беззащитным. Матросы рвут на нем китель, топчут Людвигу ногами.

— Офицер! — раздается пронзительный женский визг. — Бей его, кровопийцу!

Я бросаюсь на выручку к Людвигу, но удар в лицо чуть не сбивает меня с ног.

— Сатана! — вырывается у меня со стоном, и я изо всех сил ударяю противника сапогом в живот. Охнув, он валится на бок. Меня мгновенно осаждают трое других. Собака бросается на одного из них. Но его товарищам все-таки удается меня повалить.

— Огонь гаси, точи ножи, — визжит женщина.

Сквозь топчущие ноги я вижу, как Людвиг свободной левой рукой душит матроса, которого ему удалось свалить ударом ноги под колени.

Он крепко держит его, хотя ему здорово попадает со всех сторон. Кто-то хлопает меня по голове пряжкой ремня, кто-то дает кулаком

в зубы. Правда, Волк тут же впивается ему в колено, но встать нам никак не удастся, — они снова и снова валят нас наземь и собираются, как видно, истолочь в порошок. В бешенстве пытаюсь достать револьвер. В это мгновение один из моих противников как сноп валится на мостовую. Вслед за ним без сознания падают второй, третий. Это, конечно, работа Вилли. Не иначе.

Он примчался сюда во весь опор, ранец сбросил по дороге и вот теперь буйствует возле нас. Огромными своими ручищами хватает их по двое за шиворот и стучает головами друг о друга. Они без чувств валяются на мостовую, ибо, когда Вилли приходит в ярость, он превращается в настоящий паровой молот. Мы спасены, и я вскакиваю, но противники успевают удрать. Мне еще удастся запустить одному ранцем в спину, затем я спешно принимаюсь хлопотать над Людвигом.

А Вилли пустился в погоню. Он заметил обоих матросов, напавших на Людвигу. Один из них уже валяется в водосточной канаве, посиневший и стонущий, и над ним свирепо рычит наш Волк; за вторым Вилли еще гонится, рыжие волосы его развеваются, — это какой-то огненный вихрь. Повязка у Людвигу сорвана. Из раны сочится кровь. Лицо измазано, на лбу кровоподтек от удара сапогом. Он вытирает лицо и медленно поднимается.

— Здорово досталось? — спрашиваю я.

Мертвенно-бледный, он отрицательно качает головой.

Вилли между тем догнал матроса и мешком волочит его по земле.

— Свины треклятые, — хрипит он, — всю войну просидели на своих кораблях, как на даче, выстрела даже не слышали, а теперь осмеливаетесь разевать пасть и нападать на фронтовиков! Я вас проучу! На колени, крыса тыловая! Проси у него прощения!

Он с таким свирепым видом подталкивает матроса к Людвигу, что в самом деле страшно становится.

— В куски искрошу тебя, в клочья изорву! На колени! — шипит он.

Матрос визжит.

— Оставь, Вилли, — говорит Людвиг, собирая свои вещи.

— Что? — растерянно переспрашивает Вилли. — Ты спятил? После того, как они сапогами топтали твою больную руку?

Людвиг, не глядя, уже идет своей дорогой.

— Да отпусти ты его на все четыре стороны...

Вилли окончательно сбит с толку. Он смотрит на Людвигу ничего не понимающими глазами и, качая головой, отпускает матроса.

— Ну что ж, беги, если так! — говорит он. Но он не может отказать себе в удовольствии в ту секунду, когда матрос собирается улепетнуть, дать ему такого пинка, что тот, дважды перевернувшись, летит кувырком.

* * *

Мы идем дальше. Вилли ругается: когда он зол, он не может не говорить. Но Людвиг молчит.

Вдруг мы видим, как из-за угла Бирштрассе на нас опять насту-

пает отряд убежавших. Они раздобыли подкрепление. Вилли снимает винтовку.

— Зарядить — и на предохранительный взвод! — командует он, и глаза его сужаются.

Людвиг вытаскивает револьвер, и я тоже беру ружье на изготовку. До сих пор вся история носила характер простой потасовки, теперь же дело, видимо, принимает серьезный оборот. Второго нападения на себя мы не допустим.

Рассыпавшись цепью на три шага друг от друга, чтобы не представлять сплошной мишени, идем в наступление. Собака сразу же поняла, что происходит. Ворча, она ползет рядом с нами по водосточной канаве, — на фронте она научилась красться под прикрытием.

— Ближе двадцати метров не подходи: стрелять будем! — грозно кричит Вилли.

Противник в замешательстве. Мы продолжаем двигаться вперед. На нас направлены дула винтовок. Вилли с шумом откидывает предохранитель и снимает с пояса ручную гранату, свой неприкосновенный запас.

— Считаю до трех...

От неприятельского отряда отделяется вдруг уже немолодой человек в унтер-офицерской форме, но без нашивок. Выйдя вперед, он кричит нам:

— Товарищи мы вам или нет?

От неожиданности Вилли даже поперхнулся.

— Черт возьми, а мы вам о чем все время твердим, трусы несчастные! — огрызается Вилли. — Кто первый напал на раненого?

Унтер-офицер поражен.

— Это правда, ребята? — спрашивает он своих.

— Он отказался снять погоны, — отвечает ему кто-то.

Унтер-офицер нетерпеливо машет рукой и снова поворачивается к нам:

— Этого не надо было делать, ребята. Но вы, верно, даже не знаете, что у нас здесь происходит. Откуда вы?

— С фронта. А то откуда же? — фыркает Вилли.

— А куда идете?

— Туда, где вы просидели всю войну, — домой.

— Вот, — говорит унтер-офицер, поднимая свой пустой рукав, — это я не в собственной спальне потерял.

— Тем позорнее тебе водить компанию с этими оловянными солдатами, — равнодушно откликается Вилли.

Унтер-офицер подходит ближе.

— У нас революция, — твердо заявляет он, — и кто не с нами, тот против нас.

Вилли смеется:

— Хороша революция, если ваше единственное занятие — срывать погоны... Если это все, чего вы добиваетесь... — Вилли презрительно сплевывает.

— Нет, далеко не все! — говорит однорукий и быстро вплотную подходит к Вилли. — Мы требуем: конец войне, конец травле, конец убийствам! Мы больше не хотим быть военными машинами! Мы снова хотим стать людьми!

Вилли опускает руку с гранатой.

— Подходящее начало, — говорит он, показывая на растерзанную повязку Людвига. В два прыжка он подскакивает к солдатам. — Марш по домам, молокососы! — рявкает он вслед отступающему отряду. — Вы хотите стать людьми? Но ведь вы даже еще не солдаты. Страшно смотреть, как вы винтовку держите. Вот-вот руки себе переломаете.

Толпа рассеивается. Вилли поворачивается и во весь свой огромный рост выпрямляется перед унтер-офицером:

— Так, а теперь я скажу кое-что и тебе. Мы тоже по горло сыты всей этой мерзостью. Что надо положить конец — ясно. Но только не таким манером. Если мы что делаем, то делаем по собственной воле, а командовать собой пока еще никому не дадим! Ну, а теперь раскрой-ка глаза, да пошире! — Двумя движениями он срывает с себя погоны: — Делаю это потому, что я так хочу, а не потому, что вам этого хочется! Это мое личное дело. Ну, а тот, — он показывает на Людвигу, — наш лейтенант, и погоны на нем останутся, и горе тому, кто скажет хоть слово против.

Однорукий кивает. Лицо его выражает волнение.

— Ведь я тоже был на фронте, чудак ты, — с усилием говорит он, — я тоже знаю, чем это пахнет. Вот... — волнуясь, он протягивает свой обрубок. — Двадцатая пехотная дивизия. Верден.

— Тоже там побывали, — следует лаконичный ответ Вилли. — Ну, значит, прощай!

Он надевает ранец и поднимает винтовку. Мы трогаемся в путь. Когда Людвиг проходит мимо унтер-офицера с красной нарукавной повязкой, тот берет под козырек, и нам ясно, что он хочет этим сказать: отдаю честь не мундиру и не войне, я приветствую товарища-фронтовика.

* * *

Вилли живет ближе всех. Растроганно кивает он в сторону маленького домика:

— Привет тебе, старая развалина! Пора и в запас, на отдых!

Мы останавливаемся, собираясь прощаться. Но Вилли протестует.

— Сперва Людвигу доставим домой, — заявляет он воинственно. — Картофельный салат и мамашины нотации от меня не уйдут.

По дороге еще раз останавливаемся и по мере возможности приводим себя в порядок, — не хочется, чтобы домашние видели, что мы прямо из драки. Я вытираю Людвигу лицо, перематываю ему повязку так, чтобы скрыть вымазанные кровью места, а то мать его может испугаться. Потом-то ему все равно придется пойти в лазарет.

Без новых помех доводим Людвиг до дому. Вид у Людвиг все еще измученный.

— Да ты плюнь на всю эту историю, — говорю я и протягиваю ему руку.

Вилли обнимает его своей огромной лапицей за плечи:

— Со всеми может случиться, старина. Если бы не твоя рана, ты изрубил бы их, как капусту.

Людвиг, молча кивнув нам, открывает входную дверь. Опасаясь, хватит ли у него сил дойти, мы ждем, пока он поднимается по лестнице. Он уже почти наверху, но вдруг Вилли осеняет какая-то мысль.

— В другой раз, Людвиг, бей сразу ногой, — напутствует он его, задрал голову кверху, — ногой, ногой! Ни за что не подпускай к себе! — и, удовлетворенный, захлопывает дверь.

— Дорого бы я дал, чтобы знать, почему он так угнетен в последнее время, — говорю я.

Вилли почесывает затылок.

— Все из-за поноса, — отвечает он. — Иначе он бы... Помнишь, как он прикончил танк под Бикшотом? Один-одинешенек! Не так-то просто, брат.

Он поправляет ранец на спине:

— Ну, Эрнст, будь здоров! Пойду погляжу, каково это жильё семейству Хомайеров за последние полгода. Трогательные разговоры, по моим расчетам, займут не больше часа, а потом пойдет педагогика. Моя мамаша — о, брат! Вот был бы фельдфебель! Золотое сердце у старушки, но оправа гранитная!

Я остаюсь один, и мир сразу преображается. В ушах шумит,



словно под камнями мостовой несется поток, и я ничего вокруг себя не слышу и не вижу, пока не дохожу до нашего дома. Медленно поднимаюсь по лестнице. Над нашей дверью красуется надпись: «Добро пожаловать», а сбоку торчит букет цветов. Родные увидели меня издали, и все вышли встречать. Мать стоит впереди, на самой площадке, за ней отец, сестры... В открытую дверь видна наша столовая, накрытый стол. Все очень торжественно.

— К чему эти глупости? — говорю я. — Цветы и все прочее... Зачем? Не так уж важно, что... Что ты плачешь, мама? Я ведь здесь, и война кончилась... Чего же плакать...

И только потом чувствую, что сам глотаю соленые слезы.

11

Мы поужинали картофельными оладьями с колбасой и яйцами — чудесное блюдо! Яиц я почти два года и в глаза не видел, а о картофельных оладьях — говорить нечего.

Сытые и довольные, сидим мы вокруг большого стола в нашей столовой и попиваем желудевый кофе с сахарином. Горит лампа, поет канарейка, даже печь натоплена. Волк лежит под столом и спит. Так хорошо, что лучше быть не может.

— Ну, Эрнст, расскажи, где ты бывал, что видел? — спрашивает отец.

— Что видел? — повторяю я, подумав. — Да что, в сущности, я мог видеть? Ведь все время воевали. Что ж там было видеть?

Как ни ломаю голову, ничего путного не приходит на ум. О фронтовых делах с штатскими, естественно, говорить не станешь, а другого я ничего не знаю.

— У вас-то здесь наверняка гораздо больше новостей, — говорю я в свое оправдание.

О да, новостей немало. Сестры рассказывают, как они ездили в деревню раздобывать продукты для сегодняшнего ужина. Дважды у них все отбирали на вокзале жандармы. На третий раз они зашили яйца в подкладку пальто, картофель спрятали в сумки, подвешенные под юбками, а колбасу заткнули за блузки. Так и проскочили.

Я слушаю их не очень внимательно. Они выросли с тех пор, как я видел их в последний раз. Возможно, что я тогда попросту ничего не замечал, но тем сильнее это бросается в глаза теперь. Ильзе, вероятно, уже перевалило за семнадцать. Как время летит!

— Слышал, советник Плайстер умер? — спрашивает отец.

Я отрицательно качаю головой:

— Нет, не слышал. Когда?

— В июле. Числа двадцатого.

На печке запекает чайник. Я перебираю бахрому скатерти. Так, так, в июле, думаю я, в июле; за последние пять дней июля мы потеряли тридцать шесть человек. Я с трудом мог бы назвать теперь имена троих из этих тридцати шести, так много погибло после них.

— А что с ним было? — вяло спрашиваю я, отяжелев от непри-
вычного тепла. — Осколком или пулей?

— Да что ты, Эрнст, — удивляется отец моему вопросу, — он
ведь не солдат! У него было воспаление легких.

— Ах, да! — говорю я, выпрямляясь на своем стуле. — Бывает
еще и такое.

Они рассказывают обо всем, что произошло со времени моей по-
следней побывки. Голодные женщины до полусмерти избили хозяи-
на мясной на углу. Как-то, в конце августа, на семью выдали по цело-
му фунту рыбы. У доктора Кнотта украли собаку и, верно, пустили ее
на мыло. Фройляйн Ментруп родила ребеночка. Картофель опять
вздорожал. На будущей неделе на бойне, говорят, будут выдавать
кости. Вторая дочь тети Греты в прошлом месяце вышла замуж, и —
представь! — за ротмистра...

По стеклам окон стучит дождь. Я поеживаюсь. Как странно си-
деть в комнате. Странно быть дома...

Сестра вдруг умолкает.

— Ты совсем не слушаешь, Эрнст, — удивленно говорит
она.

— Да нет же, слушаю, — уверяю я ее и изо всех сил стараюсь
взять себя в руки. — За ротмистра, ну да, она вышла замуж за рот-
мистра.

— Да, понимаешь, как ей повезло! — живо продолжает сестра. —
А ведь у нее все лицо в веснушках. Что ты на это скажешь?

Что мне сказать? Если шрапнель попадет в голову ротмистра, то
ротмистр точно так же испустит дух, как и всякий другой смертный.

Родные продолжают болтать, но я никак не могу собрать своих
мыслей: они все время разбредаются.

Встаю и подхожу к окну. На веревке висит пара кальсон. Серея
в сумерках, они будто лениво покачиваются. Брезжит белесоватая
мгла раннего вечера. И вдруг передо мной, призрачно и отдаленно,
встает другая картина. Покачивающееся на ветру белье, одинокая
губная гармоника в вечерний час, ночной поход... Трупы негров в
выцветших голубых шинелях; губы убитых растрескались, глаза нали-
ты кровью... Газ. На миг все это четко возникает передо мной, потом,
всколыхнувшись, исчезает, и опять покачиваются на веревке кальсо-
ны, брезжит белесоватая мгла, и опять я ощущаю за спиной комнату,
и родных, и тепло, и надежные стены.

Все это уже прошлое, думаю я с облегчением и быстро отвора-
чиваюсь от окна.

* * *

— Что с тобой, Эрнст? — спрашивает отец. — Ты и четверти
часа не посидишь на месте.

— Это, наверное, от усталости, — полагает мать.

— Нет, — говорю я в каком-то смятении и стараюсь разобраться
в себе, — нет, не то. Но я, кажется, действительно не могу долго

усидеть на стуле. На фронте у нас не было стульев, мы валялись где попало. Я просто отвык.

— Странно, — говорит отец.

Я пожимаю плечами. Мать улыбается.

— Ты еще не был у себя в комнате? — спрашивает она.

— Нет, — говорю я и отправляюсь к себе.

Я открываю дверь. От знакомого запаха невидимых в темноте книг у меня бьется сердце. Нетерпеливо включаю свет. Затем оглядываюсь.

— Все осталось как было, — говорит за моей спиной сестра.

— Да, да, — отвечаю я, лишь бы отделаться: мне хочется побыть одному.

Но все уже здесь. Они стоят в дверях и ободряюще поглядывают на меня. Я сажусь в кресло и кладу руки на стол. Какой он удивительно гладкий и прохладный! Да, все на старом месте. Вот и пресс-папье из коричневого мрамора — подарок Карла Фогта. Оно стоит на своем месте, между компасом и чернильницей. А Карл Фогт убит на Кемельских высотах.

— Тебе разонравилась твоя комната? — спрашивает сестра.

— Нет, почему же? — нерешительно говорю я. — Но она какая-то маленькая...

Отец смеется:

— Какая была.

— Конечно, — говорю я, — но почему-то мне казалось, что она гораздо просторней.

— Ты так давно не был здесь, Эрнст! — говорит мать. Я молча киваю. — На кровать, пожалуйста, не смотри. Я еще не сменила белья.

Я ощупываю карман своей куртки. Адольф Бетке подарил мне на прощание пачку сигар. Мне хочется закурить. Все вокруг стало каким-то зыбким, как при головокружении. Я жадно вдыхаю табачный дым, и сразу становится легче.

— Как? Ты куришь сигары? — удивленно и чуть ли не с упреком говорит отец.

Я недоуменно вскидываю на него глаза:

— Разумеется; они входили на фронте в наш паек; мы получали по три-четыре штуки ежедневно. Хочешь?

Покачивая головой, он берет сигару:

— Раньше ты совсем не курил.

— Да, раньше... — говорю я, чуть посмеиваясь над тем, что он придает этому такое значение. Раньше я бы, конечно, не позволил себе смеяться над отцом. Но почтение к старшим испарилось в окнах. Там все были равны.

Украдкой поглядываю на часы. Я здесь каких-нибудь два часа, но мне кажется, что месяцы прошли с тех пор, как я расстался с Вилли и Людвигом. Охотнее всего я бы немедленно помчался к ним, и еще не в состоянии освоиться с мыслью, что останусь в семье навсегда, мне все еще чудится, что завтра ли, послезавтра ли, но мы

снова будем маршировать, плечо к плечу, кляня все и вся, покорные судьбе, но сплоченные воедино.

Наконец я встаю и приношу из передней шинель.

— Ты разве не проведешь этот вечер с нами? — спрашивает мать.

— Мне нужно еще явиться в казарму, — говорю я. Ведь истинной причины ей все равно не понять.

Она выходит со мной на лестницу.

— Подожди, — говорит она, — здесь темно, я тебе посвечу...

От неожиданности я останавливаюсь. Посветить? Для того, чтобы сойти по этим нескольким ступенькам? О господи, по скольким топким воронкам, по скольким разрытым дорогам приходилось мне по ночам пробираться под ураганным огнем и в полной темноте! А теперь, оказывается, мне нужен свет, чтобы сойти по лестнице! Ах, мама, мама! Но я терпеливо жду, пока она принесет лампу. Мать светит мне, и мне кажется, будто она в темноте гладит меня по лицу.

— Будь осторожен, Эрнст, — напутствует она меня, — не случилось бы чего с тобой!

— Что же со мной может случиться, мама, здесь, на родине, когда наступил мир? — говорю я и улыбаюсь ей.

Она перегибается через перила. От абажура на ее маленькое, изрезанное морщинами лицо падает золотистый отблеск. За ней призрачно зыблются свет и тени. И вдруг что-то волной поднимается во мне, какое-то особенное умиление сжимает мне сердце, почти страдание, — словно нет в мире ничего, кроме этого лица, словно я опять дитя, которому нужно светить на лестнице, мальчуган, с которым на улице может что-нибудь случиться; и кажется мне, будто все — между вчера и сегодня — лишь сон и наваждение...

Но свет лампы резко блеснул на пряжке моего ремня. Мгновенье промелькнуло. Нет, я не дитя, на мне солдатская шинель. Быстро, прыгая через две-три ступеньки, я сбегая вниз и толкаю дверь, горя нетерпением поскорее повидать товарищей.

* * *

Первый, к кому я захожу, это Альберт Троске. У матери его заплаканные глаза. Сегодня, видно, так уж полагается, и ничего страшного в этом нет. Но и Альберт не похож на себя: понурый, точно побитая собачонка, сидит он за столом. Рядом с ним — его старший брат. Я его целую вечность не видел, и знаю лишь, что он долго лежал в лазарете. Он пополнил, у него здоровое, румяное лицо.

— Привет, Ганс! — весело говорю я. — Ты совсем уж молодцом. Ну, как живешь-можешь? На двух ногах-то лучше, чем в лежку лежать, а?

Он бормочет в ответ что-то невнятное. Фрау Троске всхлипывает и выходит из комнаты. Альберт делает мне знак глазами. Ничего не понимая, оглядываюсь — и только теперь вижу возле стула Ганса костыли.

— Ты все еще не поправился? — спрашиваю я.

— Поправляюсь понемногу, — отвечает Ганс. — На прошлой неделе выписался.

Он берет костыли и, опираясь на них, двумя прыжками перебрасывает себя к печке. У него ампутированы ступни. На правой ноге — железный протез, на левой — искусственная нога в башмаке.

Я стыжусь своих неловких вопросов.

— Прости, Ганс. Я не знал, — говорю я.

Ганс кивает. Он отморозил ноги в Карпатах, осложнилось гангреной, и в конце концов пришлось сделать ампутацию.

— Слава богу, что хоть одни ступни, не выше. — Фрау Троске принесла подушку и кладет ее под ноги Гансу. — Ничего, Ганс, поправишься как следует и будешь ходить, как все. — Она садится рядом с сыном и нежно гладит ему руки.

— Да, — говорю я, только бы что-нибудь сказать, — хорошо хоть, что только ступни.

— С меня и этого хватит, — отвечает Ганс.

Я протягиваю ему сигарету. Что делать в такие минуты? Что бы ни сказать, даже с самыми лучшими намерениями, все покажется грубым. Мы, правда, разговариваем о чем-то, с усилием и паузами, но когда кто-нибудь из нас, Альберт или я, встаем и двигаемся по комнате, Ганс смотрит на наши ноги потемневшим, измученным взглядом, и глаза матери устремляются туда же, и оба, мать и сын, неотрывно глядят нам только на ноги, провожают взглядом вперед, назад: у вас есть ноги — у меня нет...

Вероятно, он теперь ни о чем другом думать не в состоянии, а мать всецело поглощена им. Она не видит, что Альберт от этого страдает. За несколько часов пребывания дома он совсем приуныл.

— Нам еще нужно сегодня в казарму, Альберт, — говорю я, подсказывая ему удобный предлог, чтобы уйти. — Пошли?

— Да, — мгновенно откликается он.

На улице мы облегченно вздыхаем. Вечерние огни мягко отражаются в мокром асфальте. Фонари мигают на ветру. Альберт устался куда-то в пространство.

— Я ведь ничем не могу помочь, — с усилием говорит он, — но, когда я с ними, когда я вижу его и мать, мне все кажется, будто я в чем-то виноват, я прямо-таки стыжусь своих здоровых ног. Чувствуешь себя негодяем оттого, что ты цел и невредим. Хоть бы руку мне прострелило, как Людвигу, тогда бы не было этого вызывающего здоровья.

Я пытаюсь его утешить. Но он глядит в сторону. Мои слова его не убеждают, но мне они приносят облегчение. Ведь так всегда бывает, когда утешаешь.

* * *

Мы идем к Вилли. В его комнате все вверх дном. Разобранная кровать стоит у стены. Кровать необходимо удлинить — на войне Вилли так вырос, что не помещается на ней. Повсюду разбросаны доски, молотки, пилы. На стуле красуется огромная миска с карто-

фельным салатом. Вилли в комнате нет. Его мать сообщает нам, что он уже с час находится в прачечной — решил соскоблить с себя грязь. Мы ждем.

Фрау Хомайер, стоя на коленях, роется в ранце сына. Покачивая головой, она вытаскивает оттуда какую-то грязную рвань, которая некогда именовалась носками.

— Дыра на дыре, — ворчит она, укоризненно глядя на меня и Альберта.

— Товар военного времени, — говорю я, пожимая плечами.

— Товар военного времени? Скажи пожалуйста, какой всезнайка! Шерсть первого сорта! Я целую неделю бегала, пока раздобыла их, а сейчас хоть выбрось. Теперь таких не достанешь! — Она огорченно исследует жалкие лохмотья. — Даже на фронте можно было бы урвать минутку и хоть раз в неделю наскоро переменить пару носков. В последний раз, когда он был дома, я дала ему с собой четыре пары. И только две он привез назад. Да еще в таком виде! — Она проводит рукой по дырам.

Только я собрался было взять Вилли под свою защиту, как он сам, ликующий, с отчаянным шумом ввалился в комнату:

— Вот это называется повезло! Кандидат в суповую кастрюлю! Ну, ребята, у нас сегодня куриное фрикасе!

В высоко поднятой руке Вилли держит, как знамя, огромного петуха. Золотисто-зеленые перья петушиного хвоста радужно переливаются, гребень алеет пурпуром, на клюве повисли капельки крови. Хоть я и сытно поел, но у меня текут слюнки.

Вилли в упоении размахивает петухом. Фрау Хомайер поднимается с колен и испускает крик:

— Где ты взял его, Вилли?

Вилли с гордостью рапортует, что он только что высмотрел петуха за сараем, поймал и зарезал, и все это — в две минуты. Он похлопывает мать по плечу:

— Этому мы научились на фронте. Недаром Вилли часто замещал повара!

Она смотрит на сына так, точно он проглотил бомбу. Потом зовет мужа и в изнеможении стонет:

— Оскар, посмотри, что он натворил: он зарезал племенного петуха Биндингов!

— При чем тут Биндинги! — недоумевает Вилли.

— Да ведь это петух молочника Биндинга, нашего соседа! О боже, и как только у тебя рука поднялась?

Фрау Хомайер в отчаянии опускается на стул.

— Не стану же я упускать такое жаркое! Тут уж руки как-то сами действуют.

Фрау Хомайер не может успокоиться:

— Теперь пойдет катавасия! Биндинг такой вспылчивый!

— За кого ты, собственно, меня принимаешь, мама? — говорит Вилли, не на шутку обидевшись. — Неужели ты думаешь, что меня хоть одна живая душа видела? Новичок я, что ли? Это по счету де-

святый петух, которого я изловил. Юбилейный петух! Можем есть его со спокойной совестью: твой Биндинг и не догадается ни о чем.

Вилли умильно смотрит на петуха:

— Смотри у меня, будь вкусным... Мы его сварим или зажарим?

— Неужели ты думаешь, что я хоть крошечку съем от этого петуха? — испуганно кричит фрау Хомайер. — Сейчас же отнеси его назад!

— Ну, я пока еще с ума не сошел, — заявляет Вилли.

— Но ты же украл его! — стонет она.

— Украл? — Вилли раздражается хохотом. — Вот сказала! Я его реквизирует! Раздобыл! Нашел! А ты — украл! О краже еще можно говорить, когда берут деньги, а не все то, что идет на жратву. В таком случае, Эрнст, мы с тобой немало поворовали, а?

— Ну конечно, Вилли, — говорю я, — петух сам попался тебе в руки. Как тот петух командира второй батареи в Штадене. Помнишь, как ты тогда на всю роту приготовил куриное фрикасе? По рецепту: на одну курицу — одна лошадь.

Вилли, польщенный, ухмыляется и пробует рукой плиту.

— Холодная, — разочарованно тянет он и обращается к матери: — У вас что, угля нет?

От тревожений фрау Хомайер лишилась языка. Она в состоянии лишь покачать головой. Вилли успокаивает ее:

— Завтра раздобудем и топливо. А на сегодня возьмем этот стул: ему все равно пора на свалку.

Фрау Хомайер в ужасе смотрит на сына. Потом вырывает у него из рук сначала стул, затем петуха и отправляется к молочнику Биндингу.

Вилли искренне возмущен.

— «Уходит он, и песня замолкает», — мрачно декламирует он. — Ты что-нибудь во всей этой истории понимаешь, Эрнст?

Что нельзя взять на растопку стул, хотя на фронте мы сожгли однажды целое пианино, чтобы сварить гнедую в яблоках кобылу, это, на худой конец, я еще могу понять. Пожалуй, понятно и то, что здесь, дома, не следует потакать произвольным движениям рук, которые хватают все, что плохо лежит, хотя на фронте добыть жратву считалось делом удачи, а не морали. Но что петуха, который все равно уже зарезан, надо вернуть владельцу, тогда как любому новобранцу ясно, что, кроме неприятностей, это ни к чему не приведет, — по-моему, верх нелепости.

— Если здесь поведется такая мода, то мы еще с голоду подохнем, вот увидишь, — возбужденно утверждает Вилли. — Будь мы среди своих, мы бы через полчаса лакомились роскошнейшим фрикасе. Я приготовил бы его под белым соусом.

Взгляд его блуждает между плитой и дверью.

— Знаешь что, давай смоемся, — предлагаю я. — Здесь уж очень сгустилась атмосфера.

Но тут как раз возвращается фрау Хомайер.

— Его не было дома, — говорит она, запыхавшись, и в волнении собирается продолжать свою речь, но вдруг замечает, что Вил-

ли в шинели. Это сразу заставляет ее забыть все остальное. — Как, ты уже уходишь?

— Да, мама, мы идем в обход, — говорит он, смеясь.

Она начинает плакать. Вилли смущенно похлопывает ее по плечу:

— Да ведь я скоро вернусь! Теперь мы всегда будем возвращаться. И очень часто. Может быть, даже слишком часто.

* * *

Плечо к плечу, широко шагая, идем мы по Шлоссштрассе.

— Не зайти ли нам за Людвигом? — предлагаю я.

Вилли отрицательно мотает головой:

— Пусть лучше спит. Полезней для него.

В городе беспокойно. Грузовики с матросами в кузове мчатся по улицам. Развешаются красные знамена.

Перед ратушей выгружают целые вороха листовок и тут же раздают их. Толпа рвет их из рук матросов и жадно пробегает по строчкам. Глаза горят. Порыв ветра подхватывает пачку прокламаций: покружив в воздухе, они, как стая белых голубей, опускаются на голые ветви деревьев и, шелестя, повисают на них.

— Братцы, — говорит возле нас пожилой человек в солдатской шинели, — братцы, наконец-то мы заживем получше. — Губы его дрожат.

— Черт возьми, тут, видно, что-то дельное заваривается, — говорю я.

Мы ускоряем шаг. Чем ближе к собору, тем больше толчея. На площади полно народу. Перед театром, взобравшись на ступеньки, ораторствует солдат. Меловой свет карбидной лампы дрожит на его лице. Нам плохо слышно, что он говорит, — ветер неровными затяжными порывами с воем проносится по площади, принося со стороны собора волны органичных звуков, в которых тонет высокий отрывистый голос солдата.

Беспокойное ожидание чего-то неведомого нависло над площадью. Толпа стоит сплошной стеной. За редким исключением всё — солдаты. Многие с женами. На молчаливых, замкнутых лицах то же выражение, что на фронте, когда из-под стального шлема глаза высматривают врага. Но сейчас во взглядах мелькает еще и другое: предчувствие будущего, неуловимое ожидание новой жизни.

Со стороны театра слышны возгласы. Им отвечает глухой рокот.

— Ну, ребята, кажется, будет дело! — с восторгом восклицает Вилли.

Лес поднятых рук. По толпе пробегает волна. Ряды приходят в движение. Строятся в колонны. Раздаются призывы: «Товарищи, вперед!» Мерный топот демонстрантов — как мощное дыхание. Не раздумывая, вливаемся в колонну.

Справа от нас шагает артиллерист. Впереди — сапер. Группа примыкает к группе. Знакомых друг с другом мало. Но это не мешает нам сейчас же сблизиться с теми, кто шагает рядом. Солдатам



незачем предварительно знакомиться. Они — товарищи, этого достаточно.

— Пошли, Отто, чего стоишь? — кричит идущий впереди сапер солдату, отошедшему в сторону.

Тот в нерешительности — с ним жена. Взглянув на него, она берет его под руку. Он смущенно улыбается:

— Попозже, Франц.

Вилли корчит гримасу:

— Ну вот: стоит только юбке вмешаться, и всей дружбе конец. Помяните мое слово!

— Ерунда! — говорит сапер и протягивает Вилли сигарету. — Бабы — это полжизни. Только всему свое время.

Мы невольно шагаем в ногу. Но это не просто шаг солдатских колонн. Земля гудит, и молнией вспыхивает над марширующими рядами безумная, захватывающая дыхание надежда, как будто путь этот ведет прямо в царство свободы и справедливости.

Однако уже через несколько сот метров процессия останавливается перед домом бургомистра. Несколько рабочих стучат в парадную дверь. Никто не откликается. На мгновение за окнами мелькает бледное женское лицо. Стук в дверь усиливается, и в окно летит камень. За ним — второй. Осколки разбитого стекла со звоном сыплются в палисадник.

На балконе второго этажа появляется бургомистр. Крики несутся ему навстречу. Он что-то пытается объяснить, но его не слушают.

— Давай сюда! — кричат в толпе.

Бургомистр пожимает плечами и кивает. Несколько минут спустя он шагает во главе процессии.

Вторым извлекается из дому начальник продовольственной управы. Затем очередь доходит до перепуганного плешивого субъекта, который, по слухам, спекулировал маслом. Некоего торговца зерном нам захватить уже не удастся: он заблаговременно сбежал, слышав о нашем приближении.

Колонны направляются к Шлоссхофу и останавливаются перед окружным военным управлением. Один из солдат быстро взбегает по лестнице и исчезает за дверью. Мы ждем. Все окна освещены.

Наконец дверь открывается. Мы с нетерпением вытягиваем шеи. Выходит какой-то человек с портфелем. Порывшись в нем, он вытаскивает несколько листочков и ровным голосом начинает читать речь. Мы напряженно слушаем. Вилли приложил ладони к своим огромным ушам. Он на голову выше остальных, поэтому ему лучше слышно, и он повторяет нам отдельные фразы. Но слова оратора плещут через наши головы, все куда-то мимо, мимо... Они рождаются и умирают, но нас они не трогают, не увлекают, не встряхивают, они только плещут и плещут.

Нас охватывает беспокойство. Мы не понимаем: что происходит? Мы привыкли действовать. Ведь это революция! Значит, нужно что-то делать. Но человек наверху все только говорит да говорит. Он призывает к спокойствию и благоразумию, хотя все стоят очень тихо и спокойно.

Наконец он уходит.

— Кто это? — разочарованно спрашиваю я.

Сосед-артиллерист хорошо осведомлен:

— Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов. В прошлом, кажется, зубной врач.

— Гм... — мычит Вилли и разочарованно вертит по сторонам рыжей головой. — Чертовщина какая-то! А я-то думал, идем к вокзалу, а оттуда прямехонько на Берлин.

Выкрики из толпы становятся все громче, все настойчивей. Требуют бургомистра. Его подталкивают к лестнице.

Спокойным голосом бургомистр заявляет, что все требования будут внимательнейшим образом рассмотрены. Оба спекулянта стоят рядом с ним и трясутся. Они даже вспотели от страха, хотя их никто не трогает. На них, правда, покрикивают, но никто не решает-ся первым поднять на них руку.

— Ну что ж, — говорит Вилли, — по крайней мере хоть бургомистр не трус.

— А он привик, — откликается артиллерист, — его каждые два-три дня вытаскивают...

Мы изумлены.

— Часто у вас такие истории происходят? — спрашивает Альберт.

Артиллерист кивает:

— Видишь ли, с фронта все время прибывают новые войска, и все по очереди воображают, что именно они должны навести порядок. На этом обычно дело и кончается...

— Непонятно, — говорит Альберт.

— Вот и я ничего не понимаю, — соглашается артиллерист, зевая во всю глотку. — Я думал, что все это будет иначе. А теперь адью, ребята, покачусь-ка я в свой клоповник. Самое правильное.

За ним следуют другие. Площадь заметно пустеет. Говорит второй депутат. Он тоже призывает к спокойствию. Руководители сами обо всем позаботятся. Они уже за работой, говорит он, указывая на освещенные окна. Лучше всего, мол, разойтись по домам.

— Черт побери, и это все? — говорю я с досадой.

Мы кажемся себе чуть ли не смешными: чего ради мы потащились за всеми? Что нам нужно было?

— Дерьмо, — говорит Вилли разочарованно.

Пожимаем плечами и лениво плетемся дальше.

* * *

Некоторое время мы еще бродим по улицам, затем прощаемся. Я довожу Альберта до дому и остаюсь один. Странное чувство охватывает меня: теперь, когда я один и рядом нет моих товарищей, мне начинает казаться, что все вокруг тихо заколебалось и утрачивает реальность. Все, что только сейчас было прочно и незыблемо, вдруг преобразается и предстает передо мной в таком поражающе новом и непривычном виде, что я не знаю, не грезится ли мне все это. На самом ли деле я здесь? На самом ли деле я дома?

Вот лежат улицы, спокойные, одетые в камень, с гладкими, поблескивающими крышами, без зияющих дыр и трещин от разрывов снарядов; нетронутые, громоздятся в голубой ночи стены домов, темные силуэты балконов и шпилей словно вырезаны на густой синеве неба, ничто не изгрызено зубами войны, в окнах все стекла целы, и за светлыми облаками занавесей живет под сурдинку особый мир, не тот ревуший мир смерти, который так долго был моим.

Я останавливаюсь перед домом, нижний этаж которого освещен

щен. Едва слышно доносятся звуки музыки. Шторы задернуты только наполовину. Видно, что происходит внутри.

У рояля сидит женщина и играет. Она одна. Свет высокой стоячей лампы падает на белые страницы нот. Все остальное тает в многокрасочном полумраке. Здесь тихо и мирно живут диван и несколько мягких кресел. На одном кресле спит собака.

Как зачарованный гляжу я на эту картину. И только когда женщина встает из-за рояля и легкой бесшумной походкой идет к столу поспешно отступаю. Сердце колотится. В слепящем сверкании ракет, среди развалин разрушенных снарядами прифронтовых деревень я почти забыл, что все это существует, что могут быть целые улицы мирной, укрывшейся за стенами жизни, где ковры, тепло и женщины. Мне хочется открыть дверь, войти и свернуться калачиком в мягком кресле, хочется погрузить свои руки в тепло, чтобы оно залило меня всего с головы до ног, хочется говорить без конца и в тихих глазах женщины растопить и забыть все жестокое, бурное, все прошлое, мне хочется уйти от него, сбросить его с себя, как грязное платье...

Свет в комнате гаснет. Бреду дальше. И ночь вдруг наполняется глухими зовами и неясными голосами, картинами прошлого, вопросами и ответами.

Я выхожу далеко за город и взбираюсь на вершину Клостерберга. Внизу, весь в серебре, раскинулся город. Луна отражается в реке. Башни словно парят в воздухе, и непостижимая тишина разлилась кругом.

Я стою некоторое время, потом иду обратно, опять к улицам, к жилью. Дома я бесшумно, ощупью поднимаюсь по лестнице. Старики мои уже спят. Я слышу их дыхание: тихое дыхание матери и хриплое — отца. Мне стыдно, что я вернулся так поздно.

В своей комнате я зажигаю свет. На кровати постлано ослепительно свежее белье. Одеяло откинута. Я сажусь на постель и задуываю. Потом я чувствую усталость. Машинально вытягиваюсь и хочу накинуть на себя одеяло. Но вдруг вскакиваю: я совершенно забыл, что надо раздеться. Ведь на фронте мы никогда не раздевались. Медленно стаскиваю с себя куртку и ставлю в угол сапоги. И тут замечаю, что в ногах кровати лежит ночная рубашка. О таких вещах я и вовсе забыл. Я надеваю ее. И вдруг, когда я, голый, дрожа от холода, натягиваю ее на себя, меня захлестывает какое-то незнакомое чувство. Я мну и ощупываю одеяло, я зарываюсь в подушки и прижимаю их к себе, я погружаюсь в них, в сон, и снова в жизнь, и ощущаю одно: я здесь, да, да, я здесь!

III

Мы с Альбертом сидим в кафе Майера у окна. Перед нами на круглом мраморном столике две чашки остывшего кофе. Мы сидим здесь битых три часа и все не можем решиться выпить эту горькую бурду. И это мы, привыкшие на фронте ко всякой дряни. Но в этих чашках, наверное, отвар каменного угля, не иначе.

Занято всего три столика. За одним какие-то спекулянты уговариваются насчет вагона продовольствия, за другим супружеская чета углубилась в газеты, за третьим сидим мы и нежим свои отвыкшие от хорошей жизни задницы на красном плюше диванов.

Занавески грязные, кельнерша зевает, воздух спертый, и, в сущности, хорошего здесь мало, но для нас его — уйма. Мы уютно расположились, времени у нас хоть отбавляй, играет музыка, и мы смотрим в окно. Мы долго лишены были всего этого.

Мы сидим без конца. Вот уж все три музыканта складывают свои инструменты, а кельнерша в нетерпении все сужает и сужает круги около нашего столика. Наконец мы платим и выходим на вечерние улицы. Как чудесно не спеша переходить от витрины к витрине, ни о чем не думать и чувствовать себя независимым человеком!

На Штубенштрассе мы останавливаемся.

— Не зайти ли нам к Беккеру? — предлагаю я.

— Давай заглянем, — соглашается Альберт. — То-то удивится!

В беккеровской лавке мы провели часть наших школьных лет. Там можно было купить все, что душе угодно: тетради, рисовальные принадлежности, сачки для ловли бабочек, аквариумы, коллекции марок, подержанные книги и «ключи» к алгебраическим задачникам. У Беккера мы пропадали часами: у него мы украдкой курили и назначали первые тайные свидания с ученицами городской школы. Беккеру мы поверяли наши тайны.

Входим. По углам несколько школьников быстро прячут в согнутых ладонях дымящиеся папиросы. Мы улыбаемся и слегка подтягиваемся. Подходит продавщица и спрашивает, что нам угодно.

— Мы хотели бы поговорить с господином Беккером лично.

Девушка медлит...

— Не могу ли я заменить его?

— Нет, фройляйн, — возражаю я, — вы не можете его заменить. Доложите, пожалуйста, господину Беккеру.

Она уходит. Мы с Альбертом переглядываемся и, довольные своей затеей, ждем, заложив руки в карманы. Вот будет встреча!

В дверях конторы звенит хорошо знакомый колокольчик. Выходит Беккер — щуплый, седенький и неопрятный, как всегда. Минутку он, прищурившись, глядит на нас, затем узнает.

— Смотрите-ка! — восклицает он. — Биркхольц и Троске! Вернулись, значит?

— Да, — живо откликаемся мы, ожидая, что тут-то и начнется.

— Вот и прекрасно! А что вам угодно? Сигарет?

Мы смущены. Мы, собственно, ничего не собирались покупать, нам это и в голову не приходило.

— Да, — говорю я наконец, — десяток сигарет.

Беккер отсчитывает нам сигареты.

— Ну, до скорого свидания, — кивает он нам и тут же собирается исчезнуть за дверьми конторы.

С минуту еще мы не трогаемся с места. Он оборачивается.

— Забыли что-нибудь? — говорит он, стоя уже на лесенке.

— Нет, нет, — отзываемся мы и выходим из магазина.

— Что ты скажешь? — говорю я Альберту на улице. — Он, очевидно, думал, что мы уезжали на увеселительную прогулку.

Альберт с досадой машет рукой:

— Осёл, штафирка...

* * *

Мы долго бродим по городу. Поздно вечером к нам присоединяется Вилли, и мы всей компанией идем в казармы.

Вдруг Вилли отскакивает в сторону. Я тоже испуганно вздрагиваю. Знакомый звук летящего снаряда прорезает воздух. Мгновение спустя мы сконфуженно переглядываемся и смеемся. Это всего лишь трамвай взвизгнул на повороте.

Юпп и Валентин одиноко сидят в большом пустынном помещении. Тьяден вообще пока не показывался. Он все еще в борделе. Оба радостно приветствуют нас: теперь можно составить партию в скат.

За то короткое время, что мы не виделись, Юпп успел стать членом солдатского совета. Он попросту сам себя объявил им, потому что в казарме ужасный кавардак и никто ничего толком не знает. На первое время Юпп таким образом устроился. Его гражданская должность уплыла. Адвокат, у которого он работал в Кёльне, написал ему, что новая канцеляристка великолепно справляется с работой и к тому же обходится дешевле, а Юпп на фронте, несомненно, несколько отстал от канцелярского дела. Господин адвокат от души об этом сожалеет, но времена нынче суровые. Он шлет господину Юппу свои наилучшие пожелания.

— Пакостная штука! — меланхолически говорит Юпп. — Все эти годы я только об одном мечтал — как бы убраться подальше от армии, а теперь вот радуешься, что тебя не гонят. Ну, пропадать так пропадать — ставлю восемнадцать!

У Вилли в руках выгоднейшая комбинация.

— Двадцать! — отвечаю я за него. — Ну, а ты, Валентин?

Валентин пожимает плечами:

— Двадцать четыре!

На сорока Юпп пасует. В эту минуту появляется Карл Брегер.

— Захотелось поглядеть, как вы живете, — говорит он.

— И ты решил, что мы, конечно, здесь, — ухмыляется Вилли, побудобнее усаживаясь на скамье. — Нет, знаешь, как ни верти, а для солдата казарма — истинная родина. Сорок один!

— Сорок шесть! — азартно бросает Валентин.

— Сорок восемь! — гремит Вилли в ответ.

Черт возьми! Игра становится крупной. Мы придвигаемся поближе. Вилли, прислонясь к стенке шкафа, в упоении показывает нам четырех валетов. Валентин, однако, зловеще ухмыляется: его шансы еще вернее — у него ничего нет в прикупе.

Как уютно здесь! На столе мигает огарок свечи. В полумраке чуть белеют солдатские койки. Мы большущими ломтями погло-

шаем сыр, который раздобыл Юпп. Юпп режет его клинковым штыком и по очереди всех нас оделяет.

— Пятьдесят! — беснуется Валентин.

Тут дверь распахивается настежь, в комнату врывается Тьяден.

— Зе... Зе... — заикается он. От страшного волнения на него напала икота. Мы водим его с высоко поднятыми руками по комнате.

— Что, девочки обобрали? — участливо спрашивает Вилли.

Тьяден отрицательно качает головой:

— Зе... Зе...

— Смирно! — командует Вилли.

— Зеелиг... Я нашел Зеелига, — ликующе произносит наконец Тьяден.

— Слушай! — рявкает Вилли. — Если ты врешь, я выброшу тебя через окно.

Зеелиг был нашим ротным фельдфебелем. Скотина первоклассная. За два месяца до конца войны его, к сожалению, куда-то перевели, и мы до сих пор никак не могли напасть на его след. Тьяден сообщает, что он содержит пивную «Король Вильгельм» и что пиво у него высшей марки.

— Вперед! — кричу я, и мы всей оравой устремляемся к выходу.

— Стой, ребята! Без Фердинанда нельзя. У него с Зеелигом давние счёты за Шредера, — говорит Вилли.

* * *

У дома Козоле мы поднимаем отчаянный шум, свистим и буяним до тех пор, пока он, недовольный, в одной ночной рубаше, не высывается в окно.

— Что вам взбрело в голову, на ночь глядя? — ворчит он. — Забыли, что я женат, что ли?

— Это дело подождет, — ревет Вилли. — Беги скорее вниз, мы нашли Зеелига.

Фердинанд оживляется.

— Не врете? — спрашивает он.

— Не врем! — каркает Тьяден.

— Есть! Иду! — кричит Козоле. — Но горе вам, если вы меня разыгрываете...

Пять минут спустя он уже с нами, и мы рассказываем ему все по порядку. Стрелой мчимся дальше.

Когда мы сворачиваем на Хакенштрассе, Вилли в возбуждении налетает на прохожего и сшибает его с ног.

— Бегемот! — кричит прохожий, лежа на земле.

Вилли мигом возвращается и грозно вырастает перед ним.

— Простите, вы, кажется, что-то сказали? — спрашивает он, беря под козырек.

Тот вскакивает и, задрвав голову, смотрит на Вилли.

— Не припомню, — бормочет он.

— Ваше счастье, — говорит Вилли. — Ругаться можно лишь при соответствующем телосложении, которым вы, кажется, не отличаетесь.

Мы пересекаем маленький палисадник и останавливаемся перед пивной «Король Вильгельм». Но надпись на вывеске уже замазана. Теперь пивная называется «Эдельвейс». Вилли берет за ручку двери

— Минутку! — Козоле хватает его за руку. — Слушай, Вилли, — говорит он торжественно, — если будет драка, бью я. По рукам?

— Есть! — Вилли хлопает его по руке и распахивает дверь.

* * *

Шум, чад и свет вырываются нам навстречу. Стаканы звенят. Оркестрион гремит маршем из «Веселой вдовы». На стойке сверкают краны. Раскатистый смех вьется над баком, в котором две девушки ополаскивают запененные стаканы. Девушек окружает толпа парней. Остроты так и сыплются. Вода плещется через край. Лица отражаются в ней, раскальваясь, дробясь. Какой-то артиллерист заказывает круговую водки и хлопает девушку по ягодицам.

— Ого, Лина, товар довоенный! — рычит он в восторге.

Мы протискиваемся вперед.

— Факт, ребята: он и есть, — говорит Вилли.

В рубашке с засученными рукавами и распахнутым воротом потный, с влажной багровой шеей, хозяин цедит за стойкой пиво. Темными золотистыми струями льется оно из-под его здоровенных кулачищ в стаканы. Вот он поднял глаза и увидел нас. Широкая улыбка ползет по его лицу.

— Здорово! И вы здесь? Какого прикажете: темного или светлого?

— Светлого, господин фельдфебель, — нагло отвечает Тьяден. Хозяин пересчитывает нас глазами.

— Семь, — говорит Вилли.

— Семь, — повторяет хозяин, бросая взгляд на Фердинанда. — Шесть, и седьмой — Козоле.

Фердинанд протискивается к стойке. Опираясь кулаками о край стойки, спрашивает:

— Послушай, Зеелиг, у тебя и ром есть?

Хозяин возится за стойкой:

— Само собой, есть и ром.

Козоле смотрит на него исподлобья:

— Небось хлещешь его почем зря?

Хозяин до краев наполняет несколько рюмок:

— Конечно.

— А ты помнишь, когда ты в последний раз нализался рому?

— Нет.

— Зато я помню! — рычит Козоле у прилавка, как бык у забора. — А фамилия Шредер тебе знакома?



— Шредеров на свете много, — небрежно бросает хозяин.

Терпение Козоле лопается. Он готов броситься на Зеелига, но Вилли крепко хватает его за плечо и насильно усаживает.

— Сначала выпьем. — Он поворачивается к стойке. — Семь светлого, — заказывает он.

Козоле молчит. Мы садимся за столик. Сам хозяин подает нам полулитровые кружки с пивом.

— Пейте на здоровье! — говорит он.

— Ваше здоровье! — бросает Тьяден в ответ, и мы пьем. Он откидывается на спинку стула. — Ну, что я вам говорил? — обращается он к нам.

Фердинанд смотрит вслед хозяину, идущему к стойке.

— Стоит мне вспомнить, как от этого козла разило ромом, когда мы хоронили Шредера... — Он скрежещет зубами и на полуслове обрывает себя.

— Только не размякать! — говорит Тьяден.

Но слова Козоле точно сорвали завесу, все это время тихо колыхавшуюся над прошлым, и в трактир будто вползла серая призрачная пустыня. Окна расплываются, из щелей в полу поднимаются тени, в прокуренном воздухе пивной проносятся видения.

Козоле и Зеелиг всегда недолгоблюдали друг друга. Но смертельными врагами они стали лишь в августе восемнадцатого года. Мы находились тогда в изрытом снарядами окопе второго эшелона и всю ночь напролет должны были копать братскую могилу. Глубоко рыть нельзя было, так как очень скоро показалась подпочвенная вода. Под конец мы работали, стоя по колени в жидкой грязи.

Бетке, Веслинг и Козоле выравнивали стенки. Остальные подбирали трупы и, в ожидании, пока могила будет готова, укладывали их длинными рядами. Альберт Троске, унтер-офицер нашего отделения, снимал с убитых опознавательные знаки и собирал уцелевшие солдатские книжки.

У некоторых мертвецов были уже почерневшие, тронутые тлением лица, — ведь в дождливые месяцы разложение шло очень быстро. Зато запах не давал себя так мучительно чувствовать, как летом. Многие трупы, насквозь пропитанные сыростью, вздулись от воды, как губки. Один лежал с широко раскинутыми руками. Когда его подняли, то оказалось, что под ключьями шинели почти ничего не было — так его искромсало. Не было и опознавательного знака. Только по заплате на штанах мы наконец опознали ефрейтора Глазера. Он был очень легок: от него едва осталась половина.

Оторванные и отлетевшие во все стороны руки, ноги, головы мы собирали в особую плащ-палатку. Когда мы принесли Глазера, Бетке заявил:

— Хватит. Больше не влезет.

Мы притащили несколько мешков извести. Юпп взял плоскую лопату и стал посыпать дно ямы. Вскоре пришел с крестами Макс Вайль. К нашему удивлению, выплыл из темноты и фельдфебель Зеелиг. Мы слышали, что ему поручили прочитать молитву, так как поблизости не нашлось священника, а оба наших офицера болели. По этому случаю Зеелиг был в скверном настроении; несмотря на свою солидную комплекцию, он не выносил вида крови. Кроме того, он страдал куриной слепотой и ночью почти ничего не видел. Он так расстроился, что не заметил края могилы и грохнулся вниз. Тьяден расхохотался и приглушенным голосом крикнул:

— Засыпать его, засыпать!

Случилось так, что именно Козоле работал на этом месте. Зеелиг шлепнулся ему прямо на голову. Это был груз примерно в один центнер. Фердинанд ругался на чем свет стоит. Узнав фельдфебеля, он, как матерый фронтовик, языка не прикусил: как-никак был тысяча девятьсот восемнадцатый год. Фельдфебель поднялся и, узнав Козоле, давнишнего своего врага, взорвался бомбой и с криком набросился на него. Фердинанд в долгу не остался. Бетке, работавший тут же, попытался их разнять. Но фельдфебель плевался от ярости, а Козоле, чувствуя себя невинно пострадавшим, не давал

ему спуска. На помощь Козоле в яму прыгнул Вилли. Страшный рев несся из глубины могилы.

— Спокойно! — произнес вдруг чей-то голос. И, хотя голос был очень тихий, шум мгновенно прекратился. Зеелиг, сопя, стал карабкаться из могилы. Весь белый от известковой пыли, он походил на толстощекого херувима, облитого сахарной глазурью. Козоле и Бетке тоже поднялись наверх.

У могилы, опираясь на трость, стоял Людвиг Брайер. До этого он, укрытый двумя шинелями, лежал около блиндажа: как раз в эти дни у него был первый тяжелый приступ дизентерии.

— Что здесь у вас? — спросил он. Трое стали наперебой объяснять. Но Людвиг устало отмахнулся. — Впрочем, все равно...

Фельдфебель утверждал, что Козоле толкнул его в грудь. Козоле снова вскипел.

— Спокойно! — повторил Людвиг.

Наступило молчание.

— Ты все знаки собрал, Альберт? — спросил он.

— Все, — ответил Троске и прибавил вполголоса, так, чтобы Козоле его не слышал: — И Шредер там.

С минуту они смотрели друг на друга. Потом Людвиг сказал:

— Значит, он все-таки в плен не попал. Где он лежит?

Альберт повел его вдоль ряда. Брегер и я следовали за ними, — ведь Шредер был нашим школьным товарищем. Троске остановился перед одним из трупов. Голова убитого была прикрыта мешком. Брайер наклонился. Альберт удержал его.

— Не надо открывать, Людвиг! — попросил он. Брайер обернулся.

— Надо, Альберт, — спокойно сказал он, — надо.

Верхней половины тела нельзя было узнать. Оно было сплющено, как у камбалы. Лицо — словно отесанная доска: на месте рта — черное перекошенное отверстие с обнаженным оскалом зубов. Брайер молча опустил мешок.

— А он знает? — спросил Людвиг, кивнув в сторону Козоле.

Альберт отрицательно мотнул головой.

— Надо постараться, чтобы Зеелиг убрался отсюда, иначе быть беде, — сказал он.

Шредер дружил с Козоле. Мы, правда, этой дружбы не понимали, потому что Шредер был нежным и хлипким малым — настоящий ребенок, полная противоположность Козоле, но Козоле оберегал его, как мать.

Позади нас кто-то засопел. Оказалось, что Зеелиг все время шел за нами и теперь, выпучив глаза, стоял рядом.

— Такого я еще не видывал, — бормотал он, запинаясь. — Как же это произошло?

Никто не ответил. Шредер неделю тому назад должен был получить отпуск, но Зеелиг постарался помешать этому. Шредера, как и Козоле, он терпеть не мог. И вот Шредер убит.

Мы ушли: в эту минуту Зеелиг был нам невыносим. Людвиг снова забрался под свои шинели. Остался только Альберт. Зеелиг не-

подвижно уставился на тело Шредера. Луна, вынырнувшая из-за туч, осветила труп. Подавшись вперед жирным корпусом, фельдфебель смотрел на землистые лица, в которых застыло неуловимое выражение безмолвного ужаса, но, казалось, безмолвие это вопило.

Альберт сказал холодно:

— Прочитайте молитву и поскорее уходите. Так будет лучше всего.

Фельдфебель вытер лоб.

— Не могу, — пролепетал он.

Ужас охватил его. Мы знали, что это такое. Можно было неделями не испытывать ни малейшего страха, и вдруг, совершенно неожиданно, страх хватал человека за горло. Позеленев, шатаясь, Зеелиг отошел прочь.

— Он, видно, думал, что здесь перебрасываются конфетками, — сухо проговорил Тьяден.

Дождь полил сильнее, и мы начали терять терпение. Зеелиг не возвращался. Наконец мы извлекли Людвига Брайера из-под его шинелей. Тихим голосом он прочитал «Отче наш».

Мы подавали мертвецов к могиле. Вайль помогал поднимать их. Я видел, как он дрожал.

— Вы будете отомщены, вы будете отомщены... — шептал он почти беззвучно.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Что с тобой? — спросил я его. — Не первых же ты хорошишь. Этак тебе за многих придется мстить.

Он замолчал.

Когда мы уложили первые ряды, Юпп и Валентин приволокли в плащ-палатке еще кого-то.

— Этот жив, — сказал Юпп и открыл лицо раненого.

Козоле взглянул на него.

— Долго не протянет, — определил он. — Подождем, пока кончится.

Человек на плащ-палатке прерывисто дышал. При каждом вздохе по подбородку стекала кровь.

— Может быть, отнести его? — спросил Юпп.

— Тогда он сразу же умрет, — сказал Альберт, указывая на кровь.

Мы уложили раненого в стороне. Макс Вайль остался при нем, а мы снова взялись за работу. Теперь мне помогал Валентин. Мы опустили Глазера.

— Ах, бедняга, жена у него, жена... — бормотал Валентин.

— Осторожней: следующий Шредер! — крикнул Юпп, опуская плащ-палатку.

— Заткнись! — цыкнул на него Брегер.

Козоле еще держал труп в руках.

— Кто? — спросил он, не понимая.

— Шредер, — повторил Юпп, полагая, что Фердинанд уже все знает.

— Чего ты мелешь, дурак? Шредер в плену! — рассвирепел Козоле.

— Нет, это правда, Фердинанд, — подтвердил Альберт Троске, стоявший рядом.

Мы затаили дыхание. Не говоря ни слова, Козоле вернул нам Шредера наверх и сам полез вслед. Карманным фонарем он осветил тело. Низко-низко наклонясь над остатками лица, он искал знакомые черты.

— Слава богу, что фельдфебель убрался, — шепнул Карл.

Мы так и застыли. Козоле выпрямился.

— Лопату! — бросил он.

Я подал ему лопату. Мы ждали нападения, ждали убийства. Но Козоле начал копать. Он рыл для Шредера отдельную могилу и никого не подпускал к ней. Он сам опустил в нее тело друга. О Зеелиге он в ту минуту не думал: слишком велико было потрясение.

На рассвете обе могилы были готовы. Тем временем скончался раненый, и мы положили его рядом с другими. Утрамбовав землю, поставили кресты. Козоле взял один крест для могилы Шредера, написал чернильным карандашом на нем имя покойного и на крест надел шлем.

Подошел Людвиг. Мы обнажили головы. Он вторично прочитал «Отче наш». Альберт, бледный, стоял рядом с ним. Альберт с Шредером сидели в школе за одной партией. Но страшнее всех казался Козоле: лицо его совершенно посерело и вытянулось. Он не проносил ни звука.

Мы постояли немного. Дождь все лил. Нам принесли кофе. Мы уселись и начали есть.

Утром из близлежащего окопа вдруг выполз Зеелиг. Мы полагаали, что он давным-давно куда-нибудь убрался. На добрый километр от него разило ромом. Только теперь он собрался к могиле. Увидев его, Козоле взвыл. К счастью, Вилли оказался неподалеку. Он бросился к Фердинанду и обеими руками обхватил его. Но этого было недостаточно, и нам пришлось вчетвером изо всех сил держать Фердинанда, готового вырваться и задушить фельдфебеля. Целый час мы боролись с Козоле, пока, наконец, он не обрздумился, поняв, что погубил бы себя, поддавшись своему порыву. Но он поклялся над могилой Шредера, что рано или поздно он с Зеелигом рассчитается.

* * *

И вот Зеелиг стоит за стойкой, а Козоле сидит в пяти метрах от него, и оба уже больше не солдаты.

Снова заиграл оркестрион, в третий раз гремит марш из «Веселой вдовы».

— Хозяин, давай еще по рюмке на всех! — кричит Тьяден, и свиные глазки его искрятся.

— Сию минуту, — откликается Зеелиг и подает нам водку. — Ваше здоровье, друзья!

Козоле взглядывает на него из-под нахмуренных бровей.

— Ты нам не друг! — фыркает он.

Зеелиг сует бутылку под мышку.

— Ну что ж, не надо, — отвечает он и возвращается к себе за стойку.

Валентин залпом опрокидывает рюмку.

— Пей, Фердинанд! Истина в вине! — говорит он.

Вилли заказывает еще одну круговую. Тьяден уже наполовину пьян.

— Ну что, Зеелиг, старый ты паук ротный, теперь уж тебе нас не упечь! — горланит он. — Выпей-ка с нами. — И он хлопает своего прежнего начальника по спине, да так, что тот чуть не захлебывается водкой. Год тому назад Тьяден попал бы за такую штуку под военно-полевой суд или в сумасшедший дом.

Покачивая головой, Козоле переводит взгляд от стойки к своей рюмке и снова к стойке, на толстого услужливого человека у пивных кранов.

— Послушай, Эрнст, я его совсем не узнаю. Какой-то другой человек, — говорит он мне.

Мне тоже так кажется. Я тоже не узнаю его. В моем представлении он так сросся с военной формой и своей неременной записной книжкой, что я с трудом мог бы вообразить его себе в рубашке, а тем паче хозяином пивной. Теперь он пьет с нами за компанию и позволяет тому самому Тьядену, на которого он на фронте обращал внимания не больше, чем на вошь, хлопать себя по плечу и «тыкать». Мир чертовски переменялся!

Вилли, подбадривая Козоле, толкает его в бок:

— Ну?

— Ей-богу, Вилли, не знаю, — в смятении отвечает тот, — дать ему в рыло или нет? Мне как-то все иначе представлялось. Ты посмотри только, как он обхаживает нас! Ишь, липкое дерьмо! Тут всякую охоту потеряешь.

А Тьяден все заказывает и заказывает. Ему доставляет огромное удовольствие гонять свое прежнее начальство от стойки к столику и обратно.

Зеелиг тоже немало заложил за галстук. Его бульдожья морда багровеет, отчасти от алкоголя, отчасти от бойкой торговли.

— Давайте опять дружить, — предлагает он, — ставлю бутылку довоенного рома.

— Бутылку чего? — спрашивает Козоле и выпрямляется.

— Рома. Там у меня в шкафу еще сохранилась одна такая бутылочка, — преспокойно говорит Зеелиг и идет за ромом. Козоле глядит ему вслед с таким видом, будто ему обухом по голове дали.

— Знаешь, Фердинанд, он, наверное, все забыл, иначе он не стал бы так рисковать, — говорит Вилли.

Зеелиг возвращается и наполняет рюмки. Козоле шипит ему в лицо:

— А помнишь, как ты ром хлестал со страху? Тебе бы в морге ночным сторожем быть!

Зеелиг примирительно машет рукой.

— Быльем все это поросло, — говорит он. — Будто никогда и не было.

Фердинанд опять умолкает. Ответь Зеелиг резкостью, скандал разыгрался бы тут же. Но эта необычная податливость сбивает Козоле с толку, и он теряет решимость.

Тьяден раздувает ноздри, да и мы все с наслаждением поднимаем носы: ром недурен.

Козоле опрокидывает свою рюмку на стол:

— Не желаю я твоих угощений.

— Дурья голова, — кричит Тьяден, — лучше бы ты мне отдал! — Пальцами он пытается спасти все, что еще можно спасти. Результат ничтожен.

Пивнушка постепенно пустиет.

— Шабаш, — говорит Зеелиг, опуская жалюзи.

Мы встаем.

— Ну, Фердинанд? — спрашиваю я.

Козоле мотает головой. Он все еще колеблется. Нет, этот кельнер — не настоящий Зеелиг.

Хозяин открывает нам двери.

— Мое почтение, господа! Спокойной ночи! Приятного сна!

— «Господа!» — хихикает Тьяден. — Раньше он говорил «свиньи»...

Козоле уже переступил порог, но, взглянув случайно вниз, видит ноги Зеелига, еще обутые в давно знакомые нам краги. Брюки на нем тоже еще военного образца — с кантами. Сверху — он хозяин пивной, а снизу — еще фельдфебель. Это решает дело.



Одним движением Фердинанд поворачивается. Зеелиг отскакивает. Козоле следует за ним.

— Послушай-ка, помнишь Шредера? — рычит он. — Шредера, Шредера! Знакомо тебе это имя, собака? Вот тебе за Шредера! Привет из братской могилы!

Он ударяет Зеелига. Тот шатается, но удерживается на ногах и, прыгнув за стойку, хватает деревянный молоток. Он бьет им Козоле по плечу и в лицо. Козоле до того свирепеет, что не уклоняется от ударов. Схватив Зеелига за шиворот, он так ударяет его головой о стойку, что кругом только звенит, и открывает все краны до одного.

— На, жри, ромовая бочка! Подавись, захлебнись в своем пьяном болоте.

Пиво течет Зеелигу за ворот, льется за рубашку, в штаны, которые вскоре вздуваются, как воздушный шар. Зеелиг вопит от ярости, — такое пиво теперь трудно раздобыть. Он хватается за стакан и ударяет им Козоле снизу в подбородок.

— Неверный ход, — заявляет Вилли. Он стоит у дверей и с интересом следит за дракой. — Надо бы ударить его головой, а потом стукнуть под коленки.

Никто из нас не вмешивается. Это дело одного Козоле. Даже если бы его избили до полусмерти, нам нельзя было бы прийти ему на помощь. Мы здесь только для того, чтобы удержать тех, кому вздумалось бы стать на сторону Зеелига. Но желающих нет, ибо Тьяден в двух словах растолковал, в чем дело.

Лицо Фердинанда в крови, он звереет и быстро расправляется с Зеелигом. Ударом в грудь сшибает его с ног, перекачивается через него и, исступленно наслаждаясь своей мезтью, стучает его головой о пол.

После этого мы уходим. Лина, бледная как полотно, стоит возле своего хрипящего хозяина.

— Лучше всего немедленно отправить его в больницу, — советует Вилли на прощание. — Недели две-три, и все будет в порядке. Здоров, не рассыплется!

На улице Козоле облегченно вздыхает и улыбается как дитя, — наконец-то Шредер отомщен!

— Вот это хорошо, — говорит он, обтирая с лица кровь и пожимая всем нам руки. — Ну, а теперь живо к жене: она еще подумает, что я ввязался в настоящую драку.

* * *

У рынка мы прощаемся. Юпп и Валентин отправляются в казарму. Сапоги их гулко стучат по залитой лунным светом мостовой.

— Я бы с удовольствием пошел с ними, — говорит вдруг Альберт.

— Понимаю тебя, — говорит Вилли; он, вероятно, не забыл еще истории с петухом. — Люди здесь стали какие-то мелочные, правда?

Я киваю.

— А нам, вероятно, скоро опять на школьную скамью, — говорю я.

Мы останавливаемся и гогочем. Тьяден прямо держится за бочка. С хохотом убегает за Валентином и Юппом.

Вилли почесывает затылок:

— Думаете, нам там обрадуются? Сладить с нами теперь не так-то легко...

— Конечно, в качестве героев да где-то там, подальше, мы были им много милей, — говорит Карл.

— Мне страшно любопытно, во что выльется эта комедия, — говорит Вилли. — Такие, как мы теперь... Огонь и воду прошли...

Он приподнимает ногу: раздается оглушительный треск.

— Газы на тридцать с половиной километров, — устанавливает он с удовлетворением.

IV

При расформировании роты оружие нам оставили. Приказано сдать его по месту жительства. И вот мы явились в казарму сдавать наши винтовки. Одновременно мы получаем расчет: по пятьдесят марок увольнительных и по пятнадцать суточных на человека. Кроме того, нам должны выдать шинель, пару обуви, белье, гимнастерку и брюки.

Получать барахло надо под самой крышей. Взираемся. Каптенармус небрежным жестом предлагает нам:

— Выбирайте!

Быстро обойдя помещение, Вилли бегло оглядывает развешанную одежду.

— Послушай-ка, — говорит он каптенармусу отеческим тоном, — очки втирать ты можешь новобранцам. Барахло это времен Ноева ковчега. Покажи-ка что-нибудь поновей!

— Нет у меня, — огрызается интендантский холуй.

— Так, — говорит Вилли, не спуская с него глаз, и медленно вытаскивает из кармана алюминиевый портсигар. — Куришь?

Каптенармус трясет плешивой головой.

— Может, жуешь? — Вилли опускает руку в карман куртки.

— Нет.

— Ну, ладно. Но водку-то ты хлещешь? — Вилли ощупывает на своей груди некое возвышение. Он все предусмотрел.

— Тоже нет! — флегматично тянет интендантская крыса.

— Тогда мне ничего другого не остается, как дать тебе разок-другой в морду, — дружелюбно заявляет Вилли. — Имей в виду, что без новенького обмундирования мы отсюда не выйдем.

К счастью, появляется Юпп. Как солдатский депутат, он теперь большая шишка. Юпп подмигивает каптенармусу:

— Это земляки, Генрих. Свои ребята; одно слово: пехтура. По-кажи-ка им салон!

Каптенармус повеселел:

— Чего ж вы сразу не сказали?

Идем за ним в другое помещение. Там развешаны по стенам новые мундиры, шинели. Живо сбросив с себя изношенное тряпье, надеваем все новое. Вилли заявляет, что ему необходимы две шинели, потому что солдатчина довела его до малокровия. Каптенармус колеблется, но Юпп берет его под руку и, отведя в сторонку, заводит разговор о суммах, отпускаемых на довольствие. Каптенармус успокаивается. Сквозь пальцы смотрит он на Вилли и Тьядена, значительно пополневших.

— Ну, ладно, — ворчит он. — Мне-то что? Некоторые и совсем не берут обмундирования: у них монеты сколько хочешь. Главное, чтобы у меня по ведомости все сходилось.

Мы расписываемся в получении вещей сполна.

— Ты, кажется, что-то говорил про курево? — обращается каптер к Вилли.

Вилли, оторопев, вытаскивает портсигар.

— И про жевательный табак? — продолжает тот.

Вилли лезет в карман куртки.

— Но водку-то ты ведь не пьешь? — осведомляется он.

— Отчего же? Пью, — невозмутимо отвечает каптенармус. — Мне даже врачи прописали. Я, видишь ли, тоже страдаю малокровием. Ты бутылочку-то свою оставь.

— Одну минутку... сейчас. — Вилли делает здоровенный глоток, чтобы спасти хоть что-нибудь. Затем вручает изумленной интендантской блохе бутылку, которая только что была непечатой. Теперь в ней осталось меньше половины.

* * *

Юпп провожает нас до ворот казармы.

— А знаете, ребята, кто сейчас здесь? — спрашивает он. — Макс Вайль! В Совете солдатских депутатов!

— Самое подходящее для него дело, — говорит Козоле. — Теплое здесь у вас местечко, а?

— Да как тебе сказать... — отвечает Юпп. — Пока, во всяком случае, мы с Валентином устроены. Между прочим, если вам что понадобится, бесплатный проездной билет или что-нибудь в этом роде, приходите. Я сажу у самого источника всяких благ.

— Кстати, дай-ка мне билет, — прошу я. — Тогда я как-нибудь на днях съезжу к Адольфу.

Он вытаскивает книжку с бланками и отрывает листок:

— Заполни сам. Поедешь, конечно, вторым классом.

— Есть!

На улице Вилли расстегивает шинель. Под ней — вторая.

— Чем спекулянту в руки, уж лучше мне, — добродушно го-

ворит он. — Разве за полдюжины осколков, что во мне сидят, мне не положена лишняя шинель?

Мы идем по главной улице. Козоле сообщает, что сегодня после обеда собирается чинить свою голубятню. До войны он разводил почтовых голубей и черно-белых турманов. Он хочет снова этим заняться. На фронте он всегда мечтал о голубях.

— Ну, а еще что ты собираешься делать? — спрашиваю я.

— Искать работу, — коротко говорит он. — Ведь я, братец ты мой, женат. Теперь только и знай, что добывай денег.

Со стороны Марииинской церкви затрещали вдруг выстрелы. Мы настораживаемся.

— Армейские револьверы и винтовка образца девяносто восьмого года, — объявляет Вилли тоном знатока. — Если не ошибаюсь, револьверов два.

— Что бы ни было, — смеется Тьяден, размахивая полученными ботинками, — по сравнению с Фландрией это мирное щебетание пташек.

Вилли останавливается перед магазином мужского платья. В витрине выставлен костюм из бумажного материала пополам с крапивным волокном. Но Вилли интересуется не костюмом. Он как зачарованный смотрит на выцветшие модные картинки, разложенные за костюмом. Восторженно указывает он на изображение эlegantного господина с остроконечной бородкой, обреченного на вечную беседу с охотником.

— А знаете, ребята, что это такое?

— Ружье, — говорит Козоле, глядя на охотника.

— Дубина ты, — нетерпеливо обрывает его Вилли, — видишь фрак? Ласточкин хвост, соображаешь? Самое модное сейчас! И знаете, что мне пришло в голову? Я закажу себе такую штуку из шинели. Распороть, выкрасить в черный цвет, перешить, хлястики выбросить, словом — шик!

С каждой минутой он все больше влюбляется в свою идею. Но Карл охлаждает его пыл.

— А брюки в полоску у тебя есть? — спрашивает он резонно.

Вилли озадачен. Но только на мгновенье.

— Стащу у своего старика из шкафа, — решает он. — Да в придачу захвачу еще его белый свадебный жилет, и тогда посмотрим, что вы скажете о красавце Вилли! — Сияющими от восторга глазами он обводит всех нас по очереди. — Эх, заживем мы теперь, ребята!

* * *

Дома я отдаю матери половину полученных в казарме денег.

— Людвиг Брайер здесь; он ждет в твоей комнате, — говорит мать.

— Он, оказывается, лейтенант... — Отец удивлен.

— Да, — отвечаю я. — А ты разве не знал?

У Людвига сегодня вид более свежий. Его дизентерия проходит. Он улыбается мне:

— Я хотел взять у тебя несколько книг, Эрнст.

— Пожалуйста! Выбирай любую, — говорю я.

— А тебе они разве не нужны?

Я отрицательно качаю головой:

— Пока нет. Вчера я попробовал читать. Но, знаешь, как-то странно — не могу как следует сосредоточиться: после двух-трех страниц начинаю думать о чем-нибудь другом. В голове точно плотный туман. Ты что хочешь? Беллетристику?

— Нет, — говорит Людвиг.

Он выбирает несколько книг. Я просматриваю названия.

— Что это ты, Людвиг, такие трудные вещи берешь? — спрашиваю я. — Зачем тебе это?

Он смущенно улыбается и как-то робко говорит:

— На фронте, Эрнст, я много думал, но никак не мог добраться до корня вещей. А теперь, когда война позади, мне хочется узнать уйму всякой всячины: почему это могло случиться и как происходит с людьми такая штука. Тут много вопросов. И в самих себе надо разобраться. Ведь раньше мы думали о жизни совсем по-иному. Много, многое хотелось бы знать, Эрнст...

Указывая на отобранные им книги, я спрашиваю:

— И ты надеешься здесь найти ответ?

— Во всяком случае, попытаюсь. Я читаю теперь с утра до ночи.

Людвиг сидит у меня недолго. После его ухода я впадаю в раздумье. Что я сделал за все это время? Пристыженный, открываю первую попавшуюся книгу. Но очень скоро рука с книгой опускается, и я устремляю в окно неподвижный взгляд. Так, глядя в пустоту, я могу сидеть часами. Прежде этого не было. Я всегда знал, что мне нужно делать.

Входит мать.

— Эрнст, ты ведь пойдешь сегодня вечером к дяде Карлу? — спрашивает она.

— Пойду... Ладно! — отвечаю я, слегка раздосадованный.

— Он нередко посылал нам продукты, — осторожно говорит она.

Я киваю. Там, за окнами, спускаются сумерки. В ветвях каштана залегли голубые тени. Я поворачиваю голову.

— Вы часто бывали летом в тополевой роще, мама? — живо спрашиваю я. — Там, наверное, хорошо...

— Нет, Эрнст, за весь год ни разу не собрались.

— Почему же, мама? — спрашиваю я удивленно. — Ведь раньше вы каждое воскресенье туда ездили.

— Мы, Эрнст, вообще больше не гуляли, — тихо говорит она, — после гулянья сильно есть хочется, а есть-то было нечего.

— Ах, так... — говорю я. — А у дяди Карла всего было вдво-воль, а?

— Он нам иногда кое-что посылал, Эрнст.

Мне вдруг становится грустно.

— Для чего все это, в сущности, нужно было, мама? — говорю я.

Она молча гладит меня по руке:

— Для чего-нибудь, Эрнст, да нужно было. Господь бог, верно, знает.

* * *

Дядя Карл — наш знатный родственник. У него собственная вилла, и во время войны он служил в военном казначействе.

Волк сопровождает меня. Я вынужден оставить его на улице: тетка не любит собак. Звоню.

Дверь отворяет элегантный мужчина во фраке. Растерянно кланяюсь. Потом только мне приходит в голову, что это, верно, лакей. О таких вещах я за время солдатчины совершенно забыл.

Человек во фраке меряет меня взглядом с ног до головы, словно он по меньшей мере подполковник в штатском. Я улыбаюсь, но моя улыбка остается без ответа. Когда я стаскиваю с себя шинель, он поднимает руку, словно собираясь мне помочь.

— Не стоит, — говорю я, пробуя снискать его расположение, и сам вешаю свою шинелишку на вешалку, — уж я как-нибудь справлюсь. Я как-никак старый вояка!

Но он молча, с высокомерным выражением лица, снимает мою шинель и перевешивает ее на другой крючок. «Холуй», — думаю я и прохожу дальше.

Звоня шпорами, навстречу мне выходит дядя Карл. Он приветствует меня с важным видом, — ведь я всего только



нижний чин. С изумлением оглядываю его блестящую парадную форму.

— Разве у вас сегодня жаркое из конины? — осведомляюсь я, пробуя состричь.

— А в чем дело? — удивленно спрашивает дядя Карл.

— Да ты вот в шпорах выходишь к обеду, — отвечаю я, смеясь.

Он бросает на меня сердитый взгляд. Сам того не желая, я, очевидно, задел его больное место. Эти тыловые жеребчики питают зачастую большое пристрастие к шпорам и саблям.

Я не успеваю объяснить, что не хотел его обидеть, как, шурша шелками, выплывает моя тетка. Она все такая же плоская, настоящая гладильная доска, и ее маленькие черные глазки все так же блестят, как начищенные медные пуговики. Забрасывая меня ворохом слов, она, не переставая, водит глазами по сторонам.

Я несколько смущен. Слишком много народа, слишком много дам, и главное — слишком много света. На фронте у нас в лучшем случае горела керосиновая лампа. А эти люстры — они неумолимы, как око судебного исполнителя. От них никуда не спрячешься. Неловко почесываю спину.

— Что с тобой? — спрашивает тетка, обрывая себя на полуслове.

— Вошь, верно. Еще окопная, — отвечаю я. — Мы все там так обовшивели, что это добро и за неделю не выведешь.

Она в ужасе пятится.

— Не бойтесь, — успокаиваю я, — она не скачет. Вошь — не блоха.

— Ах, ради бога! — Она прикладывает палец к губам и корчит такую мину, точно я сказал черт знает какую гадость. Впрочем, так-то они все: требуют, чтобы мы были героями, но о вшах не хотят ничего знать.

Мне приходится пожимать руки всем многочисленным гостям, и я начинаю потеть. Люди здесь совсем не такие, как на фронте. По сравнению с ними я кажусь себе неуклюжим, как танк. Они сидят будто куклы в витрине и разговаривают как на сцене. Я стараюсь прятать руки, ибо окопная грязь въелась в них, как яд. Украдкой обтираю их о брюки, и все-таки руки мои оказываются влажными именно в ту минуту, когда надо поздороваться с дамой.

Жмусь к стенкам и случайно попадаю в группу гостей, в которой разглагольствует советник счетной палаты.

— Вы только представьте себе, господа, — кипит он, — шорник! Шорник, и вдруг — президент республики! Вы только вообразите себе картину: парадный прием во дворце и шорник дает аудиенции! Умора! От возбуждения он даже закашлялся. — А вы, юный воин, что вы скажете на это? — обращается он ко мне и треплет меня по плечу.

Над этим вопросом я еще не задумывался. В смущении пожимаю плечами:

— Может быть, он кое-что и смыслит...

С минуту господин советник пристально смотрит на меня, затем раздражается хохотом.

— Очень хорошо, — каркает он, — очень хорошо... Может быть, он кое-что и смыслит! Нет, голубчик, это надо иметь в крови! Шорник! Но почему тогда не портной или сапожник?

Он снова поворачивается к своим собеседникам. Меня злит его болтовня. С какой стати он так пренебрежительно говорит о сапожниках? Они были не худшими солдатами, чем господа из образованных. Адольф Бетке тоже сапожник, а в военном деле смыслил больше иного майора. У нас на фронте ценился человек, а не его профессия. Неприязненно оглядываю советника. Он так и сыплет цитатами; возможно, он и вправду хлебал образование ложками, но на фронте, если бы понадобилось, я предпочел бы, чтобы из огня меня вынес не он, а Адольф Бетке.

* * *

Я рад, когда наконец все усаживаются за стол. Моя соседка — молодая девушка в лебяжьем боа. Она нравится мне, но я не знаю, о чем с ней говорить. На фронте вообще мало приходилось разговаривать, а с дамами — и подавно. Все оживленно болтают. Пытаюсь прислушаться, чтобы уловить для себя что-либо поучительное.

На почетном месте, возле хозяйки, сидит советник счетной палаты. Как раз в эту минуту он заявляет, что, если бы мы продержались еще два месяца, война была бы выиграна. От такого вздора мне чуть дурно не становится: каждому рядовому известно, что у нас попросту иссякли боевые припасы и людские резервы. Против советника сидит дама и рассказывает о своем муже, павшем на поле брани; при этом она так важничает, словно убита она, а не он. Подальше, на другом конце стола, разговор идет об акциях и об условиях мира. И, само собой разумеется, сии господа лучше разбираются в этих вопросах, чем те, кто непосредственно занимается ими. Какой-то субъект с крючковатым носом рассказывает с ханжеским сочувствием злую сплетню о жене своего друга и при этом так плохо скрывает злорадство, что хочется запустить ему в рожу стаканом.

От всей этой трескотни у меня мутится в голове; вскоре мне уже становится не под силу следить за разговором. Девушка в лебяжьем боа насмешливо спрашивает, не лишился ли я на фронте дара речи.

— Нет, — бормочу я и думаю про себя: вот бы сюда Тьядена и Козоле. Они здорово бы посмеялись над чепухой, которую вы здесь мелете с таким важным видом. Но меня все-таки точит досада, что мне вовремя не удалось вставить меткое замечание и показать, что я о них думаю.

Но вот, хвала господу, на столе появляются великолепно жаренные отбивные котлеты. У меня раздуваются ноздри. Настоя-

щие свиные котлеты на настоящем сале. Один вид их примиряет меня со всеми неприятностями. Кладу себе на тарелку солидную порцию и с наслаждением начинаю жевать. Как вкусно, ах, как вкусно! Бесконечно давно не ел я свежих котлет. В последний раз это было во Фландрии. Чудесным летним вечером мы поймали двух поросят и сожрали их, обглодав до костей... Тогда еще жив был Катчинский... Ах, Кат... И Хайе Вестхус... То были настоящие ребята, не такие, как здесь, в тылу... Я ставлю локти на стол и забываю все окружающее, я весь переносюсь в столь близкое еще прошлое. Поросята на вкус были очень нежные... К ним мы напекли картофельных оладий... И Леер был тогда с нами, и Пауль Боймер, да, Пауль... Я уже ничего не слышу, ничего не замечаю... Мысли мои теряются в веренице воспоминаний...

Меня отрезвляет чье-то хихиканье. За столом полная тишина. Тетя Лина похожа на бутылку серной кислоты. Моя соседка подавляет смехок. Все смотрят на меня.

Меня бросает в пот. Оказывается, я сижу, как тогда во Фландрии, навалившись локтями на стол, зажав в руке кость, пальцы облиты жиром, я обсасываю остатки котлеты, а все другие едят, чинно орудуя ножом и вилкой.

Красный как кумач, не глядя ни на кого, я кладу кость на тарелку. Как же это я так забылся? Но я попросту отвык есть иначе: на фронте мы только так и ели, в лучшем случае у нас бывала ложка или вилка, тарелок мы в глаза не видели.

Мне стыдно, но в то же время меня душит бешеная злоба. Злоба на этого дядю Карла, который преувеличенно громко заводит разговор о военном займе; злоба на этих людей, которые кичатся своими умными разговорами; злоба на весь этот мир, который так невозмутимо продолжает существовать, поглощенный своими маленькими жалкими интересами, словно и не было вовсе этих чудовищных лет, когда мы знали только одно: смерть или жизнь — и ничего больше.

Молча и угрюмо напихиваю в себя, сколько влезет: по крайней мере хоть наемся досыта. При первой возможности незаметно испаряюсь.

В передней стоит все тот же лакей во фраке. Надевая шинель, я злобно бормочу:

— Тебя бы в окоп посадить, обезьяна лакированная! Тебя, да и всю эту шайку!

Я громко хлопаю дверью.

Волк ждет меня на улице. Он радостно бросается на меня.

— Идем, Волк, — говорю я, и вдруг мне становится ясно, что обозлила меня не неприятность с котлетой, а застоявшийся, самодовольный дух старого времени, который все еще царит здесь. — Идем, Волк, — повторяю я, — это чужие нам люди! С любым томми, с любым французом в окопах мы сталкиваемся легче, чем с ними. Идем, Волк, идем к нашим товарищам! С ними лучше, хотя они и едят руками и, нажравшись, рыгают. Идем!

Мы срываемся с места, собака и я, мы бежим что есть мочи, быстрее и быстрее, мы мчимся как сумасшедшие, и глаза у нас горят. Волк лает, а я тяжело дышу. Пусть все катится к чертям, — мы живем, Волк, слышишь? Мы живем!

▼

Людвиг Брайер, Альберт Троске и я направляемся в школу. Так-таки пришлось нам снова взяться за учение. Мы учились в учительской семинарии, и для нас не устраивали специального досрочного выпуска. Гимназистам, призванным на войну, повезло больше. Многие из них успели сдать экзамены до отправки на фронт или во время отпусков. Остальные, в том числе и Карл Брегер, вынуждены, как и мы, вернуться на школьную скамью.

Мы проходим мимо собора. Зеленая медь куполов снята и заменена серым кровельным толем. Купола точно покрыты плесенью и разъедены ржавчиной, и церковь поэтому производит впечатление чуть ли не фабричного здания. Медь перелита на гранаты.

— Господу богу это и во сне не снилось, — говорит Альберт.

С западной стороны собора, в тупике, стоит двухэтажное здание учительской семинарии. Наискосок — гимназия. Дальше — река и вал, обсаженный липами. До того как мы стали солдатами, здания эти заключали в себе весь наш мир. Их сменили окопы. Теперь мы снова здесь. Но прежний мир стал нам чужим. Окопы оказались сильнее.

Не доходя до гимназии, мы встречаем Георга Рахе, товарища наших детских игр. Он был лейтенантом и ротным командиром, имел полную возможность сдать выпускной экзамен, но во время отпуска пил и бездельничал, не помышляя об аттестате зрелости. Поэтому ему снова приходится поступать в последний класс, в котором он уже просидел два года.

— Ну, Георг? — спрашиваю я. — Как твои успехи? Ты, говорят, на фронте стал первоклассным латинистом?

Долговязый как цапля, он большими шагами проходит во двор гимназии и, смеясь, кричит мне вдогонку:

— Смотри, как бы тебе не подцепить двойку по поведению!

Последние полгода он служил летчиком. Он сбил четыре английских самолета, но я сомневаюсь, сумеет ли он еще доказать Пифагорову теорему.

Приближаемся к семинарии. Навстречу — сплошь военные шинели. Всплывают лица, почти забытые, имена, годами не слышанные. Подходит, ковыляя, Ганс Вальдорф, которого мы в ноябре семнадцатого года вытащили из огня с разможенным коленом. Ему отняли ногу до бедра, он носит тяжелый протез на шарнирах и при ходьбе отчаянно стучит. Вот и Курт Лайпольд. Смеясь, он представляется:

— Гец фон Берлихинген с железной рукой.

На месте правой руки у него протез.

Из ворот выходит молодой человек и не говорит, а клохчет:

— Меня-то вы, верно, не узнаете, а?

Я всматриваюсь в лицо или, вернее, в то, что осталось от лица. Лоб, вплоть до левого глаза, пересекает широкий красный шрам. Над глазомросло дикое мясо так, что глаз ушел вглубь и его чуть видно. Но он еще смотрит. Правый глаз неподвижный — стеклянный. Носа нет. Место, где он должен быть, покрывает черный лоскут. Из-под лоскута идет рубец, дважды пересекающий рот. Рубец сросся бугристо и косо, и поэтому речь так неясна. Зубы искусственные — видно пластинку. В нерешительности смотрю на это подобие лица. Клохчущий голос произносит:

— Пауль Радемахер.

Теперь я узнаю его. Ну да, ведь это его серый костюм в полоску!

— Здравствуй, Пауль, как дела?

— Сам видишь. — Он пытается растянуть губы в улыбку. — Два удара заступом. Да и это еще в придачу...

Радемахер поднимает руку, на которой не хватает трех пальцев. Грустно мигает его единственный глаз. Другой неподвижно и безучастно устремлен вперед.

— Знать хотя бы, что я смогу еще быть учителем. Уж очень плохо у меня с речью. Ты, например, понимаешь меня?

— Отлично, — отвечаю я. — Да со временем все образуется. Наверняка можно будет еще раз оперировать.

Он пожимает плечами и молчит. Видно, у него мало надежды. Если бы можно было оперировать еще раз, врачи, наверное, уже сделали бы это.

К нам устремляется Вилли, начиненный последними новостями. Боркман, оказывается, все-таки умер от своей раны в легком. Рана осложнилась скоротечной чахоткой. Хенце, узнав, что повреждение спинного мозга навеки прикует его к креслу, застрелился. Хенце легко понять: он был нашим лучшим футболистом. Майер убит в сентябре. Лихтенфельд — в июне. Лихтенфельд пробыл на фронте только два дня.

Вдруг мы в изумлении останавливаемся. Перед нами вырастает маленькая невзрачная фигурка.

— Вестерхольт? Неужели ты? — с изумлением спрашивает Вилли.

— Я самый, мухомор ты этакий!

Вилли поражен:

— А я думал, ты убит...

— Пока еще жив, — добродушно парирует Вестерхольт.

— Но ведь я же сам читал объявление в газете!

— Ошибочные сведения, только и всего, — ухмыляется человек.

— Ничему нельзя верить, — покачивая головой, говорит Вилли. — Я-то думал, тебя давно черви слопали.

— Они с тебя начнут, Вилли, — самодовольно бросает Вестерхольт. — Ты раньше там будешь. Рыжие долго не живут.

Мы входим в ворота. Двор, на котором мы, бывало, в десять утра ели наши бутерброды, классные комнаты с досками и партами — все это точно такое же, как и прежде, но для нас — словно из какого-то другого мира. Мы узнаем лишь запах этих полутемных помещений: такой же, как в казарме, только чуть слабее.

Сотнями труб поблескивает в актовом зале громада органа. Справа от органа разместилась группа учителей. На директорской кафедре стоят два комнатных цветка с листьями точно из кожи, а впереди ее украшает лавровый венок с лентами. На директоре сюртук. И так, значит, предполагается торжественная встреча.

Мы сбились в кучку. Никому неохота очутиться в первом ряду. Только Вилли непринужденно выходит вперед. Его рыжая голова в полумраке зала точно красный фонарь ночного кабака.

Я оглядываю группу учителей. Когда-то они значили для нас больше, чем другие люди; не только потому, что были нашими начальниками, нет, мы в глубине души все-таки верили им, хотя и подшучивали над ними. Теперь же это лишь горсточка пожилых людей, на которых мы смотрим со снисходительным презрением.

Вот они стоят и снова собираются нас поучать. На лицах их так прямо и написано, что они готовы принести нам в жертву частицу своей важности. Но чему же они могут научить нас? Мы теперь знаем жизнь лучше, чем они, мы приобрели иные знания — жестокие, кровавые, страшные и неумолимые. Теперь мы их могли бы кой-чему поучить, но кому это нужно!

Обрушья, например, сейчас на этот зал штурмовая атака, они бы, как кролики, зашныряли из стороны в сторону, растерянно и беспомощно; из нас же никто не потерял бы присутствия духа. Спокойно и решительно мы начали бы с наиболее целесообразного: заперли бы их, чтобы не путались под ногами, а сами приступили бы к обороне.

Директор откашливается и начинает речь. Слова вылетают из его уст округлые, гладкие, — он великолепный оратор, этого у него нельзя отнять. Он говорит о героических битвах наших войск, о борьбе, о победах и отваге. Однако, несмотря на высокопарные фразы (а может, благодаря им), я чувствую словно укол шипа. Так гладко и округло все это не происходило. Переглядываю с Людвигом, Альбертом, Вальдорфом, Вестерхольтом, Райнерсманом; всем эта речь не по нутру.

Вдохновляясь все больше и больше, директор входит в раж. Он славит героизм не только на поле брани, но и героизм незаметный — в тылу.

— И мы здесь, на родине, мы тоже исполняли свой долг, мы урезывали себя во всем, мы голодали ради наших солдат, жили



в страхе за них, дрожали за них. Тяжкая это была жизнь, и нередко нам приходилось, быть может, труднее, чем нашим храбрым воинам на поле брани.

— Вот так так! — вырывается у Вестерхольта.

Поднимается ропот. Искоса поглядев на нас, старик продолжает:

— Мы, разумеется, не станем сравнивать наших заслуг. Вы бесстрашно смотрели в лицо смерти и исполнили свой великий долг, если даже окончательная победа и не суждена была нашему оружию. Так давайте же теперь еще сильнее сплотимся в горячей любви к нашему отечеству, прошедшему сквозь тяжкие испытания, давайте, наперекор всем и всяческим враждебным силам, трудиться над восстановлением разрушенного, трудиться по завету нашего великого учителя Гете, который из глубины столетий громко взы-

нает к нашим смятенным временам: «Стихиям всем наперекор должны себя мы сохранить».

— Что вам вполне и удалось... — бурчит Вестерхольт.

Голос старика на полтона снижается. Теперь он подернут флером и умащен елеем. В темной кучке учителей движение. На лицах — суровая сосредоточенность.

— Особо же почтим память сынов нашего учебного заведения, отважно поспешивших на защиту родины и не вернувшихся с поля чести. Двадцати одного юноши нет среди нас, двадцать один боец погиб смертью славных в бою, двадцать один герой покоится во вражеской земле, отдыхая от грохота сражений, и спит непробудным сном под зеленой травкой...

Раздается короткий рыкающий смех. Директор, неприятно пораженный, замолкает. Смеется Вилли, который стоит грузной массой, точно платяной шкаф. Вилли красен, как индюк, — так он расщипел.

— Зеленая травка, зеленая травка... — заикается он. — Непробудным сном... Покоятся... В навозных ямах, в воронках лежат они, изрешеченные пулями, искромсанные снарядами, затянутые болотом... Зеленая травка! Сейчас как будто у нас не урок пения...

Он размахивает руками, точно ветряная мельница в бурю:

— Геройская смерть! Интересно знать, как вы себе ее представляете! Хотите знать, как умирал маленький Хойер? Он целый день висел на колючей проволоке и кричал, и кишки вываливались у него из живота, как макароны. Потом осколком снаряда ему оторвало пальцы, а еще через два часа кусок ноги, а он все еще жил и пытался уцелевшей рукой всунуть кишки внутрь, и лишь вечером он был готов. Ночью, когда мы смогли наконец подобраться к нему, он был уже продырявлен, как кухонная терка. Расскажите-ка его матери, как он умирал, если у вас хватит мужества!

Директор бледнеет. Он не знает, как ему быть: стоять на страже дисциплины или воздействовать на нас мягкостью. Но он не успевает прийти к какому-либо решению.

— Господин директор, — говорит Альберт Троске, — мы явились сюда не для того, чтобы услышать, что мы сделали свое дело хорошо, хотя, к сожалению, и не сумели победить. Нам на это начхать!

Директор вздрагивает, с ним вздрагивает вся коллегия педагогов, зал шатается, орган дрожит.

— Я вынужден просить... хотя бы в смысле выбора выражений... — пытается протестовать директор.

— Начхать, начхать и еще раз начхать, — упорно повторяет Альберт. — Поймите же, годами только это слово и было у нас на языке. Когда на фронте нам приходилось так мерзко, что мы забывали всю ту чушь, которой вы набивали нам головы, мы стискивали зубы, говорили «начхать», и все снова шло своим чередом. А вы будто с неба свалились! Будто ни малейшего представления не имеете о том, что произошло! Сюда пришли не послушные питомцы, не пай-мальчики, сюда пришли солдаты!

— Но, господа, — чуть не с мольбой восклицает директор, — это недоразумение, досаднейшее недоразумение...

Ему не дают договорить. Его перебивает Гельмут Райнерсман; в бою на Изере он вынес из тяжелейшего ураганного огня своего раненого брата, и пока дотащил его до перевязочного пункта, тот умер.

— Они умерли, — дико кричит он, — они умерли не для того, чтобы вы произносили поминальные речи! Умерли наши товарищи, и все тут! Мы не желаем, чтобы на этот счет трепали языками!

В зале шум и замешательство. Директор в ужасе и полной растерянности. Учителя походят на кучку испуганных кур. Только двое из них сохраняют спокойствие. Они были на фронте.

А мы чувствуем, как то темное, что до этой минуты камнем лежало на нас и не выпускало из своих тисков, постепенно переходит в озлобление. Когда мы пришли сюда, нами еще владел гипноз, и вот наконец мы полной грудью вздохнули, мы возвращаемся к жизни. Смутно ощущаем мы, как что-то теплое, скользкое хочет обвить нас, опутать наши движения, приклеить к чему-то. Это не только директор и не только школа — и то и другое лишь звенья одной и той же цепи, — это весь здешний нечистоплотный, вязкий мир громких слов и прогнивших понятий, в которые мы верили, когда шли воевать. А теперь мы чувствуем всю фальшь, всю половинчатость, все спесивое ничтожество и беспомощное самодовольство этого мира, чувствуем с такой силой, что гнев наш переходит в презрение.

Директор, видно, решил все-таки попытаться утихомирить нас. Но нас слишком много, и Вилли слишком уж оглушительно орет перед его носом. Да и кто знает, чего можно ожидать от этих дикарей, — того и гляди, они повалятся из карманов гранаты. Старик машет руками, как архангел крыльями. Но никто не обращает на него внимания.

Вдруг шум как-то сразу спадает. Людвиг Брайер выходит вперед. Наступает тишина.

— Господин директор, — начинает своим обычным ясным голосом Людвиг, — вы видели войну другую: с развевающимися знаменами, энтузиазмом и оркестрами. Но вы видели ее не дальше вокзала, с которого мы отъезжали. Мы вовсе не хотим вас порицать за это. И мы раньше думали так же, как вы. Но мы узнали обратную сторону медали. Перед ней пафос четырнадцатого года рассыпался в прах. И все же мы продержались, потому что нас спаяло нечто более глубокое, что родилось там, на фронте: ответственность, о которой вы ничего не знаете и для которой не нужно слов.

С минуту Людвиг неподвижно смотрит в одну точку. Потом проводит рукой по лбу и продолжает:

— Мы не требуем вас к ответу; это было бы нелепо, никто ведь не предвидел того, что происходило на самом деле. Но мы требуем, чтобы вы не предписывали нам, как думать об этих вещах.

Мы уходили воевать со словом «отечество» на устах и вернулись, загадав в сердце то, что мы теперь понимаем под словом «отечество». Поэтому мы просим вас молчать. Бросьте ваши громкие фразы. Они для нас больше не годятся. Не годятся они и для наших павших товарищей. Мы видели, как они умирали. Воспоминание об этом так свежо, что нам невыносимо слушать, когда о них говорят так, как делаете это вы. Они умерли за нечто большее, чем за подобные речи.

В зале — глубокая тишина. Директор судорожно сжимает руки.

— Но послушайте, Брайер, — тихо говорит он, — да ведь я... Да ведь я совсем не то имел в виду...

Людвиг молчит.

Подождав, директор продолжает:

— Так скажите же сами, чего вы хотите.

Мы смотрим друг на друга. Чего мы хотим? Если бы это можно было сказать в двух словах! Сильные, но неясные чувства клокочут в нас... Но как передать их словами?

Эти слова еще не родились в нас. Они, может быть, придут потом.

* * *

Зал молчит. Но вот вперед протискивается Вестерхолт и вырастает перед директором.

— Давайте говорить о деле, — предлагает он, — это теперь для нас самое важное. Интересно знать, как вы себе представляете нашу дальнейшую судьбу? Нас здесь семьдесят человек солдат, которые вынуждены снова сесть на школьную скамью. Наперед заявляю вам: мы почти все ваши науки позабыли, а надолго здесь засиживаться у нас нет ни малейшей охоты.

Директор несколько успокаивается. Он говорит, что пока на этот счет нет никаких указаний свыше. Поэтому, пожалуй, каждому придется временно вернуться в тот класс, который он покинул, уходя на фронт. Позднее будет видно, что удастся в этом направлении предпринять.

Голоса гудят, кое-где раздается смех.

— Да ведь вы сами, конечно, не думаете, — раздраженно говорит Вилли, — что мы сядем за парты рядом с детьми, которые не были солдатами, и будем умненько поднимать руки, спрашивая у господина учителя разрешения ответить на вопрос. Мы друг с другом не расстанемся.

Только теперь мы видим по-настоящему, как все это смешно. Годами нас заставляли стрелять, колоть и убивать, а тут вдруг возникает важный вопрос: из какого класса мы пошли на войну — из шестого или седьмого. Одни из нас умели решать уравнения с двумя неизвестными, другие — всего с одним. А теперь это должно решить нашу судьбу.

Директор обещает похлопотать, чтобы добиться для фронтовиков специальных курсов.

— Ждать нам некогда, — коротко объявляет Альберт Троске. — Мы сами возьмемся за это дело.

Директор ни словом не возражает; молча идет он к двери.

Учителя следуют за ним. Мы тоже расходимся. Но прежде, чем покинуть зал, Вилли, которому не по нраву, что вся эта история прошла слишком гладко, берет с кафедры оба цветочных горшка и швыряет их об пол.

— Никогда не мог терпеть этих овощей, — мрачно заявляет он.

Лавровый венок он нахлобучивает Вестерхольту на голову:

— На, свари себе суп!

* * *

Дымят сигары и трубки. Мы, семинаристы, собрались вместе с гимназистами-фронтовиками на совещание. Нас свыше ста солдат, восемнадцать лейтенантов, тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров.

Альвин Вестерхольт принес с собой старый школьный устав и читает его вслух. Чтение подвигается медленно: каждый раздел сопровождается хохотом. Мы никак не можем себе представить, что вот этому мы когда-то подчинялись.

— Кто-кто, Альвин, а ты бы лучше вел себя потише, — говорит Вилли. — Ты скомпрометировал своего классного наставника больше всех. Подумать только: значится в списках убитых, удостоивается трогательной речи расчувствовавшегося директора, тот чувствует его как героя и примерного ученика, и после этого у Альвина еще хватает наглости вернуться целым и невредимым! Старик здорово влип с тобой. Ему придется взять назад все похвалы, которые он расточал тебе как покойнику. Ведь по алгебре и по сочинению ты, несомненно, так же слаб, как и раньше.

Вестерхольт невозмутимо продолжает чтение устава:

— Параграф восемнадцатый: «Все воспитанники данного учебно-го заведения обязаны зимой с половины седьмого, летом — с семи находиться дома. На пребывание вне дома (посещение гостей или другие обстоятельства) требуется предварительное разрешение. Пребывание воспитанников с означенного часа на дому проверяется еженедельно контрольными посещениями классных наставников».

Лайпольд переворачивается со смеху вместе со стулом и грохается на пол. Даже Людвиг изменяет своей постоянной задумчивости и хохочет. Об этом мы совершенно забыли. Действительно: после семи вечера мы не имели права выходить на улицу и педели ходили по домам проверять, готовим ли мы уроки.

— Жаль, что я на фронте об этом не вспоминал, — ухмыляется Вилли. — Ровно в семь я кончал бы воевать и отправлялся бы домой зубрить стихи.

У Радемахера в горле клокочет, он всхлипывает и весь дрожит. Стекланный глаз выпадает у него из глазницы, черный лоскут на лице вздрагивает.

— Что с ним? — спрашиваю я.

— Он смеется, а ему это очень вредно, даже опасно, — говорит Вальдорф, наклоняясь к Радемахеру. — Пауль представил себе, как директор садится вечером в аэроплан и через подзорную трубу смотрит, готовим ли мы уроки.

* * *

Мы выбираем совет учащихся. Наши педагоги, может быть, еще и пригодны на то, чтобы вдолбить нам в головы кое-какие знания, необходимые для сдачи экзаменов, но управлять собой мы им не позволим. От нас, семинаристов, мы выбираем в совет Людвига Брайера, Гельмута Райнерсмана и Альберта Троске; от гимназистов — Георга Рахе и Карла Брегера. Вслед за тем надо выбрать трех представителей для поездки — завтра же — в учебный округ и министерство образования. Их задача — провести наши требования относительно срока обучения и экзаменов. Едут Вилли, Вестерхольт и Альберт. Людвиг ехать не может, — он еще не вполне оправился от болезни.

Всех троих мы снабжаем воинскими удостоверениями и бесплатными проездными билетами. Их у нас в запасе целые пачки. Достаточно среди нас и офицеров и солдатских депутатов, чтобы подписать эти бумажки.

Гельмут Райнерсман ставит все на деловую ногу. Он уговаривает Вилли повесить в шкаф добытую им в каптерке новую куртку и надеть старую — заплатанную и продырявленную пулями. Вилли поражен:

— Зачем?

— На канцелярских крыс такая штука действует лучше, чем тысяча доводов, — объясняет Гельмут.

Вилли недоволен: он очень гордится своей новой курткой и рассчитывал щегольнуть ею в столичных кафе.

— Если я в разговоре с чиновником министерства бацну кулаком по столу, это подействует не хуже, уверяю тебя, — пытается отстоять себя Вилли.

Но Гельмута нелегко переубедить.

— Нельзя, Вилли, одним махом крушить все, — говорит он. — Нам эти люди теперь нужны, что поделаешь? Если ты в заплатанной куртке ударишь кулаком по столу, ты добьешься большего, чем если ты это сделаешь в новой; таковы уж эти господа, поверь мне.

Вилли подчиняется. Гельмут поворачивается к Альвину Вестерхольту и оглядывает его. Фигура Альвина кажется ему недостаточной внушительной. Поэтому он нацепляет ему на грудь орден Людвига Брайера.

— Так ты больше подействуешь на тайных советников, — говорит Гельмут.

Альберт в этом не нуждается. У него на груди и без того доста-

точно бренчит. Теперь все трое снаряжены как следует. Гейслер обзрывает плоды своих стараний.

— Блестяще! — говорит он. — А теперь — в поход! И покажи этим откормленным свиньям, что значит настоящий рубака.

— Да уж положишься на нас, — отвечает Вилли. Он успокоился и чувствует себя в своей тарелке.

* * *

Дымят сигареты и трубки. Желания и мысли бурлят в чаше. Кто знает, во что все это выльется. Сотня молодых солдат, восемнадцать лейтенантов, тридцать фельдфебелей и унтер-офицеров собрались здесь и хотят снова вступить в жизнь. Каждый из них сумел с наименьшими потерями провести сквозь артиллерийский огонь по трудной местности роту солдат; каждый из них, ни минуты не колеблясь, предпринял бы все, что следует, если бы ночью в его окне раздавался рев: «Идут!»; каждый из них закален несчетными немилосердными днями; каждый из них — настоящий солдат, не больше того и не меньше.

Но для мирной обстановки? Годимся ли мы для нее? Пригодны ли мы вообще на что-нибудь иное, кроме солдатчины?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я

иду с вокзала, — приехал навестить Адольфа Бетке. Дом его узнаю сразу: на фронте Адольф достаточно часто и подробно описывал его.

Сад с фруктовыми деревьями. Яблоки еще не все собраны. Много их лежит в траве под деревьями. На площадке перед домом огромный каштан. Земля под ним густо усеяна каштановыми листьями; целые вороха их и на каменном столе и на скамье. Среди них мерцает розовато-белая изнанка уже расколовшихся колючей, как ежик, кожуры плодов и коричневый глянec вывалившихся из нее каштанов. Я поднимаю несколько каштанов и рассматриваю лакированную, в прожилках, как красное дерево, скорлупу со светлым пятнышком у основания. Подумать только, что все это существует, — я оглядываюсь вокруг, — эта пестрядь на деревьях, и окутанные голубой дымкой леса, а не изуродованные снарядными обгорелые пни, и веющий над полями ветер без порохового запаха и без вони газов, и вспаханная, жирно поблескивающая, крепко сцепившая земля, и лошади, запряженные в плуги, а за ними, без выхлопов, вернувшиеся на родину пахари, пахари в солдатских шинелях...

Солнце за рощей, спрятавшись в тучу, мечет оттуда пучки лучистого серебра, высоко в небе реют яркие бумажные змеи, запущенные ребятишками, легкие дышат прохладой, вбирая и выдыхая ее, нет больше ни орудий, ни мин, нет ранцев, стесняющих грудь, нет ремня, туго опоясывающего живот, нет больше ноющего ощущения в затылке от постоянного настороженного ожидания и вечного ожидания, этой ежесекундно висящей над тобой необходимостью прижаться к земле и лежать неподвижно, нет ужаса смерти, — я иду свободно, выпрямившись во весь рост, вольно расправив плечи, и со всей остротой ощущаю: я здесь, я иду навестить своего товарища Адольфа.

* * *

Дверь полуоткрыта. Направо — кухня. Стучусь. Никто не отвечает. Громко говорю: «Здравствуйте». Никакого ответа. Продолжаю дальше и открываю еще одну дверь. У стола одиноко сидит человек. Он подымает глаза. Потрепанная солдатская куртка, одинокий взгляд, — Бетке.

— Адольф! — кричу я обрадованно. — Ты ничего не слышал, что ли? Вздремнул небось?

Не меняя положения, он протягивает руку.

— Хорошо сделал, Эрнст, что приехал, — грустно отзывается он.

— Стряслось что-нибудь, Адольф? — с тревогой спрашиваю я.

— Да так, Эрнст, пустяки...

Я подсаживаюсь к нему:

— Послушай, что с тобой?

Он отмахивается:

— Да ладно, Эрнст, оставь... Но это хорошо, что ты вздумал навестить меня. — Он встает. — А то просто с ума сходишь, все один да один...

Я осматриваюсь. Жены его нигде не видно.

Помолчав, Адольф повторяет:

— Хорошо, что ты приехал.

Порывшись в шкафу, он достает водку и сигареты. Мы пьем из толстых стопок с розовым узором на доньшке. В окно виден сад и аллея фруктовых деревьев. Ветрено. Хлопает калитка. В углу тикают травленные под темное дерево напольные часы с гирями.

— За твоё здоровье, Адольф!

— Будь здоров, Эрнст!

Кошка крадется по комнате. Она прыгает на швейную машину и мурлычет. Мы молчим. Но вот Адольф начинает говорить:

— Они все время приходят — мои родители и тещь с тещей — и говорят, говорят, но я не понимаю их, а они не понимают меня. Словно нас подменили всех. — Он подпирает голову рукой. — Когда мы с тобой разговариваем, Эрнст, ты меня понимаешь, я — тебя, а между ними и мною будто стена какая-то...

И тут я узнаю все, что произошло.

* * *

Бетке подходит к своему дому. На спине ранец, в руках мешок с ценными продуктами — кофе, шоколад, есть даже отрез шелка на платье.

Он хочет войти как можно тише, чтобы устроить жене сюрприз, но собака лает как бешеная и едва не опрокидывает конуру; тут уж он не в силах сдержать себя, он мчится по аллее между яблонями. Его аллеика, его деревья, его дом, его жена... Сердце колотится, как кузнечный молот, колотится в самом горле, дверь настежь, глубокий вздох. Наконец-то!

Мария!..

Он видит ее, он одним взглядом охватил ее всю, радость захлестывает его — полумрак, родной кров, тканье часов, старое глубокое кресло, жена... Он хочет броситься к ней. Но она отступает на шаг, уставившись на него, как на привидение.

Он ничего не может понять.



— Ты что, испугалась? — спрашивает он, смеясь.

— Да... — робко отвечает она.

— Да что ты, Мария, — успокаивает он ее, дрожа от волнения. Теперь, когда он наконец дома, его всего трясет. Ведь так давно он не был здесь.

— Я не знала, что ты скоро приедешь, Адольф, — говорит жена. Она прислонилась к шкафу и смотрит на мужа широко раскрытыми глазами. Какой-то холодок змейкой вползает в него и на миг сжимает сердце.

— Разве ты мне не рада, Мария? — беспомощно спрашивает он.

— Как же, Адольф, конечно, рада...

— Что-нибудь случилось? — продолжает он расспрашивать, все еще не выпуская из рук вещей.

Она не отвечает и начинает плакать. Она опустила голову на стол, — уж лучше пусть он сразу все узнает, ведь люди все

равно расскажут: она тут сошлась с одним, она сама не знает, как это вышло, она вовсе не хотела этого и все время думала только об Адольфе, а теперь пусть он хоть убивает ее, ей все равно...

Адольф стоит и стоит и вдруг чувствует, что ранец у него все еще на спине. Он отстегивает его, вытаскивает вещи. Он весь дрожит и все повторяет про себя: «Не может этого быть, не может быть!» — и продолжает разбирать вещи, только бы что-нибудь делать; шелк шелестит у него в руках, он протягивает ей: «Вот я... привез тебе...» — и все повторяет про себя: «Нет, нет, не может этого быть, не может быть!..» Он беспомощно протягивает ей пунцовый шелк, и до сознания его еще ничего не дошло.

А она все плачет и слышать ничего не хочет. Он садится в раздумье и внезапно ощущает острый холод. На столе лежат яблоки из его собственного сада, чудесный ранец; он берет их и ест, — он должен что-нибудь делать. И вдруг руки у него опускаются: он понял... Неистовая ярость вскипает в нем, ему хочется что-нибудь разнести вдребезги, он выбегает из дому на поиски обидчика.

* * *

Адольф не находит его. Идет в пивную. Его встречают радушно. Но все будто на иголках, в глаза не смотрят, в разговорах осторожны, — значит, всё знают. Правда, он делает вид, будто ничего не случилось, но кому это под силу? Он пьет что-то и уже собирается уходить, как вдруг его спрашивают: «А домой ты заходил?» Он выходит из пивной, и его провожает молчание. Он рыщет по всей деревне. Становится поздно. Вот он опять у своей калитки. Что ему делать? Он входит. Горит лампа, на столе кофе, на плите сковородка с жареным картофелем. Сердце у него сжимается: как хорошо было бы, будь все как следует. Даже белая скатерть на столе. А теперь от этого только еще тяжелей.

Жена сидит у стола и больше не плачет. Когда он садится, она наливает ему кофе и приносит картофель и колбасу. Но для себя тарелки не ставит.

Он смотрит на нее. Она похудела и побледнела. И опять острая горечь безнадежности переворачивает всю его душу. Он ни о чем не хочет больше знать, он хочет уйти, запереться, лечь на кровать и превратиться в камень. Кофе дымится, он отодвигает его, отодвигает и сковородку с картофелем. Жена пугается. Она знает, что произойдет.

Адольф продолжает сидеть, — встать он не в состоянии, качнув головой, он только произносит:

— Уходи, Мария.

Не говоря ни слова, она накидывает на себя платок, еще раз подвигает к нему сковородку и робко просит: «Ты хоть поешь, Адольф!» — и уходит. Она идет, идет, как всегда, тихой поступью, бесшумно. Стукнула калитка, твякнула собака, за окнами воет ветер. Бетке остается один.

А потом наступает ночь.

Несколько дней такого одиночества в своем собственном доме для человека, вернувшегося из окопов, — это тяжкое испытание.

Адольф пытается найти своего обидчика, он хочет изуверить его, избить до полусмерти. Но тот, почуяв опасность, своевременно скрылся. Адольф подкарауливает его, ищет повсюду, но не может напасть на след, и это вконец изводит его.

Приходят тесть и теща и уговаривают: жена, мол, давно образумилась, четыре года одиночества тоже ведь не безделица, виноват во всем этот человек, во время войны еще и не такие вещи бывали...

— Что тут станешь делать, Эрнст? — Бетке поднимает глаза.

— Будь оно трижды неладно! Дерьмо! — говорю я.

— И для этого, Эрнст, мы возвращались домой...

Я наливаю, мы пьем. У Адольфа вышли все сигары, и так как ему не хочется идти за ними в пивную, отправляюсь туда я. Адольф заядлый курильщик, и с сигарами ему будет легче. Поэтому я сразу беру целый ящик «Лесной тишины»; это толстые коричневые обрубки, вполне отвечающие своему названию: они из чистого, без всякой примеси, букового листа. Но это лучше, чем ничего.

Когда я возвращаюсь, у Адольфа кто-то сидит. Я сразу догадываюсь, что это его жена. Она держится прямо, а плечи у нее покатые. Есть что-то трогательное в затылке женщины, что-то детское, и, верно, никогда нельзя на женщину всерьез рассердиться. Толстухи с жирным затылком, конечно, не в счет.

Я снимаю фуражку и здороваюсь. Женщина не отвечает. Я ставлю перед Адольфом сигары, но он не притрагивается к ним. Часы тикают. За окном кружатся листья каштана; изредка одинокий листок прощуршит о стекло, ветер приплюснет его, и тогда кажется, что эти пять зеленых зубцов на одном стебельке грозят в окно, как растопыренные пальцы хватающей руки — темной, мертвой руки осени.

Наконец Адольф шевелится и говорит незнакомым мне голосом:

— Ну, иди, Мария.

Она послушно, как школьница, встает и, глядя прямо перед собой, уходит. Мягкая линия затылка, узкие плечи — и как только все это могло случиться?

— Вот так она приходит каждый день и сидит здесь, молчит, ждет чего-то и все смотрит на меня, — с глубокой горечью говорит Адольф.

Мне жаль его, но теперь уже не только его, но и женщину.

— Поедем в город, Адольф, какой смысл тебе торчать здесь? — предлагаю я.

Он отказывается. На дворе залаяла собака. Стукнула калитка. Это Мария ушла к своим родителям.

— Она хочет вернуться к тебе, Адольф?

Он кивает. Я больше ни о чем не спрашиваю. С бедой своей он должен сам справиться.

— Поедем же, Адольф, — стараюсь я уговорить его.

— Как-нибудь в другой раз, Эрнст...

— Ты хоть закури! — Я придвигаю к нему ящик и жду, пока он берет сигару. Затем протягиваю ему на прощание руку:

— Я скоро опять приеду к тебе, Адольф.

Он провожает меня до калитки. Отойдя немного, я оглядываюсь. Он все еще стоит у забора, а за ним сгустился вечерний сумрак, как тогда, когда Адольф сошел с поезда и ушел от нас. Лучше бы он остался с нами! А теперь он один и несчастен, и мы не в силах помочь ему, как бы мы этого ни хотели. Эх, на фронте куда проще было: жив — значит, все хорошо.

II

Я лежу на диване, вытянув ноги, положив голову на валик и закрыв глаза. В дреме мысли мои странно путаются. Сознание расплывается, — это не бодрствование, но еще и не сон, и как тень пробегает в голове усталость. За ней смутно колышется отдаленный гул канонады, тихий посвист снарядов, а вот и металлический гул гонга, возвещающий газовую атаку. Но прежде, чем я успеваю нащупать противогаз, тьма бесшумно отодвигается. Теплое, светлое чувство охватывает меня, и земля, к которой я приник, вновь превращается в плюшевую обивку дивана. Я прижался к ней щекой и смутно соображаю: я — дома... Гул гонга, возвещающий приближение газа, растворяется в заглушенном позвякивании посуды, которую мать осторожно ставит на стол.

Но вот тьма подкрадывается снова, и с ней — рокот артиллерийской пальбы. А откуда-то издалека, как будто нас разделяют леса и горы, доносятся каплями падающие слова, которые мало-помалу приобретают смысл и проникают в сознание.

— Колбасу прислал дядя Карл, — слышу я голос матери среди отдаленного грохота орудий.

Слова эти настигают меня на самом краю воронки, куда я соскальзываю.

Всплывает сытое, самодовольное лицо.

— Ах, этот, — говорю я, и голос мой звучит глухо, словно рот заложен ватой. — Этот... Дерьмо паршивое...

И опять я падаю, падаю, опять вторгаются тени, и бесконечные волны их заливают меня, они все темнее и темнее...

Но я не засыпаю. Чего-то, что было до сих пор, не хватает: нет равномерного тихого металлического звона. Медленно возвращается ко мне сознание, и я открываю глаза. Рядом стоит мать с побледневшим от ужаса лицом и смотрит на меня.

— Что с тобой? — спрашиваю я испуганно и вскакиваю. — Ты больна?

Она отмахивается:

— Нет... Нет... Но как ты можешь говорить такие вещи...

Я стараюсь припомнить, что я сказал. Ах да, что-то насчет дяди Карла.

— Да ну, мама, не будь такой чувствительной, — смеюсь я. — Ведь дядя Карл на самом деле спекулянт. Ты сама это отлично знаешь.

— Дело не в этом, Эрнст, — тихо отвечает она. — Меня ужасает, какие ты слова говоришь...

Я сразу вспоминаю, что я сказал в полусне. Мне стыдно, что это случилось как раз при матери.

— Это, мама, у меня просто вырвалось, — говорю я в свое оправдание. — Надо еще, понимаешь, привыкнуть к тому, что я не на фронте. Там царила грубость, мама, но там была сердечность.

Я приглаживаю волосы, застегиваю куртку и тянусь за сигаретой. А мать все поглядывает на меня, и руки у нее дрожат.

Я останавливаюсь, пораженный.

— Послушай, мама, — говорю я, обнимая ее за плечи, — право же, не так это страшно. Все солдаты такие.

— Да, да... Я знаю. Но то, что и ты... Ты тоже...

Я смеюсь. Конечно, и я тоже, хочется мне крикнуть, но вдруг, ошеломленный мелькнувшей мыслью, я умолкаю, отхожу от матери и сажусь на диван, — мне надо в чем-то разобраться...

Передо мной стоит старая женщина с испуганным и озабоченным лицом. Она сложила морщинистые руки, усталые, натруженные. Сквозь истонченную кожу проступают узловатые голубые жилки. Руки эти трудились ради меня, оттого они такие. Прежде я не видел их, я вообще многого не умел видеть, я был слишком юн. Но теперь я начинаю понимать, почему я для этой худенькой, изможденной женщины иной, чем все солдаты мира: я ее дитя.

Для нее я всегда оставался ее ребенком, и тогда, когда был солдатом. Война представлялась ей сворой разъяренных хищников, угрожающих жизни ее сына. Но ей никогда не приходило в голову, что ее сын, за жизнь которого она так тревожилась, был таким же разъяренным хищником по отношению к сыновьям других матерей.

Я перевожу взгляд с ее рук на свои. Вот этими руками я в мае 1917 года заколол одного француза. Кровь его, тошнотворно горячая, стекала у меня по пальцам, а я все колол и колол, обезумев от страха и ярости. Меня вырвало потом, и всю ночь я проплакал. Только к утру Адольфу Бетке удалось меня успокоить. В тот день мне как раз исполнилось восемнадцать лет, и это была первая атака, в которой я участвовал.

Медленно поворачиваю руки ладонями вверх. В начале июля — наши войска пытались тогда осуществить большой прорыв — я застрелил этими руками трех человек. Целый день провисели они на колючей проволоке. Когда рвался снаряд, их мертвые руки шевелились от взрывной волны, и казалось, что они грозят кому-то, а иногда — что молят о помощи. В другой раз гранатой, которую я метнул на расстояние двадцати метров, начисто оторвало ноги английскому капитану. Крик его был ужасен; высоко вскинув голову, широко раскрыв рот и вздыбив торс, как тюлень, он руками уперся в землю. Он прожил недолго, изошел кровью.

А теперь я сижу около матери, и она чуть не плачет, не понимая, как это я так огрубел, что употребляю неприличные слова.

— Эрнст, — тихо говорит она, — я уже давно хотела тебе сказать: ты сильно изменился, стал каким-то беспокойным.

Да, с горечью думаю я, я сильно изменился. Да и что ты знаешь обо мне, мама? Осталось только воспоминание, одно воспоминание о тихом, мечтательном мальчике. Ты никогда, никогда не узнаешь от меня ничего об этих последних годах. Я не хочу, чтобы ты хотя бы и отдаленно догадывалась, что собой представляла действительность и во что она меня превратила. Сотая часть правды надломила бы тебе сердце, если одно грубое слово приводит тебя в трепет, смущает тебя, потому что не вяжется с твоим представлением обо мне.

— Дай срок, мама, и все опять пойдет на лад, — говорю я довольно-таки беспомощно, пытаюсь прежде всего убедить в этом самого себя.

Мать присаживается ко мне на диван и гладит мне руки. Я убираю их. Она огорченно смотрит на меня.

— Ты, Эрнст, иногда какой-то совсем чужой; в такие минуты я даже лица твоего не узнаю.

— Мне нужно сначала привыкнуть, — стараюсь я утешить ее. — Мне все кажется, будто я только на побывку приехал...

Сумерки вползают в комнату. Из коридора выходит моя собака и ложится у моих ног. Глаза ее мерцают, когда она смотрит на меня. Она тоже беспокойна, ей тоже сначала надо привыкнуть.

Мать откидывается на спинку дивана:

— Какое счастье, Эрнст, что ты вернулся...

— Да, это главное, — говорю я и встаю.

Она сидит в своем углу, маленькая, окутанная сумерками. С какой-то особенной нежностью я чувствую, что роли наши переменялись: теперь она — дитя.

Я люблю ее, я никогда не любил ее сильнее, чем сейчас, когда знаю, что уже не смогу прийти к ней, все рассказать и, может быть, обрести у нее покой. Я потерял ее. Разве это не так? И вдруг сознаю, как я, в сущности, одинок и какой я в самом деле чужой здесь.

Она закрыла глаза.

— Я сейчас оденусь и пойду немного пройду, — говорю я шепотом, стараясь не нарушать ее покоя.

Она кивает.

— Иди, мой мальчик, — тихо говорит она. И через миг, еще тише: — Милый мой мальчик...

От слов ее больно сжимается сердце. Осторожно притворяю за собою дверь.

Луга напоены влагой, и с дорог, булькая, бегут ручьи. В кармане шинели у меня небольшая стеклянная баночка. Я иду по берегу канала. Мальчиком я удил здесь рыбу, ловил бабочек, лежал под деревьями и грезил.

Весной канал зацветал лягушечьей икрой и водорослями. Светлые зеленые стебельки элодеи тихо покачивались под прозрачной рябью воды, между камышами зигзагами петляли длинноногие водяные паучки, и стаи колюшек, играя на солнце, бросали свои шустрые узкие тени на испещренный золотыми пятнами песок.

Холодно и сыро. Длинными рядами тянутся по берегу канала тополи. Ветви их оголены, но как будто окутаны легкой голубой дымкой. Придет день, и они опять зазеленеют и зашумят, и солнце вновь тепло и благодатно озарит этот уголок, с которым у меня связано столько юношеских воспоминаний.

Топаю ногой по выступу берега. Несколько рыбешек испуганно шныряют у самых ног. Тут уж я не в состоянии себя сдержать. Бегу туда, где канал суживается настолько, что можно стать над ним расставив ноги, и, наклонившись над водой, выжидаю, пока мне не удастся поймать двух колюшек. Я опускаю их в банку и внимательно разглядываю.

Они мечутся взад и вперед, грациозные и изумительные. У них стройные коричневые тельца с тремя иглами на спинке и шуршащими грудными плавниками. Вода прозрачна, как хрусталь, и блики на банке отражаются в ней. И эта вода в стеклянном сосуде, блики и переливы так прекрасны, что у меня захватывает дыхание.

Осторожно держа банку в руках, бреду дальше. Я несу ее бережно и время от времени заглядываю в нее. Сердце у меня бьется, точно здесь заключена моя юность, которую я поймал и уношу домой. У заводи опускаюсь на корточки. Колышутся густые заросли кувшинок; сине-мраморные тритоны, похожие на маленькие фугасы, покачиваются из стороны в сторону и высовываются из воды, чтобы набрать воздуха; медленно ползут по илу личинки мошек, лениво плывет жучок-плавунец, а из-под гнилой коряги смотрят на меня удивленные глаза неподвижно сидящей лягушки. Я вижу весь этот мир, но в нем заключено больше того, что можно разглядеть глазами, — в нем воспоминания о былом, его порывах, его счастье.

Бережно поднимаю банку и иду дальше, что-то ищу, на что-то надеюсь... Дует ветер, на горизонте синеют горы.

И вдруг меня пронзает дикий страх. Вниз... вниз... под прикрытием... Ведь я совершенно не защищен, местность со всех сторон просматривается!.. Я судорожно вздрагиваю, в ужасе, раскинув руки, как безумный бросаюсь вперед, спешу спрятаться за дерево, дрожу, задыхаюсь... Через секунду перевожу дыхание.

Прошло... Осторожно оглядываюсь... Нет, меня никто не видел. Только через несколько минут прихожу в себя. Наклонившись, под-

нимаю выскользнувшую из рук банку. Вода пролилась, но рыбки еще барахтаются. Иду к берегу канала и наполняю банку водой.

Погруженный в свои мысли, медленно бреду дальше. Вот уж и лес близко. Кошка пробирается через дорогу. По полю, вплоть до лесной опушки, вьется железнодорожная насыпь. Здесь можно было бы построить хорошие блиндажи, глубокие и с бетонным перекрытием, думаю я, а потом провести линию окопов с сапами и секретами влево... А по ту сторону поставить несколько пулеметов. Нет, всего только два туда, остальные надо разместить у опушки; тогда почти вся местность будет защищена перекрестным огнем. Тополя надо, конечно, срубить, чтобы они не служили ориентирами для неприятельской артиллерии... А за холмом установить несколько минометов. И пусть тогда попробуют сунуться...

Свистит паровоз. Я поднимаю глаза. Чем это я занимаюсь? Я пришел сюда, чтобы встретиться с любимыми уголками моей юности. А что я делаю? Провожу здесь линию окопов... Привычка, думаю я. Мы больше не видим природы, для нас существует только местность, местность, пригодная для атаки или обороны, старая мельница на холме — не мельница, а опорный пункт, лес — не лес, а артиллерийское прикрытие. Всюду, всюду это наваждение...

Я стряхиваю его с себя и пытаюсь вернуть свои мысли к прошлому. Но мне это не удается. Нет прежней радости, и даже пропало желание бродить по знакомым местам. Поворачиваю назад.

Издали замечаю одинокую фигуру, идущую мне навстречу... Это Георг Рахе.

— Ты что здесь делаешь? — спрашивает он удивленно.

— А ты?

— Ничего, — говорит он.

— И я ничего.

— А что это за банка? — насмешливо осведомляется он. Я краснею.

— Чего ты стесняешься, — говорит Рахе. — Захотелось, верно, по старой памяти рыбок наловить, а?

Я киваю.

— Ну и как? — спрашивает он. Я только качаю головой в ответ.

— То-то и есть. Эти вещи плохо вяжутся с солдатской шинелью, — задумчиво говорит он.

Мы садимся на штабель дров и закуриваем. Рахе снимает фуражку:

— А помнишь, как мы здесь марками менялись?

— Помню. От свежесрубленного леса крепко пахло на солнце смолой и дегтем, поблескивала листва на тополях, и от воды поднимался прохладный ветерок... Я все помню, все-все... Как мы искали зеленых лягушек, как читали книжки, как говорили о будущем, о жизни, которая ждет нас за голубыми далями и манит, подобно чуть слышной музыке...

— Вышло немножко не так, Эрнст, а? — Рахе улыбается, и улыбка у него такая же, как у всех у нас — чуть-чуть усталая, горь-

кая. — На фронте мы и рыбу ловили по-другому. Бросали в воду гранату, и рыба с лопнувшими пузырями сразу же всплывала на поверхность белым брюхом кверху. Это было практичнее.

— Как случилось, Георг, — говорю я, — что мы слоняемся без дела и не знаем толком, за что взяться?

— Как будто чего-то не хватает, Эрнст, правда?

Я киваю. Георг дотрагивается до моей груди:

— Вот что я тебе скажу. Я тоже много об этом думал. Вот это все, — он показывает на луга перед нами, — было жизнью. Она цвела и росла, и мы росли с нею. А что за нами, — он показывает головой назад, — было смертью, там все умирало, и нас малость прихватило. — Он опять горько улыбается. — Мы нуждаемся в небольшом ремонте, дружище.

— Будь сейчас лето, нам, быть может, было бы легче, — говорю я. — Летом все как будто легче.

— Не в этом дело. — Георг попыхивает сигаретой. — По-моему, тут совсем другое.

— Так что же? — спрашиваю я.

Он пожимает плечами и встает:

— Пошли домой, Эрнст. А знаешь? Сказать тебе, что я надумал? — Он наклоняется ко мне: — Я, вероятно, вернусь в армию.

— Ты спятил, — говорю я, вне себя от изумления.

— Нисколько, — говорит он, и лицо его на мгновение становится очень серьезным, — я только последователен.

Я останавливаюсь:

— Но послушай, Георг...

Он идет дальше.

— Я ведь вернулся домой на несколько недель раньше тебя, Эрнст, — говорит он и переводит разговор на другую тему.

Когда показываются первые дома, я выплескиваю колюшек в канал. Взмахнув хвостиками, рыбки быстро уплывают. Банку я оставляю на берегу.

* * *

Я прощаюсь с Георгом. Он медленно удаляется. Я останавливаюсь перед нашим домом и гляжу вслед Георгу. Его слова меня странно взволновали. Со всех сторон подкрадывается что-то неуловимое, оно отступает, как только я хочу схватить его, оно расплывается, как только я наступаю на него, а потом опять ползет за мной, смыкается вокруг меня, подстерегает.

Свинцом нависло небо над низким кустарником в сквере у Луи-зенплаца, деревья оголены, где-то хлопает на ветру окно, и в растрепанной бузине палисадников прячутся сырые, безнадежные сумерки.

Взгляд мой, блуждая, переходит с предмета на предмет, и мне начинает казаться, что я это впервые вижу, что все здесь настолько чужое мне, что я почти ничего не узнаю. Неужели этот сырой и гряз-

ный кусок газона и в самом деле обрамлял годы моего детства, такие крылатые и лучезарные в моих воспоминаниях? Неужели эта пустынная будничная площадь, это фабричное здание напротив и есть тот тихий уголок вселенной, который мы называли родиной и который один среди бушующего моря ужасов означал для нас надежду и спасение от гибели? Неужели эта унылая улица с рядом нелепых домов и есть та самая, образ которой в скупые промежутки между смертью и смертью вставал над окопами, как несбыточная, томительная, манящая мечта? Разве в мыслях моих эта улица не была гораздо светлее и ярче, гораздо оживленнее и шире? Неужели все это не так? Неужели кровь моя лгала, неужели воспоминание обманывало меня?

Меня трясет как в лихорадке. Вокруг все другое, хотя ничто не изменилось. Башенные часы на фабрике Нойбауэра по-прежнему идут и по-прежнему отбивают время, как в ту пору, когда мы, не отрывая глаз, смотрели на циферблат, стараясь уловить движение стрелок, а в окне табачной лавочки, в которой Рахе покупал для нас первые сигареты, по-прежнему сидит араб с гипсовой трубкой; и по-прежнему напротив, в бакалейной лавке, на рекламе мыльного порошка, те же фигуры, которым в солнечные дни мы с Карлом Фогтом выжигали глаза стеклышками от часов. Заглядываю в витрину: выжженные места еще и теперь видны. Но между вчера и сегодня легла война, и Карл Фогт давно убит на Кеммельских высотах.

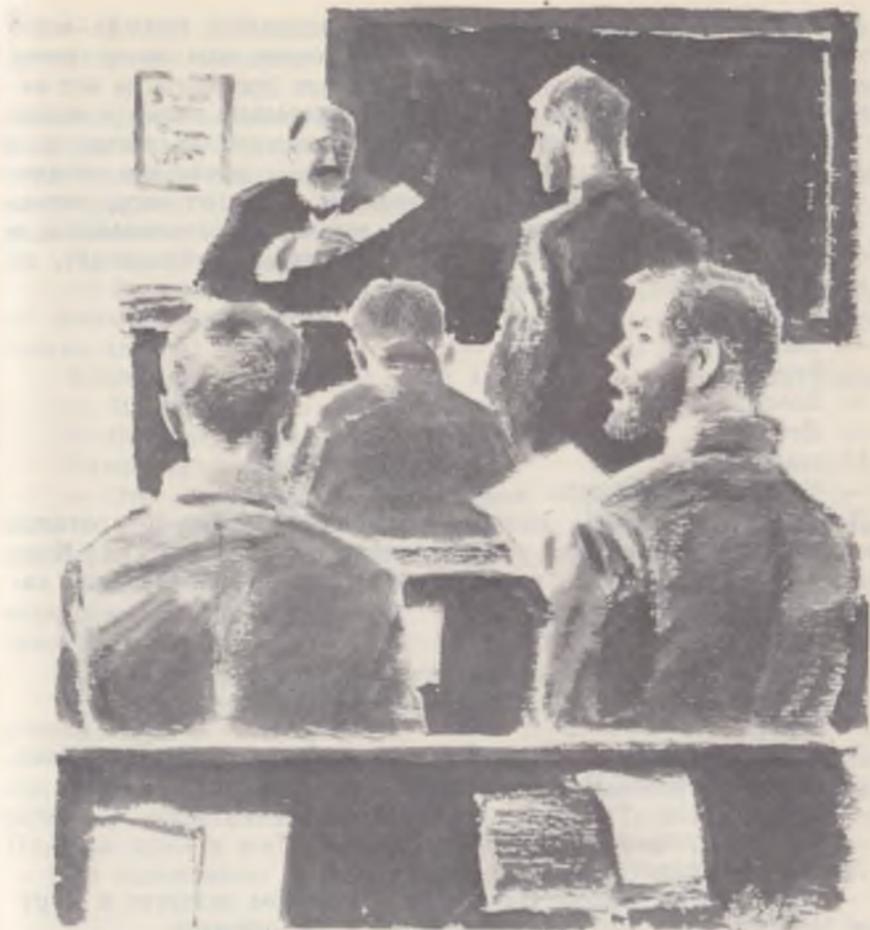
Я не могу понять, почему, стоя здесь, я не испытываю того же, что тогда, в воронках и бараках. Куда девалась та полнота чувств, все то трепещущее, светлое, сверкающее, все то, чего не выразишь никакими словами? Неужели в воспоминаниях было больше жизни, чем в действительности? Не обращались ли они в действительность, между тем как сама действительность отходила назад, все больше и больше выдыхалась, пока не превратилась в голый остов, на котором некогда развевались яркие знамена? Не оторвались ли воспоминания от действительности и не парят ли они теперь над нею лишь как хмурое облако? Или годы фронта сожгли мост к былому?

Вопросы, все только вопросы... А ответа нет...

IV

Распоряжение о порядке школьных занятий для участников войны получено. Наши представители провели все наши требования: сокращенный срок обучения, специальный курс для солдат и льготы при сдаче выпускного экзамена.

Нелегко было всего этого добиться, хотя у нас и революция. Ибо весь этот переворот лишь легкая рябь на поверхности воды. В глубь он не проникает. Какая польза от того, что один-два руководящих поста заняты новыми лицами? Любой солдат знает, что у командира роты могут быть самые лучшие намерения, но если унтер-офицеры не поддержат его, он бессилен что-либо сделать. Точно



так же и самый передовой министр всегда потерпит поражение, если он окружен реакционным блоком тайных советников. А тайные советники в Германии остались на своих местах. Эти канцелярские наполеоны неистребимы.

* * *

Первый урок. Мы опять на школьной скамье. Почти все в военном. Трое бородачей. Один женат.

На своей парте я узнаю резьбу — мои инициалы; они аккуратно вырезаны перочинным ножом и раскрашены чернилами. Я хорошо помню, что сие произведение было создано на уроке истории. И все же мне кажется, что с тех пор прошло сто лет, так странно снова сидеть здесь. Война отодвигается в прошлое, и круг смыкается. Но нас в этом круге уже нет.

Входит учитель немецкого языка Холлерман и прежде всего приступает к самому необходимому: возвращает нам наши вещи, оставшиеся в школе. Видимо, это давно лежало бременем на его аккуратной учительской душе. Он отпирает классный шкаф и вынимает оттуда рисовальные принадлежности, чертежные доски и, в первую очередь, толстые синие кипы тетрадей — домашние сочинения, диктанты, классные работы. На кафедре, слева от него, вырастает высокая стопка. Учитель называет имена, мы откликаемся, и каждый получает свою тетрадь. Вилли их нам перебрасывает, да так, что промокашки разлетаются во все стороны.

— Брайер!

— Здесь.

— Бюккер!

— Здесь.

— Детлефс!

Молчание.

— Убит! — орет Вилли.

Детлефс, маленький, русый, кривоногий, когда-то остался на второй год; ефрейтор, убит в семнадцатом году на Кемельских высотах. Тетрадь переключивает на правую сторону кафедры.

— Диркер.

— Здесь.

— Дирксман!

— Убит.

Дирксман, сын крестьянина, большой любитель поиграть в скат, плохой певец, убит под Ипром. Тетрадь откладывается вправо.

— Эггерс!

— Еще не прибыл, — сообщает Вилли.

Людвиг добавляет:

— Прострелено легкое. Находится в тыловом лазарете в Дортмунде. Через три месяца будет направлен в Липшпринге.

— Фридерихс!

— Здесь.

— Гизекке!

— Пропал без вести.

— Неверно, — заявляет Вестерхольт.

— Но ведь он значится в списках пропавших без вести, — говорит Райнерсман.

— Правильно, — отвечает Вестерхольт, — но он уже три недели находится здесь, в сумасшедшем доме. Я сам его видел.

— Геринг первый!

— Убит.

Геринг первый. Писал стихи, давал частные уроки, на заработанные деньги покупал книги. Первый ученик. Погиб под Суассоном вместе со своим братом.

— Геринг второй, — уже только бормочет учитель немецкого языка и сам кладет тетрадь направо.

— Писал действительно хорошие сочинения, — говорит он задумчиво, перелистывая тетрадь Геринга первого.

Не одна тетрадь еще переключивается вправо, и после переключки на кафедре оказывается солидная горка нерозданных работ. Классный наставник Холлерман в нерешительности смотрит на нее. Чувство порядка в нем, видимо, возмущено: он не знает, что делать с этими тетрадями. Наконец находит выход: тетради можно ведь послать родителям погибших.

Но Вилли с этим не согласен.

— Вы полагаете, что им доставит удовольствие такая тетрадь со множеством ошибок и с отметками «неудовлетворительно» и «очень плохо»? — вопрошает он. — Бросьте вы эту затею!

Холлерман смотрит на него круглыми от удивления глазами:

— Но что же мне делать с ними?

— Оставить в шкафу, — говорит Альберт.

Холлерман прямо-таки негодует:

— Это совершенно недопустимо, Троске, — тетради эти ведь не собственность школы, их нельзя просто взять да положить в шкаф.

— О господи, как все это сложно! — стонет Вилли, запуская всю пятерню себе в шевелюру. — Ладно, отдайте тетрадки нам, мы сами их разошлем.

Холлерман не сразу решается выпустить их из рук.

— Но... — в голосе его слышна тревога: речь идет о чужой собственности...

— Хорошо, хорошо, — успокаивает его Вилли, — мы сделаем все, что вам угодно. Тетради будут отправлены заказной бандеролью, с достаточным количеством марок. Только не волнуйтесь. Порядок прежде всего, а на остальное наплевать.

Он подмигивает нам и стучит себя по лбу.

* * *

После урока мы перелистываем наши тетради. Тема последнего сочинения называлась: «Почему Германия выиграет войну?» Это было в начале 1916 года. Введение, изложение в шести пунктах, заключение. Пункт четвертый — «по религиозным мотивам» — я изложил плохо. На полях красными чернилами значится: «бессвязно и неубедительно». В общем же вся работа на семи страницах оценена в «четыре с минусом». Совсем неплохо, если принять во внимание факты сегодняшнего дня.

Та же тема разработана, конечно, и в тетрадях убитых товарищей. Сами они, правда, уже не могут убедиться в ошибочности или правильности своих выводов. Один из них, Генрих Шютте, доказал в своем сочинении, что Германия проиграет войну. Он думал, что в школьных сочинениях нужно говорить правду. За это он вылетел бы из гимназии, если бы сам, в срочном порядке, не вызвался пойти на фронт. Несколько месяцев спустя он был убит.

Вилли читает вслух свою работу по естествознанию «Лесная ветреница и ее корневища». Скаля зубы, обводит нас глазами:

— С этим мы, пожалуй, покончили, а?

— Начисто! — кричит Вестерхольт.

Да, в самом деле покончили! Мы все перезабыли, и в этом разговор. То, чему учили нас Бетке и Козоле, мы никогда не забудем.

* * *

После обеда Людвиг и Альберт зашли за мной, и все вместе мы отправляемся в больницу, навестить нашего товарища Гизекке. По дороге встречаем Георга Рахе. Он присоединяется к нам: он тоже знал Гизекке.

День выдался ясный. С холма, на котором стоит больничное здание, открывается далекий вид на поля. Там, под наблюдением санитаров в форменных куртках, группами работают больные, одетые в полосатые, белые с голубым, блузы. Из окна правого флигеля доносится пение: «На берегах веселых Заале...» Поет, очевидно, больной... Как-то странно звучит сквозь железную решетку: «Тучи по небу плывут...»

Гизекке и с ним еще несколько человек помещаются в просторной палате. Когда мы входим, один из больных пронзительно кричит: «Прикрытие!.. Прикрытие!..» — и лезет под стол. Остальные не обращают на него никакого внимания. Увидев нас, Гизекке тотчас же поднимается навстречу. У него худое, желтое лицо; с заострившимся подбородком и торчащими ушами он кажется еще более юным, чем прежде. Только глаза беспокойные и постаревшие.

Не успеваем поздороваться с ним, как другой больной отводит нас в сторону.

— Новости есть? — спрашивает он.

— Нет, никаких, — отвечаю я.

— А что на фронте? Наши наконец заняли Верден?

Мы переглядываемся.

— Давно заключен мир, — успокаивающе говорит Альберт.

Больной смеется неприятным, бляющим смехом:

— Смотрите не дайте себя околпачить. Это они тумана напускают, а сами только и ждут, чтобы мы вышли отсюда. А как выйдем, они — хлоп! — и на фронт нас пошлют. — И таинственно прибавляет: — Меня-то им больше не видать!

Гизекке здороваётся с нами за руку. Мы поражены его поведением: мы ждали, что он, как обезьяна, будет прыгать, беситься, гримасничать или по меньшей мере трястись, как контуженые, что просят милостыню на углах, но он только жалко улыбается, как-то странно кривя губы, и говорит:

— Что, небось не думали, а?

— Да ты совсем здоров, — отвечаю я. — У тебя разве что-нибудь болит?

Он проводит рукой по лбу:

— Голова. Затылок будто обручем сжимает. А потом — Флери... Во время боев под Флери Гизекке разрывом снаряда засыпало, и, придавленный балкой, он долго пролежал, прижатый лицом к споротому до самого бедра животу другого солдата. У того голова не была засыпана; он все время кричал, и с каждым его стоном волна крови заливала лицо Гизекке. Постепенно у раненого стали выпирать наружу внутренности, и это грозило Гизекке удушьем. Чтобы не задохнуться, он то и дело втискивал их обратно в живот раненого. И всякий раз слышал при этом глухой рев несчастного.

Все это Гизекке рассказывает вполне гладко и последовательно.

— Так вот каждую ночь, — говорит он. — Я задыхаюсь, и комната наполняется скользкими белыми змеями и кровью.

— Но раз ты знаешь, что все тебе только кажется, неужели ты не можешь побороть себя? — спрашивает Альберт.

Гизекке мотает головой:

— Ничего не помогает. Даже если я не сплю. Как только стемнеет, они тут как тут. — Он весь дрожит. — Дома я выпрыгнул из окна и сломал ногу. Тогда они привезли меня сюда.

Он молчит. Потом обращается к нам:

— Что же вы теперь делаете? Выпускной экзамен уже сдали?

— Скоро будем сдавать, — говорит Людвиг.

— У меня, наверное, уж ничего не выйдет, — печально произносит Гизекке. — Такого к детям не пустят.

Больной, кричавший: «Прикрытие!», тихонько подкрался сзади к Альберту и хлопнул его по затылку. Альберт вспыхнул, но тут же опомнился.

— Годен, — хихикает больной, — годен! — Он смеется с какими-то взвизгами, но вдруг умолкает и тихо отходит в угол.

— Слушайте, не можете ли вы написать майору? — говорит Гизекке.

— Какому майору? — удивленно переспрашиваю я.

Людвиг подталкивает меня.

— О чем же ему написать? — быстро говорю я, спохватившись.

— Чтобы он разрешил мне отправиться во Флери, — возбужденно отвечает Гизекке. — Мне это непременно помогло бы. Сейчас там должно быть тихо, а я помню это место, когда там все грохотало и взлетало на воздух. Я пошел бы пешком через Ущелье Смерти, мимо Холодной Земли, прямо к Флери; если бы я не услышал ни одного выстрела, у меня бы все прошло. И я, наверное, успокоился бы, вы как думаете?

— И так все уляжется, — уговаривает его Людвиг и кладет ему руку на плечо. — Тебе только надо ясно отдать себе во всем отчет.

Гизекке грустно смотрит перед собой:

— Так напишите же майору. Меня зовут Герхардт Гизекке. Через два «к». — Глаза его помутнели и словно ослепли. — Принесите мне немного яблочного мусса. Я бы с таким удовольствием поел сейчас мусса.

Мы обещаем ему все, что он просит, но он уже нас не слышит, он уже ко всему безучастен. Мы прощаемся. Он встает и отдает Людвигу честь. Потом с отсутствующим взором садится за стол.

Выходя, я еще раз оглядываюсь на Гизекке. Вдруг он, точно проснувшись, вскакивает и бежит за нами.

— Возьмите меня с собой, — просит он каким-то высоким, странным голосом, — они опять ползут сюда...

Он испуганно жметя к нам. Мы не знаем, что делать. В эту минуту появляется врач, оглядывает нас и осторожно берет Гизекке за плечи.

— Пойдемте в сад, — говорит он, и Гизекке послушно дает себя увести.

Мы выходим из больницы. Вечернее солнце низко стоит над полями. Из решетчатого окна все еще доносится пение: «Но тех замков нет уж больше. Тучи по небу плывут...»

* * *

Мы молча шагаем. Поблескивают борозды на пашнях. Узкий и бледный серп луны повис между ветвями деревьев.

— По-моему, — говорит Людвиг, — у каждого из нас кое-что в этом роде...

Я гляжу на него. Лицо его освещено закатом. Оно серьезно и задумчиво. Я хочу ответить Людвигу и вдруг начинаю дрожать, сам не зная отчего.

— Не нужно об этом говорить, — прерывает его Альберт.

Мы продолжаем наш путь. Закат бледнеет, надвигаются сумерки. Ярче светит месяц. Ночной ветер поднимается с полей, и в окнах домов вспыхивают первые огни. Мы подходим к городу.

Георг Рахе за всю дорогу не сказал ни слова. Только когда мы остановились и стали прощаться, он словно очнулся:

— Вы слышали, чего он хочет? Во Флери — назад во Флери...

* * *

Домой мне еще не хочется. И Альберту тоже. Мы медленно бредем по обрыву. Внизу шумит река. У мельницы мы останавливаемся и перегибаемся через перила моста.

— Как странно, Эрнст, что у нас теперь никогда не появляется желание побыть одному, правда? — говорит Альберт.

— Да, — соглашаюсь я. — Не знаешь толком, куда девать себя.

Он кивает:

— Вот именно. Но ведь, в конце концов, надо себя куда-нибудь деть.

— Если бы в руках у нас была уже какая-нибудь специальность! — говорю я.

Он пренебрежительно отмахивается:

— И это ничего не даст. Живой человек нужен, Эрнст. — И, отвернувшись, тихо прибавляет: — Близкий человек, понимаешь?

— Ах, человек! — говорю я. — Это самая ненадежная штука в мире. Мы немало насмотрелись, как легко его отправить к праотцам. Придется тебе обзавестись десятком-другим друзей, чтобы хоть кто-нибудь уцелел, когда пули начнут их косить.

Альберт внимательно смотрит на силуэт собора:

— Я не то хочу сказать... Я говорю о человеке, который целиком принадлежит тебе. Иногда мне кажется, что это должна быть женщина...

— О господи! — восклицаю я, вспоминая Бетке.

— Дурень! — сердится он вдруг. — В жизни совершенно необходимо иметь какую-то опору, неужели ты этого не понимаешь? Я хочу быть любимым, и тогда я буду опорой для того человека, а он для меня. А то хоть в петлю лезь! — Он вздрагивает и отворачивается.

— Но послушай, Альберт, — тихо говорю я, — а мы-то для тебя что-нибудь значим?

— Да, да, но это совсем другое... — И, помолчав, шепчет: — Надо иметь детей, детей, которые ни о чем не знают...

Мне не совсем ясно, что он хочет сказать. Но я не расспрашиваю больше.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мы представляли себе все иначе. Мы думали: мощным аккордом начнется сильное, яркое существование, полновесная радость вновь обретенной жизни. Таким рисовалось нам начало. Но дни и недели скользят как-то мимо, они проходят в каких-то безразличных, поверхностных делах, и на поверку оказывается, что ничего не сделано. Война приучила нас действовать почти не размышляя, ибо каждая минута промедления чревата была смертью. Поэтому жизнь здесь кажется нам очень уж медлительной. Мы берем ее наскоком, но прежде, чем она откликнется и зазвучит, мы отворачиваемся от нее. Слишком долго была нашим неизменным спутником смерть; она была лихим игроком, и ежесекундно на карту ставилась высшая ставка. Это выработало в нас какую-то напряженность, лихорадочность, научило жить лишь настоящим мгновением, и теперь мы чувствуем себя опустошенными, потому что здесь это все не нужно. А пустота родит тревогу: мы чувствуем, что нас не понимают и что даже любовь не может нам помочь. Между солдатами и несолдатами разверзлась непроходимая пропасть. Помочь себе можем лишь мы сами.

В наши беспокойные дни нередко врывается странный рокот, точно отдаленный гром орудий, точно глухой призыв откуда-то из-за горизонта, призыв, который мы не умеем разгадать, которого мы не хотим слышать, от которого мы отворачиваемся, словно боясь упустить что-то, словно что-то убегает от нас. Слишком часто что-то убегало от нас, и для многих это была сама жизнь.

I

В берлоге Карла Брегера все вверх дном. Книжные полки опустошены. Книги, целыми пачками, валяются кругом — на столах и на полу.

Когда-то Карл был форменным библиоманом. Он собирал книги так, как мы собирали бабочек или почтовые марки. Особенно любил он Эйхендорфа. У Карла три различных издания его сочинений. Многие из стихотворений Эйхендорфа он знает наизусть. А сейчас он собирается распродать всю свою библиотеку и на вырученный

капитал открыть торговлю водкой. Он утверждает, что на таком деле можно теперь хорошо заработать. До сих пор Карл был только агентом у Леддерхозе, а сейчас хочет обзавестись самостоятельным предприятием.

Перелистываю первый том одного из изданий Эйхендорфа в мягком переплете синего цвета. Вечерняя заря, леса и грезы... Летние ночи, томление, тоска по родине... Какое это было время!..

Вилли держит в руках второй том. Он задумчиво рассматривает его.

— Это надо бы предложить сапожнику, — советует он Карлу.

— Почему? — улыбаясь спрашивает Людвиг.

— Кожа. Понятно? — отвечает Вилли. — У сапожников сейчас острый голод на кожу. Вот, — он поднимает с пола собрание сочинений Гете, — двадцать томов. Это по меньшей мере шесть пар великокопной кожаной обуви. За этого Гете сапожники наверняка дадут тебе гораздо больше любого букиниста. Они с ума сходят по настоящей коже.

— Хотите? — спрашивает Карл, указывая на книги. — Для вас со скидкой!

Мы дружно отказываемся.

— Ты бы все-таки еще раз подумал, — говорит Людвиг, — потом ведь не купишь.

— Чепуха, — смеется Карл. — Прежде всего надо жить; жить лучше, чем читать. И на экзамены я плюю. Все это ерунда! Завтра начнется проба различных сортов водок. Десять марок заработка на бутылке контрабандного коньяка — это заманчиво, дружище. Деньги — единственное, что вообще нужно. С деньгами все можно иметь.

Он увязывает книги в пачки. Я вспоминаю, что в былое время Карл предпочел бы голодать, но не продал бы ни одной книги.

— Почему у вас такие ошалелые лица? — смеется он над нами. — Надо уметь из всего извлечь пользу. За борт старый балласт! Пора начать новую жизнь!

— Это верно, — соглашается Вилли. — Будь у меня книги, я бы их тоже спустил.

Карл хлопает его по плечу:

— От сантиметра торговли больше толку, чем от километра учености, Вилли. Я вдосталь повалялся в окопной грязи, с меня хватит. Хочу взять от жизни все, что можно.

— В сущности, он прав, — говорю я. — Чем мы тут, в самом деле, занимаемся? Щепотка школьных знаний — ведь это ровным счетом ничего...

— Ребята, смывайтесь и вы, — говорит Карл. — Чего вы не видели в этой дурацкой школе?

— Да, все это ерунда, конечно, — откликается Вилли. — Но мы по крайней мере вместе. А кроме того, до экзаменов осталось каких-нибудь два-три месяца. Бросить все-таки жалко. Аттестат не помешает. А дальше видно будет...

Карл нарезает листы упаковочной бумаги:

— Знаешь, Вилли, так будет всю жизнь. Всегда найдутся два-три месяца, из-за которых что-либо жалко бросить. Так и не заметишь, как подойдет старость...

Вилли усмехается:

— Поживем — чаю попьем, а там поглядим...

Людвиг встает:

— Ну, а отец твой что говорит?

Карл смеется:

— То, что обычно говорят в таких случаях старые, трусливые люди. Принимать это всерьез нельзя. Родители все время забывают, что мы были солдатами.

— Какую бы ты профессию выбрал, если бы не был солдатом? — спрашиваю я.

— Стал бы сдуру книгами торговать, вероятно, — отвечает Карл.

* * *

На Вилли решение Карла произвело сильное впечатление. Он уговаривает нас забросить к черту весь школьный хлам и заняться стоящим делом.

Жратва — одно из самых доступных наслаждений жизнью. Поэтому мы решаем устроить мешочный поход. На продовольственные карточки выдают еженедельно по двести пятьдесят граммов мяса, двадцать граммов масла, пятьдесят граммов маргарина, сто граммов крупы и немного хлеба. Этим ни один человек сыт не будет.

Мешочники собираются на вокзалах уже с вечера, чтобы спозаранку отправиться по деревням. Поэтому нам надо поспеть к первому поезду; иначе нас опередят.

В нашем купе сидит сплошь серая угрюмая нищета. Мы выбираем деревню подальше от дороги и, прибыв туда, расходимся по двое, чтобы снимать жатву организованно. Патрулировать-то мы научились!

Я в паре с Альбертом. Подходим к большому двору. Дымится навозная куча. Под навесом длинным рядом стоят коровы. В лицо нам веет теплым духом коровника и парного молока. Клохчут куры. Мы с вожделием смотрим на них, но сдерживаемся, так как на гуме люди. Здороваемся. Никто не обращает на нас внимания. Стоим и ждем. Наконец одна из женщин кричит:

— Прочь отсюда, попрошайки проклятые!

Следующий дом. На дворе как раз сам хозяин. Он в длинной солдатской шинели. Пощелкивая кнутом, он говорит:

— Знаете, сколько до вас уже перебивало сегодня? С десятков, наверное.

Мы поражены: ведь мы выехали первым поездом. Наши предшественники приехали, должно быть, с вечера и ночевали где-нибудь в сараях или под открытым небом.

— А знаете, сколько проходит тут за день вашего брата? — спрашивает крестьянин. — Чуть не сотня. Что тут сделаешь?

Мы соглашаемся с ним. Взгляд его останавливается на солдатской шинели Альберта.

— Фландрия? — спрашивает он.

— Фландрия, — отвечает Альберт.

— Был и я там, — говорит крестьянин, идет в дом и выносит нам по два яйца. Мы роемся в бумажниках. Он машет рукой. — Бросьте. И так ладно.

— Ну, спасибо, друг.

— Не на чем. Только никому не рассказывайте. Не то завтра сюда явится пол-Германии.

Следующий двор. На заборе — металлическая дощечка: «Мешочничать запрещается. Злые собаки». Предусмотрительно.

Идем дальше. Дубовая рощица и большой двор. Мы пробираемся к самой кухне. Посреди кухни — плита новейшей конструкции, которой хватило бы на целый ресторан. Справа — пианино, слева — пианино. Против плиты стоит великолепный книжный шкаф: витые колонки, книги в роскошных переплетах с золотым обрезом. Перед шкафом старый простой стол и деревянные табуретки. Все это выглядит комично, особенно два пианино.

Появляется хозяйка:

— Нитки есть? Только настоящие.

— Нитки? Нет.

— А шелк? Или шелковые чулки?

Я смотрю на ее толстые икры. Мы смекаем: она не хочет продавать, она хочет менять продукты.

— Шелка у нас нет, но мы хорошо заплатим.

Она отказывается:

— Что ваши деньги! Тряпье. С каждым днем им цена все меньше.

Она поворачивается и уплывает. На ярко-пунцовой шелковой блузе не хватает сзади двух пуговиц.

— Нельзя ли у вас хоть напиток? — кричит ей вдогонку Альберт.

Она возвращается и сердито ставит перед нами кринку с водой.

— Ну, живей! некогда мне стоять тут с вами, — брюзжит она. — Шли бы лучше работать, чем время у людей отнимать.

Альберт берет кринку и швыряет ее на пол. Он задыхается от бешенства и не может произнести ни звука. Зато я могу.

— Рак тебе в печенку, старая карга! — реву я.

В ответ она поворачивается к нам спиной и грохочет, точно мастерская жестянщика на полном ходу. Мы пускаемся в бегство. Такой штуки даже самый крепкий мужчина не выдержит.

Продолжаем наш путь. По дороге нам попадаются целые партии мешочников. Как проголодавшиеся осы вокруг сладкого пирога, кружат они по деревне. Глядя на них, мы начинаем понимать, отчего крестьяне выходят из себя и встречают нас так грубо. Но мы



все же идем дальше: то нас гонят, то нам кое-что перепадает; то другие мешочники ругают нас, то мы их.

Под вечер вся наша компания сходится в пивной. Добыча невелика. Несколько фунтов картофеля, немного муки, несколько яиц, яблоки, капуста и немного мяса. Вилли является последним. Он весь в поту. Под мышкой у него половина свиной головы, из всех карманов торчат свертки. Правда, на нем нет шинели. Он обменял ее, так как дома у него есть еще одна, полученная у Карла, и кроме того, рассуждает Вилли, весна когда-нибудь, несомненно, наступит.

До отхода поезда остается два часа. Они приносят нам счастье. В зале стоит пианино. Я сажусь за него и, нажимая на педали, шпарю вовсю «Молитву девы». Появляется трактирщица. Некоторое время она молча слушает, затем, подмигивая, вызывает меня в коридор. Я незаметно выхожу. Она поверяет мне, что очень любит музыку,



но, к сожалению, здесь редко кто играет. Не хочу ли я приехать сюда почаще, спрашивает она. При этом она сует мне полфунта масла, обещая и впредь снабжать всякими хорошими вещами. Я, конечно, соглашаюсь и обязуюсь в каждый приезд играть по два часа. На прощание исполняю следующие номера своего репертуара: «Одинокий курган» и «Замок на Рейне».

И вот мы отправляемся на вокзал. По пути встречаем множество мешочников. Они едут тем же поездом, что и мы. Все боятся жандармов. Собирается большой отряд; до прихода поезда все прячутся подальше от платформы, в темном закоулке, на самом сквозняке. Так безопасней.

Но нам не везет. Неожиданно около нас останавливаются два жандарма. Они бесшумно подкатили сзади на велосипедах.

— Стой! Не расходишь!

Страшное волнение. Просьбы и мольбы:

— Отпустите нас! Нам к поезду!

— Поезд будет только через четверть часа, — невозмутимо объявляет жандарм, тот, что потолще. — Все подходи сюда!

Жандармы показывают на фонарь, под которым им будет лучше видно. Один из них следит, чтобы никто не удрал, другой проверяет мешочников. А мешочники почти сплошь женщины, дети и старики; большинство стоит молча и покорно: они привыкли к такому обращению, да никто, в сущности, и не надеется по-настоящему, что удастся хоть раз беспрепятственно довести полфунта масла домой. Я разглядываю жандармов. Они стоят с сознанием собственного достоинства, спесивые, красномордые, в зеленых мундирах, с шашками и кобурами, — точно такие же, как их собратья на фронте. Власть, думаю я, всегда, всегда одно и то же: одного грамма ее достаточно, чтобы сделать человека жестоким.

У одной женщины жандармы отбирают несколько яиц. Когда она, крадучись, уже отходит прочь, ее подзывает толстый жандарм.

— Стой! А здесь что? — Он показывает на юбку. — Выкладывай!

Женщина остолбенела. Силы покидают ее.

— Ну, живей!

Она вытаскивает из-под юбки кусок сала. Жандарм откладывает его в сторону:

— Думала, сойдет, а?

Женщина все еще не понимает, что происходит, и хочет взять обратно отобранное у нее сало:

— Но ведь я заплатила за него... Я отдала за него последние гроши...

Он отталкивает ее руку и уже вытаскивает из блузки у другой женщины колбасу:

— Мешочничать запрещено. Это всем известно.

Женщина готова отказаться от яиц, но она молит вернуть ей сало:

— По крайней мере сало отдайте. Что я скажу дома? Ведь это для детей!

— Обратитесь в министерство продовольствия с ходатайством о получении добавочных карточек, — скрипучим голосом говорит жандарм. — Нас это не касается. Следующий!

Женщина спотыкается, падает, ее рвет, и она кричит:

— За это умирал мой муж, чтобы дети наши голодали?!

Девушка, до которой дошла очередь, глотает, давится, торопится запихать в себя масло; рот у нее весь в жиру, глаза вылезают на лоб, а она все давится и глотает, глотает, — пусть хоть что-нибудь достанется ей, прежде чем жандарм отберет все. Достанется ей, впрочем, очень мало: ее стошнит и понос ей, конечно, обеспечен.

— Следующий!

Никто не шевелится. Жандарм, который стоит нагнувшись, вторяет:

— Следующий! — Обозлившись, он выпрямляется во весь рост и встречается глазами с Вилли. — Вы следующий? — говорит он уже гораздо спокойнее.

— Я никакой, — недружелюбно отвечает Вилли.

— Что у вас под мышкой?

— Половина свиной головы, — откровенно заявляет Вилли.

— Вы обязаны ее отдать.

Вилли не трогается с места. Жандарм колеблется и бросает взгляд на своего коллегу. Тот становится рядом. Это грубая ошибка. Видно, у них мало опыта в таких делах, они не привыкли к сопротивлению. Будь они опытнее, они сразу бы заметили, что мы — одна компания, хотя и не разговариваем друг с другом. Второму жандарму следовало бы стать сбоку и держать нас под угрозой наведенного револьвера. Правда, нас бы это не особенно беспокоило: велика важность — револьвер! Вместо этого жандарм становится рядом с коллегой — на случай, если бы Вилли вздумал погорячиться.

Последствия тактической ошибки жандармов сказываются тотчас же. Вилли отдает свиную голову. Изумленный жандарм берет ее и тем самым лишает себя возможности защищаться, так как теперь обе руки у него заняты. В то же мгновение Вилли с полным спокойствием наносит ему такой удар по зубам, что жандарм падает. Прежде чем второй успевает шевельнуться, Козоле головой ударяет его под подбородок, а Валентин, подскочив сзади, так сжимает ему зоб, что жандарм широко разевает рот, и Козоле живо запикивает туда газету. Оба жандарма хрипят, глотают и плюются, но все напрасно, — рты у них заткнуты бумагой, руки скручены за спину и крепко-накрепко связаны их же собственными ремнями. Все это быстро сработано, но куда девать обоих?

Альберт знает. В пятнадцати шагах отсюда стоит уединенный домик с вырезанным в двери сердечком — уборная. Несемся туда галопом. Втискиваем внутрь обоих жандармов. Дверь этого помещения дубовая, задвижки широкие и крепкие; пройдет не меньше часа, пока они выберутся. Козоле благороден: он даже ставит перед дверью оба жандармских велосипеда.

Окончательно оробевшие мешочники с трепетом следят за всей этой сценой.

— Разбирайте свои вещи, — с усмешкой предлагает им Фердинанд.

Вдали уже слышен паровозный свисток. Пугливо озираясь, люди не заставляют дважды повторять себе предложение Козоле. Но какая-то полоумная старуха грозит испортить все дело.

— О боже, — убивается она, — они поколотили жандармов... Какой ужас... Какой ужас...

По-видимому, ей кажется это преступлением, достойным смертной казни. Остальные тоже напуганы. Страх перед полицейским мундиром проник им в плоть и кровь.

— Не вой, матушка, — ухмыляется Вилли. — И пусть бы все правительство стояло тут, мы все равно не отдали бы им ни крошки! Вот еще: у старых служак отнимать жратву! Только этого не хватало!

Счастье, что деревенские вокзалы расположены обычно вдали от жилищ. Никто ничего не заметил. Начальник станции только теперь выходит из станционного домика, зевает и почесывает затылок. Мы уже на перроне. Вилли держит под мышкой свиную голову.

— Чтобы я тебя да отдал... — бормочет он, нежно поглаживая ее.

Поезд трогается. Мы машем руками из окон. Начальник станции, полагая, что это относится к нему, приветливо козыряет нам в ответ. Но мы имеем в виду уборную. Вилли наполовину высовывается из окна, наблюдая за красной шапкой станционного начальника.

— Вернулся в свою будочку, — победоносно возглашает он. — Ну, теперь жандармы хорошенько попотеют, прежде чем выберутся.

Мало-помалу мешочники успокаиваются. Люди приободрились и начинают разговаривать. Женщина, вновь обретшая свой кусок сала, от благодарности смеется со слезами на глазах. Только девушка, съевшая масло, воеет навзрыд: она слишком поторопилась. Вдобавок ее уже начинает тошнить. Но тут Козоле проявляет благородство. Он отдает ей половину своей колбасы. Девушка затыкает колбасу за чулок.

Предосторожности ради, мы вылезаем за одну остановку до города и полями выходим на шоссе. Последний пролет мы намерены пройти пешком. Но нас нагоняет грузовик с молочными бидонами. Шофер в солдатской шинели. Он берет нас к себе в машину. Мы мчимся, рассекая вечерний воздух. Мерцают звезды. Мы сидим рядышком. Свертки наши аппетитно пахнут свиной.

II

Главная улица погружена в вечерний туман, влажный и серебристый. Вокруг фонарей большие желтые круги. Люди ступают как по вате. Витрины слева и справа — словно волшебные огни; Волк подплывает к нам и снова ныряет куда-то в глубину. Возле фонарей блестят черные и сырые деревья.

За мной зашел Валентин Лагер. Хотя сегодня он, против обыкновения, и не жалуется, но все еще не может забыть акробатического номера, с которым выступал в Париже и Будапеште.

— На этом надо поставить крест, Эрнст, — говорит он. — Кости трещат, ревматизм мучает. Уж я пытался, пытался, до потери сил. Все равно бесполезно.

— Что же ты собираешься предпринять, Валентин? — спрашиваю я. — В сущности, государство обязано было бы платить тебе такую же пенсию, как и офицерам в отставке.

— Ах, государство! — пренебрежительно роняет Валентин. — Государство дает только тем, кто умеет драть глотку. Сейчас я разу-

чиваю с одной танцовщицей несколько номеров. Такие, знаешь ли, эстрадные. Публике нравится, но это настоящая ерунда, и порядочному акробату стыдно заниматься такими вещами. Что поделаешь: жить-то ведь нужно...

Валентин зовет меня на репетицию, и я принимаю приглашение. На углу Хомкенштрассе мимо нас проплывает в тумане черный котелок, а под ним — канареечно-желтый плащ и портфель.

— Артур! — кричу я.

Леддерхозе останавливается.

— Черт возьми, — восклицает в восторге Валентин, — каким же ты франтом вырядился! — С видом знатока он щупает галстук Артура — великолепное изделие из искусственного шелка в лиловых разводах.

— Дела идут недурно, — торопливо говорит польщенный Леддерхозе.

— А ермолка-то какая, — все изумляется Валентин, разглядывая черный котелок Артура.

Леддерхозе, порываясь уйти, похлопывает по портфелю:

— Дела, дела...

— А что твой табачный магазин? Ты уже простился с ним? — осведомляюсь я.

— Никак нет, — отвечает Артур. — Но у меня сейчас только оптовая торговля. Кстати, не знаете ли вы какого-нибудь помещения под контору? Заплачу любую цену.

— Помещений под контору не знаем, — отвечает Валентин. — До этого нам пока далеко. А как поживает жена?

— Почему это тебя интересует? — настораживается Леддерхозе.

— В окопах, помнится, ты очень сокрушался, что она у тебя худа слишком. Ты ведь больше насчет дебелих...

Артур качает головой:

— Не припомню что-то. — Он убегает.

Валентин смеется.

— До чего может измениться человек, Эрнст, верно? В окопах это был жалкий червь, а теперь вон какой делец! Как он похабничал на фронте! А сейчас и слышать об этом не хочет. Того и гляди, еще заделается председателем какого-нибудь общества «Добродетель и мораль».

— Ему, видно, чертовски хорошо живется, — задумчиво говорю я.

* * *

Мы бредем дальше. Плывет туман. Волк забавляется, скачет. Лица то приближаются, то исчезают. Вдруг, в белом луче света, блеснула красная кожаная шляпка и под ней лицо, нежно оттененное налетом влаги, отчего глаза блестят больше обычного.

Я останавливаюсь. Сердце забило. Адель! Вспыхнуло воспоминание о вечерах, когда мы, шестнадцатилетние мальчики, пря-

чась в полумраке у дверей гимнастического зала, ожидали появления девочек в белых свитерах, а потом бежали за ними по улицам и, догнав, молча, едва переводя дыхание, пожирали их глазами где-нибудь под фонарем; но девочки быстро убегали от нас, и погоня возобновлялась. А иной раз, завидев их на улице, мы робко и упорно шли за ними, шага на два позади, от смущения не решаясь заговорить, и лишь в последнюю минуту, когда они скрывались в подъезде какого-нибудь дома, мы набирались храбрости, кричали им вдогонку «до свидания» и убегали.

Валентин оглядывается.

— Я должен вернуться, — торопливо говорю я, — мне надо тут кое с кем поговорить. Сейчас же буду обратно.

И я бегу назад, бегу искать красную шляпку, красное сияние в тумане, дни моей юности — до солдатской шинели и окопов.

— Адель!

Она оглядывается:

— Эрнст!.. Ты вернулся?

Мы идем рядом. Туман ползет между нами, Волк с лаем прыгает вокруг нас, трамвай звенят, и мир тепел и мягок. Вернулось прежнее чувство, полнозвучное, трепетное, парящее, годы стерты, взметнулась дуга к прошлому, — это радуга, светлый мост в тумане.

Я не знаю, о чем мы говорим, да это и безразлично, важно то, что мы рядом, что снова звучит нежная, чуть слышная музыка прежних времен, эти летучие каскады предчувствий и томлений, за которыми шелком переливается зелень лугов, поет серебряный шелест тополей и темнеют мягкие очертания горизонта юности.

Долго ли мы так бродили? Не знаю. Я возвращаюсь назад один — Адель ушла, но, словно большое яркое знамя, веет во мне радость и надежда, полнота жизни. Я вновь вижу свою мальчишескую комнату, зеленые башни и необъятные дали.

* * *

По дороге домой встречаю Вилли, и мы вместе отправляемся искать Валентина. Мы уже почти нагнали его и видим, как он вдруг радостно бросается к какому-то незнакомому нам человеку и с размаху крепко хлопает его по плечу.

— Кукхоф, старина, ты как сюда попал? — Валентин протягивает ему руку. — Вот так встреча! Где довелось увидеться!

Кукхоф некоторое время смотрит на Валентина, точно оценивая его:

— А, Лагер, не правда ли?

— Ну ясно. Вместе воевали на Сомме. Помнишь, как мы с тобой среди всей этой мерзости лопали пирожки, которые мне прислала Лили? Еще Георг принес их нам на передовые вместе с почтой? Чертовски рискованно было с его стороны, верно?

— Еще бы, конечно, — говорит Кукхоф.

Валентин взволнован от нахлынувших воспоминаний.

— А Георга так-таки настигла пуля, — рассказывает он. — Тебя тогда уже не было. Пришлось ему расстаться с правой рукой. Нелегкая штука для него, — он ведь кучер. Верно, занялся чем-нибудь другим. А тебя куда потом занесло?

Кукхоф бормочет в ответ что-то невнятное. Затем говорит:

— Очень приятно встретиться. Как же вы поживаете, Лагер?

— Что? — оторопев, спрашивает Валентин.

— Как вы поживаете, говорю, что поделываете?

— «Вы»? — Валентина словно обухом по голове хватила. С минуту он смотрит на Кукхофа, одетого в элегантно-коверкотовое пальто. Потом оглядывает себя, краснеет как рак, отходит. — Обезьяна! — только и говорит он.

Мне тяжело за Валентина. Вероятно, впервые он сталкивается с мыслью о неравенстве. До сих пор мы все были солдатами. А теперь этакий вот самонадеянный малый одним-единственным «вы» вдребезги разбивает всю его непосредственность.

— Не стоит о нем думать, Валентин, — говорю я. — Такие, как он, гордятся папашиним капиталом. Тоже, понимаешь, занятие.

Вилли, со своей стороны, прибавляет несколько крепких словечек.

— Нечего сказать — боевые товарищи! — говорит со злостью Валентин. Видно, что от этой встречи у него остался тяжелый осадок.

* * *

К счастью, навстречу идет Тьяден. Он грязен, как половая тряпка.

— Послушай-ка, Тьяден, — говорит Вилли, — война-то ведь кончена, не мешало бы и помыться.

— Нет, сегодня еще не стоит, — важно отвечает Тьяден, — вот уж в субботу. Тогда я даже искупаюсь.

Мы поражены. Тьяден — и купаться? Неужели он еще не оправился от августовской контузии? Вилли с сомнением прикладывает ладонь к уху:

— Мне кажется, я ослышался. Что ты собираешься делать в субботу?

— Купаться, — гордо говорит Тьяден. — В субботу вечером, видите ли, моя помолвка.

Вилли смотрит на него, точно перед ним заморский попугай. Затем он осторожно кладет свою лапищу ему на плечо и отечески спрашивает:

— Скажи, Тьяден, у тебя не бывает иногда колотья в затылке? И этакого странного шума в ушах?

— Только когда жрать охота, — признается Тьяден, — тогда у меня еще и в желудке нечто вроде ураганного огня. Препротивное ощущение. Но послушайте о моей невесте. Красивой ее назвать нельзя: обе ноги смотрят в левую сторону и она слегка косит. Но зато сердце золотое и папаша мясник.

Мясник! Мы начинаем смекать. Тьяден с готовностью дает дальнейшие объяснения:

— Она без ума от меня. Что поделаешь, нельзя упускать случая. Времена нынче тяжелые, приходится кое-чем жертвовать. Мясник последним помрет с голоду. А помолвка — ведь это еще далеко не женитьба.

Вилли слушает Тьядена с возрастающим интересом.

— Тьяден, — начинает он, — ты знаешь, мы всегда были с тобой друзьями...

— Ясно, Вилли, — перебивает его Тьяден, — получишь несколько колбас. И, пожалуй, еще кусок корейки. Приходи в понедельник. У нас как раз начнется «белая неделя».

— Как так? — удивляюсь я. — Разве у вас еще и бельевого магазин?

— Нет, какой там магазин! Мы, видишь ли, заколем белую кобылу.

Мы твердо обещаем прийти и бредем дальше.

* * *

Валентин сворачивает к гостинице «Альтштедтер Хоф». Здесь обычно останавливаются заезжие актеры. Мы входим. За столом сидят лилипуты. На столе суп из репы. Возле каждого прибора ломоть хлеба.

— Надо надеяться, что эти-то хоть сыты своим пайковым месивом, — ворчит Вилли, — у них желудки поменьше наших.

Стены оклеены афишами и фотографиями. Рваные ярко раскрашенные плакаты с изображениями атлетов, клоунов, укротительниц львов. От времени бумага пожелтела, — долгие годы окопы заменяли всем этим тяжеловесам, наездникам и акробатам арену. Там афиш не требовалось.

Валентин показывает на одну афишу.

— Вот каким я был, — говорит он.

На афише человек геркулесовского телосложения делает сальто с трапеции, укрепленной под самым куполом. Но Валентина в нем при всем желании узнать нельзя.

Танцовщица, с которой Валентин собирается работать, уже ждет его. Мы проходим в малый зал ресторана. В углу стоит несколько театральных декораций к остроумному фарсу из жизни фронтовиков «Лети, моя голубка»; куплеты из этого фарса целых два года пользовались колоссальным успехом.

Валентин ставит на стул граммофон и достает пластинки. Хрипая мелодия квакает и шипит. Мелодия заиграна, но в ней еще прорывается огонь, она — словно пропитый голос истасканной, но некогда красивой женщины.

— Танго, — шепотом, с видом знатока, сообщает мне Вилли. По лицу его никак нельзя догадаться, что он только что прочел надпись на пластинке.

На Валентине синие штаны и рубашка, женщина — в трико. Они разучивают танец апашей и еще какой-то эксцентрический номер, в заключение которого девушка висит вниз головой, обвив ногами шею Валентина, а он вертится изо всех сил.

Оба работают молча, с серьезными лицами, лишь изредка роняя вполголоса два-три коротких слова. Мигает белый свет лампы. Тихо шипит газ. Огромные тени танцующих колышутся на декорациях к «Голубке». Вилли неуклюже, как медведь, топчется вокруг граммофона, подкручивая его.

Валентин окончил. Вилли аплодирует. Валентин с досадой отмахивается. Девушка переодевается, не обращая на нас никакого внимания. Стоя под газовым рожком, она медленно расшнуровывает туфли. Ее спина в выцветшем трико грациозно изогнута. Выпрямившись, девушка поднимает руки, чтобы натянуть на себя платье. На плечах ее играют свет и тени. У нее красивые стройные ноги.

Вилли рыщет по залу. Он находит где-то либретто к «Голубке». В конце помещены объявления. В одном некий кондитер предлагает для посылки на фронт шоколадные бомбы и гранаты в оригинальной упаковке. В другом какая-то саксонская фирма рекламирует ножи для вскрывания конвертов, сделанные из осколков снарядов, клетчатую бумагу с изречениями великих людей о войне и две серии открыток: «Прощание солдата» и «Во тьме полночной я стою».



Танцовщица оделась. В пальто и шляпе она совсем другая. Только что она была как гибкое животное, а теперь такая же, как все. С трудом верится, что каких-нибудь несколько тряпок могли так изменить ее. Удивительно, как даже обыкновенное платье меняет человека! Что ж сказать о солдатской шинели!

III

Вилли каждый вечер бывает у Вальдмана. Это загородный ресторан с садом, где по вечерам танцуют. Я отправляюсь туда, — Карл Брегер как-то сказал мне, что там бывает Адель. А ее мне хочется встретить.

Все окна ресторана ярко освещены. По опущенным шторам скользят тени танцующих. Стоя у буфета, ищу глазами Вилли. Все столики заняты, даже стула свободного нет. В эти первые послевоенные месяцы жажда развлечений принимает положительно чудовищные размеры.

Вдруг вижу чей-то сверкающий белизной живот и величественно развевающейся ласточкин хвост: это Вилли во фраке. Слепленный, я не в силах отвести очарованного взора: фрак черный, жилет белый, волосы рыжие — ни дать ни взять германский флаг на двух ногах.

Вилли снисходительно принимает дань моего восхищения.

— Удивлен, а? — говорит он, поворачиваясь, как павлин. — Этот фрак я сшил в память о кайзере Вильгельме. Чего только не сделаешь из солдатской шинели! Верно? — Он хлопает меня по плечу. — Кстати, Эрнст, ты хорошо сделал, что пришел. Сегодня здесь танцевальный конкурс, и мы все собираемся принять участие. Призы первоклассные. Через полчаса начало.

Есть, следовательно, время еще потренироваться. Его дама похожа на борца. Это — крепко сколоченное существо, здоровенное, как ломовая лошадь. Вилли упражняется с ней в уанстепе, где самое главное — быстрота движений. Карл танцует с девицей из производственного управления; она, как лошадка в праздничной сбруе, взнуздана всякими цепочками и колечками. Он соединяет таким образом приятное с полезным. Но где же Альберт? У нашего столика его нет. Слегка смущенно он приветствует нас из дальнего угла. Он сидит там с какой-то светловолосой девушкой.

— Этот от нас откололся, — пророчески изрекает Вилли.

Я присматриваюсь к публике, выискивая для себя хорошую партнершу. Задача эта далеко не из простых: иная девица, сидя за столиком, кажется грациозной ланью, а танцует как беременная слониха. Да кроме того, хорошо танцующие дамы — нарасхват. Но мне все-таки удастся сговориться с тоненькой белошвейкой.

Раздается туш. Некто с хризантемой в петлице выходит и объявляет, что прибывшие из Берлина артисты продемонстрируют

сейчас новинку: фокстрот. Этого танца мы еще не знаем, только слышали о нем краем уха.

Мы с любопытством обступаем танцоров. Оркестр играет отрывистую мелодию. Под эту музыку оба танцора, словно ягнята, прыгают друг подле друга. Временами они расходятся, затем снова сцепляются руками и, прихрамывая, скользят по кругу. Вилли вытягивает шею и широко раскрывает глаза. Танец ему, видно, по вкусу.

Вносят стол, на котором расставлены призы; бросаемся туда. На каждый танец — уанстеп, бостон и фокстрот — имеется по три приза. Фокстрот для нас отпадает. Мы его не танцуем. Но в уанстепе и бостоне мы себя покажем — только держись!

Во всех трех случаях первый приз на выбор: десяток яиц чайки либо бутылка водки. Вилли с недоверчивой миной осведомляется, съедобны ли яйца чайки. Успокоенный, он возвращается к нам. Второй приз — полдюжины таких же яиц или шапочка из чистой шерсти. Третий приз — четыре яйца или коробка сигарет «Слава Германии».

— Уж сигарет-то мы этих ни в коем случае не возьмем, — говорит Карл, который знает толк в куреве.

Конкурс начинается. На бостон мы намечаем Карла и Альберта, на уанстеп Вилли и меня. На Вилли мы, правду сказать, мало надеемся. Он может победить лишь в том случае, если члены жюри обладают чувством юмора. Но где это видано, чтобы судьи, пусть даже присуждающие призы за танец, обладали этим бесценным качеством!

В бостоне Карл и Альберт и еще три пары выходят в последний, решающий тур. Карл идет первым. Высокий воротник его парадного мундира, его лаковые сапоги в сочетании с цепочками и колечками его лошадки создают картину такой умопомрачительной элегантности, против которой никто не может устоять. По манере держаться, по стилю танца Карл единственный в своем роде, но изяществом движений Альберт по меньшей мере не уступит ему. Члены жюри делают заметки, точно у Вальдмана происходит решительная схватка перед страшным судом. Карл выходит победителем и берет десяток яиц чайки, а не водку. Ему слишком хорошо известна ее марка: эту водку он сам поставлял сюда. Великодушно дарит он нам свою добычу, — дома у него есть вещи получше. Альберт получает второй приз. Смущенно поглядев на нас, он относит шесть яиц светловолосой девушке. Вилли многозначительно посвистывает.

В уанстепе я вихрем вылетаю в круг с моей тоненькой белошвейкой и тоже прохожу в заключительный тур. К моему удивлению, Вилли просто остался за столиком и даже не записался на уанстеп. В последнем туре я блеснул собственным особым вариантом с приседаниями и попятным движением, чего я прежде не показывал. Малютка танцевала как перышко, и мы с ней заработали второй приз, который и поделили между собой.

Гордо, с почетным серебряным значком Всегерманского союза танцевального спорта, возвращаюсь я к нашему столику.

— Эх, Вилли, голова баранья, — говорю я, — и чего ты сидел? Ну, попытался бы. Может, и получил бы бронзовую медаль!

— Да, в самом деле, Вилли, почему ты не танцевал? — присоединяется ко мне Карл.

Вилли встает, расправляет плечи, одергивает свой фрак и, глядя на нас свысока, бросает:

— Потому!

Человек с хризантемой в петлице вызывает участников конкурса на фокстрот. Выходит всего несколько пар. Вилли не идет, а можно сказать, выступает, направляясь к танцевальной площадке.

— Он ведь ни черта не смыслит в фокстроте, — прыскает Карл.

Облокотившись о спинки наших стульев, с любопытством ждем мы, что будет. Навстречу Вилли выходит укротительница львов. Широким жестом он подает ей руку. Оркестр начинает играть.

Вилли мгновенно преобразается. Теперь это уже настоящий взбесившийся верблюд. Он подскакивает, прихрамывает, прыгает, кружится, далеко выбрасывает ноги и немилосердно швыряет во все стороны свою даму, потом мелкими прыжками, как галопирующая свинья, мчится через весь зал, держа цирковую наездницу не перед собой, а рядом, так что она словно карабкается по его вытянутой правой руке, он же, имея полную свободу действий с левой стороны, может выделять все, что угодно, без риска отдавить ей ноги. Он вертится на одном месте, изображая карусель, отчего фалды его фрака горизонтально распластаваются в воздухе; в следующее мгновение Вилли уже несется по залу, грациозно подпрыгивая, как козел, которому подложили перцу под хвост, топочет и кружится, словно одержимый, и заканчивает наконец свой танец жутким пируэтом, высоко кружа в воздухе свою даму.

Никто из присутствующих не сомневается, что перед ними неизвестный дотоле мастер показывает свое искусство в сверхфокстроте. Вилли понял, в чем заключается успех, и не зевает. Победа его настолько убедительна, что после него долго никому не присуждают призов, и только спустя некоторое время кто-то получает второй приз. С триумфом подносит нам Вилли свою бутылку водки. Победа, правда, не далась ему даром: он до того вспотел, что рубашка и жилет почернели, а фрак, пожалуй, посветлел.

* * *

Конкурс кончился, но танцы продолжают. Мы сидим у своего столика, распивая приз, полученный Вилли. В нашей компании не хватает только Альберта. Его не оторвать от светловолосой девушки.

Вилли толкает меня в бок:

— Смотри, вон Адель.

— Где? — живо спрашиваю я.

Большим пальцем Вилли указывает в самую сутолоку зала. Да, это Адель. Она танцует вальс с каким-то долговязым брюнетом.

— Давно она здесь? — Меня интересует, видела ли она наш триумф.

— Минут пять, как пришла, — отвечает Вилли.

— С этим дылдой?

— С этим дылдой.

Танцую, Адель слегка откидывает голову. Одну руку она положила на плечо своему брюнету. Когда я смотрю на ее профиль, у меня захватывает дыхание: так она похожа в свете занавешенных ламп на образ из моих воспоминаний о тех далеких вечерах. Но если смотреть на нее прямо, видно, что она пополнила, а когда она смеется, лицо у нее совсем чужое.

Я отпиваю большой глоток из бутылки Вилли. В эту минуту мимо меня проходит в вальсе тоненькая белошвейка. Она тоньше и грациознее Адели. Тогда, на улице, в тумане, я этого не заметил, но Адель стала настоящей женщиной, с полной грудью и крепкими ногами. Я не могу вспомнить, была ли она и раньше такой; вероятно, я не обращал на это внимания.

— Налилось яблочко, а? — словно угадав мои мысли, говорит Вилли.

— Заткни глотку! — огрызаюсь я.

Вальс окончен. Адель стоит, прислонившись к двери. Я направляюсь к ней. Она здоровается со мной кивком головы, продолжая смеяться и болтать со своим брюнетом.

Я останавливаюсь и смотрю на нее. Сердце бьется, как перед каким-то важным решением.

— Что ты так смотришь на меня? — спрашивает она.

— Так, ничего, — говорю я. — Потанцуем?

— Ближайший танец — нет, а следующий — пожалуйста, — отвечает она и выходит со своим спутником в круг танцующих.

Я жду, пока они освободятся, и мы танцуем с ней бостон. Я очень стараюсь, и она улыбкой выражает свое одобрение.

— Это ты на фронте научился так хорошо танцевать?

— Пожалуй, там этому не научишься, — говорю я. — А знаешь, мы только что взяли приз.

Она метнула в меня быстрый взгляд:

— Жаль. Мы могли вдвоем с тобой взять его. А какой приз?

— Яйца чайки, шесть штук, и медаль, — отвечаю я. Меня вдруг бросает в жар. Скрипки играют так тихо, что слышно шарканье ног по паркету. — Сейчас вот мы с тобой здесь танцуем, а помнишь, как по вечерам мы бегали друг за другом после гимнастики?

Она кивает:

— Мы тогда были еще совсем детьми. Эрнст, посмотри-ка на ту девушку в красном. Видишь? Эти блузы с напуском сейчас последний крик моды. Шикарно, а?

Мелодия переходит от скрипок к виолончели. Дрожа, как сдерживаемое рыдание, льются густо-золотые звуки.

— Когда я в первый раз заговорил с тобой, мы убежали друг от друга. Это было в июне, на городском валу, я помню, как сейчас...

Адель машет кому-то, затем поворачивается ко мне:

— Да, какие мы были глупые!.. А ты танцуешь танго? У того брюнета оно замечательно получается.

Я не отвечаю. Оркестр умолк.

— Не хочешь ли присесть к нашему столику?

Она бросает туда взгляд:

— А кто этот стройный молодой человек в лаковых сапогах?

— Карл Брегер, — говорю я.

Она присаживается к нам. Вилли наливает ей стакан вина и при этом отпускает остроуту. Она смеется и поглядывает на Карла. Временами взгляд ее скользит по его нарядной лошадке. Это и есть та самая девушка в модном платье. Я с изумлением смотрю на Адель: как она изменилась! Может быть, и здесь меня обмануло воспоминание? Может быть, оно так махрово разрослось, что заслонило собой действительность? Здесь у столика сидит чужая, несколько шумная девушка, которая много, слишком много говорит. Но не скрывается ли под этим внешним обликом другое существо, более знакомое мне? Возможна ли такая перемена в человеке оттого, что он стал старше? Может быть, действительно виновато время, думаю я. С тех пор прошло больше трех лет; ей было шестнадцать, когда мы расстались, она была ребенком, теперь ей — девятнадцать, и она взрослая женщина. И вдруг меня охватывает несказанная печаль, которую несет в себе время; оно течет и течет и меняется, а когда оглянешься, ничего от прежнего уже не осталось. Да, прощание всегда тяжело, но возвращение иной раз еще тяжелее.

— Что у тебя за лицо, Эрнст? В животе урчит, что ли? — спрашивает Вилли.

— Он скучный, — смеется Адель, — он всегда был таким. Ну, будь же немного побойчее! Девушкам это больше нравится. Сидишь как надгробный памятник.

Ушло безвозвратно, думаю я, и это тоже ушло безвозвратно. Не потому, что Адель флиртует с брюнетом и с Карлом Брегером, не потому, что она находит меня скучным, не потому, что она стала иной, — нет! Я попросту увидел, что все бесполезно. Я бродил и бродил кругом, я стучался во все двери моей юности, я вновь хотел проникнуть туда, я думал: почему бы ей, моей юности, не впустить меня, — ведь я еще молод, и мне так хотелось бы забыть эти страшные годы. Но она, моя юность, ускользала от меня, как фата-моргана, она беззвучно разбивалась, распадалась, как тлен, стоило мне прикоснуться к ней; я никак не мог этого постичь, мне все думалось, что хоть здесь по крайней мере что-нибудь да осталось, и я вновь и вновь стучался во все двери, но был жалок и смешон в своих попытках, и тоска овладевала мной; теперь я знаю, что и в мире воспоминаний свирепствовала война, неслышная, безмолвная, и что бессмысленно продолжать поиски. Время зияющей пропастью легло между мной и

моей юностью, мне нет пути назад, мне остается одно: вперед, куда-нибудь, куда — не знаю, цели у меня пока еще нет.

Рука судорожно сжимает рюмку; я поднимаю глаза. Адель сидит и настойчиво расспрашивает Карла, где бы раздобыть несколько пар шелковых чулок; танцы все еще продолжаются, и оркестр играет все тот же шубертовский вальс, и сам я все так же сижу на стуле и дышу и живу как прежде, но разве не ударила молния, сразив меня, разве только что не рассыпался в прах целый мир, а я выжил, на этот раз безвозвратно потеряв все...

Адель встает и прощается с Карлом.

— Итак, значит, у «Майера и Никеля», — весело говорит она. — Это верно: они действительно торгуют из-под полы всякой всячиной. Завтра же зайду туда. До свидания, Эрнст.

— Я провожу тебя немного, — говорю я.

На улице она подает мне руку:

— Дальше со мной нельзя. Меня ждут.

Я отлично понимаю, что это глупо и сентиментально, но ничего не могу с собой поделать: я снимаю фуражку и кланяюсь низко-низко, будто прощаюсь навеки — не с Аделью, а со своим прошлым. С секунду она пристально смотрит на меня:

— Ты действительно иногда чудной какой-то...

И, напевая, она бегом спускается вниз по дороге.

Облака рассеялись, и ясная ночь лежит над городом. Я долго гляжу вдаль, затем возвращаюсь в ресторан.

IV

Сегодня в ресторане Конерсмана, в большом зале, первая встреча наших однополчан. Приглашены решительно все. Предстоит большое торжество.

Карл, Альберт, Юпп и я пришли на целый час раньше назначенного времени. Так хочется повидать знакомые лица, что мы едва дождались этого дня.

В ожидании Вилли и всех остальных усаживаемся в кабинете, смежном с большим залом. Только что мы собрались было сыграть партию в кости, как хлопнула дверь и вошел Фердинанд Козоле. Кости выпадают у нас из рук — до того мы поражены его видом. Он — в штатском.

До сих пор он, как почти все мы, продолжал носить старую солдатскую форму, сегодня же, по случаю торжества, впервые вырядился в штатское платье и теперь красуется перед нами в синем пальто с бархатным воротником, в зеленой шляпе и в крахмальном воротничке с галстуком. Совсем другой человек.

Не успеваем мы прийти в себя от удивления, как появляется Тьяден. Его тоже мы в первый раз видим в штатском: полосатый пиджак, желтые полуботинки, в руках тросточка с серебряным набалдашником. Высоко подняв голову, он важно шествует по залу.

Натолкнувшись на Козоле, он в удивлении останавливается. Козоле изумлен не меньше. И тот и другой иначе себе друг друга даже не представляли, как только в солдатской форме. С секунду они разглядывают друг друга, потом раздражаются хохотом. В штатском они кажутся друг другу невероятно смешными.

— Послушай, Фердинанд, я всегда думал, что ты человек порядочный, — зубоскалит Тьяден.

— А что такое? — Козоле, сразу насторожившись, перестает смеяться.

— Да вот... — Тьяден тычет пальцем в пальто Фердинанда. — Сразу видно, что куплено у старьевщика.

— Осел! — свирепо шипит Козоле и отворачивается; но мне видно, как он краснеет.

Глазам своим не верю: Козоле и впрямь смущен и украдкой оглядывает свое пальто. Будь он в солдатской шинели, он никогда не обратил бы на это внимания; теперь же он потертым рукавом счищает с пальто несколько пятнышек и долго смотрит на Карла, одетого в новенький превосходный костюм. Он не замечает, что я слежу за ним. Через некоторое время он обращается ко мне:

— Скажи, кто отец Карла?

— Судья, — отвечаю я.

— Так, так... — тянет он задумчиво. — А Людвига?

— Податной инспектор.

— Боюсь, вы скоро не захотите знаться с нами, — говорит он, помолчав.

— Ты с ума сошел, Фердинанд! — восклицаю я.

Он пожимает плечами. Я удивляюсь все больше и больше. Он не только внешне изменился в этом проклятом штатском барахле, но и в самом деле стал другим. До сих пор ему наплевать было на всякую такую ерунду, теперь же он даже снимает пальто и вешает его в самый темный угол зала.

— Что-то жарко здесь, — с досадой говорит он, поймав мой взгляд. Я киваю. Помолчав, он спрашивает угрюмо:

— Ну, а твой отец кто?

— Переплетчик, — говорю я.

— В самом деле? — Козоле оживляется. — А Альберта?

— У него отец умер. Слесарем был.

— Слесарем! — радостно повторяет Козоле, как будто это по крайней мере папа римский. — Слесарь — это замечательно! А я токарь. Мы были бы коллегами.

— Совершенно верно, — подтверждаю я.

Я вижу, как кровь Козоле-солдата начинает возвращаться к Козоле-штатскому. Он словно свежее и крепнет.

— Да, жаль, что он умер. Бедный Альберт, — говорит Козоле, и, когда Тьяден, проходя мимо, опять корчит презрительную мину, он, ни слова не говоря и не поднимаясь с места, ловко награждает его пинком. Это опять прежний Козоле.

Дверь в большой зал хлопает все чаще. Народ понемногу собирается. Мы идем туда. Пустое помещение, украшенное гирляндами бумажных цветов, уставленное пока еще не занятыми столиками, кажется холодным и неудобным. Наши однополчане собираются группками по углам. Вон Юлиус Ведекамп в своей старой простреленной солдатской куртке. Отодвигая стоящие на дороге стулья, быстро пробираюсь к нему.

— Как живешь, Юлиус? — спрашиваю я. — А за тобой должок, не забыл? Крест из красного дерева! Помнишь, ты обещал смастерить для меня из крышки от рояля ладный крестик? Пока что можно отложить, старина!

— Он бы мне самому пригодился, Эрнст, — печально говорит Юлиус. — У меня жена умерла.

— Черт возьми, Юлиус, а что с ней было?

Он пожимает плечами:

— Извелась, верно, постоянным стоянием в очередях зимой, тут подоспели роды, а у нее уж не хватило сил перенести их.

— А ребенок?

— И ребенок умер. — Юлиус подергивает своими искривленными плечами, словно его лихорадит. — Да, Эрнст, и Шефлер умер. Слышал?

Я отрицательно качаю головой.

— А с ним что случилось?

Ведекамп закуривает трубку:

— Он ведь в семнадцатом был ранен в голову, так? Тогда все это великолепно зажило. А месяца полтора назад у него вдруг начались такие отчаянные боли, что он головой об стенку бился. Мы вчетвером едва с ним сладили, отвезли в больницу. Воспаление там какое-то нашли или что-то в этом роде. На следующий день кончился.

Юлиус подносит спичку к погасшей трубке:

— А жене его даже и пенсию не хотят платить...

— Ну, а как Герхардт Поль? — продолжаю я расспрашивать.

— Ему не на что было приехать. Фасбендеру и Фриче — тоже. Без работы сидят. Даже на жратву не хватает. А им очень хотелось поехать, беднякам.

Зал тем временем заполняется. Пришло много наших товарищей по роте, но странно: настроение почему-то не поднимается. А между тем мы давно с радостным нетерпением ждали этой встречи. Мы надеялись, что она освободит нас от какого-то чувства неуверенности и гнета, что она поможет нам разрешить наши недоумения. Возможно, что во всем виноваты штатские костюмы, вкрапленные то тут, то там в гущу солдатских курток, возможно, что клиньями уже втесались между нами разные профессии, семья, социальное неравенство, — так



или иначе, а товарищеской спайки, прежней, настоящей, больше нет.

Роли переменялись. Вот сидит Боссе, ротный шут. На фронте был общим посмешищем, всегда строил из себя дурачка. Ходил вечно грязный и оборванный и не раз попадал у нас под насос. А теперь на нем безупречный шевиотовый костюм, жемчужная булавка в галстук и щегольские гетры. Это — зажиточный человек, к слову которого прислушиваются... А рядом — Адольф Бетке, который на фронте был на две головы выше Боссе, и тот бывал счастлив, если Бетке вообще с ним разговаривал. Теперь же Бетке лишь бедный маленький сапожник с крохотным крестьянским хозяйством. На Людвиге Брайере вместо лейтенантской формы потертый гимназический мундир, из которого он вырос, и сдвинувшийся набок вязанный школьный галстучек. А бывший денщик Людвиг покровительственно по-

хлопывает его по плечу, — он опять владелец крупной мастерской по установке клозетов, контора его — на бойкой торговой улице, в самом центре города. У Валентина под рваной и незастегнутой солдатской курткой синий в белую полоску свитер; вид самого настоящего бродяги. А что это был за солдат! Леддерхозе, гнусная морда, — до чего важно он, попыхивая английской сигаретой, развалился на стуле в своей ермолке и желтом канареечном плаще! Как все перевернулось!

Но это было бы еще сносно. Плохо то, что и тон стал совсем другим. И всему виной эти штатские костюмы. Люди, которые прежде пискнуть не осмеливались, говорят теперь начальственным басом. Те, что в хороших костюмах, усвоили себе какой-то покровительственный тон, а кто победнее — как-то притихли. Преподаватель гимназии, бывший на фронте унтер-офицером, да вдобавок плохим, с видом превосходства осведомляется у Людвига и Карла, как у них обстоит дело с выпускным экзаменом. Людвигу следовало бы вылить ему за это его же кружку пива за воротник. К счастью, Карл говорит что-то весьма пренебрежительное насчет экзаменов и образования вообще, превознося зато коммерцию и торговлю.

Я чувствую, что сейчас заболēju от всей этой болтовни. Лучше бы нам совсем не встретиться: сохранили бы по крайней мере хорошие воспоминания. Напрасно я стараюсь представить себе этих людей в замызганных, заскорузлых шинелях, а ресторан Конерсмана — трактиром в прифронтальной полосе. Мне это не удастся. Факты сильнее. Чуждое побеждает. Все, что связывало нас, потеряло силу, распалось на мелкие индивидуальные интересишки. Порой как будто и мелькнет что-то от прошлого, когда на всех нас была одинаковая одежда, но мелькнет уже неясно, смутно. Вот передо мной мои боевые товарищи, но они уже и не товарищи, и оттого так грустно. Война все разрушила, но в солдатскую дружбу мы верили. А теперь видим: чего не сделала смерть, то довершает жизнь, — она разлучает нас.

* * *

Но мы не хотим верить этому. Усаживаемся за один столик: Людвиг, Альберт, Карл, Адольф, Валентин, Вилли. Настроение подавленное.

— Давайте хоть мы-то будем крепко держаться друг друга, — говорит Альберт, обводя взглядом просторный зал.

Мы горячо откликаемся на слова Альберта и рукопожатиями скрепляем обещание, а в это время в другом конце зала происходит такое же объединение хороших костюмов. Мы не принимаем намечающегося здесь нового порядка отношений. Мы кладем в основу то, что другие отвергают.

— Руку, Адольф! Давай, старина! — обращаюсь я к Бетке.

Он улыбается, впервые за долгое время, и кладет свою лапищу на наши руки.

Некоторое время мы еще сидим своей компанией. Только Адольф Бетке ушел. У него был плохой вид. Я решаю непременно навестить его в ближайшие же дни.

Появляется кельнер и о чем-то шепчется с Тьяденом. Тот отмахивается:

— Дамам здесь делать нечего.

Мы с удивлением смотрим на него. На лице у него самодовольная улыбка. Кельнер возвращается. За ним быстрой походкой входит цветущая девушка. Тьяден сконфужен. Мы усмехаемся. Но Тьяден не теряется. Он делает широкий жест и представляет:

— Моя невеста.

На этом он ставит точку. Дальнейшие заботы сразу берет на себя Вилли. Он представляет невесте Тьядена всех нас, начиная с Людвига и кончая собой. Затем приглашает гостью присесть. Она садится. Вилли садится рядом и кладет руку на спинку ее стула.

— Так ваш папаша владелец знаменитого магазина конского мяса на Новом канале? — завязывает он разговор.

Девушка молча кивает. Вилли придвигается ближе. Тьяден не обращает на это никакого внимания. Он невозмутимо прихлебывает свое пиво. От остроумных и проникновенных речей Вилли девушка быстро тает.

— Мне так хотелось познакомиться с вами, — щебечет она. — Котик так много рассказывал мне о вас, но сколько я ни просила привести вас, он всегда отказывался.

— Что? — Вилли бросает на Тьядена уничтожающие взгляды. — Привести нас? Да мы с удовольствием придем; право, с превеликим удовольствием. А он, мошенник, и словечком не обмолвился.

Тьяден несколько обеспокоен. Козоле в свою очередь наклоняется к девушке:

— Так он часто говорил вам о нас, ваш котик? А что, собственно, он рассказывал?

— Нам пора идти, Марихен, — перебивает его Тьяден и встает. Козоле силой усаживает его на место:

— Посиди, котик. Что же он рассказывал вам, фройляйн?

Марихен — само доверие. Она кокетливо поглядывает на Вилли:

— Вы ведь господин Хомайер? — Вилли раскланивается перед колбасным магазином. — Так это, значит, вас он спасал? — болтает она. Тьяден начинает ерзать на своем стуле, точно он сидит на муравьиной куче. — Неужели вы успели забыть?

Вилли щупает себе голову:

— У меня, знаете ли, была после этого контузия, а это ведь страшно действует на память. Я, к сожалению, многое забыл.

— Спас? — затаив дыхание, переспрашивает Козоле.

— Марихен, я пошел! Ты идешь или остаешься? — говорит Тьяден.

Козоле крепко держит его.

— Он такой скромный, — хихикает Марихен и при этом вся сияет, — а ведь он один убил трех негров, когда они топорами собирались зарубить господина Хомайера. Одного — кулаком...

— Кулаком, — глухо повторяет Козоле.

— Остальных — их же собственными топорами. И после этого он на себе принес вас обратно. — Марихен взглядом оценивает сто девяносто сантиметров роста Вилли и энергично кивает своему жениху: — Не стесняйся, котик, отчего бы когда-нибудь и не вспомнить о твоём подвиге.

— В самом деле, — поддакивает Козоле, — отчего бы когда-нибудь и не вспомнить...

С минуту Вилли задумчиво смотрит Марихен в глаза:

— Да, он замечательный человек... — И он кивает Тьядену: — А ну-ка, выйдем на минутку.

Тьяден нерешительно встает. Но Вилли ничего дурного не имеет в виду. Через некоторое время они, рука об руку, возвращаются обратно. Вилли наклоняется к Марихен:

— Итак, решено, завтра вечером я у вас в гостях. Ведь я должен еще отблагодарить вашего жениха за то, что он спас меня от негров. Но и я однажды спас его, был такой случай.

— Неужели? — удивленно протягивает Марихен.

— Когда-нибудь он, может быть, вам об этом расскажет.

Вилли ухмыляется. Облегченно вздохнув, Тьяден отчаливает вместе со своей Марихен.

— Дело в том, что у них завтра убой, — начинает Вилли, но его никто не слушает. Мы слишком долго сдерживались и теперь ржем, как целая конюшня голодных лошадей. Фердинанда едва не рвет от хохота. Только через некоторое время Вилли удается наконец рассказать нам, какие выгодные условия выговорил он у Тьядена на получение конской колбасы.

— Малый теперь в моих руках, — говорит он с самодовольной улыбкой.

▼

Я целый день сидел дома, пытаюсь взяться за какую-нибудь работу. Но из этого так-таки ничего не вышло, и вот уже целый час я бесцельно брожу по улицам. Прохожу мимо «Голландии». «Голландия» — третий ресторан с подачей спиртных напитков, открытый за последние три недели. Точно мухоморы, на каждом шагу вырастают среди серых фасадов домов эти заведения со своими ярко раскрашенными вывесками. «Голландия» — самое большое и изысканное из них.

У освещенных стеклянных дверей стоит швейцар, похожий не то на гусарского полковника, не то на епископа, огромный детина с позолоченным жезлом в руках. Я всматриваюсь пристальней, и тут вдруг вся важная осанка епископа покидает его, он тычет мне в живот своей булавой и смеется:

— Здорóво, Эрнст, чучело гороховое! Коман са ва, как говорят французы?

Это унтер-офицер Антон Демут, наш бывший кашевар. Я по всем правилам отдаю ему честь, ибо в казарме нам вдолбили, что честь отдается мундиру, а не тому, кто его носит. Фантастическое же одяние Демута очень высокой марки и стоит того, чтобы по меньшей мере вытянуться перед ним во фронт.

— Мое почтение, Антон, — смеюсь я. — Скажи-ка сразу, дабы не болтать о пустяках: жратва есть?

— Есть, малютка! — отвечает Антон. — Видишь ли, в этом злачном местечке работает и Франц Эльстерман. Поваром!

— Когда зайти? — спрашиваю я; последнего сообщения вполне достаточно, чтобы уяснить себе ситуацию. На всем Французском фронте никто не мог так «проводить реквизицию», как Эльстерман и Демут.

— Сегодня, после часа ночи, — отвечает, подмигивая, Антон. — Через одного инспектора интендантского управления мы получили дюжину гусей. Краденый товар. Можешь не сомневаться, Франц Эльстерман подвергнет их небольшой предварительной операции. Кто может сказать, что у гусей не бывает войны, на которой они, скажем, лишаются ног?

— Никто, — соглашаюсь я и спрашиваю: — Ну, а как здесь дела?

— Каждый вечер битком набито. Желаеться взглянуть?

Он чуть-чуть отодвигает портьеру. Я заглядываю в щелку. Мягкий, теплый свет разлит над столами, синеватый сигарный дым лентами стелется в воздухе, мерцают ковры, блестит фарфор, сверкает серебро. У столиков, окруженных толпой кельнеров, сидят женщины и рядом с ними мужчины, которые не потеют, не смущаются и с завидной самоуверенностью отдают распоряжения.

— Да, брат, невредно поводитьься с такой, а? — говорит Антон, игриво ткнув меня в бок.

Я не отвечаю; этот многокрасочный, в легком облаке дыма, осколок жизни странно взбудоражил меня. Мне кажется чем-то нереальным, почти сном, что я стою здесь, на темной улице, в слякоти, под мокрым снегом, и смотрю в щелку на эту картину. Я пленен ею, нисколько не забывая, что это, вероятно, просто кучка спекулянтов сорит деньгами. Но мы слишком долго валялись в окопной грязи, и в нас невольно вспыхивает порой лихорадочная, почти безумная жажда роскоши и блеска, — ведь роскошь — это беззаботная жизнь, а ее-то мы никогда и не знали.

— Ну что? — спрашивает меня Антон. — Недурны кошечки, верно? Таких бы в постельку, а?

Я чувствую, как это глупо, но в эту минуту не нахожу, что ответить. Этот тон, который сам я, не задумываясь, поддерживаю вот уже несколько лет, представляется мне вдруг грубым и отвратительным. На мое счастье, Антон неожиданно застывает, приосанившийся и важный: к ресторану подкатил автомобиль. Из машины выпорхнула

стройная женская фигурка; слегка наклонившись вперед и придерживая на груди шубку, женщина направляется к двери; на блестящих волосах — плотно прилегающий золотой шлем, колени тесно сдвинуты, ножки маленькие, лицо тонкое. Легкая и гибкая, она проходит мимо меня, овеянная нежным, терпким ароматом. И вдруг меня охватывает бешеное желание пройти вместе с этим полурбенком через вращающуюся дверь, очутиться в ласкающей холеной атмосфере красок и света и двигаться беззаботно в этом мире, защищенном стеной кельнеров, лакеев и непроницаемым слоем денег, вдали от нужды и грязи, которые в течение многих лет были нашим хлебом насущным.

В эту минуту я, вероятно, похож на школьника, потому что у Антона Демута вырывается смешок и он, подмигнув, подталкивает меня в бок:

— Кругом в шелку и бархате, а в постели все едино.

— Конечно, — говорю я и отпускаю какую-то сальность, чтобы скрыть от Антона свое состояние. — Итак, до часу, Антон!

— Есть, малютка, — важно отвечает Антон, — или бон суар, как говорят французы.

* * *

Бреду дальше, глубоко засунув руки в карманы. Под ногами хлюпает мокрый снег. С раздражением разбрасываю его. Что бы я делал, очутись я на самом деле рядом с такой женщиной за столиком? Лишь молча пожирал бы ее глазами, и



только. Я даже не мог бы есть от смущения. Как трудно, должно быть, провести с таким созданием целый день! Все время, все время быть начеку! А ночью... Тут я уж совсем растерялся бы. Правда, мне приходилось иметь дело с женщинами, но я учился этой науке у Юппа и Валентина, а с такими дамами, наверно, совсем не то нужно...

* * *

В июне 1917 года я впервые был у женщины. Рота наша квартировала тогда в бараках. Был полдень; мы кубарем катались по лугу, играя с двумя приставшими к нам по дороге щенками. Навострив уши и поблескивая шелковистой шерстью, собаки резвились в летней высокой траве, небо синело, и война, казалось, отодвинулась далеко.

Вдруг из канцелярии примчался Юпп. Собаки бросились к нему навстречу, высоко подпрыгивая. Он отпихнул их и крикнул нам:

— Получен приказ: сегодня ночью выступаем!

Мы знали, чем это пахнет. День за днем с запада доносился грохот ураганного огня: там шло большое наступление; день за днем мимо нас проходили возвращавшиеся с передовых позиций полки, и, когда мы пытались расспросить какого-нибудь солдата, как там, он молча махал рукой, угрюмо глядя вперед; день за днем по утрам катились мимо нас повозки с ранеными, и день за днем мы рыли по утрам длинные ряды могил...

Мы поднялись. Бетке и Веслинг направились к своим ранцам взять почтовой бумаги. Вилли и Тьяден побрели к походной кухне, а Франц Вагнер и Юпп принялись уговаривать меня сходить с ними в бордель.

— Послушай, Эрнст, — говорил Вагнер, — должен же ты наконец узнать, что такое женщина! Завтра, может быть, от нас ничего не останется: там, говорят, подсыпали гору артиллерийских припасов. Глупо отправляться на тот свет целомудренной девственницей.

Прифронтовой публичный дом находился в маленьком городишке, на расстоянии часа ходьбы. Мы получили пропуска, но довольно долго еще прождали, так как на передовые отправлялись еще и другие полки и всем хотелось урвать напоследок от жизни все, что можно. В маленькой тесной каморке мы сдали наши пропуска. Фельдшер освидетельствовал нас, впрыснул нам по несколько капель протаргола, дежурный фельдфебель сообщил, что удовольствие это стоит три марки и что, ввиду большого наплыва, больше десяти минут задерживаться нельзя. Затем мы выстроились в очередь на лестнице.

Очередь двигалась медленно. Наверху хлопали двери. Как только кто-нибудь выходил, раздавалось: «Следующий!»

— Сколько там коров? — спросил Франц Вагнер у одного сапера.

— Три, — ответил тот, — но выбирать не приходится. Если повезет тебе, получишь старушеницу.

Мне едва не сделалось дурно на этой лестнице, в накаленной, затхлой атмосфере, насыщенной испарениями изголодавшихся солдат. Я охотно удрал бы, — все мое любопытство улетучилось. Но из опасения, что меня засмеют, я остался и продолжал ждать.

Наконец подошла моя очередь. Мимо, спотыкаясь, прошел мой предшественник, и я очутился в низкой и мрачной комнате, такой убогой и так пропахшей карболкой и потом, что меня почти удивила молодая листва липы за окном, в которой играли солнце и ветер. На стуле стоял таз с розовой водой, в углу — нечто вроде походной койки, покрытой рваным одеялом. Женщина была толстая, в одной коротенькой прозрачной рубашке. Она легла, даже не посмотрев в мою сторону. Но так как я продолжал стоять, она нетерпеливо оглянулась, и тогда на ее дряблом лице мелькнула тень понимания. Она увидела, что перед ней мальчик.

Я просто не мог, меня всего трясло, я задыхался от отвращения. Женщина сделала несколько жестов, чтобы расшевелить меня, несколько безобразных, омерзительных жестов, хотела притянуть меня к себе и даже улыбнулась приторно и манерно. Она могла внушить лишь жалость: в конце концов, она была ведь только жалкой солдатской подстилкой. Были дни, когда она принимала по двадцать — тридцать солдат за день, а то и больше. Положив деньги на стол, я быстро вышел вон и пустился бегом по лестнице.

Юпп подмигнул мне:

— Ну как?

— Вещь, скажу я тебе! — ответил я тоном заправского развратника, и мы собрались уходить. Но нам пришлось предварительное снова побывать у фельдшера и получить еще одну порцию протаргола.

И это называется любовью, думал я, потрясенный и обесиленный, собирая вещи в поход, — любовью, которой полны все мои книги дома и от которой я столько ждал в своих неясных юношеских грезах! Я скатал шинель, свернул плащ-палатку, получил патроны, и мы двинулись. Я шел молча и с грустью думал о том, что от всей моей крылатой мечты о любви и жизни не осталось ничего, кроме винтовки, жирной девки да глухих раскатов на горизонте, к которым мы медленно приближались. Потом все поглотила тьма, пришли окопы, пришла смерть; Франц Вагнер пал в ту же ночь, и, кроме того, мы потеряли еще двадцать три человека.

С деревьев брызжет дождь, и я поднимаю воротник пальто. Я часто теперь тоскую по нежности, по робко сказанному слову, по

волнующему большому чувству; мне хочется вырваться из ужасающего однообразия последних лет. Но что было бы, если бы пришло все это, если бы вновь слились воедино былая мягкость и дали прошлого, если бы меня полюбил кто-нибудь, какая-нибудь стройная нежная женщина, как то гибкое юное создание в золотом шлеме; что было бы, если бы в самом деле беспредельное, самозабвенное упоение серебристого синего вечера увлекло нас в свой чудесный сумрак? Не всплывет ли в последний миг образ жирной девки, не загогочут ли голоса наших унтеров с казарменного плаца, орущих непристойности? Не изорвут ли, не искромсают ли чистое чувство вот такие воспоминания, обрывки разговоров, солдатские вольности? Мы почти еще девственны, но воображение наше растлено, и мы даже не заметили, как это совершилось: прежде чем мы узнали что-либо о любви, нас уже публично всех подряд подвергали медицинскому обследованию, чтобы установить, не страдаем ли мы венерическими болезнями. А затаенное дыхание, безудержный порыв, вольный ветер, сумрак, неизведанность, все, что было, когда мы шестнадцатилетними мальчиками в мигающем, неверном свете фонарей гнались за Аделью и другими школьницами, — все это никогда не повторится, даже если бы я и не побывал у проститутки и думал, что любовь нечто совсем другое, даже если бы эта женщина не вцепилась в меня и я не изведal бы судороги желанья. С тех пор я всегда был подавлен.

Тяжело дыша, ускоряю шаг. Я хочу, я должен вернуть себе утраченное. Оно должно вернуться — иначе не стоит жить...

* * *

Я иду к Людвигу Брайеру. В комнате его еще горит свет. Бросаю в окно камешки. Людвиг спускается вниз и отпирает дверь.

В его комнате перед ящиком с коллекцией минералов стоит Георг Рахе. Он держит в руках небольшой горный кристалл, любуясь его игрой.

— Хорошо, что мы встретились, Эрнст, — говорит Георг, улыбаясь, — я уж и домой к тебе заходил. Завтра еду.

Он в военном.

— Георг, — голос мой прерывается, — но ты ведь не собираешься?..

— Именно. — Он кивает. — Снова в солдаты! Ты не ошибся. Все уже оформлено. Завтра уезжаю.

— Ты можешь его понять? — спрашиваю я Людвига.

— Да, — отвечает Людвиг, — я понимаю Георга. Но это не выход. — Он поворачивается к Рахе: — Ты разочарован, Георг, но подумай — и увидишь, что это естественно. На фронте наши нервы были напряжены до крайности, ибо дело всегда шло о жизни и смерти.

А теперь они треплются, как паруса в затишье, ибо здесь дело идет лишь о мелких успехах...

— Правильно, — перебивает его Рахе, — вот как раз эта мелочная грязня вокруг кормежки, карьер и нескольких на живую нитку сшитых идеалов, она-то и вызывает во мне невыносимую тошноту, от нее-то я и хочу куда-нибудь подальше.

— Если тебе уж обязательно хочется что-то предпринять, почему ты не примкнешь к революции? — спрашиваю я Георга. — Того и гляди, еще станешь военным министром.

— Ах эта революция! — пренебрежительно отмахивается Георг. — Ее делали держа руки по швам, ее делали секретари различных партий, которые успели уже испугаться своей собственной храбрости. Ты только посмотри, как они вцепились друг другу в волосы, все эти социал-демократы, независимые, спартаковцы, коммунисты. Тем временем кое-кто под шумок снимает головы тем действительно ценным людям, которых у них, может быть, всего-то раз, два и обчелся, а они и не замечают ничего.

— Нет, Георг, — говорит Людвиг, — это не так. В нашей революции было слишком мало ненависти, это правда, и мы с самого начала хотели во всем соблюдать справедливость, оттого все и захирело. Революция должна полыхнуть, как лесной пожар, и только после него можно начать сеять; а мы захотели обновлять, не разрушая. У нас не было сил даже для ненависти, — так утомила, так опустошила нас война. А ты прекрасно знаешь, что от усталости можно и в ураганном огне уснуть... Но, быть может, еще не поздно упорным трудом наверстать то, что упущено припадении.

— Трудом! — презрительно говорит Георг и подставляет кристалл под лампу, отчего тот начинает играть. — Мы умеем драться, но трудиться не умеем.

— Мы должны учиться работать, — спокойным голосом говорит Людвиг, забившийся в угол дивана.

— Мы слишком исковерканы для этого, — возражает Георг.

Наступает молчание. За окнами шумит ветер. Рахе большими шагами ходит взад и вперед по маленькой комнате, и кажется, что ему действительно не место в этих четырех стенах, уставленных книгами, в этой обстановке тишины и труда, что его резко очерченное лицо над серым мундиром только и можно представить себе в окопах, в битве, на войне. Опершись руками о стол, он наклоняется к Людвигу. Свет лампы падает на его погоны, за спиной у него поблескивает коллекция камней.

— Людвиг, — осторожно начинает он, — что мы здесь, в сущности, делаем? Оглянись по сторонам, и ты увидишь, как все немошно и безнадежно. Мы и себе и другим в тягость. Наши идеалы потерпели крах, наши мечты разбиты, и мы движемся в этом мире добродетельных людишек и спекулянтов, точно донкихоты, попавшие в чужеземную страну.

Людвиг долго смотрит на него:

— Я думаю, Георг, что мы больны. Война еще слишком глубоко сидит в нас.

Рахе кивает:

— Мы от нее никогда не избавимся.

— Избавимся, — говорит Людвиг, — иначе все было бы напрасно.

Рахе выпрямляется и ударяет кулаком по столу:

— Все напрасно и было, Людвиг! Вот это-то и сводит меня с ума! Вспомни, как мы шли на фронт, что это была за буря энтузиазма! Казалось, восходит заря новой жизни, казалось, все старое, гнилое, половинчатое, разрозненное сметено. Мы были такой молодежью, какой до нас никогда не было!

Он сжимает в кулаке кристалл, как гранату. Руки его дрожат.

— Людвиг, — продолжает он, — я много валялся по окопам, и все мы, кто в напряженном ожидании сидел вокруг жалкого огарка, когда наверху, точно землетрясение, бушевал заградительный огонь, все мы были молоды; мы, однако, не были новобранцами и знали, что нас ждет. Но, Людвиг, в этих лицах в полумраке подземелья было больше чем самообладание, чем мужество и больше чем готовность умереть. Воля к иному будущему жила в застывших, твердых чертах, воля эта жила в них и тогда, когда мы шли в наступление, и даже тогда, когда мы умирали! С каждым годом мы затихали все больше, многое ушло, и только одна эта воля осталась. А теперь, Людвиг, где она? Разве ты не видишь, что она погрязла в трясине из порядка, долга, женщин, размеренности и черт его знает чего еще, что они здесь называют жизнью? Нет, жили мы именно тогда, и, тверди ты мне хоть тысячу раз, что ты ненавидишь войну, я все-таки скажу: жили мы тогда, потому что были вместе, потому что в нас горел огонь, означавший больше, чем вся эта мерзость здесь, вместе взятая!

Он тяжело дышит.

— Ведь было же нечто, Людвиг, ради чего все это совершалось! Однажды, на одно мгновение, когда раздался клич: «Революция!», я подумал: вот оно наконец — освобождение, теперь поток повернет вспять и в своем мощном движении снесет старые и выроет новые берега, и — клянусь! — я не был бы в стороне! Но поток разбился на тысячу ручьев, революция превратилась в яблоко раздора вокруг карьер и карьершешек; ее загрязнили, замарали семейные и партийные дела. В этом я не желаю участвовать. Я иду туда, где снова смогу найти товарищескую среду.

Людвиг встает. Лоб у него покраснел. Глаза горят. Он подходит вплотную к Рахе:

— А почему все это так, Георг, почему? Потому что нас обманули, обманули так, что мы и сейчас еще не раскусили всего этого обмана! Нас просто предали. Говорилось: отечество, а в виду имелись захватнические планы алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду

имелась жажда власти и грызня среди горсточки тщеславных дипломатов и князей; говорилось: нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся не у дел. — Людвиг трясет Рахе за плечи: — Разве ты этого не понимаешь? Слово «патриотизм» они начали своим фразерством, жаждой славы, властолюбием, лживой романтикой, своей глупостью и торгашеской жадностью, а нам преподнесли его как лучезарный идеал. И мы восприняли все это как звуки фанфар, возвещающие новое, прекрасное, мощное бытие! Разве ты этого не понимаешь? Мы, сами того не ведая, вели войну против самих себя! И каждый меткий выстрел попадал в одного из нас! Так слушай, — я кричу тебе в самые уши: молодежь всего мира поднялась на борьбу и в каждой стране она верила, что борется за свободу! И в каждой стране ее обманывали и предавали, и в каждой стране она билась за чьи-то материальные интересы, а не за идеалы; и в каждой стране ее косили пули и она собственными руками губила самое себя! Разве ты не понимаешь? Есть только один вид борьбы: это борьба против лжи, половинчатости, компромиссов, пережитков! А мы попались в сети их фраз и вместо того, чтобы бороться против них, боролись за них. Мы думали, что воюем за будущее, а воевали против него. Наше будущее мертво, ибо молодежь, которая была его носительницей, умерла. Мы лишь уцелевшие остатки ее! Но зато живет и процветает другое — сытое, довольное, и оно еще сытее и довольнее, чем когда бы то ни было! Ибо недовольные, бунтующие, мятежные умерли за него! Подумай об этом! Целое поколение уничтожено! Целое поколение надежд, веры, воли, силы, таланта поддалось гипнозу взаимного уничтожения, хотя во всем мире у этого поколения были одни и те же цели!

Голос Людвига срывается. В горящих глазах — сдержанное рыдание. Мы все вскакиваем.

— Людвиг! — говорю я, обнимая его за плечи.

Рахе берет фуражку и бросает минерал в ящик:

— До свидания, Людвиг, до свидания, дружище!

Людвиг стоит против него. Губы у него крепко сжаты. Скулы выдаются.

— Ты уходишь, Георг, — с усилием говорит он, — а я пока остаюсь! Я еще не сдамся!

Рахе долго смотрит на него. Потом спокойно говорит:

— Это безнадежно! — и поправляет ремень.

* * *

Я провожаю Георга вниз. Через дверные щели уже просачивается свинцовый рассвет. Наши шаги гулко отдаются на каменной лестнице. Мы выходим, словно из блиндажа. Длинная серая улица пустынна. Рахе показывает на ряды домов:

— Все это окопы, Эрнст, траншеи, а не жилища... Война продолжается, но война гнусная, в одиночку...

Мы подаем друг другу руки. Я не в состоянии слово вымолвить. Рахе улыбается:

— Что с тобой, Эрнст? Да там, на востоке, и настоящего фронта-то нет! Голов не вешать, мы же солдаты! Не в первый раз расстаемся...

— В первый, Георг, — живо возражаю я, — мне кажется, что мы расстаемся в первый раз...

С минуту еще он стоит передо мной. Затем медленно кивает мне и уходит. Георг идет по ведущей под гору улице не оглядываясь, стройный, спокойный, и еще долго после того, как он скрывается, я слышу его шаги.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1



тносительно выпускного экзамена есть распоряжение: фронтовиков спрашивать со всей возможной снисходительностью. Распоряжение это действительно выполняется. Поэтому мы все до единого выдерживаем. Для следующей группы, куда входят Альберт и Людвиг, экзамен будет через три месяца. Им придется еще торчать в школе, хотя и тот и другой написали за четырех из нас все письменные работы.

Через несколько дней после окончания нам дали назначение в окрестные деревни в качестве временных заместителей на свободные учительские должности. Я рад работе. Мне надоело бесцельно слоняться целыми днями. Безделие приводило лишь к вечному самокопанию, к тоске или к шумливой бессмысленной разнузданности. Теперь я буду работать.

Уложив чемоданы, мы вместе с Вилли отправляемся к месту службы. Нам повезло: мы с ним оказались соседями. Деревни, где нам предстоит учительствовать, находятся меньше чем в часе ходьбы одна от другой.

Меня поселили в старой крестьянской усадьбе. Перед окнами — огромные дубы, из хлева доносится короткое блеяние овец. Хозяйка усаживает меня в кресло с высокой спинкой и первым делом накрывает на стол. Она убеждена, что все горожане чуть ли не умирают с голоду, и, в сущности, она недалеко от истины. С тихим умилением смотрю я, как на столе появляются давно забытые вещи: огромный окорок, почти метровые колбасы, белоснежный пшеничный хлеб и столь почитаемые Тьяденом гречневые плюшки с большим глазком сала посередине. Плюшек навалена здесь такая гора, что их хватило бы на целую роту.

Я начинаю уплетать все подряд, а крестьянка, упершись руками в бока и широко улыбаясь, стоит тут же и не нарадуется, глядя на меня. Через час, охая и вздыхая, я вынужден закончить, как ни уговаривает меня тетушка Шомакер продолжать.

В эту минуту появляется Вилли, который зашел меня проведать.

— Ну, тетушка Шомакер, теперь откройте глаза, да пошире, — говорю я, — вот это будет достойное зрелище. По сравнению с этим парнем я просто младенец.

Вилли знает, что ему, как солдату, следует делать. Он долго не размышляет, он действует сразу. После немногословного приглашения тетушки Шомакер Вилли начинает с плюшек. Когда он добирается до сыра, хозяйка, прислонившись к шкафу и широко раскрыв глаза, смотрит на Вилли, как на восьмое чудо света. В восторге тащит она на стол еще большое блюдо с пудингом; Вилли справляется и с ним.

— Так, — говорит он, отдуваясь, — а вот теперь я бы с удовольствием как следует поужинал.

Этой фразой Вилли навсегда покори́л сердце тетушки Шомакер.

* * *

Смущенно и несколько неуверенно сижу я на кафедре. Передо мной сорок ребят. Это самые младшие. Точно выровненные под одну линейку, сидят они на восьми скамьях, ряд за рядом, держа в пухлых ручонках грифели и пеналы и разложив перед собой тетради и аспидные доски. Самым маленьким — семь лет, самым старшим — десять. В школе всего три классные комнаты, поэтому в каждой из них соединено по несколько возрастов.

Деревянные башмаки шаркают по полу. В печке потрескивает торф. Многие ребята живут в двух часах ходьбы от школы и приходят закутанные в шерстяные шарфы, с кожаными ранцами на плечах. Вещи их промокли, и теперь, в перегретом, сухом воздухе класса, от них идет пар.

Круглые, как яблоки, лица малышей обращены ко мне. Несколько девочек украдкой хихикают. Белокурый мальчуган самозабвенно ковыряет в носу. Другой, спрятавшись за спину сидящего впереди товарища, засовывает в рот толстый ломоть хлеба с маслом. Но все внимательно следят за каждым моим движением.

С неприятным чувством ерзаю я на своем стуле за кафедрой. Неделю назад я еще сам сидел на школьной скамье и созерцал плавные затасканные жесты Холлермана, рассказывавшего о поэтах эпохи освободительных войн. А теперь я сам стал таким же Холлерманом. По крайней мере для тех, кто сидит передо мной.

— Дети, — говорю я, подходя к доске, — мы сейчас напишем большое латинское «Л». Десять строчек «Л», затем пять строчек «Лина» и пять строчек «Ласточка».

Я медленно вывожу мелом буквы и слова на доске. За спиной слышу шорохи и шуршание. Я жду, что меня поднимут на смех, и оборачиваюсь. Но это ребята открыли свои тетради и приладили аспидные доски — ничего больше. Сорок детских головок послушно склонилось над заданием. Я прямо-таки поражен.

Скрипят грифели, царапают перья. Я хожу взад и вперед между скамьями.

На стене висят распятие, чучело совы и карта Германии. За окнами без конца проносятся низкие тучи.



Карта Германии раскрашена двумя красками: зеленой и коричневой. Границы заштрихованы красным; странной зигзагообразной линией бегут они сверху вниз. Кёльн — Ахен, вот и тонкие черные нити железных дорог... Гербесталь, Льеж, Брюссель, Лилль. Я становлюсь на цыпочки... Рубе... Аррас, Остенде. А где же Кеммель? Он вовсе и не обозначен... Но вот Лангемарк, Ипр, Бикшоте, Стаден... Какие они крохотные на карте, малюсенькие точки, тихие, малюсенькие точки... А как там гремело небо и сотрясалась земля тридцать первого июля при попытке большого прорыва, когда мы за один день потеряли всех наших офицеров...

Отворачиваюсь от карты и оглядываю светлые и темные головки, усердно склоненные над словами «Лина» и «Ласточка». Не странно ли: для них эти крохотные точки на карте будут лишь заданными уроками, несколькими новыми названиями местностей и несколь-

кими новыми датами для зубрежки на уроках всеобщей истории, вроде дат Семилетней войны или битвы в Тевтобургском лесу.

Во втором ряду вскакивает карапуз и высоко поднимает над головой тетрадь. У него готовы все двадцать строчек. Я подхожу к нему и показываю, что нижний завиток буквы «Л» у него чересчур широк. Взгляд влажных детских глаз так лучезарен, что на мгновение я опускаю глаза. Быстро иду я к доске и пишу опять два слова, уже с новой заглавной буквой: «Карл» и... рука моя на секунду задерживается, но я не в силах побороть себя, словно другая, невидимая рука выводит за меня: «Кеммель».

— Что такое «Карл»? — спрашиваю я.

Поднимается лес рук.

— Человек! — кричит тот самый карапуз.

— А «Кеммель»? — спрашиваю я, помолчав, и тоска сжимает сердце.

Молчание. Наконец одна девочка поднимает руку.

— Это из Библии, — нерешительно произносит она.

Некоторое время я не спускаю с нее глаз.

— Нет, — отвечаю я, — ты ошиблась. Ты, наверно, думала «Кедрон» или «Ливан», не правда ли?

Девочка робко кивает. Я глажу ее по головке:

— Ну, тогда напишем лучше «Ливан». Это очень красивое слово.

Я опять задумчиво хожу взад и вперед между скамьями. По временам чувствую на себе пытливый взгляд, направленный из-за тетрадки. Останавливаюсь у печки и оглядываю детские лица. Большинство выражает благонравие и посредственность, некоторые плутоваты, другие глупы, но попадаются лица, в которых светится что-то яркое. Этим в жизни не все будет казаться само собой понятным, у них не все будет идти гладко...

Внезапно чувствую приступ душевной слабости. Вот завтра мы пройдем местоимения, думаю я, а на следующей неделе напишем диктант, через год вы будете знать наизусть пятьдесят вопросов из катехизиса; через четыре года начнете таблицу умножения второго десятка; вы вырастаете, и жизнь возьмет вас в свои тиски; у одних она потечет глуше, у других порывистей, у одних — ровно, у других — ломая и круша; каждого из вас постигнет своя судьба, та или иная, помимо вашей воли... Чем же я могу помочь вам? Своими спряжениями или перечислением немецких рек? Сорок вас, сорок разных жизней стоят за вашими плечами и ждут вас. Если бы я мог помочь вам, с какой радостью я это сделал бы! Но разве у нас человек может поддержать человека? Разве мог я чем-нибудь помочь хотя бы Адольфу Бетке?

На фронте это было просто: там дело шло об осязаемых, конкретных вещах. А здесь? Не жду ли я помощи от вас?

Усаживаюсь на кафедре и просматриваю учебный план — серую книжонку с пожелтевшими страницами. План, очевидно, составлен добросовестным педагогом; весь учебный материал распределен на точные дозы по неделям. Медленно листаю. «Семнадцатая неделя —

Тридцатилетняя война; октябрь — Семилетняя война, битвы под Росбахом, Куннерсдорфом и Лейтеном; ноябрь — освободительные войны, декабрь — поход 1864 года и осада Дюпеля; январь — война с Австрией 1866 года и победа под Кёниггрецем; февраль — франко-германская война 1870—1871 года, бои под Мецем и Седаном, вступление в Париж».

Покачивая головой, открываю учебник всеобщей истории, — опять войны, бои, сражения; тут воюют сообща, там против прежних союзников; под Лейпцигом и Ватерлоо — в союзе с русскими и англичанами, в 1914 году — против них; в Семилетнюю войну и в 1866 году — против Австрии, в 1914 году — в союзе с ней. Я захопываю книжку. Это не всеобщая история, а история войн. Где имена великих мыслителей, физиков, медиков, изыскателей, ученых? Где описание великих боев, в которых мужи эти бились за благо человечества? Где изложение их мыслей, их деяний, ставивших их перед большими опасностями, чем всех полководцев, вместе взятых? Где имена тех, кто шел за свои убеждения на пытки, кого жгли на кострах и заточали в подземелья? Я тщетно ищу их. Зато всякий, хотя бы самый ничтожный, поход описан обстоятельно, подробно.

Однако, может быть, хрестоматия даст что-нибудь другое. Открываю наугад: стихотворения «Молитва перед боем», «Охота Лютцова», «Вечер под Лейтеном», «Барабанщик Бионвиля», «Наш кайзер — славный воин», «Скачут гусары». Читаю дальше: «День из жизни нашего монарха», «Как взяли в плен Наполеона III». Попасть в плен, думаю я, все-таки лучше, чем дезертировать... И дальше: «Как мы под Гравелотом побили французов» — юмористический рассказ очевидца. Все это перемежается несколькими рассказами и очерками о родине, а там опять подслащенные, сентиментальные, пышно разукрашенные военные эпизоды, жизнеописания полководцев, гимн войне. Мне становится дурно от одностороннего, фальшивого толкования, в котором здесь преподносится слово «отечество». Где биографии великих поэтов, художников, музыкантов? Когда жертвы этого учебного плана окончат школу, они будут знать время царствования любых, даже самых незначительных, князьков и даты всех войн, которые те вели; детям внушат, что это чрезвычайно важные мировые факты, но о Бахе, Бетховене, Гете, Эйхендорфе, Дюрере, Роберте Кохе они вряд ли будут что-либо знать.

Я швыряю книги на кафедру. Что это за система? Что мне нужно здесь? Что мне здесь делать? Поддерживать ее?

Усердно царапают грифели и перья, сорок головок склонилось над тетрадами и аспидными досками. Открываю окно. Ветер приносит ароматы влажных лугов, лесов, весны. Жадно вдыхаю напоенный ими воздух. Все еще торопливо бегут тучи. У меня такое чувство, будто прошли целые столетия, будто пожелтевшие страницы там, на кафедре, протасили меня сквозь века ограниченности, тупой покорности и ханжества.

— Дети! — в волнении говорю я, чувствуя, как по спине у меня бежит холодок от мартовского ветра.

Сорок пар глаз смотрят на меня. Но я уже не помню, что хотел сказать. Да я и не мог бы выразить в словах все то, что меня волнует. Мне хотелось бы, чтобы дети ощутили ветер и вечную тревогу туч. Но об этом в учебном плане ничего не сказано...

Пронзительно звенит звонок. Первый урок окончен.

* * *

На следующий день мы с Вилли надеваем наши визитки — моя как раз вовремя подросла — и отправляемся с визитом к пастору. Это входит в наши обязанности.

Пастор принимает нас любезно, но сдержанно: после нашего бунта в семинарии о нас пошла дурная слава в солидных кругах. Вечером нам еще предстоит посетить общинного старосту — это тоже входит в наши обязанности. Но со старостой мы встречаемся в трактире, который одновременно является и почтовым отделением.

Староста — хитрый крестьянин с морщинистым лицом; первым делом он предлагает нам несколько стаканов водки. Мы не отказываемся. Подмигивая, подходят еще несколько крестьян. Они кланяются, и каждый, в свою очередь, предлагает нам по стаканчику. Мы вежливо чокаемся. Они исподтишка подмигивают друг другу и подталкивают один другого локтем, — бедные, мол, цыплята. Мы, конечно, тотчас смекаем, что им, потехи ради, хочется нас напоить. По-видимому, они проделывали такие шутки не раз: с усмешкой рассказывают они о прежних молодых учителях, преподававших в здешней школе. Они уверены, что мы скоро сдадим; на то есть три причины: во-первых, горожане, несомненно, не столь выносливы; во-вторых, учителя люди образованные и потому по части выпивки ничего не стоят; в-третьих, у таких молодых парней, ясно, и опыта нет в этом деле. Возможно, что по отношению к прежним семинаристам это было так, но в данном случае они упустили из виду немаловажное обстоятельство: что мы несколько лет были солдатами и водку дули кастрюлями. Мы принимаем вызов. Крестьяне хотят лишь слегка подшутить над нами, мы же троекратно защищаем свою честь, и это усиливает нашу отвагу.

С нами за столом сидят староста, писарь и несколько дюжих крестьян. По всей вероятности, из здешних пьянчуг это самые крепкие. Слегкой, по-крестьянски хитрой усмешкой они чокаются с нами. Вилли делает вид, что он уже навеселе. Смешки вокруг усиливаются.

Мы от себя ставим по круговой пива и водки. Затем, без передышки, следует еще семь круговых, от каждого из остальных. Крестьяне полагают, что тут-то нам и будет крышка. Несколько оторопело смотрят они, как мы, глазом не моргнув, осушаем стаканы. Во взглядах, которыми они окидывают нас, мелькает некоторое уважение. Вилли с невозмутимым видом заказывает еще одну круговую.

— Пива не нужно, гони горячее! — кричит он хозяину.

— Одну водку? Вот черт! — говорит староста.

— Не сидеть же нам до утра, — спокойно замечает Вилли, — от пива ведь с каждой кружкой только трезвеешь!



В глазах у старосты растет изумление. Едва ворочая языком, один из наших собутыльников признает, что мы горазды закладывать за галстук. Двое молча встают из-за стола и исчезают. Кое-кто из наших противников пытается украдкой вылить содержимое стаканов под стол. Но Вилли следит, как бы кто не уклонился. Он требует, чтобы руки у всех лежали на столе, а стаканы опрокидывались в глотки. Смех прекратился. Мы явно выигрываем.

Через час большинство крестьян с позеленевшими лицами валяется по разным углам комнаты или, пошатываясь, бредет во двор. Группа за столом все убывает, остаются, кроме нас, только староста да писарь. Начинается поединок между этой парой и нами. Правда, и у нас двоится в глазах, но те уже давно лопочут что-то нечленораздельное. Это придает нам свежих сил.

Еще через полчаса, когда лица у нас уже стали багрово-синими, Вилли наносит главный удар.

— Четыре чайных стакана коньяку! — кричит он трактирщику.

Староста отшатывается. Приносят коньяк. Вилли всовывает стаканы им в руки:

— Ваше здоровье!

Они только таращат на нас глаза.

— Вылакаты! — орет Вилли. Огненная шевелюра его полыхает. — Ну, единым духом! — Писарь пытается уклониться, но Вилли не отстает.

— В четыре глотка! — смиренно молит староста.

— Нет! Единым духом! — настаивает Вилли. Он встает и чокается с писарем. Я тоже вскакиваю.

— Пей! Ваше здоровье! Ваше драгоценнейшее! — ревом мы ошеломленным крестьянам.

Как телята, ведомые на заклание, они смотрят на нас и отпивают глоток.

— До дна! Не смей жульничать! — рывкает Вилли. — Встать!

Шатаясь, те встают и пьют. Они всячески пытаются не допить, но мы, крикая, показываем на свои стаканы:

— Ваше здоровье! Допить остатки! Досуха!

И они проглатывают все до дна. С остекленевшими глазами, медленно, но верно соскальзывают они на пол. Мы победили; при медленных темпах они, верно, уложили бы нас, но в быстром опрокидывании рюмок у нас большой опыт. Мы хорошо сделали, навязав им свой темп.

Плохо держась на ногах, но с гордым сознанием победы, оглядываем мы поле битвы. Лежат все, кроме нас. Почтальон, он же хозяин трактира, опустив голову на стойку, плачет по жене, которая умерла от родов, когда он был на фронте.

— Марта, Марта... — всхлипывает он неестественно высоким голосом.

— В этот час он всегда такой, — рассказывает служанка.

Вой хозяина неприятно режет слух. Да и пора уже идти.

Вилли сгребает старосту, я обхватываю более легкого писаря, и мы тащим их по домам. Это венец нашего триумфа. Писаря мы укладываем у крыльца и стучим, пока в окне не показывается свет. Старосту ждут. Жена его стоит в дверях.

— Господи Иисусе, — визжит она, — да это наши новые учителя! Такие молодые и такие пропойцы! Что же дальше будет!

Вилли пытается объяснить ей, что это было делом чести, но запутывается.

— Куда его девать? — спрашиваю я наконец.

— Положите вы этого пьянчугу пока сюда, — решительно говорит она. Мы валим его на диван. Улыбаясь как-то совсем по-детски, Вилли просит у хозяйки кофе. Та смотрит на него, как на готтентота.

— Ведь мы вам доставили вашего супруга, — говорит он, весь сияя.

Перед таким невероятным, но беззлым нахальством капитули-

рует даже эта суровая старуха. Покачивая головой и читая нам длинные нравоучения, она наливает две большие чашки кофе. На все ее речи мы неизменно отвечаем «да», что в такой момент самое правильное.

С этого дня мы слышем в деревне настоящими мужчинами и при встрече с нами крестьяне кланяются с особым почтением.

II

Однообразно и размеренно идут дни за днями. Четыре часа школьных занятий утром, два часа — после обеда; а в промежутках бесконечно длинные часы сидений и хождений наедине с собой и со своими думами.

Хуже всего воскресные дни. Если не сидишь в трактире, то дни эти прямо-таки невыносимы. Старший учитель — кроме меня есть еще и такой — живет здесь тридцать лет. За это время он стал прекрасным свиноводом, за что получил несколько премий. Кроме свиноводства, с ним ни о чем нельзя говорить. Когда я смотрю на него, мне хочется немедленно удрать отсюда: одна мысль о возможности превратиться в нечто подобное приводит меня в содрогание. Есть еще и учительница — немолодое добродетельное создание; она вздрагивает, если при ней скажешь «к чертовой матери». Тоже не очень весело.

Вилли приспособился лучше меня. Его зовут в качестве почетного гостя на все свадьбы и крестины. Когда у кого-нибудь заболевает лошадь или не может отелиться корова, Вилли помогает словом и делом. А по вечерам сидит с крестьянами в трактире и режется в скат, сдирая со своих партнеров по три шкуры.

А мне наскучили пивнушки, и я предпочитаю оставаться у себя в комнате. Но в одиночестве время тянется невыносимо медленно, и часто, когда сидишь один, из углов выползают странные мысли; как бледные безжизненные руки, машут они и грозят. Это тени призрачного вчерашнего дня, причудливо преображенные, снова всплывающие воспоминания, серые, бесплотные лица, жалобы и обвинения...

* * *

В одно ненастное воскресенье я поднялся рано, оделся и пошел на станцию. Мне захотелось навестить Адольфа Бетке. Это хорошая идея: я хоть немного побуду с близким, по-настоящему близким человеком, а когда приеду обратно, томительный воскресный день будет кончен.

К Адольфу попадаю во второй половине дня. Скрипит калитка. В конуре лает собака. Быстро прохожу по фруктовой аллее. Адольф дома. И жена тут же. Когда я вхожу и протягиваю ему руку, она выходит. Сажусь. Помолчав, Адольф спрашивает:

- Ты удивлен, Эрнст, а?
- Чем, Адольф?
- Тем, что она здесь.
- Нисколько. Тебе виднее.

Он подвигает ко мне блюдо с фруктами:

— Яблок хочешь?

Выбираю себе яблоко и протягиваю Адольфу сигару. Он откусывает кончик и говорит:

— Видишь ли, Эрнст, я все сидел здесь и сидел, и чуть с ума не спятил от этого сидения. Одному в таком доме прямо пытка. Проходишь по комнатам — тут висит ее кофточка, там — корзинка с иголками и нитками, тут стул, на котором она всегда сидела, когда шила; а ночами — эта белая кровать рядом, пустая; каждую минуту глядишь туда, и ворочаешься, и не можешь уснуть... В такие минуты, Эрнст, многое передумаешь...

— Представляю себе, Адольф!

— А потом выбегаешь из дому и напиваешься и творишь всякую глупость...

Я киваю. Часы тикают. В печке потрескивают дрова. Женщина неслышно входит, ставит на стол хлеб и масло и снова выходит. Бетке разглаживает скатерть:

— Да, Эрнст, и она, конечно, тоже так мучилась, тоже так сидела да сидела все эти годы... Ложась спать, все чего-то боялась, пугалась неизвестности, без конца обо всем раздумывала, к каждому шороху прислушивалась. Так, в конце концов, это и случилось. Я уверен, что сначала она вовсе не хотела, а когда уж случилось, не сумела справиться с собой. Так и пошло.

Женщина приносит кофе. Я хочу с ней поздороваться, но она не смотрит на меня.

— Почему ты не ставишь чашку для себя? — спрашивает ее Адольф.

— Мне еще на кухне нужно кой-чего поделать, — говорит она. Голос у нее тихий и глубокий.

— Я сидел здесь и говорил себе: ты охранял свою честь и выгнал свою жену. Но от этой чести тебе ни тепло ни холодно, ты одинок, и с честью или без чести — так и так тебе не легче. И я сказал ей: оставайся. Кому, в самом деле, нужна вся эта дребедень, ведь устал до черта и живешь, в конце концов, какой-нибудь десяток-другой лет, а если бы я не узнал того, что было, все оставалось бы по-старому. Кто знает, что стали бы делать люди, если бы они всегда все знали.

Адольф нервно постукивает по спинке стула:

— Пей кофе, Эрнст, и масло бери.

Я наливаю себе и ему по чашке, и мы пьем.

— Ты понимаешь, Эрнст, — тихо говорит Бетке, — вам легче: у вас есть ваши книги, ваше образование и всякое такое, а у меня ничего и никого в целом свете, кроме жены.

Я не отвечаю, — он меня все равно не поймет сейчас: он не тот, что на фронте, да и я изменился.

— А что она говорит? — спрашиваю я, помолчав.

Адольф беспомощно роняет руку:

— Она говорит мало, от нее трудно чего-нибудь добиться, она все только сидит, молчит и смотрит на меня. Разве что заплачет. —

Он отставляет свою чашку. — Иногда она говорит, будто все это случилось потому, что ей хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. А в другой раз говорит, что она сама себя не понимает, она не думала, что причиняет мне зло, ей будто бы казалось, что это я и был. Не очень-то понятно все это, Эрнст; в таких вещах надо уметь разобраться. А вообще-то она рассудительная.

Я задумываюсь.

— Может быть, Адольф, она хочет сказать, что все эти годы была словно сама не своя, жила как во сне?

— Может быть, — отвечает Адольф, — но я этого не понимаю. Да все, верно, не так долго и продолжалось.

— А того она теперь, верно, и знать не хочет? — спрашиваю я.

— Она говорит, что ее дом здесь.

Я опять задумываюсь. О чем еще расспрашивать?

— Так ведь тебе лучше, Адольф?

Он смотрит на меня:

— Не сказал бы, Эрнст! Пока нет. Но, думаю, наладится. А потвоему?

Вид у него такой, точно он не очень в этом уверен.

— Конечно, наладится; — говорю я и кладу на стол несколько сигар, которые припас для него. Некоторое время мы разговариваем. Наконец я собираюсь домой. В сенях сталкиваюсь с Марией. Она норовит незаметно проскользнуть мимо.

— До свидания, фрау Бетке, — говорю я, протягивая ей руку.

— До свидания, — произносит она, отвернувшись, и пожимает мне руку.

Адольф идет со мной на станцию. Завывает ветер. Я искоса поглядываю на Адольфа и вспоминаю его улыбку, когда мы в окопах заговаривали, бывало, о мире. К чему все это свелось!

Поезд трогается.

— Адольф, — поспешно говорю я из окна, — Адольф, поверь мне, я тебя очень хорошо понимаю, ты даже не знаешь, как хорошо...

Одинокó бредет он по полю домой.

* * *

Десять часов. Звонок на большую перемену. Я только что окончил урок в старшем классе. И вот четырнадцатилетние ребята стремительно бегут мимо меня на волю. Я наблюдаю за ними из окна. В течение нескольких секунд они совершенно преображаются, стряхивают с себя гнет школы и вновь обретают свежесть и непосредственность, свойственные их возрасту.

Когда они сидят передо мной на своих скамьях, они не настоящие. Это или тихони и подлизы, или лицемеры, или бунтари. Такими сделали их семь лет школы. Они пришли сюда неиспорченные, искренние, ни о чем не ведающие, прямо от своих лугов, игр, грез. Ими управлял еще простой закон всего живого: самый живой, самый сильный становился у них вожаком, вел за собой остальных. Но недельные пор-

ции образования постепенно прививали им другой, искусственный закон: того, кто выхлебывал их аккуратнее всех, удостаивали отличия, объявляли лучшими. Его товарищам рекомендовали брать с него пример. Не удивительно, что самые живые дети сопротивлялись. Но они вынуждены были покориться, ибо хороший ученик — это раз навсегда идеал школы. Но что это за жалкий идеал! Во что превращаются с годами хорошие ученики! В оранжерейной атмосфере школы они цвели коротким цветением пустоцвета и тем вернее погрязали в болоте посредственности и раблепствующей бездарности. Своим движением вперед мир обязан лишь плохим ученикам.

Я смотрю на играющих. Верховодит сильный и ловкий мальчик, кудрявый Дамхольт; своей энергией он держит в руках всю площадку. Глаза искрятся воинственным задором и удовольствием, все мускулы напряжены, и ребята беспрекословно подчиняются ему. А через десять минут на школьной скамье этот самый мальчуган превратится в упрямого, строптивного ученика, никогда не знающего заданных уроков, и весной его, наверное, оставят на второй год. Когда я взгляну на него, он сделает постное лицо, а как только отвернусь, скорчит гримасу; он без запинки соврет, если спросишь, переписал ли он сочинение, и при первом удобном случае плюнет мне на брюки или вставит булавку в сиденье стула. А первый ученик (на воле весьма жалкая фигура) здесь, в классной комнате, сразу вырастает; когда Дамхольт не сумеет ответить и, ожесточенный, скрепя сердце будет ждать обычной своей двойки, первый ученик самоуверенно поднимет руку. Первый ученик все знает, знает он и это. Но Дамхольт, которого, собственно, следовало бы наказать, мне в тысячу раз милей бледненького образцового ученика.

Я пожимаю плечами. Разве на встрече полка в ресторане Ко-нерсмана не было того же самого? Разве там человек не потерял вдруг своего значения, а профессия не поднялась надо всем, хотя раньше все было наоборот? Я качаю головой. Что же это за мир, в который мы вернулись?

* * *

Голос Дамхольта звенит на всю площадку. А что, если бы учителю подойти к ученику по-товарищески, думаю я, может быть, это дало бы лучшие результаты? Не знаю, не знаю... Такой подход, возможно, улучшил бы отношения, позволил бы избежать того или иного. Но по существу это был бы самообман. Я по собственному опыту знаю: молодежь проницательна и неподкупна. Она держится сплоченно, она образует единый фронт против взрослых. Она не знает сентиментальности; к ней можно приблизиться, но влиться в ее ряды нельзя. Изгнанный из рая в рай не вернется. Существует закон возрастов. Зоркий Дамхольт хладнокровно принял бы товарищеское отношение учителя и извлек бы из него выгоду. Не исключено, что он и привязался бы к учителю, но это не помешало бы ему использовать выгодность своего положения. Наставники, которым кажется, что они понимают молодежь, — чистейшие мечтатели. Юность вовсе не хочет быть поня-

той, она хочет одного: оставаться самой собой. Взрослый, слишком упорно навязывающий ей свою дружбу, так же смешон в ее глазах, как если бы он нацепил на себя детское платьице. Мы можем чувствовать заодно с молодежью, но молодежь заодно с нами не чувствует. В этом ее спасение.

Звонк. Перемена кончилась. Дамхольт нехотя становится с кем-то в пару перед дверью класса.

* * *

Я бреду через деревню в степь; Волк бежит впереди. Вдруг из какого-то двора пулей вылетает собака и кидается на Волка. Волк не заметил ее приближения, поэтому ей удастся при первом натиске свалить его. В следующее мгновение по земле катается с глухим рычанием клубок из пыли и сцепившихся тел.

Со двора с дубинкой в руках выбегает крестьянин и еще издали кричит:

— Ради бога, учитель, кликните вашу собаку! Плутон растерзает ее в клочья!

Я отмахиваюсь.

— Плутон, Плутон, ах ты, стервец, ах ты, проклятый, сюда! — взволнованно кричит крестьянин; запыхавшись, подбегает он к собакам и пытается разнять их. Но вихри пыли с отчаянным лаем уносятся метров на сто дальше и снова свиваются в клубок.

— Погиб ваш пес, — стонет крестьянин и опускает руку с дубинкой. — Но я заявляю вам наперед: платить за него я не стану. Вы могли позвать его.

— Кто погиб? — переспрашиваю я.

— Ваш пес, — упавшим голосом повторяет крестьянин. — Треклятый дог прикончил уже с дюжину собак.

— Ну, что касается Волка, то мы еще посмотрим, — говорю я. — Это не просто овчарка, любезный; это фронтовой пес, старый солдат, понятно?

Столб пыли рассеивается. Собаки выкатились на луг. Я вижу, как Плутон норовит насесть на Волка и укусить его в спину. Если это ему удастся, собака моя погибла, — дог раздавит ей позвонки. Но овчарка, увертливая как уж, на расстоянии сантиметра ускользает от своего противника и, перекувырнувшись, опять набрасывается на дога. Тот рычит и тявкает. Волк же нападает беззвучно.

— Ах, черт! — бормочет крестьянин.

Дог отряхивается, подскакивает, хватается воздух, яростно поворачивается, снова подскакивает — опять мимо, и кажется, будто дог там один, так незаметна овчарка. Как кошка, прыгает она, почти вровень с землей (навык связной собаки), проскальзывает у дога между ног, хватается его снизу, кружит вокруг него, гонится за ним, вдруг впивается зубами ему в живот и крепко, не выпуская, держит.

С бешеным воем припадает дог к земле, пытаясь таким же образом схватить Волка. Но, воспользовавшись этим, овчарка уже отпустила своего противника и, мелькнув как тень, рывком впивается

догу в глотку. И лишь теперь, когда Волк крепко держит дога, который отчаянно бьется и катается по земле, я в первый раз за время этой схватки слышу глухое, злобное рычание своей собаки.

— Ради бога, учитель, — кричит крестьянин, — позовите своего пса! Он растерзает Плутона в клочья!

— Я могу звать его сколько угодно, он теперь все равно не пойдет, — говорю я. — И вполне правильно поступит. Пусть сначала справится с этим паршивым Плутоном.

Дог скулит и повизгивает. Крестьянин поднимает дубину, чтобы отогнать Волка. Я вырываю ее у него из рук, хватаю его за грудь и реву:

— Не смей! Ваш ублюдок первый начал!

Я готов избить его.

К счастью, мне видно, как Волк внезапно оставляет бульдога и мчится к нам: ему показалось, что на меня нападают. Мне удается перехватить его, иначе крестьянин остался бы по меньшей мере без куртки.

Плутон между тем незаметно скрылся. Я похлопываю Волка по шее, успокаивая его.

— Да это сущий дьявол! — бормочет перепуганный крестьянин.

— Правильно, — с гордостью говорю я, — это старый солдат. Такого задирать нельзя.

* * *

Мы двинулись дальше. За деревней идут сначала луга, а потом начинается степь, покрытая можжевельником и курганами. На опушке березовой рощицы пасется стадо овец. В лучах заходящего солнца их пушистые спины отливают тусклым золотом.

Вдруг Волк, вытянувшись в струнку, скачками несется к стаду. Боясь, что он еще разъярен после стычки с догом, бегу за ним, чтобы предотвратить кровавую бойню.

— Берегись! Следи за собакой! — кричу я пастуху.

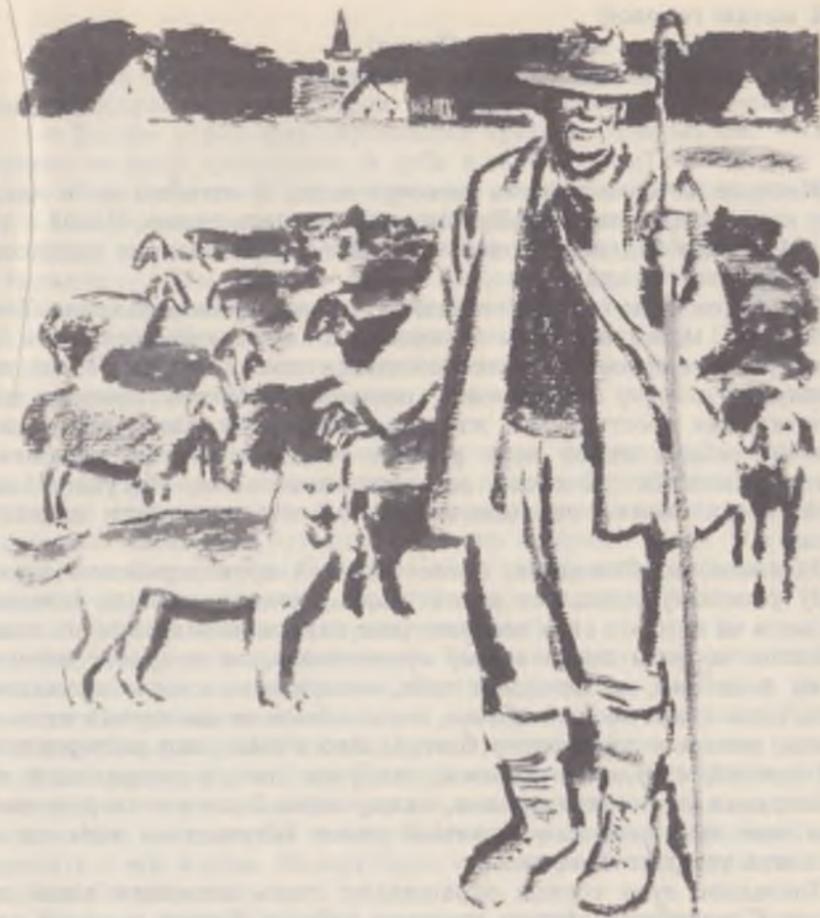
Пастух смеется:

— Да ведь это овчарка, она не тронет овец.

— Нет, нет, вы не знаете, — волнуясь я, — она таких вещей не понимает. Это фронтовая собака!

— Да чего там толковать, — говорит пастух, — овчарка что фронтовая, что не фронтовая, — все равно. Она ничего им не сделает. Вот глядите, ну, глядите же! Хорошо, псина, молодчага! Лови их, лови!

Я не верю глазам своим. Волк, Волк, который в жизни своей овец не видел, сгоняет в кучу стадо, будто никогда ничем другим не занимался. Большими прыжками носится он с лаем за двумя ягнятами, отбившимися от стада, и загоняет их назад. Всякий раз, как какая-нибудь овечка отбегаёт или останавливается, он загораживает ей дорогу и щиплет за ноги, так что она волей-неволей бежит к стаду.



— Пес что надо! — восхищается пастух. — Видите, он только пощипывает их. Ах, молодчина!

Собаки не узнать. Глаза сверкают, разорванное ухо болтается. Она бдительно обегает стадо, и я вижу, как она необыкновенно возбуждена.

— Куплю вашу собаку без торга, — говорит пастух. — Она справляется со стадом не хуже моей. Вы смотрите, как она гонит овец к деревне! Ее и обучать не надо.

Я не знаю, что со мной происходит.

— Волк, — зову я, — Волк! — и чувствую, что сейчас зареву, глядя на него. Ведь вот он тоже вырос под пулями, а теперь, хотя никто никогда не учил его, он все-таки сразу находит свое призвание.

— Сто марок наличными, и в придачу овцу заколю, — предлагает пастух.

Я мотаю головой:

— Ни за какие миллионы. Понял?

Пастух недоуменно пожимает плечами.

* * *

Жесткие метелки вереска щекочут лицо. Я отгибаю их и кладу голову на руки. Собака спокойно дышит, улегшись рядом. Покой и тишина. И только издали доносится слабое позванивание колокольцев: где-то пасутся стада.

По вечернему небу медленно плывут облака. Солнце заходит. Темная зелень можжевельника становится густо-коричневой, и я чувствую, как в дальних лесах рождается ночной ветер. Через час он зашумит и тут, в березовой рощице. Солдатам природа так же близка, как крестьянам и жителям лесов, — солдаты живут под открытым небом, знают пору разных ветров и густой червонный аромат дымчатых вечеров, им знакомы тени, бегущие над землей, когда облака похищают свет, им известны пути светлого месяца...

Однажды, во Фландрии, после бешеной артиллерийской атаки, одному раненому пришлось долго ждать, пока подоспела помощь. Мы извели на него все свои перевязочные пакеты, перевязали его всем, чем могли, но рана по-прежнему кровоточила, он попросту истекал кровью. А за ним, на вечернем небе, неподвижно стояло громадное облако, одно-единственное облако, но это была целая горная цепь из белизны, золота и пурпурного блеска. Оно стояло над растерзанной бурой землей, стояло неподвижно, излучая свет, а умирающий лежал неподвижно, истекая кровью, между ними было что-то родственное, и мне казалась непостижимой такая безучастная красота на небе, когда умирает человек...

Последние лучи солнца окрашивают степь зловещим алым отблеском. С жалобным криком взлетают чибисы. Кричит выпь на озерах. Я гляжу на широкий пурпурно-золотистый простор... В одном месте под Хотхольстом росло столько мака, что луга были сплошь алыми. Мы называли их кровавыми, потому что в грозу они приобретали тусклый оттенок только что пролитой, еще свежей крови... Там сошел с ума Кёлер, когда мы однажды, светлой ночью, измученные и усталые проходили мимо. В неверном свете луны луга показались ему озерами крови, и он все рвался броситься туда...

Меня знобит, и я поднимаю глаза. Что это значит? Почему эти воспоминания стали так часто возвращаться? И какие-то они странные, на самом деле все было иначе... Не оттого ли это, что я слишком часто бываю один?

Волк шевелится и лает во сне визгливо и глухо. Может быть, ему снится стадо? Я долго смотрю на него. Потом бужу, и мы медленно бредем обратно.

Сегодня суббота. Я зашел к Вилли спросить, не поедет ли он со мной на воскресный день в город. Но Вилли и слышать не хочет.

— Завтра у нас фаршированный гусь, — говорит он, — этого я никак не могу пропустить. А тебе в город зачем?

— Мне неведомо эти воскресные дни здесь... — говорю я.

— Совершенно не понимаю тебя. При таких харчах!

Я еду один. Вечером, с какой-то неопределенной надеждой, иду к Вальдману. Там веселье горой. Некоторое время кочую с места на место и присматриваюсь к публике. Много совсем молодых парней, которых война не успела задеть, носят по залу. Они самоуверенны и знают, чего хотят. Все для них с самого начала ясно, и цель у них одна: успех. Практичности у этих парней гораздо больше, чем у нас, хотя они и намного моложе.

Среди танцующих замечаю грациозную фигурку тоненькой белошвейки, с которой я получил приз за уанстеп. Приглашаю ее на вальс и уже не расстаюсь с ней. На днях я получил жалованье, поэтому заказываю несколько бутылок сладкого красного вина. Мы медленно распиваем его, и чем больше я пью, тем сильнее овладевает мною какая-то странная грусть. Как это говорил тогда Альберт? Нужно иметь близкого человека, — так, кажется?

Задумчиво прислушиваюсь к болтовне девушки; она щебечет, как ласточка, — о товарках, о поштучной оплате за белье, которое она шьет, о новых танцах и еще о тысяче всяких пустяков. Если бы за штуку белья платили на двадцать пфеннигов больше, она могла бы обедать в ресторане и была бы вполне довольна. Я завидую ясности и несложности ее существования и все расспрашиваю ее и расспрашиваю. Мне хотелось бы каждого, кто здесь смеется и веселится, расспросить о его жизни. Может быть, я узнал бы что-нибудь такое, что помогло бы мне жить.

Потом я провожаю мою ласточку домой. Она живет под самой крышей серого, густо населенного дома. У подъезда мы останавливаемся. В своей ладони я ощущаю тепло ее руки. Смутно белеет во мраке ее лицо. Человеческое лицо, рука, таящая в себе тепло и жизнь...

— Позволь мне пойти с тобой, — говорю я горячо, — позволь.

Мы осторожно крадемся по скрипучей лестнице наверх. Я зажигаю спичку, но девушка тотчас задувает ее, берет меня за руку и ведет за собой.

Узенькая комнатка. Стол, коричневый диван, кровать, несколько картинок на стенах, в углу швейная машина, камышовый манекен и корзина с недошитым бельем.

Малютка проворно достает спиртовку и приготовляет чай из яблочной кожуры и уже с десятков раз заваренных и высушенных чаинок. Две чашки, смеющееся, чуть плутоватое личико, трогательно-голубое платьице, приветливая бедность комнаты, ласточка, единственное достояние которой — ее юность... Сажусь на диван. Неужели так на-

чинается любовь? Так легко, словно это игра? Для этого нужно, пожалуй, перескочить через самого себя.

Ласточка мила, и, верно, так уж водится в ее маленькой жизни, что кто-нибудь приходит, берет ее в объятия и уходит; швейная машина жужжит, приходит другой, ласточка смеется, ласточка плачет, и все шьет и шьет... Она набрасывает на машину маленькую пеструю покрывашку, и машина из рабочего стального животного превращается в горку красных и синих шелковых цветов. Ласточка не хочет, чтобы хоть что-нибудь напоминало ей день. Она сворачивается клубочком у меня на груди и болтает, и мурлычет, и лепечет, и поет; в своем легком платьице она так худа и бледна, — голод, видно, здесь нередкий гость; она так легка, что ее можно на руках перенести на кровать, на железную походную койку; лицо ее так трогательно, когда она, отдаваясь, крепко обвивает мою шею руками и вздыхает и улыбается, дитя с закрытыми глазами, и вновь вздыхает, и дрожит, и лепечет что-то, и дышит глубоко, и слегка вскрикивает; я не отрываясь смотрю на нее, я бы хотел быть таким же, и я молча спрашиваю себя: «То ли это, то ли это?..» А потом ласточка осыпает меня множеством ласковых имен и со стыдливой нежностью льнет ко мне, а когда я ухожу и спрашиваю: «Ты счастлива, ласточка?» — она целует меня много-много раз, и корчит гримаску, и машет мне, и кивает, кивает, кивает...

А я спускаюсь с лестницы бесконечно изумленный. Она счастлива; как мало ей нужно! Этого я не могу понять. А может быть, она, как и до нашей встречи, существо недоступное мне, жизнь в себе, в которую я не могу проникнуть? И разве она не осталась бы такой же, даже если бы я пламенно любил ее? Ах, любовь — факел, летящий в бездну и только в это мгновение озаряющий всю глубину ее!

Я миную улицу за улицей, направляюсь к вокзалу. Нет, все это не то, не то. Чувствуешь себя еще более одиноким...

III

Круг света, падающий от лампы, освещает пол. Передо мной пачка синих тетрадей. Рядом — пузырек с красными чернилами. Я просматриваю тетрадь, подчеркиваю ошибки, вкладываю промокательную бумагу и беру следующую.

Потом встаю из-за стола. И это жизнь? Вот эта монотонная смена дней и часов? Как мало, в сущности, она заполняет мой мозг. Слишком много времени остается для раздумий. Я надеялся, что однообразие успокоит меня. Но от него только тревожней. Как бесконечно тянутся здесь вечера!

Я прохожу через сени. В полумраке фыркают и постукивают копытами коровы. Рядом, собираясь доить, согнулись на низеньких табуретках служанки. Каждая сидит как бы в отдельной клетушке, стены которой образуют темные пятнистые тела животных. В теплых испарениях коровника мигают слабые огоньки, тонкими струйками брызжет в ведра молоко, и груди девушек под голубыми ситцевыми



платьями подпрыгивают в такт. Доярки поднимают головы, улыбаются, вздыхают, показывая свои здоровые белые зубы. Глаза их блестят в полумраке. Пахнет сеном и скотиной.

Постояв немного у двери, поворачиваюсь и иду к себе. Синие тетради лежат под лампой. Они всегда будут так лежать. Неужели и я всегда буду сидеть здесь, и незаметно надвинется старость, а там и смерть? Меня разбирает сон.

Медленно плывет над крышей сарая красный диск луны, бросая на пол тень от оконной рамы — косою четырехугольник с крестом посредине; луна поднимается выше, и крест постепенно передвигается; через час тень вползет на кровать и покроет мне грудь.

Я лежу на большой крестьянской перине в синих и красных клетках и тщетно силюсь уснуть. Порой веки мои смыкаются, и я мгновенно проваливаюсь в какую-то бездну, но в последний миг вздра-

гиваю от внезапного страха, просыпаюсь и опять слышу, как бьют часы на церковной башне, и жду, жду, и непрестанно ворочаюсь.

Кончается тем, что я встаю, одеваюсь, вскакиваю на подоконник, втаскиваю за собой собаку, прыгаю на землю и бегом пускаюсь в степь. Луна светит, свистит в ушах воздух, и широко стелется впереди равнина. Темнеет полотно железной дороги.

Сажусь под кустом можжевельника. Немного погода на линии вспыхивает цепь сигнальных огней. Подходит ночной поезд. Тихим металлическим звоном гудят рельсы. Фары локомотива, блеснув на горизонте, гонят перед собой волну света. Поезд мчится мимо, все окна освещены, и на мгновение купе с заключенными в них чемоданами и человеческими судьбами пролетают совсем близко от меня, и вот их уже относит все дальше, дальше, опять поблескивают в ночной сырости рельсы, и только вдали, как огненный глаз, зловеще горит, не мигая, красный фонарь на последнем вагоне.

Луна желтеет и светит все ярче, я бегу сквозь голубой сумрак березовой рощи, с ветвей на затылок мне брызжут дождевые капли, я спотыкаюсь о корни и камни; когда я возвращаюсь, уже брезжит свинцовый рассвет. Лампа все еще горит. Я с отчаянием оглядываю комнату. Нет, этого мне не вынести. Будь я лет на двадцать старше, я, может быть, смирился бы и свыкся, но сейчас...

Усталый и обесиленный, безуспешно пытаюсь раздеться. Сон валит меня с ног. И, засыпая, я все еще сжимаю кулаки, — нет, я не сдамся, я еще не сдамся...

И опять проваливаюсь куда-то в бездну... и осторожно пробираюсь вперед. Медленно — сантиметр за сантиметром. Солнце горит на желтеющих склонах, цветет дрок, зной и тишина в воздухе, на горизонте аэростаты и белые облачка — разрывы зенитных снарядов. На уровне моего шлема колышутся красные лепестки мака.

Слабый, едва различимый шорох доносится из-за кустарника с противоположной стороны. И опять — тихо. Я жду. Жучок с золотисто-зелеными крылышками ползет по стеблю ромашки. Щупальцами перебирает он зубчатые лепестки. И снова в тишине полдня — чуть слышный шелест. Вот из-за кустарника вынырнул край шлема. Под ним лоб, светлые глаза, твердо очерченный рот; глаза внимательно оглядывают местность и возвращаются к белому листку блокнота. Не подозревая опасности, человек делает набросок фермы, находящейся напротив.

Я вытаскиваю гранату. Медленно, очень медленно. Наконец она возле меня.левой рукой срываю кольцо, беззвучно считаю и мечу гранату туда, в кусты ежевики. Граната описывает плоскую дугу, а я соскальзываю обратно в яму, плотно прижимаюсь к земле, зарываюсь лицом в траву и открываю рот.

Грохот взрыва рвет воздух, вихрем кружатся осколки, взметнулся крик, протяжный, безумный, полный ужаса. В руке у меня приготовлена вторая граната, и я наблюдаю из-за прикрытия. Англичанин лежит на открытом месте, обе голени у него снесены, кровь так и хлещет. Размотавшись, свисают длинные обмотки, как распу-

ценные ленты; он лежит ничком, руками словно гребет по траве, рот его широко раскрыт в крике.

Англичанин мечется из стороны в сторону и вдруг замечает меня. Упираясь руками в землю и вздыбившись, как тюлень, он кричит мне что-то и истекает, истекает кровью... Потом багровое лицо его бледнеет и словно западает, взгляд меркнет, глаза и рот превращаются в темные провалы мертвеющего человеческого лица, оно медленно склоняется к земле и падает в ромашки. Конец.

Я отодвигаюсь, хочу поползти назад к нашим окопам, но оглядываюсь еще раз. Что это? Покойник ожил, он встает, собирается бежать за мной... Я вытаскиваю вторую гранату и бросаю ему наперез. Граната падает в метре от него, откатывается в сторону, лежит... я считаю, считая... Почему она не взрывается? Покойник стоит, обнажив в страшной улыбке десны, я бросаю еще одну гранату... Опять нет взрыва... А тот уже сделал несколько шагов, он бежит на своих обрубках, ухмыляется, тянет ко мне руки... Я бросаю последнюю гранату... Она попадает ему в грудь, но он смахивает ее... Я вскакиваю, хочу бежать... но колени размякли, как масло, не слушаются, я волоку ноги бесконечно медленно, они точно прилипают к земле, я отрываю их, бросаюсь вперед, уже слышу за собой тяжелое дыхание преследователя, руками обхватываю подкашивающиеся ноги... Но сзади уже вцепились мне в шею две руки, прижимая меня к земле, покойник коленями становится мне на грудь, подбирает волочащиеся обмотки, наматывает их мне на шею. Я верчу головой, напрягаю все мускулы, я бросаюсь вправо, стараясь избежать петли... Толчок, тупая душащая боль в горле, покойник тащит меня прямо к известковой яме, он толкает меня вниз, я теряю равновесие, но пытаюсь удержаться, я скольжу, падаю, кричу, падаю долго, бесконечно долго, кричу, бьюсь, кричу...

Глыбами раскалывается мрак под моими скребущими руками, что-то с треском падает около меня, я натякаюсь на камни, выступы, железо. Безудержно рвется из груди моей крик, дикий, пронзительный, я не могу остановить себя, в крик мой вплетаются какие-то возгласы, кто-то стискивает мне руки, я кого-то отталкиваю, кто-то наступает на меня, мне удается схватить винтовку, я нащупываю прикрытие, хватаю врага за плечи, пригибаю к земле и кричу, кричу; потом — точно острый нож сверкнул и разрубил узел: Биркхольц! И опять: Биркхольц!.. Я вскакиваю: подоспела помощь, я должен пробиться во что бы то ни стало, я вырываюсь, бегу, получаю удар по коленям, проваливаюсь в мягкую яму, на свет, яркий трепетный свет... Биркхольц! Биркхольц! Только крик мой все еще гулко отдается в пространстве... Но вот оборвался и он...

Около меня стоят хозяин и хозяйка. Я лежу поперек кровати, ноги свесились на пол, работник крепко держит меня, я судорожно сжимаю в руке трость, словно винтовку; должно быть, я в крови; нет, это собака лижет мне руку.

— Учитель, — дрожа, говорит хозяйка, — что с вами?

Я ничего не понимаю.

— Как я попал сюда? — хрипло говорю я.

— Учитель, послушайте, учитель! Проснитесь же! Вам что-то приснилось.

— Приснилось? — говорю я. — По-вашему, все это мне приснилось? — Я начинаю хохотать, хохотать так, что меня всего трясет, так, что мне становится больно. Я хохочу, хохочу безостановочно.

И вдруг смех мой сразу иссякает.

— Это был английский капитан, — шепчу я, — тот самый, который тогда...

Работник потирает оцарапанную руку.

— Вам что-то приснилось, учитель, и вы упали с кровати, — говорит он. — Вы ничего не слышали и чуть меня не убили...

Я не понимаю, о чем он говорит, чувствую бесконечную слабость и полное изнеможение. Вдруг замечаю, что трость все еще у меня в руках. Отставляю ее и сажусь на постели. Собака прижимается к моим ногам.

— Дайте мне стакан воды, тетушка Шомакер, и ступайте, ложитесь спать.

Но сам я не ложусь больше, а закутываюсь в одеяло и усаживаюсь у стола. Огня я не гашу.

Так я сижу долго-долго, неподвижно и с отсутствующим взглядом, — только солдаты могут так сидеть, когда они одни. Постепенно начинаю ощущать какое-то беспокойство, словно в комнате кто-то есть. Я чувствую, как медленно, без малейшего усилия с моей стороны, ко мне возвращается способность смотреть и видеть. Слегка приоткрываю глаза и вижу, что сижу прямо против зеркала, висящего над умывальником. Из неровного стекла глядит на меня лицо, все в тенях, с темными впадинами глаз. Мое лицо...

Я встаю, снимаю зеркало с крюка и ставлю его в угол стеклом к стене.

* * *

Наступает утро. Я иду к себе в класс. Там, чинно сложив руки, уже сидят малыши. В их больших глазах еще живет робкое удивление детства. Они глядят на меня так доверчиво, с такой верой, что меня словно ударяет что-то в сердце...

Вот стою я перед вами, один из сотен тысяч банкротов, чью веру и силы разрушила война... Вот стою я перед вами и чувствую, насколько больше в вас жизни, насколько больше нитей связывает вас с нею... Вот стою я перед вами, ваш учитель и наставник. Чему же мне учить вас? Рассказать вам, что в двадцать лет вы превратитесь в калек с опустошенными душами, что все ваши свободные устремления будут безжалостно вытраивать, пока вас не доведут до уровня серой посредственности. Рассказать вам, что все образование, вся культура, вся наука — не что иное, как жестокая насмешка, пока люди именем господ бога и человечности будут истреблять друг друга ядовитыми газами, железом, порохом и огнем? Чему же мне учить вас, маленькие

создания, вас, которые только и остались чистыми в эти ужасные годы?

Чему я могу научить вас? Показать вам, как срывают кольцо с ручной гранаты и мечут ее в человека? Показать вам, как закалывают человека штыком, убивают прикладом или саперной лопатой? Показать, как направляют дуло винтовки на такое непостижимое чудо, как дышащая грудь, пульсирующие легкие, бьющееся сердце? Рассказать, что такое столбняк, вскрытый спинной мозг, сорванный череп? Описать вам, как выглядят разбрызганный мозг, разможенные кости, вылезающие наружу внутренности? Изобразить, как стонут, когда пуля попадает в живот, как хрипят, когда прострелены легкие, и какой свист вырывается из горла у раненных в голову? Кроме этого, я ничего не знаю! Кроме этого, я ничему не научился!

Или подвести мне вас к зелено-серой географической карте, провести по ней пальцем и сказать, что здесь была убита любовь? Объяснить вам, что книги, которые вы держите в руках, это сети, которыми улавливают ваши доверчивые души в густые заросли фраз, в колючую проволоку фальшивых понятий?

Вот стою я перед вами, запятнанный, виновный, и не учить, а молить вас хотелось бы мне: оставайтесь такими, какие вы есть, и не позволяйте раздувать теплое сияние вашего детства в острое пламя ненависти! Ваше чело еще овеяно дыханием непорочности — мне ли учить вас! За мной еще гонятся кровавые тени прошлого — смею ли я даже приблизиться к вам? Не должен ли сам я сначала вновь стать человеком?

Я чувствую, как сжимаюсь весь, превращаюсь в камень, готовый рассыпаться в песок. Медленно опускаюсь на стул и ясно сознаю: я больше не могу здесь оставаться. Пытаюсь собраться с мыслями, но тщетно. Лишь через несколько минут оцепенение проходит. Я встаю.

— Дети, — с трудом говорю я, — дети, вы можете идти. Сегодня занятий не будет.

Малыши смотрят на меня: не шучу ли?

— Да, да, дети, это правда... Идите играть... Вы можете играть сегодня целый день... Бегите в лес или играйте дома со своими собаками и кошками... В школу придете только завтра...

И дети с шумом бросают свои пеналы в ранцы и теснятся к выходу, щебеча и не помня себя от радости.

Я иду к себе, укладываю чемодан и отправляюсь в соседнюю деревню, проститься с Вилли. Он сидит у окна без куртки и разучивает на скрипке пьесу «Все обновляет чудный май». На столе — обильный завтрак.

— Это сегодня третий, — с удовлетворением сообщает Вилли. — Я заметил, что могу есть про запас, как верблюд.

Говорю ему, что собираюсь сегодня вечером уехать. Вилли не из тех, кто много спрашивает.

— Знаешь, Эрнст, что я тебе скажу, — задумчиво произносит он, — скучно здесь, это верно, но пока так кормят, — он показывает

на накрытый стол, — меня из этой песталоцциевой конюшни и десятком лошадей не вытащить.

Он лезет под диван и достает оттуда ящик с пивом.

— Ток высокого напряжения, — улыбается он, держа этикетку на свету.

Я долго смотрю на Вилли.

— Эх, брат, хотел бы я быть таким, как ты! — говорю я.

— Ну еще бы! — Он ухмыляется и с треском откупоривает бутылку.

Когда я выхожу из дому, чтобы идти на вокзал, из соседнего двора выбегает несколько девочек с вымазанными мордочками и торчащими в косичках бантиками. Они только что похоронили в саду крота и помолились за него. Делая книксен, они суют мне на прощание руки:

— До свидания, господин учитель!

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ



Эрнст, мне надо поговорить с тобой, — обращается ко мне отец.

Легко представить себе, что за этим последует. Уже несколько дней он ходит вокруг меня с озабоченным лицом, роняя многозначительные намеки. Но до сих пор мне удавалось увильнуть от разговора, — я мало бываю дома.

Мы проходим в мою комнату. Отец усаживается на диван и внимательно рассматривает обивку.

— Нас беспокоит твое будущее, Эрнст.

Я снимаю с книжной полки ящик сигар и предлагаю ему закурить. Лицо у него несколько проясняется: сигары хорошей марки, мне дал их Карл, а Карл букового листа не курит.

— Ты действительно отказался от места учителя? — спрашивает отец.

Я киваю.

— Почему же ты это сделал?

Я пожимаю плечами. Как объяснить ему? Мы с ним совершенно разные люди, и у нас только потому сохранились хорошие отношения, что вообще никаких отношений не было.

— Что же будет дальше? — продолжает он допытываться.

— Что-нибудь да будет, — говорю я, — ведь это так безразлично.

Он испуганно смотрит на меня и начинает говорить о хорошей, достойной профессии, о продвижении вперед на избранном поприще, о месте в жизни. Я слушаю его с чувством умиления и скуки и думаю: как странно, что этот вот человек — мой отец, который некогда распоряжался моей жизнью. Но защитить меня от ужасов войны он не мог, он даже не мог помочь мне в казарме, где любой унтер был сильнее его. Мне пришлось самому все преодолеть, и было совершенно безразлично, есть у меня отец или нет.

Отец кончил. Я наливаю ему рюмку коньяку.

— Видишь ли, отец, — говорю я, садясь рядом с ним на диван, — ты, может быть, и прав. Но я научился жить в пещере, вырытой под землей, и довольствоваться коркой хлеба с пустой похлебкой. Мне нужно было только, чтобы не стреляли, и я уже был доволен. Какой-нибудь полуразвалившийся барак казался мне дворцом, а мешок, набитый соломой, — райским ложем. Пойми! Одно то, что я жив



и вокруг нет стрельбы, меня пока что вполне удовлетворяет. На скромный кусок хлеба я как-нибудь заработаю, а для всего остального — целая жизнь впереди.

— Да, но ведь это не жизнь, — возражает отец, — такое бесцельное существование.

— Как на чей взгляд, — говорю я. — А вот по-моему, не жизнь, если в итоге только и можешь сказать, что ты тридцать лет подряд, изо дня в день, входил в одну и ту же классную комнату или в одну и ту же контору.

С удивлением выслушав меня, отец говорит:

— Однако я, например, двадцать лет хожу на картонажную фабрику и добился, видишь, того, что стал самостоятельным мастером.

— А я ничего не хочу добиваться, отец, я просто хочу жить.

— И я прожил свою жизнь правильно и честно, — говорит он не без гордости, — недаром же меня выбрали в правление союза ремесленников.

— Радуйся, что жизнь твоя прошла так гладко, — отвечаю я.

— Но ведь что-нибудь ты должен делать, — настаивает отец.

— Сейчас я могу поступить на службу к одному моему товарищу по фронту, он предложил мне работать у него, — говорю я, чтобы успокоить отца. — На самое необходимое я заработаю.

Он укоризненно покачивает головой:

— И ради этого ты отказываешься от прекрасного казенного места?

— Мне уже не раз пришлось кой от чего отказываться, отец.

Он грустно попыхивает сигарой:

— А к старости ты бы имел право на пенсию.

— Ах, — говорю я, — кто из нас, солдат, доживет до шестидесяти лет? В наших костях засело столько всякой всячины, что это непременно даст себя когда-нибудь почувствовать. Мы наверняка окочуримся раньше.

При всем желании, не могу себе представить, что доживу до шестидесятилетнего возраста. Я слишком часто видел, как умирают в двадцать лет.

В задумчивости, покуривая сигару, смотрю на отца. Я понимаю, что он мой отец, но сейчас передо мной просто славный пожилой человек, осторожный и педантичный, и его взгляды не значат для меня ровно ничего. Я легко могу вообразить себе его на фронте: за ним всегда нужен был бы глаз да глаз, и в унтер-офицеры его, конечно, никогда бы не произвели.

* * *

После обеда я захожу к Людвигу. Он сидит за ворохом всяких брошюр и книг. Мне хочется поговорить с ним о многом, что меня гнетет, мне кажется, что он поможет мне найти какой-то путь. Но сегодня он сам какой-то беспокойный, взволнованный. Мы болтаем некоторое время о том о сем.

— Я собираюсь сейчас к врачу... — говорит Людвиг.



— Неужели все еще дизентерия? — спрашиваю я.

— Да нет... Тут другое...

— Что же, Людвиг? — удивленно говорю я.

Он молчит. Губы у него дрожат.

— Не знаю, — произносит он наконец.

— Я провожу тебя, можно? Мне все равно делать нечего...

Он ищет фуражку:

— Ладно. Пойдем.

По дороге Людвиг украдкой поглядывает на меня. Он как-то необычно подавлен и молчалив. Сворачиваем на Линденштрассе и подходим к дому, перед которым в маленьком унылом палисаднике торчит несколько кустов. На двери, на белой эмалевой дощечке, читаю: «Доктор Фридрих Шульц — кожные, мочеполовые и венерические болезни». Останавливаюсь, пораженный.

— Что случилось, Людвиг?

Он смотрит на меня невидящими глазами:

— Пока ничего, Эрнст. Был какой-то нарыв, прошел, а теперь опять.

— Пустяки, — говорю я с облегчением. — У меня каких только фурункулов не выскакивало: величиной прямо с детскую головку. Это все от суррогатов, которыми нас пичкали.

Мы звоним. Отворяет сестра — вся в белом. Оба мы страшно смущены и, красные до ушей, входим в приемную. Слава тебе господи, — мы одни. На столе пачка журналов. Это «Ди Вохе». Начинаем перелистывать. Номера довольно старые. Они возвращают нас к Брест-Литовскому миру.

Появляется врач. Очки его поблескивают. Дверь в кабинет полукрывается. Видно металлическое, обтянутое кожей кресло, подавляюще солидное и мрачное.

Смешная есть черта у врачей: обращаться с пациентами, как с маленькими детьми. У зубодеров это так уж и принято, в программу их курса вошло, но, по-видимому, это и здесь практикуется.

— Ну, господин Брайер, — начинает, балагуря, очковая змея, — придется нам с вами покороче познакомиться.

Людвиг стоит как неживой. У него перехватывает дыхание:

— Так это?..

Врач сочувственно кивает:

— Да, анализ крови готов. Результат положительный. Ну-с, а теперь мы хорошенько примемся за этих маленьких негодяев.

— Положительный... — запинается Людвиг. — Так, значит...

— Да, — говорит врач, — придется пройти небольшой курс лечения.

— Так, значит, у меня сифилис?

— Да.

Большая муха, жужжа, пронесется по комнате и ударится о стекло. Время остановилось. Воздух между этими стенами становится мучительно липким. Мир изменил свое лицо. Ужасное опасение сменилось ужасной уверенностью.

— Может быть, ошибка? — говорит Людвиг. — Нельзя ли повторить исследование?

Врач качает головой:

— Лучше сразу приняться за лечение. У вас рецидив.

Людвиг глотает слюну:

— Это излечимо?

Врач оживляется. Лицо его прямо-таки расцветает надеждой:

— Безусловно. Прежде всего мы полгодика повпрыскиваем вот из этих ампулок, а там посмотрим. Возможно, ничего больше и не понадобится. Люэс теперь излечим.

Люэс — какое отвратительное слово: будто длинная черная змея.

— На фронте подхватили? — спрашивает врач.

Людвиг кивает.

— Почему же вы сразу не начали лечиться?

— Я не знал, что я болен. Нам раньше никогда ведь о таких вещах не говорили. Сразу не заметил, думал — пустяки. Потом все как-то само собой прошло.

Врач покачивает головой.

— Да, вот она, оборотная сторона медали, — небрежно роняет он.

С каким удовольствием я треснул бы его стулом по башке. Откуда знать этому эскулапу, что значит получить трехдневный отпуск в Брюссель и, вырвавшись из воронок, блевотины, грязи и крови, приехать вечерним поездом в город с улицами, фонарями, светом, магазинами и женщинами; в город, где есть настоящие гостиницы с белыми ваннами, в которых можно плескаться, можно смыть с себя всю грязь; в город с вкрадчивой музыкой, кафе на террасах и прохладным крепким вином; откуда знать ему о чарах, таящихся в одной только голубой дымке сумерек в это узкое мгновение между ужасом и ужасом; оно как лазурь в прорыве туч, как исступленный вскрик жизни в короткий промежуток между смертью и смертью. Кто знает, не повиснешь ли завтра с разможенными костями на колючей проволоке, ревя как зверь, издыхая; отпить еще глоток крепкого вина, вдохнуть еще раз этот воздух, взглянуть на этот сказочный мир переливчатых красок, грез, женщин, волнующего шепота, слов, от которых кровь вздымается черным фонтаном, от которых годы грязи, животной злобы и безнадежности тают, переходя в сладостный поющий вихрь воспоминаний и надежд. Завтра опять смерть заплещет вокруг тебя, завтра — опять вой снарядов, ручные гранаты, огнеметы, кровь и уничтожение; но сегодня еще хоть раз ощутить нежную кожу, которая благоухает и манит, как сама жизнь, манит неуловимо... Дурманящие тени на затылке, мягкие руки, все ломается и сверкает, низвергается и

клокочет, небо горит... Кто же в такие минуты станет думать, что в этом шепоте, в этом манящем зове, в этом аромате, в этой коже затаилось еще и другое, подстерегая, прячась, подкрадываясь и выжидая, — люэс; кто знает это, кто об этом хочет знать, кто вообще думает дальше сегодняшнего дня... Завтра все может быть кончено... Проклятая война, она научила нас брать и видеть лишь настоящее мгновенье.

— Что же теперь делать? — спрашивает Людвиг.

— Как можно скорей начать лечение.

— Тогда давайте сейчас, — уже спокойно говорит Людвиг. Он проходит с врачом в кабинет.

Я остаюсь в приемной и рву в клочки несколько номеров «Ди Вохе», в которых так и пестрит парадными, победами и пышными речами пасторов, славящих войну.

Людвиг возвращается. Я шепчу ему:

— Пойди к другому врачу. Этот наверняка ничего не понимает. Ни бельмеса не смыслит.

Он устало машет рукой, и мы молча спускаемся с лестницы. Внизу он вдруг говорит, отвернувшись от меня:

— Ну, Эрнст, прощай, значит...

Я поднимаю глаза. Он стоит, прислонившись к перилам, и судорожно сжимает руки в карманах.

— Что с тобой? — испуганно спрашиваю я.

— Я должен уйти, — отвечает он.

— Так дай по крайней мере лапу, — говорю я, удивленно глядя на него.

Дрожащими губами он бормочет:

— Тебе, наверное, противно прикоснуться ко мне...

Растерянный, жалкий, худой, стоит он у перил в той же позе, в какой обычно стоял, прислонясь к насыпи окопа, и лицо у него такое же грустное, и глаза так же опущены.

— Ах, Людвиг, Людвиг, что они только с нами делают... Мне противно прикоснуться к тебе? Ах ты, дуралей, оболтус ты, вот я прикасаюсь к тебе, я сотни раз прикоснусь к тебе... — Слова вырываются у меня из груди какими-то толчками, я сам плачу, — черт меня возьми, осел я этакий. — И, обняв Людвига за плечи, прижимаю его к себе — и чувствую, как он дрожит. — Ну, Людвиг, все ведь это чепуха, может быть, и у меня то же самое, ну успокойся же, эта очковая змея наверняка все уладит.

А Людвиг дрожит и дрожит, и я крепко прижимаю его к себе.

II

На сегодня после полудня в городе назначена демонстрация. Уже несколько месяцев, как цены непрерывно растут, и нужда сейчас больше, чем во время войны. Заработной платы не хватает на самое необходимое. Но даже имея деньги, не всегда найдешь, что нужно.

Зато количество дансингов и ресторанов с горячительными напитками с каждым днем увеличивается, и махрово цветут спекуляция и жульничество.

По улицам проходят отдельные группы бастующих рабочих. То тут, то там собираются толпы. Носятся слухи, будто войска стянуты к казармам. Но солдат пока нигде не видно.

Слышны крики: «Долой!» и «Да здравствует!». На перекрестке выступает оратор. И вдруг все смолкает.

Медленно приближаются колонны демонстрантов в выцветших солдатских шинелях. Идут по четыре человека в ряд. Впереди — большие белые плакаты с надписями: «Где же благодарность отечества?» и «Инвалиды войны голодают!».

Плакаты несут однорукие. Они идут, то и дело оглядываясь, не отстают ли от них остальные демонстранты, — те не могут идти так быстро.

За однорукими следуют слепые с овчарками на коротких ремнях. На ошейниках собак — красный крест. С сосредоточенным видом шагает собака рядом с хозяином. Если шествие останавливается, собака мгновенно садится, и слепой останавливается. Иногда бегущие по улице собаки, виляя хвостом и подымая лай, бросаются к овчаркам-поводырям, чтобы поиграть и повозиться с ними. Но те лишь отворачивают головы, никак не реагируя на обнюхивание и лай. И хотя овчарки идут, чутко насторожив уши, и хотя глаза их полны жизни, но движутся они так, точно навеки зареклись бегать и резвиться, точно они понимают свое назначение. Они отличаются от своих собратьев, как сестры милосердия от веселых продавщиц. Пришлые собаки недолго заигрывают с поводьями; после нескольких неудачных попыток они поспешно убегают, как будто спасаются бегством. Только какой-то огромный дворový пес стоит, широко расставив лапы, и лает упорно и жалобно, пока шествие не исчезает из виду...

Как странно: у этих слепцов, потерявших зрение на войне, движения другие, чем у слепорожденных, — стремительнее и в то же время осторожнее, эти люди еще не приобрели уверенности долгих темных лет. В них еще живет воспоминание о красках неба, земле и сумерках. Они держат себя еще как зрячие и, когда кто-нибудь обращается к ним, невольно поворачивают голову, словно хотят взглянуть на говорящего. У некоторых на глазах черные повязки, но большинство повязок не носит, словно без них глаза ближе к свету и краскам. За опущенными головами слепых горит бледный закат. В витринах магазинов вспыхивают первые огни. А эти люди едва ощущают у себя на лбу мягкий и нежный вечерний воздух. В тяжелых сапогах медленно бредут они сквозь вечную тьму, которая тучей обволокла их, и мысли их упорно и уныло вязнут в убогих цифрах, которые для них должны, но не могут быть хлебом, кровом и жизнью. Медленно встают в потускневших клеточках мозга призраки голода и нужды. Беспомощные, полные глухого страха, чувствуют слепые их приближение, но не видят их и не могут сделать ничего

другого, как только, сплотившись, медленно шагать по улицам, поднимая из тьмы к свету мертвенно-бледные лица, с немой мольбой устремленные к тем, кто еще может видеть: когда же вы увидите?!

За слепыми следуют одноглазые, раненные в голову, плывут изуродованные лица без носов и челюстей, перекошенные бугристые рты, сплошные красные рубцы с отверстиями на месте носа и рта. А над этим опустошением светятся тихие, вопрошающие, печальные человеческие глаза.

Дальше движутся длинные ряды калек с ампутированными ногами. Многие уже носят протезы, которые как-то торопливо стучат все вкось-вкось, со звоном ударяясь о мостовую, словно весь человек искусственный — железный и на шарнирах.

За ними идут контуженные. Их руки, их головы, их платье, все существо их трясется, словно они все еще дрожат от страха. Они не в силах овладеть этой дрожью, воля их сражена, их мускулы и нервы восстали против мозга, в глазах — оупение и бессилие.

Одноглазые и однорукие катят в плетеных колясках с клеенчатыми фартуками инвалидов, которые отныне могут жить только в кресле на колесах. В этой же колонне несколько человек толкают плоскую ручную тележку, похожую на те, которыми пользуются столяры для перевозки кроватей и гробов. На тележке человеческий обрубок. Ног нет совсем. Это только верхняя половина тела рослого человека. Плотный затылок, широкое славное лицо с густыми усами. Такие лица бывают у упаковщиков мебели. Около калеки висится плакат, на котором он сам, вероятно, вывел косым почерком: «И я бы хотел ходить, братцы!» Взгляд у него сосредоточен и строг. Иногда, опираясь на руки, он чуть-чуть приподнимается на своей тележке, чтобы переменить положение.

Шествие медленно тянется по улицам. Там, где оно показывается, сразу все смолкает. На углу Хакенштрассе происходит длительная заминка: тут строится новый ресторан с дансингом и вся улица запружена кучами песку, возами с цементом и лесами. Между лесами, над будущим входом, уже светятся красные огни вывески: «Астория. Дансинг и бар». Тележка с безногим останавливается как раз напротив. Он ждет, пока не уберут с дороги несколько железных брусьев. Темные волны багряно-красных лучей падают на фигуру калеки и зловещей краской заливают его молчаливо поднятое к ним лицо; оно словно набухает дикой страстью и вот-вот разорвется в страшном вопле.

Шествие двигается дальше, и над тележкой опять лицо упаковщика мебели, бледное от долгого лежания в госпитале и от бледного вечернего света; сейчас он благодарно улыбается товарищу, сунувшему ему в рот сигарету. Тихо движутся колонны по улицам, — ни криков, ни возмущения; просить идут они, а не требовать; они знают: кто лишен возможности стрелять, тому на многое рассчитывать не приходится. Они пойдут к ратуше, там постоят, какой-нибудь секре-

таришка скажет им несколько слов; потом они разойдутся, и каждый вернется домой, в свое тесное жилище, к своим бледным детям и седой нужде; вернется без каких-либо надежд — невольник судьбы, которую ему уготовали другие.

* * *

Чем ближе к вечеру, тем в городе беспокойнее. Я брожу с Альбертом по улицам. На каждом углу — группки людей. Носятся всякие слухи. Говорят, что где-то произошло столкновение между войсками рейхсвера и рабочей демонстрацией.

Вдруг со стороны церкви св. Марии раздается несколько выстрелов: сначала — одиночные, потом сразу — залп. Альберт и я смотрим друг на друга и тотчас же, не говоря ни слова, бросаемся туда, откуда доносятся выстрелы.

Навстречу нам попадает все больше и больше народу.

— Добывайте оружие! Эта сволочь стреляет! — кричат в толпе.

Мы прибавляем шагу. Проталкиваемся сквозь толпу, и вот уже мчимся бегом; жестокое, опасное волнение влечет нас туда. Мы задыхаемся. Трескотня усиливается.

— Людвиг!

Он бежит рядом. Губы его плотно сжаты, скулы выдаются, глаза холодны, и взгляд их напряжен — у него опять лицо окопа. И у Альберта такое же. И у меня. Ружейные выстрелы притягивают нас, как жуткий тревожный сигнал.

Толпа впереди с криком отпрянула назад. Мы прорываемся вперед. Женщины, прикрывая фартуками лица, бросаются в разные стороны. Толпа ревет. Выносят раненого.

Мы подбегаем к рыночной площади. Перед зданием ратуши укрепились войска рейхсвера. Тускло поблескивают стальные шлемы. У подъезда установлен пулемет. Он заряжен. На площади пусто, по улицам, прилегающим к ней, толпится народ. Идти дальше — безумие. Пулемет властвует над площадьюю.

Но вот от толпы отделяется человек и выходит вперед. За ним, в ущельях улиц, клокочет, бурлит и жметя к домам черная плотная масса.

Человек уже далеко. На середине площади он выходит из тени, отбрасываемой церковью, в полосу лунного света. Ясный, резкий голос останавливает его:

— Назад!

Человек поднимает руки. Луна так ярко светит, что, когда он начинает говорить, в темном отверстии рта сверкает белый оскал зубов.

— Братья!

Все смолкает.

И только один голос между церковью, массивом ратуши и тенью реет над площадьюю — одинокий голубь.



— Бросайте оружие, друзья! Неужели вы будете стрелять в ваших братьев? Бросайте оружие и идите к нам!

Никогда еще луна не светила так ярко. Солдатские шинели у подъезда ратуши — точно меловые. Мерцают стекла окон. Освещенная половина колокольни — зеркало из зеленого шелка. В лунном свете каменные рыцари на воротах в шлемах с забралами отделяются от темной стены.

— Назад! Буду стрелять! — раздается тот же властный, холодный голос. Я оглядываюсь на Людвига и Альберта. Это голос командира нашей роты! Это голос Хееля! Я застываю в невыносимом напряжении, точно присутствую при казни. Я знаю: Хеель ни перед чем не остановится — он велит стрелять.

Темная человеческая масса шевелится в тени домов, она колыхается и ропщет. Проходит целая вечность. От ратуши отделяются



два солдата с ружьями наперевес и идут на одинокого человека, стоящего посреди площади. Кажется, будто они движутся бесконечно медленно, они словно топчутся на месте в серой трясине — блестящие куклы с ружьями на изготовку. Человек спокойно ждет их приближения. Когда они подходят вплотную, он снова начинает:

— Братья!..

Они хватают его под руки и тащат. Человек не защищается. Они так быстро волокут его, что он чуть не падает. Сзади раздаются крики, масса приходит в движение, медленно, беспорядочно выдвигается на площадь.

Ясный голос командует:

— Скорей ведите его! Открываю огонь!

Воздух оглашается предупреждающим залпом. Человек внезап-

но вырывается из рук солдат, но он не спасается бегством, а бежит наперерез, прямо на пулемет.

— Не стреляйте, братцы!

Еще ничего не случилось, но, видя, что безоружный человек бросился вперед, толпа устремляется за ним. Вот она уже бушует в узком проходе около церкви. В следующий миг над площадью проносится команда, с громом рвется «так-так-так» пулемета, повторенное многократным эхом от домов, и пули со свистом и звоном шлепаются о мостовую.

С быстротой молнии бросаемся мы за выступ дома. На одно мгновение меня охватывает парализующий, подлый страх — совсем иной, чем на фронте. И тотчас же он переходит в ярость. Я видел, как одинокий человек на площади зашатался и упал лицом вперед. Осторожно выглядываю из-за угла. Как раз в это время он пытается встать, но это ему не удается. Медленно подгибаются руки, запрокидывается голова и, точно в беспредельной усталости, вытягивается на площади человеческое тело. Ком, сдавливавший горло, отпускает меня.

— Нет! — вырывается у меня. — Нет!

И крик мой пронзительным воплем повисает между стенами домов.

Я чувствую вдруг, как меня кто-то отталкивает. Людвиг Брайер выходит на площадь и идет к темной глыбе смерти.

— Людвиг! — кричу я.

Но Людвиг идет вперед, вперед... Я с ужасом гляжу ему вслед.

— Назад! — опять раздается команда.

Людвиг на мгновение останавливается.

— Стреляйте, стреляйте, обер-лейтенант Хеель! — кричит он в сторону ратуши и, подойдя к лежащему на земле человеку, нагибается над ним.

Мы видим, как с лестницы ратуши спускается офицер. Не помня как, оказываемся мы возле Людвига и ждем приближающегося к нам человека, в руках у которого трость — единственное его оружие. Человек этот ни минуты не колеблется, хотя нас теперь трое и при желании мы легко могли бы его схватить, — солдаты, из опасения попасть в него, не отважились бы открыть стрельбу.

Людвиг выпрямляется:

— Поздравляю вас, обер-лейтенант Хеель, этот человек мертв.

Струйка крови бежит из-под солдатской куртки убитого и стекает в выбоины мостовой. Около выскользнувшей из рукава правой руки, тонкой и желтой, кровь собирается в лужу, черным зеркалом поблескивающую в лунном свете.

— Брайер! — восклицает Хеель.

— Вы знаете, кто это? — спрашивает Людвиг.

Хеель смотрит на него и качает головой.

— Макс Вайль!

— Я хотел спасти его, — помолчав, почти задумчиво говорит Хеель.

— Он мертв, — отвечает Людвиг.

Хеель пожимает плечами.

— Он был нашим товарищем, — продолжает Людвиг.

Хеель молчит.

Людвиг холодно смотрит на него:

— Чистая работа!

Хеель словно просыпается.

— Не это важно, — спокойно говорит он, — важна цель: спокойствие и порядок.

— Цель! — презрительно бросает Людвиг. — С каких это пор вы ищете оправдания для ваших действий? Цель! Вы просто нашли себе занятие, вот и все. Уведите ваших солдат. Надо прекратить стрельбу.

Хеель делает нетерпеливое движение:

— Мои солдаты останутся. Если они сегодня отступят, завтра против них выступит в десять раз более сильный отряд. Вы сами это отлично знаете. Через пять минут я займу входы в улицы. Воспользуйтесь этим сроком и унесите убитого.

— Берите его! — обращается к нам Людвиг. Потом еще раз поворачивается к Хеелю: — Если вы сейчас отступите, вас никто не тронет. Если вы останетесь, будут новые жертвы. По вашей вине. Вам это ясно?

— Мне это ясно, — холодно отвечает Хеель.

С минуту мы еще стоим друг против друга. Хеель оглядывает нас всех по очереди. Напряженное, странное мгновение. Словно что-то разбилось.

Мы поднимаем мертвое покорное тело Макса Вайля и уносим его. Улицы снова запружены народом. Когда мы приближаемся, толпа расступается, образуя широкий проход. Несутся крики:

— Свора Носке! Кровавая полиция! Убийцы!

Из спины Макса Вайля течет кровь.

Мы вносим его в ближайший дом. Это, оказывается, «Голландия». Там уже работают санитары, перевязывая двух раненых, положенных прямо на навощенный паркет. Женщина в забрызганном кровью фартуке стонет и рвется домой. Санитарам стоит больших усилий удержать ее, пока принесут носилки и придет врач. Она ранена в живот. Рядом с ней лежит мужчина, еще не успевший расстаться со старой солдатской курткой. У него прострелены оба колена. Жена его, опустившись около него на пол, причитает:

— Ведь он ничего не сделал! Он просто шел мимо! Я только что принесла ему обед, — она показывает на серую эмалированную кастрюлю с ручкой, — обед принесла.

Дамы, танцевавшие в «Голландии», жмутся в углу. Управляющий растерянно мечется, спрашивая у всех, нельзя ли перенести раненых куда-нибудь в другое место. Дела его пойдут прахом, если в городе узнают об этой истории. Никто не пойдет сюда танцевать. Антон Демут, не снимая своей раззолоченной ливреи, притащил бутылку коньяку и подносит ее ко рту раненого. Управляющий в ужасе смотрит на Антона и делает ему знаки. Тот не обращает внимания.

— Как ты думаешь, мне не отнимут ног? — спрашивает раненый. — Я шофер, понимаешь?

Приносят носилки. На улице опять трещат выстрелы. Мы вскакиваем. Крики, вопли, звон стекол. Мы выбегаем на улицу.

— Разворачивай мостовую! — кричит кто-то, всаживая кирку под камни.

Из окон летят матрацы, стулья, детская коляска. С площади стреляют. Но теперь уже и отсюда, с крыш, стреляют по площади.

— Фонари гаси!

Из толпы кто-то выскакивает и запускает кирпичом в фонарь. Сразу становится темно.

— Козоле!

Это Альберт кричит. С ним Валентин. Все прибежали на выстрелы, словно водоворотом притянули они нас.

— Вперед, Эрнст, Людвиг, Альберт! — ревет Козоле. — Эти скоты стреляют в женщин!

Мы залегли в воротах какого-то дома. Хлещут пули, люди кричат, мы захвачены потоком, увлечены им, опустошены, в нас клокочет ненависть, кровь брызжет на мостовую, мы снова солдаты, прошлое настигло нас, война, грохоча и беснуясь, бушует над нами, между нами, в нас. Все пошло прахом, — товарищеское единение изрешечено пулеметом, солдаты стреляют в солдат, товарищи в товарищей, все кончено, все кончено...

III

Адольф Бетке продал свой дом и переехал в город.

Первое время после того, как жена вернулась к нему, все шло хорошо. Адольф занимался своим делом, жена — своим, и казалось, жизнь налаживается, входит в свою колею.

Но по деревне сплетничали и шушукались. Стоило жене Адольфа показаться на улице, как вдогонку ей неслись всякие шуточки; встречные парни нахально смеялись в лицо; женщины, проходя мимо, выразительным жестом подбирали юбки. Она ничего не рассказывала Адольфу, а сама мучилась и с каждым днем бледнела все больше.

Адольфу тоже приходилось несладко. Не успевал он переступить порог трактира, как разговоры смолкали; зайдет к кому-нибудь в

гости, и его встречает смущенное молчание хозяев. Кое-кто отважился даже на двусмысленный вопрос. Если Адольф выпивал где-нибудь в компании, сейчас же начинались идиотские намеки, и частенько за его спиной раздавался насмешливый хохот. Он не знал, как ему бороться. Он думал: с какой стати давать деревне отчет в том, что касается только его одного, когда даже пастор не желает ничего понять? При встрече он с осуждением взглядывал на Адольфа поверх своих золотых очков. Тяжело было все это терпеть, но и Адольф молчал, ничего не говорил жене.

Так вот и жили они друг подле друга, пока однажды, воскресным вечером, свора преследователей не обнаглела до того, что в присутствии Адольфа жене его крикнули какую-то непристойность. Адольф вспылил. Но жена положила ему руку на плечо.

— Не надо, Адольф, — сказала она, — они так часто это делают, что я уже не слышу их.

— Часто?

Теперь ему стала понятна ее постоянная молчаливость. В ярости бросился он за обнаглевшим парнем, но тот спрятался за сомкнувшиеся спины товарищей.

Бетке пошли домой и молча легли в постель. Адольф лежал, неподвижно уставившись в пространство. Вдруг до слуха его донеслось слабое, подавленное всхлипывание: жена, уткнувшись в одеяло, плакала. Не раз, верно, она так лежала и плакала, когда он спал...

— Успокойся, Мария, — тихо сказал он, — ну их, пусть болтают...

Но она продолжала плакать.

Адольф чувствовал себя беспомощным и одиноким. За окнами враждебно сгустилась тьма, и деревья шептались, как старые сплетницы. Он осторожно обнял жену за плечи. Она подняла к нему заплаканное лицо:

— Адольф, знаешь, я лучше уйду... Они тогда перестанут...

Она встала, свеча еще горела; огромная — во всю комнату — тень качнулась, скользнула по стенам, и по сравнению с ней женщина казалась маленькой и беспомощной. Присев на край кровати, она протянула руку за чулками и кофточкой. Точно немая судьба, проравшись через окно из мрака, тень тоже протянула огромную руку и, гримасничая, кривляясь, хихикая, повторяла все движения женщины; казалось, она вот-вот бросится на свою добычу и утащит ее в воющую тьму.

Адольф вскочил и задернул белые кисейные шторы на окнах, словно загораживая низенькую комнатку от ночи, глядевшей жадными совиными глазами через эти четырехугольные зияющие просветы.

Жена, натянув чулки, взялась за лифчик. Адольф подошел к ней:

— Брось, Мария!..

Она взглянула на него и опустила руки. Лифчик упал на пол. Тоска глядела из глаз женщины, тоска загнанного существа, тоска побитого животного — вся беспредельная тоска тех, кто не в силах защитить себя. Адольф увидел эту тоску. Он обнял жену, он ощутил ее всю — мягкую, теплую. И как только можно бросать в нее камнями? Разве они помирились не по доброй воле? Почему же ее так безжалостно травят, так жестоко преследуют? Он притянул ее к себе, и она прильнула к нему, обвила руками его шею и положила голову к нему на грудь. Так стояли они, дрожа от холода, в одних ночных рубашках, прильнув друг к другу, и каждый желал согреться теплом другого. Потом они присели на край кровати, сгорбившись, изредка роняя слово-другое, и когда тени их опять заколебались на стене, потому что фитиль на свечке накренился набок и огонек начал, мигая, угасать, Адольф ласковым движением притянул жену в постель, и это означало: мы останемся вместе, мы попытаемся снова наладить нашу жизнь. И он сказал:

— Мы уедем отсюда, Мария.

— Это был единственный выход.

— Да, да, Адольф, давай уедем!

Она бросилась к нему и только теперь громко разрыдалась. Крепко обнимая ее, он беспрестанно повторял:

— Завтра же поищем покупателя, завтра же...

Пламя надежд и ярости, горечи и отчаяния вспыхнуло в нем страстью, и жар ее заставил женщину умолкнуть, вспливания становились все тише, как у ребенка, и наконец замерли, перейдя в изнеможение и мирное дыхание.

Свеча погасла, тени исчезли, жена уснула, но Адольф долго еще лежал без сна и думал, думал. Поздно ночью жена проснулась и почувствовала на себе чулки, которые она надела, когда хотела уходить. Она сняла их и, расправив, положила на стул у кровати.

Спустя два дня Адольф Бетке продал дом и мастерскую. Вскоре он нашел квартиру в городе. Погрузили мебель. Собаку пришлось оставить. Но тяжелых всего было расстаться с садом. Нелегко далось Адольфу прощание. Он знал, что ждет его впереди. А жена была покорна и тиха.

* * *

Городской дом оказался сырым и тесным. Лестница грязная, стоит запах прачечных, воздух густ от соседской ненависти и непроветренных комнат. Работы у Адольфа мало, и слишком много времени остается для всяких мыслей. Обоим по-прежнему тяжело, словно все то, от чего они бежали, нагнало их и здесь.

Адольф часами просиживает на кухне и силится понять, почему они не могут зажить по-новому. Когда вечерами они сидят друг против друга, когда газета прочитана и ужин убран со стола, их об-

ступает все та же томительная пустота. Адольф чувствует, что задыхается от вечного вслушивания, от бесконечных раздумий. Жена берется за какую-нибудь работу, старательно чистит плиту. И когда он говорит: «Пооди сюда, Мария», она откладывает тряпку и наждак и подходит, он притягивает ее к себе на колени и, жалкий в своем одиночестве, шепчет: «Мы как-нибудь одолеем это», она кивает, все так же молча, а ему хочется видеть ее веселой. Он не понимает, что это зависит не только от нее, но и от него, что за четыре года разлуки они отвыкли друг от друга и теперь действуют друг на друга угнетающе. «Да скажи же наконец что-нибудь!» — раздражается Адольф. Она пугается и покорно начинает что-то говорить. Но о чем ей говорить? Что особенного происходит здесь, в этом доме или у нее на кухне? И если между двумя близкими людьми доходит до того, что они должны обязательно о чем-нибудь разговаривать, то, сколько бы они ни говорили, они никогда ни до чего не договорятся. Говорить хорошо, когда за словами счастье, когда слова льются легко и свободно. А когда человек несчастлив, могут ли помочь ему такие неверные, ненадежные вещи, как слова? От них только тяжелее.

Адольф следит за каждым движением жены и представляет себе другую — молодую, веселую женщину, которая жила в его воспоминаниях и которую он не может забыть. В нем вспыхивает досада, и он раздраженно бросает ей:

— Верно, все о нем думаешь, а?

И оттого, что она смотрит на него широко открытыми глазами и он сознает свою несправедливость, он сверлит все глубже:

— Должно быть, так и есть. Ты ведь раньше такой не была! Зачем ты вернулась ко мне? Могла у него остаться!

Каждое слово ему самому причиняет страдание, но кого это остановит! Он продолжает говорить, и женщина, забившись в угол возле крана, куда не достигает свет, плачет и плачет, как заблудившееся дитя. Ах, все мы дети, заблудившиеся, глупые дети, и ночь всегда подстерегает наш дом.

Ему становится неважно, он уходит и бесцельно бродит по улицам, останавливается, ничего не видя, у витрин магазинов и бежит туда, где светло. Звенят трамваи, проносятся автомобили, прохожие толкают его, и в желтом свете фонарей стоят проститутки. Вихляя здоровенными бедрами, они смеются и задирают друг дружку.

— Ты веселая? — спрашивает он и идет с ними, довольный уж тем, что слышит и видит что-то такое, что может отвлечь его от самого себя.

Потом он снова слоняется без цели, домой идти не хочет, и вместе с тем домой его тянет. Он переходит из пивной в пивную и напивается до бесчувствия.

В таком состоянии я встретил его, и он все мне рассказал. Я смотрю на него: он сидит в каком-то оцепенении, глаза мутные, слова он точно выдавливает из себя и все время пьет. Я смотрю

на Адольфа Бетке, самого находчивого, самого стойкого солдата, самого верного товарища, который многим помог и многих спас. Мне он был защитой и утешением, матерью и братом, там, на фронте, когда вспыхивали осветительные ракеты и нервы не выдерживали атак и смерти. Бок о бок спали мы с ним в сырых окопах, и он укутывал меня, когда я заболел; он все умел, он всегда знал, как выйти из беды, а здесь запутался в колючей проволоке и раздирает себе лицо и руки, и глаза у него уже помутнели...

— Эх, брат Эрнст, — говорит он голосом, полным безнадежности, — лучше бы нам не возвращаться с фронта, там по крайней мере мы были вместе...

Я не отвечаю, я смотрю на свой рукав, на замытые бурые пятна. Это кровь Макса Вайля, убитого по приказу Хееля. Вот к чему мы пришли. Снова война, но товарищества уже больше нет.

IV

Тьяден празднует свою свадьбу с колбасным заведением. Торговля конским мясом разрослась, стала золотым дном, и по мере того, как она разрасталась, росла склонность Тьядена к Марихен.

Утром жених с невестой в черной лакированной карете, обитой изнутри белым шелком, отправляются в мэрию и в церковь; карета, конечно, запряжена четверкой, как оно и подобает дельцу, нажившемуся на конском мясе. Свидетелями приглашены Вилли и Козоле. Вилли для сего торжественного случая купил себе пару белых, чисто-бумажных, перчаток. Стоило это немалых усилий. Карлу пришлось достать для него с полдюжины ордеров, и, несмотря на это, поиски перчаток продолжались целых два дня, — ни в одном магазине не оказалось нужного размера. Но, надо сказать, труды даром не пропали. Белые, как известка, мешки, которые Вилли наконец раздобыл, в значительной мере оживляют его заново выкрашенный фрак. Тьяден также во фраке, Марихен в подвенечном платье со шлейфом и в миртовом веночке.

Перед самым отбытием в мэрию происходит заминка. Козоле, увидев Тьядена во фраке, начинает хохотать так, что с ним делаются колики. Стоит ему поглядеть в ту сторону, где оттопыренные уши Тьядена светятся над высоким крахмальным воротничком, как он, не успев прийти в себя от первого приступа, снова раздражается хохотом. Дело плохо: он ведь и в церкви может так прыснуть, что испортит всю процедуру. Поэтому в самый последний момент мне приходится заменить Козоле.

Колбасное заведение торжественно убрано. У входа — цветы в горшках и молодые березки; даже на дверях помещения, где производят убой, гирлянды из еловых веток; Вилли, под громкое одоб-



рение окружающих, прикрепляет к ним щит с надписью: «Добро пожаловать!»

Само собой разумеется, к столу не подается ни кусочка конины. На блюдах дымятся первосортная свинина, а посреди стола стоит огромное блюдо телячьего жаркого, нарезанного ломтиками.

После жаркого Тьяден снимает фрак и воротничок. Это дает возможность Козоле энергичней приняться за дело, ибо до сих пор он не мог повернуть головы, боясь подавиться от смеха. Мы следуем примеру Тьядена, и сразу становится уютнее.

После обеда тесть Тьядена зачитывает документ, в котором зять объявляется совладельцем мясной. Мы поздравляем Тьядена; Вилли в белых перчатках торжественно подносит наш свадебный дар: медный поднос и двенадцать граненых рюмок. В каче-

стве приложения к сервизу — три бутылки коньяка из запасов Карла.

Вечером ненадолго появляется Людвиг. По настойчивой просьбе Тьядена он надел военную форму, — Тьяден хочет показать своим, что в числе его друзей имеется настоящий лейтенант. Но Людвиг очень скоро уходит. Мы же сидим до тех пор, пока на столе ничего не остается, кроме костей и пустых бутылок.

* * *

Когда мы наконец выходим на улицу, бьет полночь. Альберт предлагает еще зайти в кафе Грегера.

— Там уже давно все заперто, — говорит Вилли.

— Можно пройти со двора, — настаивает Альберт. — Карл знает там все ходы и выходы.

Ни у кого из нас нет особенного желания идти. Но Альберт так уговаривает, что мы уступаем. Меня удивляет Альберт, — обычно его всегда первого тянет домой.

С улицы кажется, что у Грегера темно и тихо, однако, войдя со двора, мы попадаем в самый разгар ресторанной жизни. Грегеровский ресторан — излюбленное место встречи спекулянтов; здесь каждый день кутеж до утра.

Часть помещения отведена под маленькие ложи, занавешенные красными плюшевыми портьерами. Большая часть портьер задернута. Из-за портьер доносятся взвизгивание и смех. Вилли ухмыляется во весь рот:

— Грегеровские персональные бордельчики!

Мы занимаем столик в глубине ресторана. Все переполнено. Справа столы проституток. Где процветают делишки, там цветет и радость жизни. Значит, двенадцать женщин, которые сидят здесь за столиками, — это не так уж много. Впрочем, у них есть и конкурентки. Карл указывает нам на фрау Никель, пышную черноволосую особу. Муж ее — мелкий спекулянт, и без нее он пропал бы с голоду. Ее помощь выражается в том, что она часок-другой ведет с его клиентами предварительные переговоры у себя дома, без посторонних свидетелей.

У всех столиков — возбужденное движение, перешептывание, шушуканье, сутолока. Мужчин в английских костюмах и новых шляпах зазывают в уголок людишки в куртках, без воротничков и галстуков, из карманов таинственно извлекаются пакетики с образцами товаров, все это осматривается и ощупывается, отвергается и снова предлагается, на столах появляются записные книжки, карандаши приходят в движение, время от времени кто-нибудь бросается к телефону или на улицу, и кругом так и жужжит: вагоны, килограммы, масло, сельди, сало, ампулы, доллары, гульдены, акции и цифры, цифры, цифры...

Около нас с особой горячностью ведутся дебаты о каком-то вагоне угля. Но Карл пренебрежительно машет рукой.

— Все это, — говорит он, — дутые дела. Один где-то что-то слышал, другой передает услышанное еще кому-то, третий заинтересовывает четвертого, все суетятся и напускают на себя важность, но за такой суетой почти всегда — пустое место. Вся эта публика — лишь посредники, которым хочется урвать немного комиссионных. Настоящий же король спекуляции действует через одного, самое большее — через двух человек, хорошо ему известных. Вон тот толстяк, который сидит против нас, закупил вчера в Польше два вагона яиц. Сейчас они будто бы отправлены в Голландию, а в дороге получат новый адрес, придут сюда как свежие голландские яйца, и он продаст их втридорога. Те вон, что сидят впереди нас, — торговцы кокаином. Зарабатывают колоссальные деньги. Слева — Дидерихс. Он торгует только салом. Тоже выгодно.

— Из-за этих скотов нам приходится животы подтягивать, — ворчит Вилли.

— Что с ними, что без них — один черт, — возражает Карл. — На прошлой неделе с государственного склада продали десять бочек испорченного масла, — прогоркло от долгого стояния. То же самое и с хлебом. Бартшер недавно за безделицу купил несколько вагонов казенного зерна; в развалившемся сарае оно отсырело и проросло грибком.

— Как фамилия, ты сказал? — спрашивает Альберт.

— Бартшер. Юлиус Бартшер.

— Часто он здесь бывает? — интересуется Альберт.

— Кажется, довольно часто, — говорит Карл. — А на что он тебе? Хочешь дела завязать с ним?

Альберт отрицательно качает головой.

— А денег у него много?

— Куры не клюют, — с оттенком почтительности отзывается Карл.

— Глядите, вон Артур! — смеясь восклицает Вилли.

Из дверей, выходящих во двор, выплывает канареечно-желтый плащ. Несколько человек встают и бросаются к Леддерхозе. Он отстраняет их, кой-кому покровительственно кивает и проходит между столиками, словно генерал какой-нибудь. Я с удивлением смотрю на незнакомое нам жесткое, неприятное выражение его лица; выражение это даже улыбка не смягчает.

Он здоровается с нами чуть ли не свысока.

— Присядь, Артур, — ухмыляется Вилли.

Леддерхозе колеблется, но не может устоять перед соблазном показать нам, какая он здесь, в своей сфере, персона.

— Пожалуй, но на одну минутку, — говорит он и садится на стул Альберта.

Альберт между тем бродит по кафе, разыскивая кого-то. Я хотел пойти вслед за ним, но раздумал, решив, что он ищет туалет. Леддерхозе заказывает водку и начинает переговоры: десять тысяч пар сапог военного образца, двадцать вагонов сырья; у его собеседника пальцы так и сверкают бриллиантами. Время от време-

ни Леддерхозе взглядом проверяет, прислушиваемся ли мы к их разговору.

Альберт идет вдоль ряда лож. Ему что-то наговорили, чему он не может поверить, но что, вместе с тем, весь день сегодня не дает ему покоя. Заглянув через щелку в предпоследнюю ложу, он останавливается: его словно обухом по голове хватили. Зашатавшись, он отдергивает портьеру.

На столе бокалы с шампанским, цветы, скатерть наполовину сдвинута и свисает на пол. За столом, в кресле, свернувшись клубочком, сидит светловолосая девушка. Платье соскользнуло к ногам, волосы растрепаны, и грудь ее обнажена. Девушка сидит спиной к Альберту, напевает модную песенку и, глядясь в карманное зеркальце, поправляет прическу.

— Люси! — хрипло произносит Альберт.

Вздвогнув, она быстро поворачивается и смотрит на Альберта, точно перед ней привидение. Судорожно пробует она улыбнуться, но лицо ее каменеет, когда она замечает взгляд Альберта, устремленный на ее голую грудь. Лгать уже не приходится. В страхе жметсся она к спинке кресла.

— Альберт, я не виновата... Это он все... — запинается она и вдруг быстро-быстро начинает лопотать: — Он напоил меня, Альберт, я этого совсем не хотела, он все поддывал мне, я уже ничего не понимала, клянусь тебе...

Альберт молчит.

— Что здесь происходит? — раздается голос за его спиной.

Бартшер вернулся из туалета и стоит у портьеры, покачиваясь из стороны в сторону. Дым своей сигары он пускает прямо в лицо Альберту:

— Захотелось маленько на чужой счет поживиться, а? Марш отсюда! Отчаливай!

Мгновение Альберт, точно оглушенный, стоит перед ним. С невероятной четкостью отпечатываются в его мозгу округлый живот, клетчатый рисунок коричневого костюма, золотая цепочка от часов и широкое, красное лицо.

В этот миг Вилли, случайно взглянув в ту сторону, вскакивает и, сбив на пути двух-трех человек, мчится через весь зал. Но поздно. Альберт уже вытащил револьвер и стреляет. Мы все бросаемся туда.

Бартшер попытался загородиться стулом, но успел поднять его только на уровень глаз. А пуля Альберта попадает двумя сантиметрами выше, в лоб. Он почти не целился, — он всегда считался лучшим стрелком в роте и всегда стрелял из своего револьвера только наверняка. Бартшер падает. Ноги у него подергиваются. Выстрел оказался смертельным. Девушка визжит.

— Прочь! — кричит Вилли, сдерживая натиск публики. Мы хватаем Альберта, который стоит неподвижно и не спускает глаз с девушки, тащим его за руки и бежим через двор на улицу, свора-



чиваем за угол и еще раз за угол и оказываемся на неосвященной площади, где стоят два мебельных фургона. Вилли прибегает вслед за нами.

— Ты немедленно должен скрыться. Этой же ночью, — запыхавшись говорит он.

Альберт смотрит на него, будто только что проснулся. Потом высвобождается из наших рук.

— Брось, Вилли, — с трудом произносит он, — я знаю, что мне теперь делать.

— Ты с ума сошел! — рывкает на него Козоле.

Альберт слегка покачнулся. Мы поддерживаем его. Он снова отстраняет нас.

— Нет, Фердинанд, — тихо говорит он, словно он до смерти устал, — кто идет на одно, должен идти и на другое.

И, повернувшись, Альберт медленно уходит от нас.

Вилли бежит за ним, уговаривает его. Но Альберт только качает головой и, дойдя до Мюлленштрассе, сворачивает за угол. Вилли идет следом за ним.

— Его нужно силой увести, он способен пойти в полицию! — волнуется Козоле.

— Все это, по-моему, ни к чему, Фердинанд, — грустно говорит Карл. — Я знаю Альберта.

— Но ведь тот все равно не воскреснет! — кричит Фердинанд. — Какой ему от этого толк? Альберт должен скрыться!

Мы молча стоим в ожидании Вилли.

— И как только он мог это сделать? — через минуту говорит Козоле.

— Он очень любил эту девушку, — говорю я.

Вилли возвращается один. Козоле подсказывает к нему:

— Скрылся?

Вилли отворачивается:

— Пошел в полицию. Ничего нельзя было сделать. Чуть в меня не выстрелил, когда я хотел увести его.

— Ах, черт! — Козоле кладет голову на оглобли фургона. Вилли бросается на траву. Мы с Карлом прислоняемся к стенкам фургона.

Козоле, Фердинанд Козоле, всхлипывает как малое дитя.

V

Грянул выстрел, упал камень, чья-то темная рука легла между нами. Мы убежали от неведомой тени, но мы кружили на месте, и тень настигла нас.

Мы метались и искали, мы ожесточались и покорно шли на все, мы прятались и подвергались нападению, мы блуждали и шли дальше, и всегда, что бы мы ни делали, мы чувствовали за собой тень, от которой мы спасались. Мы думали, что она гонится за нами, и не знали, что тащим ее за собой, что там, где мы, безмолвно присутствует и она, что она была не за нами, а внутри нас, в нас самих.

Мы хотели возводить здания, мы томились по садам и террасам, мы хотели видеть море и ощущать ветер. Но мы забыли, что дома нуждаются в фундаменте. Мы походили на покинутые, изрытые воронками поля Франции: в них та же тишина, что и на пашнях вокруг, но они хранят в себе еще много невзорвавшихся мин, и плуг там до тех пор будет таить в себе опасность, пока все мины не выруют и не уберут.

Мы все еще солдаты, хотя и не осознали это. Если бы юность Альберта протекала мирно, без надлома, у него было бы многое, что доверчиво и тепло росло бы вместе с ним, поддерживало и охра-

зяло его. Придя с войны, он ничего не нашел: все было разбито, ничего не осталось у него в жизни, и вся его загнанная юность, все его подавленные желания, жажда ласки и тоска по теплу родины — все слепо устремилось на одно это существо, которое, казалось ему, он полюбил. И когда все рухнуло, он сумел только выстрелить, — ничему другому он не научился. Если бы он не был столько лет солдатом, он нашел бы много иных путей. А так — у него и не дрогнула рука, — он давно привык метко попадать в цель. В Альберте, в этом мечтательном юноше, в Альберте, в этом робком влюбленном, все еще жил Альберт-солдат.

* * *

Подавленная горем старая женщина никак не может осмыслить свершившегося...

— И как только мог он это сделать? Он всегда был таким тихим ребенком...

Ленты на старушечьей шляпе дрожат, платочек дрожит, черная мантилья дрожит, вся женщина — один трепещущий клубок страдания.

— Может быть, это случилось потому, что он рос без отца. Ему было всего четыре года, когда умер отец. Но ведь он всегда был таким тихим, славным ребенком...

— Он и сейчас такой же, фрау Троске, — говорю я.

Она цепляется за мои слова и начинает рассказывать о детстве Альберта. Она должна говорить, ей больше невоготу, соседи приходили, знакомые, даже двое учителей заходили, никто не может понять, как это случилось...

— Им бы следовало держать язык за зубами, — говорю я, — все они виноваты.

Она смотрит на меня непонимающими глазами и опять рассказывает, как Альберт начинал ходить, как он никогда не шалил — не то что другие дети, он, можно сказать, был даже слишком смиренным для мальчика. И теперь вот такое! Как только он мог это сделать?

С удивлением смотрю я на нее. Она ничего не знает об Альберте. Так же, как и моя мать обо мне. Матери, должно быть, могут только любить, — в этом все их понимание своих детей.

— Не забудьте, фрау Троске, — осторожно говорю я, — что Альберт был на войне.

— Да, — отвечает она, — да... да...

Но связи не улавливает.

— Бартшер этот, верно, был очень плохим человеком? — помолчав, тихо спрашивает она.

— Форменный негодяй, — подтверждаю я без обиняков: мне это ничего не стоит.

Не переставая плакать, она кивает:

— Я так и думала. Иначе и быть не могло. Альберт в жизни своей мухи не обидел. Ганс — тот всегда обдирал им крылышки, а Альберт — никогда. Что теперь с ним сделают?

— Большого наказания ему не присудят, — успокаиваю я ее, — он был в сильном возбуждении, а это почти то же, что самооборона.

— Слава богу, — вздыхает она, — а вот портной, который живет над нами, говорит, что его казнят.

— Портной ваш, наверное, спятил, — говорю я.

— И потом, он сказал еще, будто Альберт убийца... — Рыдания не дают ей говорить. — Какой же он убийца?.. Не был он убийцей, никогда... никогда...

— С портным этим я как-нибудь рассчитаюсь, — в бешенстве говорю я.

— Я даже боюсь теперь выходить из дому, — всхлипывает она, — он всегда стоит у подъезда.

— Я провожу вас, тетушка Троске.

Мы подходим к ее дому.

— Вот он опять стоит там, — боязливо шепчет старушка, указывая на подъезд.

Я выпрямляюсь. Если он сейчас пикнет, я его в порошок изотру, хотя бы меня потом на десять лет укатали. Но, как только мы подходим, он и две женщины, шушукавшиеся с ним, испаряются.

Мы поднимаемся наверх. Мать Альберта показывает мне снимки Ганса и Альберта подростками. При этом она снова начинает плакать, но, будто чем-то пристыженная, сразу перестает. Старики в этом отношении как дети: слезы у них всегда наготове, но высыхают они тоже очень быстро. В коридоре она спрашивает меня:

— А еды-то у него там достаточно, как вы думаете?

— Конечно, достаточно. Во всяком случае, Карл Брегер позаботится на этот счет. Он может достать все, что нужно.

— У меня еще осталось несколько сладких пирожков. Альберт их очень любит. Как вы думаете, позволят мне передать их?

— Попробуйте, — отвечаю я. — И если вам удастся повидать Альберта, скажите ему только одно: Альберт, я знаю, что ты невиновен. Больше ничего.

Она кивает.

— Может быть, я недостаточно заботилась о нем. Но ведь Ганс без ног.

Я успокаиваю ее.

— Бедный мой мальчик... Сидит там теперь один-одинешенек...

Прощаясь, протягиваю старушке руку:

— А с портным я сейчас потолкую. Он вас больше беспокоить не будет.

Портной все еще стоит у подъезда. Плоская физиономия, глупая, обывательская. Он злобно тарачит на меня глаза; по морде

видно: как только я повернусь спиной, он сейчас же начнет сплетничать. Я дергаю его за полу пиджака.

— Слушай, козел паршивый, если ты еще хоть слово скажешь вон той старушке, — я показываю наверх, — я изуродую тебя, заруби это себе на носу, кукла тряпичная, сплетница старая, — при этом я трясую его, как мешок с тряпьем, я толкаю его так, что он ударяется поясницей о ручку двери, — я еще приду, я изломаю тебе все кости, вшивое отродье, гладильная доска, скотина проклятая!

Для вящей убедительности я отвечаю ему по здоровенной пощечине справа и слева.

Я успеваю отойти на большое расстояние, когда он раздражается визгом:

— Я на вас в суд подам! Это вам обойдется в добрую сотню марок.

Я поворачиваюсь и иду обратно. Он исчезает.

* * *

Георг Рахе, грязный, измученный бессонницей, сидит у Людвиг.

Он прочел об истории с Альбертом в газетах и тотчас же примчался.

— Мы должны вызволить его оттуда, — говорит он.

Людвиг поднимает глаза.

— Если бы нам с полдюжины дельных ребят и автомобиль, — продолжает Рахе, — мы бы это дело сделали. Самый благоприятный момент — когда его поведут в зал суда. Прорываем цепь конвоя, поднимаем суматоху, и двое из нас бегут с Альбертом к машине.

Людвиг выслушивает его, с минуту молчит, потом, покачивая головой, возражает:

— Нет, Георг, мы только повредим Альберту, если побег не удастся. Так по крайней мере у него есть надежда выпутаться. Но дело не только в этом. Я-то сам, ни минуты не колеблясь, принял бы участие в организации побега. Но Альберт не захочет бежать.

— Тогда его надо взять силой, — помолчав, заявляет Рахе, — его нужно освободить, чего бы это ни стоило...

Людвиг молчит.

— Я тоже думаю, Георг, что все это ни к чему не приведет, — говорю я. — Если мы даже его уведем, он все равно вернется назад. Он чуть не выстрелил в Вилли, когда тот хотел его увести.

Рахе опускает голову на руки. Людвиг как-то весь посерел и осунулся.

— Похоже, ребята, что мы все погибшие люди, — безнадежно говорит он.

Никто не отвечает. Мертвой тяжестью повисли между этими стенами молчание и тревога...

Рахе уходит, а я еще долго сижу у Людвига. Он подпер голову руками.

— Все наши усилия напрасны, Эрнст. Мы люди конченные, а жизнь идет вперед, словно войны и не было. Пройдет немного времени, и наша смена на школьных скамьях будет жадно, с горящими глазами, слушать рассказы о войне, мальчишки будут рваться прочь от школьной скуки и жалеть, что они не были участниками героических подвигов. Уже сейчас они бегут в добровольческие отряды; молокососы, которым едва исполнилось семнадцать лет, совершают политические убийства. Я так устал, Эрнст...

— Людвиг... — Я сажусь рядом с ним и кладу руку на его узкие плечи.

На лице у него безутешная улыбка. Он тихо говорит:

— Когда-то, до войны, у меня была такая, знаешь, ученическая любовь. Несколько недель назад я встретил эту девушку. Мне показалось, что она стала еще красивее. В ней вдруг словно ожило для меня все наше прошлое. Мы стали часто встречаться, и вдруг я почувствовал... — Людвиг кладет голову на стол. Когда он поднимает ее, глаза его кажутся помертвевшими от муки. — Все это не для меня теперь, Эрнст... Ведь я болен...

Он встает и открывает окно. Там, за окном, темная ночь и множество звезд. Подавленный, не отрываясь, я смотрю в одну точку. Людвиг долго глядит вдаль. Потом поворачивается ко мне:

— А помнишь, Эрнст, как мы с томиком Эйхендорфа целыми ночами бродили по лесам?

— Да, Людвиг, — живо отзываюсь я, обрадованный тем, что мысли его приняли другое направление, — это было поздним летом. А помнишь, как мы поймали ежа?

Лицо у Людвига разглаживается:

— А потом мечтали о всяких приключениях... Помнишь, — почтовые кареты, охотничьи рога, звезды... Мы еще хотели бежать в Италию.

— Да, но почтовая карета, которая должна была забрать нас, не пришла, а на поезд у нас не было денег.

Лицо у Людвига проясняется, оно даже как-то загадочно светится радостью.

— А потом мы читали «Вертера»... — говорит он.

— И пили вино, — подхватываю я.

Он улыбается:

— И еще читали «Зеленого Генриха»... Помнишь, как мы спорили о Юдифи?

Я киваю:

— Но потом ты больше всего любил Гельдерлина.

Людвиг как-то странно спокоен и умиротворен. Речь его тиха и мягка.

— Каких мы только планов не строили, какими благородными людьми хотели мы стать! А стали просто жалкими псами, Эрнст...

— Да, — отвечаю я задумчиво, — куда все это девалось?

Мы стоим рядом, облокотившись о подоконник, и смотрим в окно. Ветер запутался в вишневых деревьях. Они тихо шумят. Звезда падает. Бьют полночь.

— Надо спать, Эрнст. — Людвиг протягивает мне руку. — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Людвиг!

* * *

Поздно ночью вдруг раздается сильный стук в дверь. Я вскакиваю в испуге:

— Кто там?

— Я — Карл. Открой!

Я вмиг на ногах.

Карл врывается в комнату:

— Людвиг...

Я хватаю его за плечи:

— Что с Людвигом?

— Умер...

Комната завертелась у меня перед глазами. Я сажусь на кровать.

— Доктора!

Карл ударяет стулом о пол так, что стул разлетается в щепки.

— Он умер, Эрнст... Вскрыл себе вены...

Не помню, как я оделся. Не помню, как я попал туда. Внезапно передо мной — комната, яркий свет, кровь, невыносимое поблескивание и сверкание кварцев и камней, а перед ними в кресле — бесконечно усталая, тонкая, сгорбившаяся фигура, ужасающе бледное, заострившееся лицо и полузакрытые потухшие глаза...

Я не понимаю, что происходит. Здесь его мать, здесь Карл, какой-то шум, кто-то громко о чем-то говорит; да, да, понял, мне надо остаться здесь, они хотят кого-то привести, я молча киваю, опускаюсь на диван, двери хлопают, я не в состоянии шевельнуться, не в состоянии слова вымолвить, я вдруг оказываюсь один на один с Людвигом и смотрю на него...

* * *

Последним у Людвига был Карл. Людвиг был как-то странно тих и почти радостен. Когда Карл ушел, Людвиг привел свои немногочисленные вещи в порядок и некоторое время писал. Потом при-

двинул кресло к окну и поставил на стол миску с теплой водой. Он запер дверь на ключ, сел в кресло и, опустив руки в воду, вскрыл вены. Боль ощущалась слабо. Он смотрел, как вытекает кровь — картина, которую он часто себе рисовал: из жил его выливается вся эта ненавистная, отравленная кровь.

В комнате все вдруг приняло необычайно отчетливые очертания. Он видел каждую книжку, каждый гвоздь, каждый блик на камнях коллекции, видел пестроту, краски, он чувствовал — это его комната. Она проникла в него, она вошла в его дыхание, она срослась с ним. Потом стала отодвигаться. Заволоклась туманом. Мелькнули видения юности. Эйхендорф, леса, тоска по родине. Примиренно, без страдания. За лесами возникла колючая проволока, белые облачка шрапнели, взрывы тяжелых снарядов. Но теперь страха не было. Взрывы — словно приглушенный звон колоколов. Звон усилился, но леса не исчезали. Звон становился все сильнее и сильнее, словно в голове стоял этот звон, и голова, казалось, вот-вот расколется. Потом потемнело в глазах. Колокола начали затихать, и вечер вошел в окно, подплыли облака, расстилаясь у самых ног. Он всегда мечтал увидеть когда-нибудь фламинго — теперь он знал: это фламинго с розово-серыми широкими крыльями, много их — целый клин... Не так ли летели когда-то дикие гуси, клином летели на красный диск луны, красный, как маки во Фландрии?.. Пейзаж все ширился, леса опускались ниже, ниже, сверкнули серебром реки и острова, розово-серые крылья поднимались все выше, и все светлел и ширился горизонт. А вот и море... Но вдруг, горячо распирая горло, рванулся ввысь черный крик, последняя мысль хлынула в уходящее сознание — страх... Спасти, перевязать руки! Он попробовал встать, быстро поднять руку... Пошатнулся. Тело содрогнулось в последнем усилии, но он уже был слишком слаб. В глазах что-то кружило и кружило, потом уплыло, и огромная птица очень тихо, медленными взмахами опускалась ниже, ниже и наконец бесшумно сомкнула над ним свои темные крылья.

* * *

Чья-то рука отстраняет меня. Опять пришли люди, они наклонятся к Людвигу; я кого-то отшвыриваю: никто не смеет прикасаться к нему... Но тут я вдруг вижу его лицо, холодное, ясное, неузнаваемое, строгое, чужое — я не узнаю его и, шатаюсь, отхожу прочь.

* * *

Не помню, как я пришел домой. В голове пустота, бессильно лежат руки на спинке стула.

Людвиг, я больше не могу. Я тоже больше не могу. Что мне здесь делать? Мы все здесь чужие. Оторванные от корней, сожженные, бесконечно усталые... Почему ты ушел один?

Я встаю. Руки — как в огне. Глаза горят. Чувствую, что меня лихорадит. Мысли путаются. Я не помню, что делаю.

— Возьмите же и меня, — шепчу я, — меня тоже.

Зуб на зуб не попадает от озноба. Руки влажны. С трудом делаю несколько шагов. Перед глазами плывут большие черные круги.

И вдруг я застываю на месте. Открылась дверь? Стукнуло окно? Дрожь пробегает по мне. В открытую дверь я вижу в прихожей на стене, освещенной луной, подле скрипки, мою старую солдатскую куртку. На цыпочках, чтобы она не заметила меня, осторожно выхожу туда, подкрадываюсь к этой серой куртке, которая все разбилась — нашу юность, нашу жизнь, срываю ее с вешалки, хочу швырнуть прочь, но неожиданно натягиваю на себя, надеваю ее, чувствую, как она сквозь кожу овладевает мной, дрожу от нестерпимого холода, сердце бешено бьется... Внезапно что-то со звоном рвет тишину, я вздрагиваю, оборачиваюсь — и в ужасе жмусь к стене...

В дверях, тускло освещенная, стоит тень. Она колышется и зыблется, она приближается и кивает, принимает формы человека, лицо с темными провалами глазниц, с зияющей широкой щелью на месте рта, беззвучно шепчущего что-то... Постой, не он ли это?

— Вальтер, — шепчу я, — Вальтер Вилленброк, убит в августе семнадцатого под Пашенделем... Что это? Безумие? Бред? Горячка?

Но за первой тенью протискивается вторая — бледная, уродливая, согбенная — Фридрих Томберге, ему под Суассоном осколком раздробило спину, когда он сидел на ступеньках блиндажа. И вот здесь уже целый рой теней с мертвыми глазами; серые и призрачные, они теснятся тут, они вернулись, они наполняют мою комнату... Вот Франц Кеммерих, восемнадцатилетний юноша, скончавшийся через три дня после ампутации, и Станислав Катчинский — он волочит ноги, и голова у него опущена, а из нее, темнея, льется тоненькая струйка... И Герхардт Фельдкамп, которого миной разорвало под Ипром, и Пауль Боймер, убитый в октябре тысяча девятьсот восемнадцатого года, и Генрих Веслинг, Антон Хайнцман, Хайе Вестхус, Отто Маттес, Франц Вагнер... Тени, тени, целое шествие, бесконечные ряды... Они врываются, они взбираются на подоконник, садятся на книги, заполняют всю комнату...

Но вдруг ужас и оцепенение, овладевшие мной, отхлынули, ибо медленно вырастает более мощная тень. Она вползает в раскрытую дверь, опираясь на руки, она оживает, обрастает костяком, принимает образ человека, мелом белеют в черноте лица зубы. Вот в глазницах блеснули глаза, — вздыбившись, как тылень, он ползет ко мне... это он, английский капитан, за ним, шурша, тянутся его обмотки. Мягко оттолкнувшись, он делает прыжок и, растопырив скрюченные пальцы, протягивает ко мне руки...

— Людвиг, Людвиг! — кричу я. — Помогите, Людвиг!

Я хватаю книги и швыряю их в эти вытянутые руки...

— Гранату, Людвиг! — со стоном кричу я и швыряю аквариум в дверь, и он со звоном разбивается, но тень только оскаливает зубы и подбирается все ближе, ближе; за аквариумом летит коллекция бабочек, скрипка, я хватаю стул и замахваюсь, хочу ударить им по этому оскаленному рту и все кричу: «Людвиг! Людвиг!» Бросаюсь на эту проклятую тень, выскакиваю за дверь и бегу, мне вдогонку несутся испуганные крики — все явственнее, все ближе тяжелое дыхание, тень гонится за мной, я стремглав слетаю с лестницы. Тень грузно скатывается за мной, я выбегаю на улицу, я чувствую на затылке прерывистое дыхание, я мчусь, дома шатаются. «Помогите! Помогите!» Площади, деревья, чьи-то когти вонзились мне в плечо, тень настигла меня, я реву, вою, спотыкаюсь, какие-то мундиры, кулаки, топот, молнии и глухой гром мягких топоров, бьющих меня по голове, пока я не сваливаюсь наземь...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ



оды ли прошли? Или только дни? Словно туман, словно отдаленная гроза, тучей повисло на горизонте прошлое. Я долго был болен, и всякий раз, как сознание возвращалось ко мне, я неизменно видел над собой озабоченное лицо матери. А потом пришла большая усталость и стерла, сгладила все. Это сон наяву, когда нет никаких мыслей, когда только изнеможенно отдаешься слабой пульсации крови и солнечному теплу...

Луга светятся в блеске позднего лета. Лежишь на лугу, голова утонула в высокой траве, травинки клонятся из стороны в сторону, они весь мир, ничего больше не существует, кроме легкого их покачивания в ритме ветра. Там, где одна трава, ветер пробегает по ней, тихо звеня, точно коса вдали, а если среди травы растет щавель, звук ветра темнее и глубже. Нужно долго лежать и слушать, пока уловишь его.

Но тогда тишина оживает. Крохотные мушки с черными крылышками в красных точках густо осыпали султаны щавеля и покачиваются вместе с ними. Шмели, как маленькие аэропланы, гудят над клевером. Божья коровка одиноко и упорно взбирается на самый кончик высокой травинки.

Муравей добрался до моей куртки и скрылся в туннеле рукава. Он тащит за собою сухую былинку, она гораздо больше его самого. Ощущаю легкое щекотанье на коже и не знаю, муравей ли то или былинка тянут хрупкую полоску жизни по моей руке, вызывая легкую дрожь. Но вдруг в рукав дунул ветерок, и я чувствую: самое нежное прикосновение любви должно показаться грубым по сравнению с этим ласкающим кожу дыханием.

Прилетают, покачиваясь, бабочки, настолько послушные ветру, что кажется — они плывут на нем, белые и золотые паруса в нежном воздухе. Они опускаются на цветы, и вдруг, открыв глаза, я вижу двух бабочек, неподвижно сидящих у меня на груди, — одна словно желтый лепесток в красных точках, другая распростерла бархатные темно-коричневые крылышки с павлиньими фиолетовыми глазками. Ордена лета! Дышу очень тихо и замедленно, и все же дыхание мое шевелит их крылышки, но бабочки не улетают. Светлое

небо парит над изумрудом трав, и стрекоза, с сухим потрескиванием прозрачных крылышек, останавливается прямо над моими ботинками.

В воздухе реют серебряные паутины — сверкающие нити бабье-го лета. Они повисают на стеблях и листочках, ветер приносит их ко мне, они опускаются на руки, на одежду, ложатся на лицо, на глаза, укрывают меня всего. Мое тело, только что принадлежавшее мне, превращается в луг. Очертания тела сливаются с землей, оно уже не живет отдельной жизнью, оно растворилось в солнечном свете, его больше нет.

Сквозь обувь, сквозь поры одежды проникает дыхание земли, волосы мои овеивают движущееся небо — ветер. И кровь бьется о стенки моей кожи, она поднимается навстречу вторгшимся прищельцам, кончики нервов выпрямляются и трепещут, вот я ощущаю уже лапки бабочек у себя на груди, и ход муравья эхом повторяется в кровеносных сосудах... Потом волна поднимается выше, последнее сопротивление тает, и я лишь холм без имени, луг, земля...

Бесшумно свершают свой круг соки земли — вверх, вниз, а вместе с ними свершает круг и моя кровь; они несут ее на себе, она стала их частью. В теплом сумраке земли течет она, сливаясь с головами кристаллов и кварцев, она — в таинственном звуке тяжелых капель, стекающих к корням цветов и трав, а капли эти, собираясь в тонкие нити ручейков, ищут своих путей к родникам. И вместе с ними она, моя кровь, вырывается из земли, она — в ручьях и реках, в блеске берегов, в морском просторе и влажном серебре испарений, которые солнце снова поднимает к облакам; она кружит и кружит, унося мою плоть, размывая ее в земле и в подземных потоках, медленно и безболезненно исчезает мое тело, — его уже нет, остались одни ткани и оболочки, оно превратилось в журчание подземных источников, в говор трав, в веющий ветер, в шумящую листву, в беззвучно звенящее небо. Луг вошел в меня, цветы прорастают насквозь, их венчики покачиваются сверху, я поглощен, забыт, я несусь в потоке под маками и желтыми кувшинками, а над ними реют бабочки и стрекозы...

Еле-еле заметное движение, затаенное содрогание... Что это? Последняя дрожь перед концом? Или это колышутся маки и травы? Или только ручейки журчат между корнями деревьев?

Но движение усиливается. Оно становится ровнее, переходит в дыхание, в биение пульса; волна за волной возвращается назад — назад из рек, деревьев, листвы и земли... Круговорот начинается сызнова, но он уже не опустошает меня; наоборот, он приносит с собою нечто, что наполняет меня и остается во мне, он становится трепетанием, ощущением, чувством, руками, телом... Пустые оболочки наливаются жизнью; зыбко, легко и окрыленно хлынула она от земли. Я открываю глаза...

Где я? Что со мной? Спал я? Я еще чувствую загадочную связь с природой, прислушиваюсь и не решаюсь пошевелиться. Но связь

не рвется, во мне растет чувство счастья, легкости, парящее, лучезарное чувство, я лежу на лугу, бабочки упорхнули, они улетают все дальше и дальше, колышется щавель, божья коровка взобралась на вершину своей травинки, серебристая паутинка облепила мою одежду, окрыленность не покидает меня, она подступила к сердцу, она в глазах, я шевелю руками... Какое счастье! Я подтягиваю колени, сажусь, лицо мое влажно, и тут только я замечаю, что плачу, безудержно плачу, точно что-то ушло безвозвратно...

* * *

Некоторое время я еще неподвижно лежу, отдыхая. Потом встаю и направляюсь к кладбищу. Я еще не был там. Со дня смерти Людвига мне сегодня в первый раз разрешено выйти одному.

Старушка показывает мне дорогу к могиле Людвига. Могила обнесена буковой изгородью и обсажена вечнозеленым барвинком. Земля еще не слежалась, и на свежем холмике вянет несколько венков. Золотые надписи на лентах стерлись, и слов уже не разобрать.

Мне было страшновато идти сюда. Но тишина здесь не пугает. Ветерок проносится над могилами, за крестами — золотое сентябрьское небо, и в платановой аллее поет дрозд.

Ах, Людвиг, я сегодня в первый раз смутно почувствовал родину и мир, а тебя уже нет со мной. Я еще не решаюсь поверить в это чувство и думаю, что это только усталость и слабость. Но, может быть, оно вырастет в безграничную самоотверженность, может быть, нам нужно лишь выждать, молча выждать, и оно придет само собой. Может быть, единственное, что не изменило нам, это плоть наша и земля, и, может быть, нам нужно только одно: прислушиваясь, следовать за ними.

Ах, Людвиг, мы все искали и искали, мы блуждали и срывались, мы ставили себе множество целей и, стремясь к ним, спотыкались о самих себя, мы не нашли того, что искали, и это сломило тебя; а теперь — неужели одно лишь дыхание ветра над травами или трель дрозда в час заката, проникнув в самое сердце, могут возратить нас к самим себе? Неужели в облаке на горизонте или в зеленой листве деревьев больше силы, чем во всех наших желаниях и устремлениях?

Не знаю, Людвиг, не знаю... Мне пока трудно в это поверить, ибо я давно уже живу без каких-либо надежд. Но мы ведь никогда не знали, что такое самоотверженность. Мы не знали ее силы. Мы знали только насилие.

Но если это и путь, Людвиг, то что мне в нем без тебя?..

Из-за деревьев медленно надвигается вечер. Он снова несет с собою тревогу и печаль. Я не в силах отвести глаз от могилы.

Чьи-то шаги скрипят по гравию. Поднимаю глаза. Это Георг Рахе. Он озабоченно смотрит на меня и уговаривает пойти домой.

— Я давно не видел тебя, Георг, — говорю я. — Где ты был все это время?

Он как-то неопределенно машет рукой:

— Несколько профессий испробовал...

— Разве ты ушел из армии?

— Да, — коротко отрезает он.

Две женщины в трауре идут по платановой аллее. В руках у них маленькие зеленые лейки. Остановившись у старой могилы, женщины поливают цветы. Сладко веет ароматом желтофиоли и резеды.

Рахе поднимает глаза:

— Я думал, Эрнст, что найду там остатки солдатской дружбы. Но нашел лишь слепое чувство стадности, карикатурный призрак войны. Эти люди вообразили, что, припрятав две-три дюжины винтовок, они спасут отечество; нищие офицеры, не нашедшие себе иного занятия, кроме усмирения всяких беспорядков; вечные наемники, потерявшие всякую связь с жизнью и просто пугающиеся мысли о возвращении в мирную обстановку; последний, самый твердый шлак войны — вот что представляла собой эта армия. В этой массе — два-три идеалиста и кучка любопытных мальчуганов, жаждущих приключений. И все это — загнанное, обозленное, отчаявшееся и все вокруг себя подозревающее. Да, а потом еще...

С минуту он молчит, уставясь куда-то в пространство. Я украдкой смотрю на него. Нервное, издерганное лицо, под глазами залегли глубокие тени. Рахе делает над собой усилие и продолжает:

— В конце концов, почему бы мне не сказать тебе, Эрнст?.. Не сказать того, о чем я немало думал и передумывал? Однажды нам пришлось выступить. Лозунг был: поход против коммунистов. И вот, когда я увидел убитых рабочих, большинство из которых не успело еще снять свои старые солдатские куртки и сапоги, когда я увидел наших прежних фронтовых товарищей, во мне что-то надломилось. На фронте я однажды уничтожил с аэроплана добрую половину роты англичан, и мне это ничего не стоило, — на войне как на войне. Но эти убитые наши товарищи, здесь — в Германии, павшие от пуль своих же прежних товарищей, — это конец, Эрнст!

Я вспоминаю о Вайле и Хееле и молча киваю в ответ.

Над нами запел зяблик. Солнце садится, сгущая золото своих лучей. Рахе покусывает сигарету:

— Да, а потом еще: у нас вдруг исчезло двое солдат. Они якобы собирались разгласить местонахождение одного из складов оружия.

И вот их же товарищи, не расследовав дела, убили их ночью, в лесу, прикладами. Это называлось «тайное судилище». Один из убитых был у меня на фронте унтер-офицером. Душа парень! После этой истории я все послал к черту. — Рахе смотрит на меня. — Вот что осталось от прежнего, Эрнст... А тогда — тогда, вспомни, как мы шли воевать, вспомни, что это был за порыв, что за буря! — Он бросает сигарету на землю. — Черт возьми, куда все девалось?

Немного погодя он тихо прибавляет:

— Хотелось бы мне знать, Эрнст, как могло все это так выродиться?

Мы встаем и идем по платановой аллее к выходу. Солнце играет в листья и зайчиками пробегает по нашим лицам. Мне вдруг кажется все чем-то нереальным: и наш разговор с Георгом, и мягкий теплый воздух позднего лета, и дрозды, и холодное дыхание воспоминаний.

— Что ж ты теперь делаешь, Георг? — спрашиваю я.

Георг тросточкой сбивает на ходу шерстистые головки репейника.

— Знаешь, Эрнст, я ко всему присматривался — к разным профессиям, идеалам, политике, и я убедился, что не гожусь для этого базара. Что можно там найти? Всюду спекуляция, взаимное недоверие, полнейшее равнодушие и безграничный эгоизм...

Меня немного утомила ходьба, и там, наверху, на Клостерберге, мы садимся на скамейку.

Поблескивают зеленые городские башни, над крышами стоит легкий туман, из труб поднимается дым и, серебрясь, уходит в небо. Георг показывает вниз:

— Точно пауки, сидят они там в своих конторах, магазинах, кабинетах, и каждый только и ждет минуты, когда можно будет высосать кровь соседа. И что только не тяготеет над всеми: семья, всякого рода общества и объединения, весь аппарат власти, законы, государство! Паутина над паутиной, сеть над сетью! Конечно, это тоже можно назвать жизнью и гордиться тем, что проползал сорок лет под всей этой благодатью. Но фронт научил меня, что время не мерило для жизни. Чего же ради буду я сорок лет медленно спускаться со ступеньки на ступеньку? Годами ставил я на карту все — жизнь свою целиком. Так не могу же я теперь играть на гроши в ожидании мелких удач.

— Ты, Георг, последний год провел уже не в окопах, — говорю я, — а для летчиков, несомненно, война была не тем, что для нас. Месяцами не видели мы врага, мы были пушечным мясом, и только. Для нас не существовало ставок; существовало одно — ожидание; мы могли лишь ждать, пока пуля не найдет нас.

— Я не о войне говорю, Эрнст, я говорю о нашей молодости и о чувстве товарищества...

— Да, ничего этого больше нет, — говорю я.

— Мы жили раньше словно в оранжерее, — задумчиво говорит Георг. — Теперь мы старики. Но хорошо, когда во всем ясность. Я ни о чем не жалею. Я только подвожу итог. Все пути мне заказаны. Остается только жалкое прозябание. А я прозябать не хочу. Я не хочу никаких оков.

— Ах, Георг, — восклицаю я, — то, что ты говоришь, — это — конец! Но и для нас, в чем-то, где-то, существует начало! Сегодня я это ясно почувствовал. Людвиг знал, где его искать, но он был очень болен...

Георг обнимает меня за плечи:

— Да, да, Эрнст, постарайся быть полезным...

Я придвигаюсь к нему:

— В твоих устах это звучит безобразно елейно, Георг. Я не сомневаюсь, что есть среда, где чувство товарищества живо, но мы просто не знаем о ней пока.

Мне очень хотелось бы рассказать Георгу о том, что я только что пережил на лугу. Но я не в силах выразить это словами.

Мы молча сидим друг подле друга.

— Что ж ты теперь собираешься делать, Георг? — помолчав, снова спрашиваю я.

Он задумчиво улыбается:

— Я, Эрнст? Я ведь только по недоразумению не убит... Это делает меня немножко смешным.

Я отталкиваю его руку и испуганно смотрю на него. Но он успокаивает меня:

— Прежде всего я хочу немного поездить.

Георг поигрывает тростью и долго смотрит вдаль:

— Ты помнишь, что сказал как-то Гизекке? Там, в больнице? Ему хотелось побывать во Флери... Опять во Флери, понимаешь? Ему казалось, что это излечит его...

Я киваю.

— Он все еще в больнице. Карл недавно был у него...

Поднялся легкий ветер. Мы глядим на город и на длинные ряды тополей, под которыми мы когда-то строили палатки и играли в индейцев. Георг всегда был предводителем, и я любил его, как могут любить только мальчишки, ничего не ведающие о любви.

Взгляды наши встречаются.

— Брат мой «Сломанная рука», — улыбаясь, тихо говорит он.

— «Победитель», — отвечаю я так же тихо.

II

Чем ближе день, на который назначено слушание дела, тем чаще я думаю об Альберте. И как-то раз я вдруг ясно увидел перед собой глинобитную стену, бойницу, винтовку с оптическим при-

целом и прильнувшее к ней холодное, настороженное лицо — лицо Бруно Мюкенхаупта, лучшего снайпера батальона, никогда не дававшего промаха.

Я вскакиваю, — я должен знать, что с ним, как он вышел из этой переделки.

Высокий дом со множеством квартир. Лестница истекает влагой. Сегодня суббота, и повсюду ведра, щетки и женщины с подоткнутыми юбками.

Резкий звонок, слишком пронзительный для этой двери. Открывают не сразу. Спрашиваю Бруно. Женщина просит войти. Мюкенхаупт сидит на полу без пиджака и играет со своей дочкой, девочкой лет пяти с большим голубым бантом в светлорусых волосах. На ковре речка из серебряной бумаги и бумажные кораблики. В некоторые наложена вата — это пароходы: важно восседают в них маленькие целлулоидные куколки. Бруно благодушно покуривает небольшую фарфоровую трубку, на которой изображен солдат, стреляющий с колена; рисунок обведен двустушием: «Навостри глаз, набей руку и отдай отечеству свою науку!»

— Эрнст! Какими судьбами? — восклицает Бруно и, дав девочке легкий шлепок, поднимается с ковра, предоставляя ей играть самой. Мы проходим в гостиную. Диван и кресла обиты красным плюшем, на спинках — вязанные салфеточки, а пол так натерт, что я даже поскользнулся. Все сверкает чистотой, все стоит на своих местах; на комод — бесчисленное количество ракушек, статуэток, фотографий, а между ними, в самом центре, на красном бархате под стеклом — орден Бруно.

Мы вспоминаем прежние времена.

— А у тебя сохранился твой список попаданий?

— И ты еще спрашиваешь! — чуть не обижается Бруно. — Да он у меня хранится в самом почетном месте.

Мюкенхаупт достает из комода тетрадку и с наслаждением перелистывает ее:

— Лето для меня было, конечно, самым благоприятным сезоном — темнеет поздно. Вот, гляди-ка сюда. Июнь. 18-го — четыре попадания в голову; 19-го — три; 20-го — одно; 21-го — два; 22-го — одно; 23-го — ни одного противника не оказалось. Почуяли кое-что, собаки, и стали осторожны. Но зато вот здесь, погляди: 26-го (в этот день у противника пришла новая смена, которая еще не подозревала о существовании Бруно) — девять попаданий в голову! А? Что скажешь? — Он смотрит на меня сияющими глазами. — В каких-нибудь два часа! Просто смешно было смотреть; они высказывали из окопов как козлы — по самую грудь; не знаю, отчего это происходило; вероятно, потому, что я бил по ним снизу и попадал в подбородок. А теперь гляди сюда: 29 июня, 22 часа 2 минуты — попадание в голову. Я не шучу, Эрнст; ты видишь, у меня были свидетели. Вот тебе, здесь так и значит: «Подтверждаю. Вице-фельдфебель

Шлие»; десять часов вечера — почти в темноте. Здорово, а? Эх, брат, вот времечко было!

— Действительно здорово, — говорю я. — Но скажи, Бруно, теперь тебе никогда не бывает жаль этих малых?

— Что? — растерянно спрашивает Бруно.

Я повторяю свой вопрос.

— Тогда мы кипели в этом котле, Бруно. Ну, а сейчас ведь все по-другому.

Бруно отодвигает свой стул:

— Уж не стал ли ты большевиком? Да ведь это был наш долг, мы выполняли приказ! Вот тоже придумал...

Обиженно заворачивает он свою драгоценную тетрадку в папирусную бумагу и прячет ее в ящик комода.

Я успокаиваю его хорошей сигарой. Он затягивается в знак примирения и рассказывает о своем клубе стрелков, члены которого собираются каждую субботу.

— Недавно мы устроили бал. Высокий класс, скажу я тебе! А в ближайшем будущем у нас кегельный конкурс. Заходи непременно, Эрнст. Пиво в нашем ресторане замечательное, я редко пивал что-либо подобное. И кружка на десять пфеннигов дешевле, чем всюду. Это кое-что значит, если посидеть вечерок, правда? А как там уютно! И вместе с тем шикарно! Вот, — Бруно показывает позолоченную цепочку, — провозглашен королем стрелков! Бруно Первый! Каково?

Входит его дочурка. У нее сломался пароходик. Бруно тщательно исправляет его и гладит девочку по головке. Голубой бант шуршит у него под рукой.

Затем Бруно подводит меня к буфету, который, как и комод, уставлен бесконечным количеством всяких вещичек. Это все он выиграл на ярмарках, стреляя в тире. Три выстрела стоят несколько пфеннигов, а кто собьет известное число колец, имеет право на выигрыш. Целыми днями Бруно нельзя было оторвать от этих тиров. Он настрелял себе кучу плюшевых медвежат, хрустальных вазочек, бокалов, пивных кружек, кофейников, пепельниц и даже два соломенных кресла.

— В конце концов меня уж ни к одному тире не хотели подпускать. — Он самодовольно хохочет. — Вся эта банда боялась, что я ее разорю. Да, дело мастера боится!

Я бреду по темной улице. Из подъездов струится свет и бежит вода, — моют лестницы. Проводив меня, Бруно, наверное, опять играет со своей дочкой. Потом жена позовет их ужинать. Потом он пойдет пить пиво. В воскресенье совершит семейную прогулку. Он добропорядочный муж, хороший отец, уважаемый бюргер. Ничего не возразишь...

А Альберт? А мы все?..

Уже за час до начала судебного разбирательства мы собрались в здании суда. Наконец вызывают свидетелей. С бьющимся сердцем входим в зал. Альберт, бледный, сидит на скамье подсудимых, прислонясь к спинке, и смотрит в пространство. Глазами хотели бы мы сказать ему: «Мужайся, Альберт, мы не бросим тебя на произвол судьбы!» Но Альберт даже не смотрит в нашу сторону.

Зачитывают наши имена. Затем нам предлагают покинуть зал. Выходя, мы замечаем в первых рядах скамей, отведенных для публики, Тьядена и Валентина. Они подмигивают нам.

Поодиночке впускают свидетелей. Вилли задерживается особенно долго. Затем очередь доходит до меня. Быстрый взгляд на Валентина: он едва заметно покачивает головой. Альберт, значит, все еще отказывается давать показания. Так я и думал. Он сидит с отсутствующим видом. Рядом защитник. Вилли краден как кумач. Бдительно, точно гончая, следит он за каждым движением прокурора. Между ними, очевидно, уже произошла стычка.

Меня приводят к присяге. Затем председатель начинает допрос. Он спрашивает, не говорил ли нам Альберт раньше, что он не прочь всадить в Бартшера пулю? Я отвечаю: нет. Председатель заявляет, что многим свидетелям бросились в глаза удивительное спокойствие и рассудительность Альберта.

— Он всегда такой, — говорю я.

— Рассудительный? — отрывисто вставляет прокурор.

— Спокойный, — отвечаю я.

Председатель наклоняется вперед:

— Даже при подобных обстоятельствах?

— Конечно, — говорю я. — Он и не при таких обстоятельствах сохранял спокойствие.

— При каких же именно? — спрашивает прокурор, быстро поднимая палец.

— Под ураганным огнем.

Палец прячется. Вилли удовлетворенно хмыкает. Прокурор бросает на него свирепый взгляд.

— Он, стало быть, был спокоен? — переспрашивает председатель.

— Так же спокоен, как сейчас, — со злостью говорю я. — Разве вы не видите, что, при всем его внешнем спокойствии, в нем все кипит и бурлит. Ведь он был солдатом! Он научился в критические моменты не метаться и не воздевать в отчаянии руки к небу. Кстати сказать, вряд ли они тогда уцелели бы у него.

Защитник что-то записывает. Председатель с минуты смотрит на меня.

— Но почему надо было так вот сразу и стрелять? — спрашивает он. — Не вижу ничего страшного в том, что девушка разок пошла в кафе с другим знакомым.

— А для него это было страшнее пули в живот, — говорю я.

— Почему?

— Потому что у него ничего не было на свете, кроме этой девушки.

— Но ведь у него есть мать, — вмешивается прокурор.

— На матери он жениться не может, — возражаю я.

— А почему непременно жениться? — говорит председатель. — Разве для женитьбы он не слишком молод?

— Его не сочли слишком молодым, когда посылали на фронт, — парирую я. — А жениться он хотел потому, что после войны он не мог найти себя, потому что он боялся самого себя и своих воспоминаний, потому что он искал какой-нибудь опоры. Этой опорой и была для него девушка.

Председатель обращается к Альберту:

— Подсудимый, не желаете ли вы наконец высказаться? Верно ли то, что говорит свидетель?

Альберт колеблется. Вилли и я пожираем его глазами.

— Да, — нехотя говорит он.

— Не скажете ли вы нам также, зачем вы носили при себе револьвер?

Альберт молчит.

— Револьвер всегда при нем, — говорю я.

— Всегда? — переспрашивает председатель.

— Ну да, — говорю я, — так же как носовой платок и часы.

Председатель смотрит на меня с удивлением:

— Револьвер и носовой платок как будто не одно и то же?

— Верно, — говорю я. — Без носового платка он легко мог обойтись. Кстати, платка часто у него и вовсе не было.

— А револьвер...

— Спас ему разок-другой жизнь, — перебиваю я. — Вот уже три года, как он с ним не расстается. Это уже фронтовая привычка.

— Но теперь-то револьвер ему не нужен. Ведь сейчас-то мир. Я пожимаю плечами:

— До нашего сознания это как-то еще не дошло.

Председатель опять обращается к Альберту:

— Подсудимый, не желаете ли вы наконец облегчить свою совесть? Вы не раскаиваетесь в своем поступке?

— Нет, — глухо отвечает Альберт.

Наступает тишина. Присяжные настораживаются. Прокурор всем корпусом подается вперед. У Вилли такой вид, точно

он сейчас бросится на Альберта. Я тоже с отчаянием смотрю на него.

— Но ведь вы убили человека! — отчеканивая каждое слово, говорит председатель.

— Я убивал немало людей, — равнодушно говорит Альберт.

Прокурор вскакивает. Присяжный, сидящий возле двери, перестает грызть ногти.

— Повторите — что вы делали? — прерывающимся голосом спрашивает председатель.

— На войне убивал, — быстро вмешиваюсь я.

— Ну, это совсем другое дело... — разочарованно тянет прокурор.

Альберт поднимает голову:

— Почему же?

Прокурор встает:

— Вы еще осмеливаетесь сравнивать ваше преступление с делом защиты отечества?

— Нет, — возражает Альберт. — Люди, которых я там убивал, не причинили мне никакого зла...

— Возмутительно! — восклицает прокурор и обращается к председателю: — Я вынужден просить...

Но председатель сдержаннее его.

— К чему бы мы пришли, если бы все солдаты рассуждали подобно вам? — говорит он.

— Верно, — вмешиваюсь я, — но за это мы не несем ответственности. Если бы его, — указываю я на Альберта, — не научили стрелять в людей, он бы и сейчас этого не сделал.

Прокурор красен как индюк:

— Но это недопустимо, чтобы свидетели, когда их не спрашивают, сами...

Председатель успокаивает его:

— Я полагаю, что в данном случае мы можем отступить от правила.

Меня на время отпускают и на допрос вызывают девушку. Альберт вздрагивает и стискивает зубы. На девушке черное шелковое платье, прическа — только что от парикмахера. Она выступает крайне самоуверенно. Заметно, что она чувствует себя центральной фигурой.

Судья спрашивает ее об отношениях с Альбертом и Бартшером. Альберта она рисует как человека неуживчивого, а Бартшер, наоборот, был очень милым. Она, мол, никогда не помышляла о браке с Альбертом, с Бартшером же была, можно сказать, помолвлена.

— Господин Троске слишком молод, чтобы жениться, — говорит она, покачивая бедрами.

У Альберта градом катится пот со лба, но он не шевелится. Вилли сжимает кулаки. Мы едва сдерживаемся.

Председатель спрашивает, какого рода отношения были у нее с Альбертом.

— Совершенно невинные, — говорит она, — мы были просто знакомы.

— В вечер убийства подсудимый находился в состоянии возбуждения?

— Конечно, — не задумываясь, отвечает она. Видимо, это ей льстит.

— Почему же?

— Да, видите ли... — Она улыбается и чуть выпячивает грудь. — Он был в меня так влюблен...

Вилли глухо стонет. Прокурор пристально смотрит на него сквозь пенсне.

— Потаскуха! — раздается вдруг на весь зал.

В публике сильное движение.

— Кто это крикнул? — спрашивает председатель.

Тьяден гордо встает.

Его приговаривают к пятидесяти маркам штрафа за нарушение порядка.

— Недорого, — говорит он и вытаскивает бумажник. — Платить сейчас?

В ответ на это он получает еще пятьдесят марок штрафа. Ему приказывают покинуть зал.

Девушка стала заметно скромнее.

— Что же происходило в вечер убийства между вами и Бартшером? — продолжает допрос председатель.

— Ничего особенного, — неуверенно говорит она. — Мы просто сидели и болтали.

Судья обращается к Альберту:

— Имеете ли вы что-нибудь сказать по этому поводу?

Я сверлю Альберта глазами. Но он тихо произносит:

— Нет.

— Показания свидетельницы, следовательно, соответствуют действительности?

Альберт горько улыбается, лицо его стало серым. Девушка неподвижно устала на распятие, висящее над головой председателя.

— Возможно, что они и соответствуют действительности, но я слышу все это сегодня в первый раз. В таком случае я ошибался.

Девушка облегченно вздыхает. Вилли не выдерживает.

— Ложь! — кричит он. — Она подло лжет! Развратничала она с этим молодчиком... Она выскочила из ложи почти голая.

Шум и смятение. Прокурор негодует. Председатель делает Вилли замечание. Но его уже никакая сила не может удержать, даже полный отчаяния взгляд Альберта.

— Хоть бы ты на колени сейчас передо мной бросился, я все равно скажу это во всеуслышание! — кричит он Альберту. — Раз-

вратничала она, да, да, и когда Альберт очутился с ней лицом к лицу и она ему наговорила, будто Бартшер напоил ее, он света невзвидел и выстрелил. Он сам мне все это рассказал по дороге в полицию!

Защитник торопливо записывает, девушка в отчаянии визжит:

— И правда, напоил, напоил!

Прокурор размахивает руками:

— Престиж суда требует...

Словно разъяренный бык, поворачивается к нему Вилли:

— Не заноситесь вы, параграфная глиста! Или вы думаете, что, глядя на вашу обезьянью мантию, мы заткнем глотки? Попробуйте-ка вышвырнуть нас отсюда! Что вы вообще знаете о нас? Этот мальчик был тихим и кротким — спросите у его матери! А теперь он стреляет так же легко и просто, как когда-то бросал камешки. Раскаяние! Раскаяние! Да как ему чувствовать это самое раскаяние, если он четыре года подряд мог безнаказанно отщелкивать головы ни в чем не повинным людям, а тут он лишь прикончил человека, который вдребезги разбил ему жизнь? Единственная его ошибка — он стрелял не в того, в кого следовало! Девку эту надо было прикончить! Неужели вы думаете, что четыре года кровопролития можно стереть, точно губкой, одним туманным словом «мир»? Мы и сами прекрасно знаем, что нельзя этак — за здорово живешь — пристреливать своих личных врагов, но уж если сдавит нам горло ярость и все внутри перевернет вверх дном, если уж такое найдет на нас... Прежде чем судить, вы хорошенько подумайте, откуда все это в нас берется!

Неистовая сумятица. Председатель тщетно пытается водворить порядок.

Мы стоим, тесно сгрудившись. Вилли страшен. Козоле сжал кулаки, и в эту минуту на нас никакими средствами не воздействуешь, — мы представляем собой слишком большую опасность. Единственный полицейский в зале не отваживается близко подойти к нам. Я подсакиваю к скамье присяжных.

— Дело идет о нашем товарище, о фронтовике! — кричу я. — Не осуждайте его! Он сам не хотел того безразличия к жизни и смерти, которое война взрастила в нас, никто из нас не хотел его, но на войне мы растеряли все мерила, а здесь никто не пришел нам на помощь! Патриотизм, долг, родина, — все это мы сами постоянно повторяли себе, чтобы устоять перед ужасами фронта, чтобы оправдать их! Но это были отвлеченные понятия, слишком много крови лилось там, она смыла их начисто!

Вилли оказывается вдруг рядом со мной.

— Всего только год тому назад вот этот парень, — он указывает на Альберта, — с двумя товарищами лежал в пулеметном гнезде, единственном на всем участке, которое еще держалось, и вдруг — атака. Но эти трое не потеряли присутствия духа. Они выжидали, цели-

лись и не стреляли раньше времени, они устанавливали прицел точно, на уровне живота, и когда противник уже думал, что участок очищен, и бросился вперед, только тогда эти трое открыли огонь. И так было все время, пока не подоспело подкрепление. Атака была отбита. Мы под считали тех, кого отщелкал пулемет. Одних точных попаданий в живот оказалось двадцать семь, все были убиты наповал. Я не говорю о таких раненых, как в ноги, в мошонку, в желудок, в легкие, в голову. Этот вот парень, — он опять показывает на Альберта, — со своими двумя товарищами настрелял людей на целый лазарет, хотя большинство из раненных в живот не пришлось уж никуда отправлять. За это он был награжден Железным крестом первой степени и получил благодарность от полковника. Понимаете вы теперь, почему не вашим гражданским судам и не по вашим законам следует судить его? Не вам, не вам его судить! Он солдат, он наш брат, и мы выносим ему оправдательный приговор!

Прокурору наконец удается вставить слово.

— Это ужасное одичание... — задыхается он и кричит полицейскому, чтобы тот взял Вилли под стражу.

Новый скандал. Вилли держит весь зал в трепете. Я опять разражаюсь:

— Одичание? А кто виноват в нем? Вы! На скамью подсудимых вас надо посадить, вы должны предстать перед нашим правосудием. Вашей войной вы превратили нас в дикарей! Бросьте же за решетку всех нас вместе! Это будет самое правильное. Скажите, что вы сделали для нас, когда мы вернулись с фронта? Ничего! Ровно ничего! Вы оспаривали друг у друга победы, закладывали памятники неизвестным воинам, говорили о героизме и уклонялись от ответственности! Нам вы должны были помочь! А вы что сделали? Вы бросили нас на произвол судьбы в самое трудное для нас время, когда мы, вернувшись, силились войти в жизнь! Со всех амвонов должны были вы проповедовать, напутствовать нас должны были вы, когда нас увольняли из армии, вы должны были неустанно повторять: «Мы все совершили ужасную ошибку! Так давайте же вместе заново искать путей к жизни! Мужайтесь! Вам еще труднее, чем другим, потому что, уходя, вы ничего не оставили, к чему вы могли бы вернуться! Запаситесь терпением!» Вы должны были заново раскрыть перед нами жизнь! Вы должны были заново учить нас жить! Но вам не было до нас никакого дела! Вы послали нас к черту! Вы должны были научить нас снова верить в добро, порядок, созидание и любовь! А вместо этого вы опять начали лицемерить, заниматься травлей и пускать в ход ваши знаменитые статьи закона! Одного из наших рядов вы уже погубили, теперь на очереди второй!

Мы не помним себя. Вся ярость, все озлобление, все разочарование наше вскипают сразу и переливаются через край. В зале стоит невообразимый шум. Проходит много времени, прежде чем восстанавливается относительный порядок. Всех нас за недопустимое поведение в зале суда приговаривают к однодневному аресту и тотчас же уводят. Мы легко могли бы устранить с дороги полицейского,

но нам это не нужно. Мы хотим в тюрьму вместе с Альбертом. Мы вплотную проходим мимо него, мы хотим ему показать, что мы все — с ним...

Позднее мы узнаем, что он приговорен к трем годам тюрьмы и что приговор он принял молча.

III

Георгу Рахе удалось под видом иностранца переехать через границу. Одна мысль неотступно преследует его: еще раз стать лицом к лицу со своим прошлым. Он проезжает города и села, слоняется на больших и малых станциях, и вечером он у цели.

Нигде не задерживаясь, направляется он за город, откуда начинается подъем в горы. Он минует улицу за улицей; навстречу попадают рабочие, возвращающиеся с фабрик. Дети играют в кругах света, отбрасываемых фонарями. Несколько автомобилей проносится мимо. Потом наступает тишина.

Солнце давно село, но еще достаточно светло. Да и глаза Рахе привыкли к темноте. Он сходит с дороги и идет через поле. Вскоре он спотыкается обо что-то. Ржавая проволока вцепилась в брюки и вырвала кусок материи. Он наклоняется, чтобы отцепить колючку. Это проволочные заграждения, которые тянутся вдоль расстрелянного окопа. Рахе выпрямляется. Перед ним — голые поля сражений.

В неверном свете сумерек они похожи на взбаламученное и застывшее море, на окаменелую бурю. Рахе чувствует гнилостные запахи крови, пороха и земли, тошнотворный запах смерти, который все еще властно царит в этих местах.

Он невольно втягивает голову, плечи приподняты, руки болтаются, ослабели в суставах кисти; это походка уже не городского жителя, это опять крадущиеся, осторожные шаги зверя, настороженная бдительность солдата...

Он останавливается и оглядывает местность. Час назад она казалась ему незнакомой, а теперь он уже узнает ее, узнает каждую высоту, каждую складку гор, каждое ущелье. Он никогда не уходил отсюда: дни и месяцы вспыхивают в огне воспоминаний, как бумага, они сгорают и улетучиваются, как дым, — здесь снова лейтенант Георг Рахе сторожко ходит в ночном дозоре, и ничто больше не отделяет вчера от сегодня. Вокруг безмолвие ночи, только ветер зашуршит иногда в траве; но в ушах у Георга стоит рев сражения, беснуются взрывы, осветительные ракеты повисают гигантскими дугowymi лампами над всем этим опустошением, кипит черное раскаленное небо, и от горизонта до горизонта, гудя, вздымается фонтанами и клокочет в серных кратерах земля.

Рахе скрежешет зубами. Он не фантазер, но он не в силах защитить себя: воспоминания захлестнули его, они как вихрь, — здесь, на этой земле, еще нет мира, нет даже той видимости мира, которая на-

ступила повсюду, здесь все еще идет борьба, война; здесь продолжает бушевать, хотя и призрачный, смерч, и крутящиеся столбы его теряются в облаках.

Земля впиалась в Георга, она словно хватает его руками, желтая плотная глина облепила башмаки; шаг тяжелеет, как будто мертвец, глухо ропща в своих могилах, тянут к себе оставшегося в живых.

Он пускается бежать по темным, изрытым воронками полям. Ветер усиливается, по небу несутся облака, и время от времени луна тусклым светом озаряет местность. Рахе останавливается, тоска сжимает сердце, он бросается на землю, недвижно прикидается к ней. Он знает — ничего нет; но всякий раз, когда луна выплывает, он испуганно прыгает в воронку. Он сознательно подчиняется закону этой земли, по которой нельзя ходить, выпрямившись во весь рост.

Луна уже не луна, а огромная осветительная ракета. В ее желтоватом свете чернеют обгорелые пни знакомой рощицы. За развалинами фермы тянется овраг, которого никогда не переступал неприятель. Рахе, сгорбившись, сидит в окопе. Вот остатки ремня, два-три котелка, ложка, проржавевшие ручные гранаты, подсумки, а рядом — мокрое серо-зеленое сукно, вконец истлевшее, и останки какого-то солдата, наполовину уже превратившиеся в глину.

Он ничком ложится на землю, и безмолвие вдруг начинает говорить. Там, под землей, что-то глухо клокочет, дышит прерывисто, гудит и снова клокочет, стучит и звенит. Он впиается пальцами в землю и прижимается к ней головой, ему слышатся голоса и оклики, ему хотелось бы спросить, поговорить, закричать, он прислушивается и ждет ответа, ответа на загадку своей жизни...

Но только ветер завывает все сильнее и сильнее, низко и все быстрее бегут облака, и по полям тень гонится за тенью. Рахе встает и бредет дальше, бредет долго, пока перед ним не вырастают черные кресты, ряд за рядом, построенные в длинные колонны, как рота, батальон, полк, армия.

И вдруг ему все становится ясно. Перед этими крестами рушится здание громких фраз и возвышенных понятий.

Только здесь еще живет война, ее уже нет в поблекших воспоминаниях тех, кто вырвался из ее тисков! Здесь лежат погибшие месяцы и годы непрожитой жизни, они — как призрачный туман над могилами; здесь кричит эта нежитая жизнь, она не находит себе покоя, в гулком молчании взывает она к небесам. Страшным обвинением дышит эта ночь, самый воздух, в котором еще бурлит сила и воля целого поколения молодежи, поколения, умершего раньше, чем оно начало жить.

Дрожь охватывает Георга. Ярко вспыхивает в нем сознание его героического самообмана: вот она, алчная пасть, поглотившая верность, мужество и жизнь целого поколения.

Он задыхается.



— Братья! — кричит он в ночь и ветер. — Братья! Нас предали! Вставайте, братья! Еще раз! Вперед! В поход против предательства!

Он стоит перед могильными крестами, луна выплывает из-за туч, он видит, как блестят кресты, они отделяются от земли, они встают с распростертыми руками, вот уже слышен гул шагов... Он марширует на месте, выбрасывает руку вверх:

— Вперед, братья!

И опускает руку в карман, и снова поднимает... Усталый, одинокий выстрел, подхваченный и унесенный порывом ветра. Покачнувшись, опускается Георг на колени, опираясь на руки и собрав последние силы, поворачивается лицом к крестам... Он видит, как они трогаются с места, они стучат и движутся, они идут медленно, и путь их далек, очень, очень далек; но он ведет вперед, они придут к своей цели

и дадут последний бой, бой за жизнь; они маршируют молча — темная армия, которой предстоит пройти самый долгий путь, путь к человеческому сердцу, пройдет много лет, пока они свершат его, но что для них время? Они тронулись в путь, они двинулись в поход, они идут, идут.

Голова его медленно опускается, вокруг него темнеет, он падает лицом вперед, он марширует в общем шествии. Как блудный сын, после долгих скитаний вернувшийся домой, лежит он на земле, раскинув руки; глаза уже недвижны, колени подогнулись. Тело содрогается еще раз, великий сон покрывает все и вся, и только ветер проносится над пустынным темным простором; он веет и веет над облаками, в небе, над бесконечными равнинами, изрытыми окопами, воронками и могилами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Похнет мартом и фиалками. Из-под сырой листвы подснежники поднимают свои белые головки. Лиловая дымка стелется над вспаханнами полями.

Мы бредем по лесной просеке. Вилли и Козоле впереди, я с Валентином — за ними. Впервые за долгое время мы опять вместе. Мы редко теперь встречаемся.

Карл на целый день предоставил нам свой новый автомобиль. Но сам он с нами не поехал — слишком занят. Вот уже несколько месяцев, как он зарабатывает кучу денег; ведь марка падает, а это ему на руку. Шофер привез нас за город.

— Чем ты теперь, собственно, занимаешься, Валентин? — спрашиваю я.

— Езжу по ярмаркам со своими качелями, — отвечает он.

Удивленно смотрю на него:

— С каких это пор?

— Да уж довольно давно. Моя прежняя партнерша — помнишь? — очень скоро оставила меня. Теперь она танцует в баре. Фокстроты и танго. На это сейчас больше спросу. Ну, а я, заскоружный солдат, не гожусь для такого дела. Недостаточно, видишь ли, шикарен.

— А своими качелями ты хоть сносно зарабатываешь?

— Какое там! — отмахивается он. — Ни жить, ни помереть, как говорится! И эти вечные переезды! Вот завтра снова на колеса. Еду в Крефельд. Собачья жизнь, Эрнст! Докатались... А Юппа куда занесло, не знаешь?

Я пожимаю плечами:

— Уехал. Так же, как и Адольф. И весточки о себе никогда не подадут.

— А как Артур?

— Этот-то без малого миллионер, — отвечаю я.

— Понимает дело, — мрачно говорит Валентин.

Козоле останавливается и расправляет широкие плечи:

— А погулять, братцы, совсем неплохо! Если бы еще не околачиваться без работы...

— А ты не надеешься скоро получить работу? — спрашивает Вилли.

Фердинанд скептически покачивает головой:

— Не так-то просто. Меня в черный список занесли. Недостаточно смирен, видишь ли. Хорошо хоть, что здоров. А пока что перехватываю монету у Тьядена. Он как сыр в масле катается.

Выходим на полянку и делаем привал. Вилли достает коробку сигарет, которыми снабдил его Карл. Лицо у Валентина проясняется. Мы садимся и закуриваем.

В ветвях деревьев что-то тихо потрескивает. Щебечут синицы. Солнце уже светит и греет всюю. Вилли широко зевает и, подстелив пальто, укладывается. Козоле сооружает себе из мха нечто вроде изголовья и тоже ложится. Валентин, прислонившись к толстому буку, задумчиво разглядывает зеленую жужелицу.

Я смотрю на эти родные лица, и на миг так странно раздваивается сознание... Вот мы снова, как бывало, сидим вместе... Немного нас осталось... Но разве и эти немногие связаны еще по-настоящему?

* * *

Козоле вдруг настораживается. Издали доносятся голоса. Совсем молодые. Вероятно, члены организации «Перелетные птицы». С люгнями, украшенными разноцветными лентами, совершают они в этот серебристо-туманный день свое первое странствование. Когда-то, до войны, и мы совершали такие походы — Людвиг Брайер, Георг Рахе и я.

Прислонившись к дереву, предаюсь воспоминаниям о далеких временах: вечера у костров, народные песенки, гитары и исполненные торжественности ночи у палаток. Это была наша юность. В последние годы перед войной организация «Перелетные птицы» была окружена романтикой мечтаний о новом прекрасном будущем, но романтика эта, отгорев в окопах, в 1917 году рассыпалась в прах, загубленная небывалым состязанием боевой техники.

Голоса приближаются. Опираясь на руки, поднимаю голову: хочу взглянуть на «перелетных птиц». Странно — каких-нибудь несколько лет назад мы сами с песнями бродили по лесам и полям, а сейчас кажется, словно эта молодежь — уже новое поколение, наша смена, и она должна поднять знамя, которое мы невольно выпустили из наших рук...

Слышны возгласы. Целый хор голосов. Потом выделяется один голос, но слов разобрать еще нельзя. Тресчат ветки, и глухо гудит земля под топотом множества ног. Снова возглас. Снова топот, треск, тишина. Затем, ясно и четко, — команда:

— Кавалерия заходит справа! Отделениями, левое плечо вперед, шагом марш!

Козоле вскакивает. Я за ним. Мы переглядываемся. Что за наваждение? Что это значит?

Вот показались люди, они выбегают из-за кустов, мчатся к опушке, бросаются на землю.

— Прицел: четыреста! — командует все тот же трескучий голос. — Огонь!

Стук и треск. Длинный ряд мальчиков, лет по пятнадцати—семнадцати. Рассыпавшись цепью, они лежат на опушке. На них спортивные куртки, подпоясанные кожаными ремнями, на манер португальских. Все одеты одинаково: серые куртки, обмотки, фуражки со значками. Однообразие одежды нарочито подчеркнуто. Вооружение составляет палка с железным наконечником, как для хождения по горам. Этими палками мальчики стучат по деревьям, изображая ружейную пальбу.

Из-под фуражек военного образца глядят, однако, по-детски краснощекие лица. Глаза внимательно и возбужденно следят за приближением двигающейся справа кавалерии. Они не видят ни нежного чуда фиалок, выбивающихся из-под бурой листвы, ни лиловой дымки всходов, стелющейся над полями, ни пушистого меха зайчика, скачущего по бороздам. Нет, впрочем, зайца они видят: вот они целятся в него своими палками, и сильнее нарастает стук по стволам. За ребятами стоит коренастый мужчина с округлым брюшком; на толстяке такая же куртка и такие же обмотки, как у ребят. Он энергично отдает команды:

— Стрелять спокойней. Прицел: двести!

В руках у него полевой бинокль: он ведет наблюдение за врагом.

— Господи! — говорю я, потрясенный.

Козоле наконец приходит в себя от изумления.

— Да что это за идиотство! — раздражается он.

Но возмущение Козоле вызывает бурную реакцию. Командир, к которому присоединяются еще двое юношей, мечет громы и молнии. Мягкий весенний воздух так и гудит крепкими словечками:

— Заткнитесь, дезертиры! Враги отечества! Слюнтяи! Предатели! Сволочь!

Мальчики усердно вторят. Один из них, потрясая худым кулачком, кричит пискливым голосом:

— Придется их, верно, взять в переделку!

— Труссы! — кричит другой.

— Пацифисты! — присоединяется третий.

— С этими большевиками нужно покончить, иначе Германии не видать свободы, — скороговоркой произносит четвертый явно заученную фразу.

— Правильно! — командир одобрительно похлопывает его по плечу и выступает вперед. — Гоните их прочь, ребята!

Тут просыпается Вилли. До сих пор он спал. Он сохранил эту старую солдатскую привычку: стоит ему лечь, и он вмиг засыпает.

Он встает. Командир сразу останавливается. Вилли большими от удивления глазами осматривается и вдруг раздражается громким хохотом.

— Что здесь происходит? Бал-маскарад, что ли? — спрашивает он.

Затем он смекает, в чем дело.

— Так, так, правильно, — ворчит он, обращаясь к командиру, — нам только вас не хватало! Давно не видались. Да, да, отечество, разумеется, вы взяли на откуп, не так ли? А все остальные — предатели, верно? Но только вот что странно: в таком случае, значит, три четверти германской армии были предателями. А ну, убирайтесь-ка подальше отсюда, куклы ряженные! Не могли вы, черт вас возьми, дать мальчуганам еще два-три года пожить без этой науки?

Командир отдает своей армии приказ к отступлению. Но лес уже нам отравлен. Мы идем назад, по направлению к деревне. Позади нас хор молодых голосов ритмично и отрывисто повторяет:

— Нашему фронту — ура! Нашему фронту — ура! Нашему фронту — ура!

— Нашему фронту — ура! — Вилли хватается за голову. — Сказать бы это какому-нибудь старому фронтовику!

— Да, — огорченно говорит Козоле. — Так опять все и начинается.

* * *

По дороге в деревню мы заходим в маленькую пивную. Несколько столиков уже выставлено в сад. Хотя Валентин через час уже должен быть в парке, где стоят его качели, мы все-таки наскоро присаживаемся к столику, чтобы хоть немного еще побыть вместе. Кто знает, когда приведется снова встретиться?..

Бледный закат нежно окрашивает небо. Невольно возвращаюсь мыслью к только что пережитой сцене в лесу.

— Боже мой, Вилли, — обращаюсь я к нему, — ведь все мы живы и едва только выкарабкались из войны, а уж находятся люди, которые опять принимаются за подобные вещи! Как же это так?

— Такие люди всегда найдутся, — задумчиво, с непривычной для него серьезностью отвечает Вилли. — Но и таких, как мы, тоже немало. Большинство думает как мы с вами. Большинство, будьте уверены. С тех пор как это случилось (вы знаете что: с Людвигом и Альбертом), я очень много думал — и пришел к заключению, что каждый человек может кое-что сделать, даже если у него вместо головы — тыква. На следующей неделе кончатся каникулы, и я должен вернуться в деревню, в школу. Я прямо-таки рад этому. Я хочу разъяснить моим мальчуганам, что такое их отечество в действительности. Их родина, понимаешь ли, а не та или иная политическая партия. А родина их — это деревья, пашни, земля, а не крикливые лозунги. Я долго раздумывал на этот счет. Нам пора, друзья, поставить перед собой какую-то задачу. Мы взрослые люди. Себе задачу я выбрал. Я только что сказал о ней. Она невелика, допускаю. Но как раз по моим силам. Я ведь не Гете!

Я киваю и долго смотрю на Вилли. Потом мы выходим.

Шофер ждет нас. Тихо скользит машина сквозь медленно опускающиеся сумерки.

Мы подъезжаем к городу; вот уже вспыхивают его первые ог-

ни, и вдруг к поскрипыванию шин примешивается протяжный, хриплый, гортанный звук, — по вечернему небу треугольником тянется на восток караван диких гусей...

Мы смотрим друг на друга. Козоле хочет что-то сказать, но решает промолчать. Все мы вспоминаем одно и то же.

Вот и город, и улицы, и шум. Валентин прощается. Потом Вилли. Потом Козоле.

II

Я провел целый день в лесу. Утомленный, добрался я до небольшого постоянного двора и заказал себе на ночь комнату. Постель уже послана, но спать еще не хочется. Я сажусь к окну и вслушиваюсь в шорохи весенней ночи.

Тени струятся между деревьями, лес стонет, словно там лежат раненые. Я спокойно и уверенно смотрю в сумрак, — я больше не боюсь прошлого. Я смотрю в его потухшие глаза не отворачиваясь. Я даже иду ему навстречу, я отсылаю свои мысли обратно — в блиндажи и воронки. Но, возвращаясь, они несут с собой не страх и отчаяние, а силу и волю.

Я ждал, что грянет буря, и спасет меня, и увлечет за собой, а избавление явилось тихо и незаметно. Но оно пришло. В то самое время, когда я отчаивался и считал все погибшим, оно неслышно зрело во мне самом. Я думал, что прощание — всегда конец. Ныне же я знаю: расти тоже значит прощаться. И расти нередко значит — покидать. А конца не существует.

Часть моей жизни была отдана делу разрушения, отдана ненависти, вражде, убийству. Но я остался жив. В одном этом уже задача и путь. Я хочу совершенствоваться и быть ко всему готовым. Я хочу, чтобы руки мои трудились и мысль не засыпала. Мне много не надо. Я хочу всегда идти вперед, даже если иной раз и явилось бы желание остановиться. Надо многое восстановить и исправить, надо, не жалея сил, раскопать то, что было засыпано в годы пушек и пулеметов. Не всем быть пионерами, нужны и более слабые руки, нужны и малые силы. Среди них я буду искать свое место. Тогда мертвые замолчат и прошлое не преследовать меня, а помогать мне будет.

Как просто все! Но сколько времени понадобилось, чтобы прийти к этому. И я, быть может, так бы и блуждал на подступах и пал бы жертвой проволочных петель и подрывных капсюлей, если бы ракетой не взвилась перед нами смерть Людвига, указав нам путь. Мы пришли в отчаяние, когда увидели, что могучий поток нашей спаянности и воли к простой, сильной, у порога смерти отвоеванной жизни не смел отживших форм, половинчатых истин и пустого тщеславия, не нашел нового русла для себя, а погряз в трясине забвения, разлился по болотам громких фраз, по канавам условностей, забот и разных занятий. Ныне я знаю, что все в жизни, очевидно, только подготовка, труд в одиночку, который ведется по великому множеству отдельных клеточек, отдельных каналов, и подобно тому, как клетки и сосуды дерева впи-

тывают в себя стремящиеся кверху соки, передавая их выше и выше, так, может быть, в мощном слиянии единичных усилий родятся когда-нибудь и звонкий шелест осиянной солнцем листвы, и верхушки деревьев, и свобода. И я хочу начать.

Это будет не тем свершением, о котором мы мечтали в юности и которого ждали, вернувшись после долгих лет фронта. Это будет такой же путь, как и другие, местами каменистый, местами выровненный путь, с выбоинами, деревьями и пашнями, — путь труда. Я буду один. Может быть, на какую-нибудь часть пути я найду спутника, но вряд ли на весь.

И, верно, еще часто придется мне снимать свой ранец, когда плечи устанут, и часто еще буду я колебаться на перекрестках и рубежах, и не раз придется что-то покидать, и не раз — спотыкаться и падать. Но я поднимусь, я не стану лежать, я пойду вперед и назад не поверну. Может быть, я никогда не буду счастлив, может быть, война эту возможность разбила и я всюду буду немного посторонним и нигде не почувствую себя дома, но никогда, я думаю, я не почувствую себя безнадежно несчастным, ибо всегда будет нечто, что поддержит меня, — хотя бы мои же руки, или зеленое дерево, или дыхание земли.

* * *

Соками наливаются деревья, с едва уловимым треском лопаются почки, и сумрак полон звуков, — это шепот созревания. Ночь в моей комнате и луна. Жизнь вошла в комнату. Вся мебель потрескивает, стол трещит, шкаф поскрипывает. Когда-то они росли в лесу, их рубили, пилили, строгали и склеивали, превращали в вещи для людей, в стулья и кровати; но каждой весной, в ночь, когда все наливается жизненными соками, в них что-то бродит, они пробуждаются, ширятся, они перестают существовать как утварь, как стулья, как вещи, — они снова в потоке жизни, в них дышит вечно живая природа. Под моими ногами скрипят и движутся половицы, под руками трещит дерево подоконника, а за окном, на краю дороги, даже старая, расщепленная липа набухает большими бурыми почками; еще день-другой, и она, эта липа, покроется такими же шелковистыми зелеными листьями, как и широко раскинутые ветви молодого платана, укрывающего ее своей тенью.

СОДЕРЖАНИЕ

В. Кондратьев. Перечитывая Ремарка	3
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН. Перевод Ю. Афонь- кина	13
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Перевод И. Горкиной	181

Ремарк Э.-М.

Р37 На Западном фронте без перемен. Возвращение: Романы: Пер. с нем. / Предисл. В. Кондратьева; Худож. П. Пинкисевич. — М.: Худож. лит., 1988. — 399 с.

В одном томик западногерманского писателя-антифашиста Э.-М. Ремарка (1898—1970) входят романы «На Западном фронте без перемен» (1929) и «Возвращение» (1931). В них автор устами своих героев гневно осуждает I мировую войну, в которой погибло целое поколение немецкой молодежи. Даже после того, как отгремели последние ружейные выстрелы, война продолжает свою опустошительную работу, уже в душах оставшихся невредимыми. «На Западном фронте без перемен» и «Возвращение» — антимилитаристские произведения.

4703000000-144
Р—147-88
028(01)-88

ББК 84.4Г

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

**НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН**

●
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Редактор И. СОЛОДУНИНА. Художественный редактор Л. КАЛИТОВСКАЯ. Технический редактор В. НЕФЕДОВА. Корректоры Т. СИДОРОВА и Н. ЗАМЯТИНА.

ИБ № 4920. Сдано в набор 22.06.87. Подписано к печати 13.04.88. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,0. Усл. кр.-отт. 25,38. Уч.-изд. л. 28,37. Тираж 300 000 экз. Изд. № VI-2860. Заказ № 1220. Цена 5 р. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

